

УДК 930  
ББК 63  
Д 75

Редакционная коллегия серии «HISTORICA»

*В. П. Сальников (председатель), П. В. Анохин,  
С. Б. Глушаченко, И. И. Мушкет,  
Р. А. Ромашов, П. П. Сальников, С. В. Степашин*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА РОССИИ»  
(ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ПОЛИГРАФИИ  
И КНИГОИЗДАНИЯ РОССИИ»)

Данное издание выпущено в рамках проекта  
«Translation Project» при поддержке Института  
«Открытое общество» (Фонд Сороса) — Россия  
и Института «Открытое общество» — Будапешт

- © Издательство «Владимир Даль», 2004
- © Санкт-Петербургский университет МВД России, 2004
- © Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет», 2004
- © Г. И. Федорова, перевод, 2004
- © И. М. Савельева, статья, 2004
- © А. Мельников, оформление, 2004
- © П. Палей, дизайн, 2004

ISBN 5-93615-025-9

*И. М. Савельева*

## ОБРЕТЕНИЕ МЕТОДА

«Энциклопедии и методологии истории» Иоганна Густава Дройзена не повезло дважды. Первый раз потому, что она не была издана тогда, когда она была создана (при жизни Дройзена работа вышла в 1858 г. только в виде сжатых тезисов, озаглавленных «Очерк историк»).<sup>1</sup> Тем самым в дискуссии об исторической науке концепция Дройзена не сыграла роли основополагающего сочинения. А именно таковым следует признать это исследование. Хотя имя Дройзена, как правило, упоминается в ряду основоположников теории исторической науки второй половины XIX в. и тезисы его были известны, но обычно читались и соответственно цитировались созданные и опубликованные позднее монографические исследования Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса, Э. Бернгейма, а также, когда речь шла об определении характера исторического знания — В. Виндельбанда, Г. Риккерта, В. Дильтея.

Второй раз «историке»,<sup>2</sup> или, как Дройзен называл ее по-немецки, «наукоучению истории», не повезло потому, что впервые его лекции были изданы в Германии в 1936 г. Время и место — роковые для произведения,

---

<sup>1</sup> Об истории публикации лекций Дройзена см. в «Предисловии издателя».

<sup>2</sup> «Историкой» здесь и далее мы будем называть концепцию Дройзена, сформулированную как в «Энциклопедии и методологии истории», так и в «Очерке истории».

содержащего историческую концепцию *исторического* значения. Публикация сочинения примерно совпала по времени с появлением теоретических работ Ч. Бирда, К. Беккера, М. Уайта, Ф. Майнеке, М. Блока, Л. Февра, Дж. Коллингвуда, но ведь написано оно было на 80 лет раньше! Тем не менее, по нашему мнению, публикация могла бы стать заметным явлением в исторической науке и в 1930-е годы, если бы не изоляция нацистской Германии в интеллектуальном пространстве. Впрочем в середине XX в. речь в любом случае могла идти скорее об оценке места Дройзена в дискуссиях об историческом знании *post factum*. В результате, несмотря на то что его сочинения относятся к классике исторической мысли и упоминаются без исключения всеми, кто пишет о проблеме методологии истории, его текст оказывается, как правило, вне поля зрения. И совершенно незаслуженно. Как бы далеко вперед ни ушли социальные науки, многие идеи Дройзена и по содержанию и по форме оставались актуальными на протяжении всего XX в. в контексте дискуссий о характере исторического знания.

В России выход из длительного периода изоляции гуманитарной науки, произошедший в начале 1990-х годов, в определенном смысле вернул профессиональное сообщество к периоду становления исторического знания как науки, то есть непосредственно ко временам Дройзена. Заново осваивались идеи его великих современников, своевременно (до 1917 г.) переведенных на русский язык. Отечественные специалисты по теории и методологии, источниковедению и прикладным историческим дисциплинам «проходили» теоретическую мысль XX в. И снова — без Дройзена. Но если мировое историческое сообщество познакомилось с теоретической работой Дройзена с почти вековым отставанием, то в распоряжение отечественных историков труд великого немецкого историка поступил всего через десять лет после возвращения мировой исторической науки в Россию.

Представленный перевод сделан по изданию 1936 г., в которое входят собственно лекционный курс «Энцикл-

лопедии и методологии истории», его тезисный конспект «Очерк историки» и несколько работ, помещенных в разделе «Приложения».<sup>3</sup>

\* \* \*

Иоганн Густав Дройзен родился в Трептове в 1808 г., умер в Берлине в 1884 г. Его первым детским воспоминанием был звук пушек, возвестивших взятие Парижа союзными армиями. Поступив в 1826 г. в Берлинский университет, Дройзен совершенно в духе интересов своего времени изучал литературу и историю Древней Греции, а его первым и очень значимым достижением были переводы Эсхила и Аристофана, которые стоят в одном ряду с переводами Гомера, сделанными И. Г. Воссом в конце XVIII в.

С 1833 г. Дройзен выступает уже с крупными историческими работами, публикуя «Историю Александра Великого», а затем два тома «Истории эллинизма» (1836–1843),<sup>4</sup> которые составили ему репутацию известного специалиста по античности. Дройзен первым ввел в научный оборот термин «эллинизм», охарактеризовав так историческую эпоху в истории стран Восточного Средиземноморья от походов Александра Македонского (334–323 гг. до н. э.) до завоевания этих стран Римом, завершившегося в 30 г. до н. э. подчинением Египта. В этом смысле его заслуженно можно поставить в один ряд с «изобретателем» средних веков Келлером и создателем концепции Возрождения Я. Буркхардтом. Дройзен на-

---

<sup>3</sup> Не каждый читатель читает Приложения, и не всегда в этом есть необходимость. Между тем в данном случае в материалах, помещенных в Приложениях, содержатся многие ключевые идеи Дройзена.

<sup>4</sup> Обе работы изданы на русском языке в переводе с авторизованного Дройзеном французского издания 1883–1885 гг., содержащего дополнения по сравнению с немецким вариантом: *Дройзен И. Г. История эллинизма* / Пер. с фр. В 3-х т. М., 1890–1893. В 2003 г. издательство «Эксмо» переиздало эту работу.

звал эллинизм *новым временем* античности. Понятием «эллинизм» ученый обозначил эллинистическую, т. е. не чисто эллинскую, а смешанную с восточными элементами культуру, формирование которой было обусловлено распространением политического господства эллинов (греков и македонян) на восточные страны. С тех пор ведущие специалисты по античному миру много спорили о содержании и географических границах эллинистического мира, но сам термин прочно утвердился в исторической науке.

Когда в 1836 г. Дройзен стал экстраординарным профессором по кафедре древней истории и классической филологии в Берлинском университете, казалось, что путь его вполне определился, но приглашение в Кильский университет в 1840 г. радикально изменило его профессиональную ориентацию, да и жизнь в целом. Однако прежде чем последовать за Дройзенем в Кильский, Йенский, и вновь в Берлинский университеты, зададимся более общим вопросом: *что значило быть признанным историком в середине XIX в.* и в какой мере Дройзен соответствовал «идеальному типу» историка своего времени?

На середину XIX в. приходится пик популярности исторической литературы и исторической профессии. Именно в этот период, как никогда прежде или впоследствии, историков любила, читала и слушала публика. И не только слушала, но и прислушивалась к их мнению. Характеризуя исключительное положение представителей своей профессии в этот период, французский историк А.-И. Марру писал:

«Историк стал королем, вся культура подчинялась его декретам: история решала как следует читать *Илиаду*; история решала, что нация определила в качестве своих исторических границ, своих наследственных врагов и традиционной миссии... Под объединенным влиянием идеализма и позитивизма идея прогресса была навязана в качестве фундаментальной категории... Владеющий секретами прошлого историк, как генеалог обеспечивал человечество доказательствами знатности его происхождения и про-

слеживал триумфальный ход его эволюции. Только история могла дать основания для доказательства осуществимости утопии показывая, что она... укоренена в прошлом».<sup>5</sup>

Преуспевающий историк того времени нередко считал увлечение классической древностью с активным участием в создании национального прошлого, интерес к политической истории — с политической ангажированностью, публичность — с «ученостью». Значимы и сами имена европейских историков — современников Дройзена: кажется, количество известных представителей истории в XIX в. сильно превышает число сопоставимых по известности историков века XX. Одно из определений XIX в. — «век истории» — в большой степени следует отнести к числу заслуг самих историков.

В XIX в. история была поставлена на службу государству, и многие известные историки занимали высшие государственные должности. В Англии ведущие историки (А. Алисон, Г. Галлам, Т. Б. Маколей) активно влияли на политическую жизнь, конструируя прошлую реальность, основанную на концепциях «вигов» и «тори». Еще более показателен пример Франции середины XIX в., где два популярнейших историка, А. Тьер и Ф. Гизо, возглавляли соперничающие политические партии, а затем их «сбросили» другие историки — Л. Блан, А. де Токвиль и Наполеон III.<sup>6</sup> В Германии в это время концепцию национальной истории создавала малогерманская школа, крупнейшие представители которой были видными политиками (Г. фон Зибель, Г. фон Трейчке, да и Дройзен).

С переходом на службу в Кильский университет завершается первый этап научной карьеры Дройзена и по существу заканчивается первый его научный проект, связанный с изучением эллинизма. Отныне сфера его

---

<sup>5</sup> *Marrou H.-I.* De la connaissance historique. 6 ed. Paris: Editions du Seuil, 1954. P. 11.

<sup>6</sup> *Зелдин Т.* Социальная история как история всеобъемлющая [1976] / Пер. с англ. // THESIS, 1993. Вып. 1. С. 154–162, 157.

интересов — политическая история Германии. Лекции по эпохе освободительных войн, прочитанные в 1842–1843 гг. и опубликованные в 1846 г., последовательно развивают идеи свободы и национальной независимости. Основными «темами» эпопеи освобождения в интерпретации Дройзена становятся американская и французская революции, а также борьба Пруссии против Наполеона. Одним из важнейших сюжетов жизни и научного творчества Дройзена надолго становится проблема объединения Германии, в решении которой он, как представитель малогерманской школы историографии, занимал позицию сторонника «прусского» варианта.<sup>7</sup> Впрочем, не только история интересует в это время профессора. Начинается период необыкновенно высокой политической активности в жизни Дройзена, что вполне соответствует духу времени. Дройзен участвовал в антидатском национально-освободительном движении в Шлезвиге и Гольштейне. В 1848–1849 гг. он был членом франкфуртского парламента.

Однако политически весьма деятельный Дройзен навсегда покидает поле практической политики после неудачи революции 1848 г. Впоследствии он продолжал внимательно следить за воплощением проекта объединения Германии вокруг Пруссии, но со стороны. Однако, если французский историк О. Тьерри, пережив опыт революции 1848 г., ушел и из исторической профессии и больше уже не писал, а другой французский историк, Ф. Гизо, тогда же радикально пересмотрел свои взгляды, то Дройзен спокойно продолжал работать над сочинением «История политики Пруссии», которому отдал более 30 лет жизни (первый том этого 14-томного труда вышел в 1855 г, последний — в 1886 г., уже после смерти Дройзена).

---

<sup>7</sup> Впрочем, по мнению Б. Кроче, и в своих работах по античной истории «Дройзен облакает свою тягу к сильному централизованному государству в форму истории Македонии — своего рода древнегреческой Пруссии» (*Кроче Б. Теория и история историографии.*/ Пер. с ит. М.: Языки русской культуры, 1998 [1917]. С. 23).

Считая объединение Германии долгом Пруссии, он рассматривал свое исследование как важное подспорье в решении политических задач времени. Однако «История политики Пруссии», будучи одним из высочайших достижений немецкой исторической науки того периода (немногие работы даже немецких историков основывались на таком количестве нового документального материала, правда, почерпнутого почти исключительно в прусских архивах) по разным причинам не была принята ни публикой, ни коллегами по историческому цеху. Публике, и не без оснований, это сочинение Дройзена, в отличие от других, показалось скучным, историкам — пристрастным даже по критериям того политически ангажированного века.<sup>8</sup> Таким образом, если как создатель концепции эпохи «эллинизма» Дройзен входит во все исторические энциклопедии и исследования по соответствующей тематике, то изучение политики Пруссии не создало ему славы даже при жизни. Такова судьба второго научного проекта Дройзена.

Мы в данном издании имеем дело с третьим проектом. Наряду с изучением политической истории, что сближало Дройзена с большинством известных историков его времени, много лет было отдано им разработке теоретического курса «о природе и задаче, методе и компетенции исторической науки» (наст. изд, с. 452). Остается только сожалеть, что «История политики Пруссии» заняла (и отняла) последние 30 лет жизни великого историка. Примерно столько же лет (с 1857 г.) он читал лекции об «Энциклопедии и методологии истории», названные по образцу курса лекций А. Бёка «Энциклопедия и методология филологических наук», который Дройзен прослушал в молодости. Писать одновременно две книги ему было просто некогда, и лекции остались неизданными.

Результаты научной деятельности Дройзена в области теории истории по содержанию и последствиям необ-

---

<sup>8</sup> *Gooch G. P. History and Historians in the Nineteenth Century. L.; N. Y.; Toronto: Longmans, Green and Co., 1928 [1913. P. 140.*



ходимо интерпретировать уже в контексте следующего этапа в развитии исторической науки, который в целом может быть охарактеризован господством позитивистской историографии. Облик исторической науки второй половины XIX в., а во многом и первой половины XX в. очень заметно изменился под влиянием позитивистского подхода, представители которого, с одной стороны, много сил приложили к тому, чтобы отделить историю от философии, а с другой — передоверили задачи исторического анализа социальным наукам, сделав уделом историка сбор эмпирического материала. Однако понятно, что подобные усилия не реализовались полностью: в историографии сохранились и философствующие, и теоретизирующие субъекты. Прямо скажем, их насчитывается немного. Фигура Дройзена — одна из первых и по времени, и по значению в этом отнюдь не длинном ряду. Примечательно, что будучи безусловно философствующим историком Дройзен оказался одновременно и одним из первых теоретиков только возникающей исторической науки.

Чтобы оценить по достоинству вклад Дройзена, читатель должен сделать интеллектуальное усилие и перенестись в середину XIX в. В своем курсе Дройзен предполагал дать ответы на «исторический вопрос» *своей* эпохи. Насколько данные им ответы опередили время может понять только специалист (историк скорее, чем философ, ибо прорыв был совершен именно в области интерпретации природы исторического знания). Для того чтобы показать диспозицию (основные подходы к трактовке исторического знания и их соотношение) на тот момент, когда Дройзен приступил к чтению своего курса, лучше всего привести его собственные слова. Нам неизвестно, чтобы кому-то еще, даже и в последующих поколениях, удалось столь кратко и одновременно исчерпывающе подвести итоги дискуссий об историческом знании, начатых еще в XVIII в. и продолжавшихся при Дройзене.

В речи, произнесенной при вступлении в Берлинскую академию наук в 1868 г., Дройзен отметил, что с

древних времен над историей «тяготеет предвзятое мнение, что она представляет собой занятие, лишенное метода (ἀμέθοδος ὕλη — др.-греч), равно как и господствующее в классической античности представление, что она относится к области риторики». (Это представление, по его словам, вновь возродилось в тезисе, что история является одновременно и наукой, и искусством.) «Достоправная гёттингенская историческая школа<sup>9</sup> прошлого столетия, хотя и не первая, попыталась сделать систематический обзор области истории и развить ее научный метод, и с ее стороны не было недостатка в наименованиях и изобретательных различениях. Например, в наш обиход вошли от нее такие рубрики и дистрикции, как всемирная история, всеобщая история, история человечества, исторические элементарные и вспомогательные науки. Однако метод, которому она учила, был лишь техникой исторической работы; и воспринятое ею выражение Вольтера „философия истории“ было как бы приглашением, адресованным философии» (наст. изд., с. 577).

Дройзен полагал (это существенно с точки зрения современных дискуссий о характере исторического знания), что если бы философы взяли на себя только обоснование исторического процесса *познания* (курсив наш. — И. С.), то это «в высшей степени заслуживало бы благодарности», но они, кроме того, занялись и созданием субстанциональной философии истории, разработкой концепций исторического *процесса*. В «одной системе... был сконструирован общий исторический труд всего рода человеческого как самодвижущаяся идея. В другой же системе учили об этом самом общем труде человечества, что

---

<sup>9</sup> Основатель гёттингенской исторической школы — А. Л. Шлёцер (1735–1809). В 1761–1767 гг. работал в России, с 1865 г. — ординарный профессор истории Петербургской академии наук. Внес большой вклад в развитие критических исследований русских летописей и их публикацию в России и Германии, за что в 1804 г. был пожалован российским дворянством. С 1769 г. — профессор Гёттингенского университета. Его историографическая концепция изложена в работе «Понятие всеобщей истории» (1772–1773).

„всемирная история, собственно говоря, есть только случайная конфигурация и не имеет метафизического значения“. С третьей стороны, требовали в качестве научной легитимизации нашей науки... нахождение законов, по которым движется и изменяется историческая жизнь. Ей рекомендовали заимствовать норму из географических факторов и „первозданной естественности“. В связи с так называемой „позитивной философией“ была сделана весьма привлекательная попытка „возвести“ историю, как заявляли, „в ранг науки“. Имена Г. В. Ф. Гегеля, О. Конта, Г. Т. Бокля и других известных архитекторов философии истории легко прочитываются в обзоре Дройзена, равно как и его отношение к подобным взглядам на историческую реальность (см. наст. изд., с. 577).

Неудовлетворенный в разной мере и по разным основаниям всеми этими подходами Дройзен находил научную задачу историков своего времени (а точнее, задачу своей «историк») в том, чтобы «обобщить эти методы, развить их систему, <разработать> их теорию и таким образом установить **не законы истории, а только законы исторического познания и знания** (выделено нами. — *И. С.*, наст. изд., с. 578).

«Историка», как сформулировал Дройзен в тезисах, «не является ни энциклопедией исторических наук, ни философией (или теологией) истории, ни физикой исторического мира и уж тем более — поэтикой историографии». Дройзен видел смысл своего исследования в познании исторического мышления и способов исследования (§ 16, наст. изд., с. 466).

Как мы уже отметили, основные темы «историк» во многом определили содержание историко-теоретических дискуссий всего XX в., но его аргументы не были воспроизведены, хотя были хорошо расслышаны. Мы хотим привлечь внимание читателя к тексту самого Дройзена, к его собственным формулировкам и показать, что в некотором смысле наш автор по-прежнему находится на передовых рубежах исторической науки, притом что даже сегодня далеко не все историки достигают этих рубежей.

Конечно, оставляя за кадром «антиквариат» в идейном наследии Дройзена и фокусируя взгляд на современных положениях его концепции, мы получаем (и предлагаем читателю) не «настоящего» Дройзена, а набор «избранных» высказываний, извлеченных из целостного текста. Принадлежность их к XIX в. порой выдает только форма изложения. Между тем в содержании лекций обнаруживается и достаточно много представлений и рассуждений, которые сегодня выглядят архаичными. Родившись в начале XIX в. и дожив почти до его конца, Дройзен в своих исследованиях вполне отражал «дух эпохи», ее основные философские и религиозные искания, равно как и историографические «повороты». Полагаем, что, знакомясь с работой, читатель сам составит мнение о мировоззренческих основах исторической концепции автора и его профессиональных пристрастиях. Мы же преследовали цель вычленить из достаточно пространного и неоднородного текста лекций мысли, удивительно созвучные современному взгляду на природу исторического знания.

Курс, читанный профессором Дройзеном с 1857 по 1883 г., включал следующие разделы: методика, систематика и топика (изложение) истории (в разное время они компоновались по-разному). Методика делилась на эвристику, критику и интерпретацию (исторического материала), отвечая на вопросы: *почему, каким образом, с какой целью*. Систематика определяла область применения исторического метода, отвечая на вопрос: *что может исследовать история*. К топике относился анализ форм исторического изложения (план выражения, как сказал бы современный исследователь). В каждом из указанных разделов мы обнаруживаем тезисы, к которым неприменим эпитет *устар.* К тому же они ясно изложены, смысл их внятен.

Напомним попутно, что мы имеем дело не с методологическим трактатом, а с лекционным курсом. Этот текст адресовался студентам, и обратим внимание на то, что профессор Дройзен считал необходимым и воз-

можным читать молодым людям столь методологически сложный и новаторский курс, что делает честь и ему, и его слушателям.

\* \* \*

Область научных прозрений Дройзена, с которой хочется начать, ибо она непосредственно касается и объекта, и задач исторической дисциплины, — представление об исторической реальности. Концепция Дройзена исходит из удивительно современной интерпретации природы прошлой социальной реальности как предмета исторического исследования. В то время как глава немецкой исторической школы Л. фон Ранке призывал историков, описывая прошлое, следовать девизу: «как это было на самом деле», — Дройзен утверждал, что результатом критики источников является не «подлинный исторический факт», а исчерпывающее изучение материала «для получения относительно точного и конкретного *мнения*» (курсив наш — *И. С.* § 36 «Очерка», наст. изд., с. 474).

Такая трактовка результата исторического исследования непосредственно связана с абсолютно актуальным<sup>10</sup> и четко артикулированным представлением о предмете исторической науки. Дройзен полагал что таковым является не прошлое, а *человеческие действия, совершенные в прошлом* (по терминологии Дройзена, *волевые акты*). Именно эти акты историк должен попытаться вычлениить из течения событий (*положения дел* — Дройзен). Он подчеркивал, что «любой так называемый исторический факт, помимо средств, связей, условий, целей, которые действовали все одновременно, является комплексом волевых актов... которые минули вместе с тем настоящим, которому они принадлежали, и сохраняются лишь в виде остатков того, что тогда было сформировано или сделано, или проявляют

---

<sup>10</sup>С позиций современной социологии знания, историческая наука изучает *действия людей, совершенные в прошлом*.

себя во взглядах и воспоминаниях» (§ 26 «Очерка», наст. изд., с. 470). И в другом месте: «Когда мы говорим: „Государство, народ, церковь, искусство и т. д. делают то-то и то-то“, то мы имеем в виду „благодаря волевым актам“ <людей>» (§ 72 (77) «Очерка», наст. изд., с. 488).

При такой постановке вопроса Дройзен вступал в прямую полемику с позитивистами, полагавшими, что социальная жизнь определяется историческими законами, а поступками людей можно либо пренебречь, либо искать в них лишь проявления этих самых законов. Столь же очевидно, что акцент на человеческих действиях противоречил утвержденной романтиками и до сих пор популярной идее о возможности вчувствования, проникновения в мысли людей прошлого. Дройзен считал, что сознание человека, рождение мысли скрыто от самого проникательного исследователя, который всегда имеет дело с действиями, будь то поступок или запечатленное слово. «Хотя человек и понимает человека, — разъяснял Дройзен, — но лишь периферийно; он воспринимает поступок, речь, мимику другого (т. е. действие — *И. С.*), но не может доказать, что он правильно понял его, совершенно понял» (§ 41 «Очерка», с. 477).

В наибольшей степени исторической наукой освоены идеи Дройзена, относящиеся в области классификации исторических источников и техники исторической критики (эвристике). Дройзен первым подвел итоги «классического» этапа развития источниковедения. В частности, им была предложена развернутая классификация «источников», т. е. эмпирического материала, используемого в исторических исследованиях. Далее это направление было продолжено в работах Э. Фримана, Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса, Э. Бернгейма.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> См.: Фриман Э. Методы изучения истории. Пер. с англ. М.: 1893; Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории / Пер. с фр. СПб.: 1899; Бернгейм Э. Введение в историческую науку / Пер. с нем. СПб., 1908; *Idem*. Философия истории, ее история и задачи / Пер. с нем. М., 1910.

Ключевым элементом всех этих классификаций было введенное Дройзенем разделение на «источники», «остатки» и «памятники».

Дройзен, большой знаток разных исторических эпох, имел дело с многообразными типами материалов, на которых основывается практикующий историк. Он подразделял исторический материал на *остатки* — «то, что имеется еще непосредственно в наличии из того настоящего, понимание которого мы ищем; *источники* — то, что от них перешло в представления людей и дошло до нас как воспоминание; *памятники* — вещи, в которых объединены обе формы» (§ 21 «Очерка»).

В рамках разделения исторических материалов на «источники», «остатки» и «памятники» Дройзенем (и вслед за ним Бернгеймом) были намечены первые подходы к проблеме прошлого как *Другого* и дистинкции разных типов «прошлого» (в современном научном дискурсе различение прошлого и настоящего тесно связано с понятием *Другого*). Уже в середине *позапрошлого* (sic!) века Дройзен писал: «Данное исторического исследования есть не прошлые времена, ибо они прошли, а еще непреходящее, оставшееся от них в нашем теперь и здесь; пусть это будут воспоминания о том, что было и прошло, или остатки бывшего и происшедшего... Не былые времена проясняются, а то, что от них осталось в настоящем. Эти пробужденные ото сна отблески суть идеально прошлое, мыслимая картина былых времен» (§ 4 «Очерка»). (Заметим, что и в наши дни отдельные историки все еще пребывают в уверенности, что история изучает *прошлое*).

Концепция прошлого как *Другого* и его репрезентации в разных типах «остатков» была развита спустя сто лет социологом Э. Шилзом, который выделил два типа «прошлого».<sup>12</sup> Затем известный английский специалист в области истории политической мысли М. Оук-

---

<sup>12</sup>Первое — «реальное прошлое» — это прошлое таких институтов, как семья, школа, церковь, партия, армия, администрация. Второе — «ощущаемое прошлое», более пластичное (*Shils E. Tradition. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1981. P. 195*).

шот<sup>13</sup> выдвинул идею о наличии трех «прошлых». Первое — это прошлое, присутствующее в настоящем, которое он именует «практическим», «прагматическим», «дидактическим» и т. д. Это прошлое не отделено от настоящего, оно является его составной частью, и в этом смысле это — практическое или утилитарное прошлое. Второе прошлое, по Оукшоту — зафиксированное прошлое. Речь идет о продуктах прошлой человеческой деятельности, отчетливо воспринимаемых как созданные в прошлом. Наконец, третье прошлое — это прошлое, сконструированное в человеческом сознании, прежде всего на основе прошлого второго типа, а именно зафиксированных или сохранившихся остатков прошлого. Но прошлое третьего типа, в отличие от второго, физически не присутствует в настоящем, оно существует лишь в человеческом воображении.<sup>14</sup> То, что линия рассуждений Шилза и Оукшота идет от «источниковедческих» штудий Дройзена, как впрочем и то, что осмысление проблемы многоярусного присутствия прошлого в настоящем происходит уже на другом уровне, кажется очевидным.

Даже любителям модного конструкта «историческая память» будет что почерпнуть из размышлений полуторавековой давности о соотношении социальной памяти, укорененной в традиции, и социальных представлений, образующих историческое знание. Очевидно, что Дройзен безошибочно чувствовал разницу между знанием, запечатленным в текстах, и памятью, передаваемой в образцах поведения, ритуалах и т. д. «Любое воспоминание, — говорил Дройзен, — пока оно внешне не зафиксировано (в поэтической речи, в сакральных формулах, в письменной редакции и т. д.), живет и преобразуется вместе с комплексом представлений тех, кто ими руководствуется (например, „традиция“ в римской церкви)» (§ 24).

<sup>13</sup> *Oakshott M. J. On History and Other Essays. Totowa (NJ): Barnes & Noble, 1999 [1983].*

<sup>14</sup> *Савельева И. М., Полетаев А. В. // «Логос». 2000. № 2 (23). С. 39–74.*



Определяя теоретические основания исторической науки и их специфику, Дройзен первым ввел различие между пониманием и объяснением. Поскольку в XIX в. «описание» имело устойчивый второстепенный статус, «принижающий» значимость исторического знания, он отказался от традиционного разделения описательного и объясняющего знания. В качестве отличительной характеристики методологии общественных наук Дройзен (и лишь впоследствии — Дильтей, Виндельбанд и Риккерт) начал использовать термин «понимание».<sup>15</sup> Но в целом надо признать, что в отличие от историко-методологической проблематики философия «историки» (передовая для своего времени) сегодня выглядит довольно старомодно. Современная философия исторического познания достаточно далека от проблем, волновавших Дройзена. В конечном счете и акцент на различении естественных и общественных наук по методу «объяснения» и «понимания» оказался не слишком плодотворным. Эти понятия не приобрели функционального характера и по сути превратились в привычные ярлыки. Неудивительно, что в XX в. апелляция к «пониманию» стала своего рода философским реликтом,<sup>16</sup> что вовсе не означает, к сожалению, что эти идеи не воспроизводятся в работах теоретизирующих историков.

«Ищите методы» — призыв Дройзена, известный историкам почти столь же хорошо, как упомянутое выше наставление фон Ранке. Метод исторического исследования, согласно Дройзену, определен морфологическим характером своего материала, и его сущность —

---

<sup>15</sup> Указанные авторы совершенно по-разному концептуализировали понятия «объяснения» и «понимания» и, строго говоря, вкладывали в них абсолютно разный смысл. В частности, Дильтей и Риккерт принципиально по-разному определяли объект общественно-знания («науки о духе» и «науки о культуре»). Более того, они использовали разные немецкие слова для обозначения «понимания» (соответственно, *Erklärung* и *Auffassung*).

<sup>16</sup> Подробнее см.: *Савельева И. М., Полетаев А. В.* Знание о прошлом: теория и история. В 2-х т. СПб.: Наука, 2003.

понимание путем исследования (§ 8), которое предполагает критику источников и их интерпретацию.

Конспект лекций, записанных Ф. Майнеке в зимний семестр 1882/83 гг., содержал следующие заключительные слова, произнесенные Дройзеном: «Два момента нашего обзора обозначаются особенно ясно. Во-первых, мы, в отличие от естествоиспытателей, не имеем в арсенале наших средств эксперимента, мы можем только исследовать и ничего иного. Во-вторых, в результате даже самого основательного исследования можно получить только фрагмент, отблеск прошлого; история и наше знание о ней отличны, как небо и земля... Это могло бы привести нас в уныние, если бы не одно обстоятельство: развитие *идеи* в истории мы все-таки можем проследить, даже имея фрагментарный материал. Таким образом, мы получаем не образ происшедшего самого по себе, а образ нашего восприятия и мысленной его переработки» (наст. изд., с. 446).

В концепции Дройзена искусство эвристики, как части методики, заключается в способности с помощью разных аналитических процедур выходить за рамки наличного исторического материала. К таким способам Дройзен относил интуитивные поиски; комбинирование, которое благодаря правильному упорядочению того, что как бы не является историческим материалом, делает его таковым; аналогию, которая для разъяснения использует похожий ход событий в похожих условиях; и гипотезу, доказательством которой является очевидность результата (например, луг в немецких деревнях как выражение древнего общинного порядка) (§ 26 «Очерка», с. 470).

Не менее современны и некоторые принципиальные высказывания Дройзена, содержащиеся в разделе «Топика» (в предшествующих вариантах курса лекций этот раздел назывался «Изложение»). Они касаются проблематики истории в значении текста и в частности риторики исторического исследования. «Формы изложения определяются не по аналогии эпоса, лирики, драмы (Гервинус), — говорил Дройзен, — не по отличию

„определенных во времени и пространстве действий свободного человека в государстве“ (Ваксмут), не по случайным всевозможным хроникам, достопримечательностям, картинкам из старины, историям (*quibus rebus agendis inter fuerit is qui narret*, Авл Геллий), а двойственной природой исследуемого». Двойственность же исторического исследования состоит в том, что представление о происшествиях и порядках былых времен, которое можно получить исходя из настоящего и из некоторых наличествующих в нем элементов прошлого, одновременно ведет к обогащению и углублению понимания настоящего путем прояснения былых времен, и объяснению прошлых времен путем открытия и развертывания того, что из них имеется в настоящем. При этом, как уточнял Дройзен, «каким бы плодотворным ни было исследование, полученные им представления далеко не совпадают с многообразием содержания, движения, реальной энергии, которыми обладали вещи, когда они были настоящим» (§ 88 «Очерка», с. 494–495).

В соответствии с правилами эпохи и собственной ярко выраженной гражданской позицией Дройзен немало сказал и о функциях истории. О важном значении, которое Дройзен придавал историческому знанию в деле формирования национальной идентичности, свидетельствует пассаж из речи, произнесенной им при вступлении в Берлинскую академию наук в 1868 г.: «В наших официальных кругах вплоть до сороковых годов не было по-настоящему оценено, какое значение, в том числе и политическое, имеет задача дать народу образ самого себя в его истории» (см.: Приложения, с. 576). Не менее важной, чем функция идентификации, казалась Дройзену роль истории в формировании образцов. Даже такое сугубо методологическое произведение, как «Очерк историки», кончается словами: «Практическое значение исторических исследований заключается в том, что они — и только они — дают государству, народу, армии и т. д. *образ самого себя*. Изучение истории есть основа политического воспитания и

образования. Государственный деятель — это практикующий историк» (§ 93 (48) «Очерка», с. 499). Таким образом, за историей (а тем самым и историками) признавалось право (обязанность?) давать уроки, а за политиками — обязанность (право?) их брать.

Все это звучит достаточно возвышенно. Но куда более исполнено пафоса определение *познавательной* функции истории, данное Дройзенom: «От земного взора скрыты начало и конец. Но он может путем исследования познать направление текущего движения. Ограниченный тесными рамками настоящего, Здесь и Теперь, он видит, Откуда и Куда мы идем» (§ 85 (90) «Очерка», с. 492).

В 1843 г., задолго до появления «Очерка историки», Дройзен заключил свое напечатанное всего в нескольких экземплярах предисловие к «Истории эллинизма» словами, которые хочется процитировать в завершение:

«Вот и все. Счастливицам, для которых история является книгой с картинками или ларем для грамот и ученых заметок, я, возможно, уже наговорил слишком много бесполезного вздору. Но мне неудержимо хотелось поговорить о том, что мне дорого и важно».

## ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

В своей статье о Дройзене<sup>1</sup> Фридрих Майнеке подробнейшим образом описал, как Иоганн Густав Дройзен, еще в студенчестве живо интересовавшийся философскими вопросами и усердно посещавший лекции Гегеля, постепенно подходил к формулировке практически уже примененных им в своих исторических трудах принципов и основных понятий «историка», или, как он ее называл по-немецки (см. ниже, с. 516), «наукоучения истории»; как он впервые, пока лишь предварительно и отрывочно, обсуждал их в полном глубоких и оригинальных мыслей предисловии ко второму тому «Истории эллинизма» (см. ниже, с. 505), опубликованном в 1843 г. всего в нескольких экземплярах и обращенном к небольшому кругу ученых коллег; как он затем, в 1852 г., решил прочесть курс лекций, касающийся этих вопросов, что было естественно для университетского профессора, но тогда это намерение не осуществилось, а сбылось оно лишь в летний семестр 1857 г.;

---

<sup>1</sup> *Meinecke F. Johann Gustav Droysen. Sein Briefwechsel und seine Geschichtsschreibung — Historische Zeitschrift 141. 1929. S. 249–287.* Это сочинение дает глубокую и проницательную характеристику Дройзена как ученого и его места в немецкой исторической науке. Кроме того, см. прекрасный биографический очерк *Отто Хинце* (Johann Gustav Droysen. Allgemeine Deutsche Biographie. Band 48. Leipzig 1903. S. 82–114; перепечатан в кн.: *Hintzes Historische und Politische Aufsätze. Band 4. Berlin o. J. S. 87–143*) и замечательное введение Хельмута Берве к переизданному им в 1931 г. первому изданию дройзеновой «Истории Александра Великого» (Krönersche Taschenausgabe. Band 87. Leipzig o. J. S. VII–XXXIV).

какую точку зрения за эти годы он выработал и против каких «фронтов» выступал.

С самого начала Дройзен придавал этим лекциям особое значение, поскольку они вновь и вновь побуждали его окидывать взором всю область исторической науки и заново обдумывать ее основные вопросы; но также и потому, что именно благодаря им он имел наивернейшую возможность оказывать влияние на подрастающее поколение историков. Этот курс лекций — по образцу знаменитых лекций Бёка об «Энциклопедии и методологии филологических наук», которые он сам некогда прослушал, он назвал «Энциклопедией и методологией истории» — этот курс он читал чаще всего, не менее 18 раз в продолжение 25 лет. Всякий раз они доставляли ему радость и удовлетворение.

Уже в летний семестр 1858 г., при повторном прочтении лекций, он подготовил для своих слушателей «Очерк», который напечатал тогда только на правах рукописи.<sup>2</sup> Затем «большой спрос, в том числе из-за границы», побудил его в 1862 г. «опубликовать эту брошюру» (ниже, с. 451). «Очерк» вышел в свет во втором издании в 1875 г., а в третьем — в 1882 г. Так как эти издания давно были распроданы, в 1925 г. Эрих Ротхакер<sup>3</sup> перепечатал его в первом томе своей серии «Философия и гуманитарные науки»; по несомненному праву, он назвал этот очерк «самым гениальным введением в историческую науку из всех, какие у нас есть».

Но надо сказать, что этот «Очерк», соответственно своей цели, написан в виде абстрактных, сжатых, впрочем, зачастую великолепно сформулированных тезисов, которые, по признанию Майнеке, сделанному им на основе собственного опыта (с. 280), были для начинающего студента сначала совершенно непонятными. И, ве-

---

<sup>2</sup> Grundriss der Historik von Joh. Gust. Droysen. Als Manuskript gedruckt. Jena: Druck von Friedrich Frommann, 1858, 27 Seiten. В 1862 г. был еще раз напечатан таким же способом.

<sup>3</sup> J. G. Droysen. Grundriss der Historik (Philosophie und Geisteswissenschaften herausgegeben von Erich Rothacker. Neudrucke, Band I.). Halle/Saale, 1925. XII, 104 S.

роятно, постичь их было трудно не только студентам, но и читателям. Таким образом возникли потребность и желание опубликовать сами лекции. Ведь в них Дройзен с большей широтой сумел раскрыть своим слушателям смысл тезисов «Очерка», так что, продолжает Майнеке, его лекции «превращались в фейерверк живых, увлекательных откровений и открытий, в набор удивительно наглядных и поучительных примеров из всех областей всемирной истории и мира исследований».

Сочинение Хр. Д. Пфлаума<sup>4</sup> не смогло полностью удовлетворить это желание и потребность, хотя первая попытка определения значения «Историки» Дройзена для современной науки заслуживает всяческой благодарности. В конце своего исследования, в приложении, Пфлаум поместил «существенно важные материалы по предыстории „Очерка историка“ Иоганна Густава Дройзена» (с. 68–114) и не только отметил значительные разночтения в редакциях «Очерка», но и включил выдержки из тетради «записей, сделанных рукой одного слушателя-студента». Однако эти сообщения были не только фрагментарны, но и неудовлетворительны в передаче содержания.

Если уж дополнять «Очерк», то это можно сделать, только обратившись к тетради собственных записей Дройзена. И после того как стало известно, что таковая нашлась, все настоятельнее высказывались пожелания напечатать ее. Я приведу только два мнения. Иоахим Вах высказал такое пожелание в третьем томе своего солидного труда о «Понимании»,<sup>5</sup> где он в большой главе «Учение о понимании в истории у Дройзена» (с. 134–188) смог использовать при анализе бумаги Дройзена,

<sup>4</sup> J. G. Droysens Historik in ihrer Bedeutung für die moderne Geschichtswissenschaft (Geschichtliche Untersuchungen herausgegeben von Karl Lamprecht, Band 2. Heft). Gotha, 1907. VI. 115 S.

<sup>5</sup> *Wach Joachim*. Das Verstehen. Grundzüge einer Geschichte der hermeneutischen Theorie im 19. Jahrhundert. III. Das Verstehen in der Historik von Ranke bis zum Positivismus. Tübingen, 1933. IX. 350 S. 6. *Astholz Hildegard*. Das Problem «Geschichte» untersucht bei Johann Gustav Droysen (Historische Studien... herausgegeben von Dr. Emil Ebering. Heft 231). Berlin, 1933. 217 S.

которые я предоставил в его распоряжение. Хильдегард Астхольц (ныне г-жа др. Урнер-Астхольц из Штейна-на-Рейне), автор весьма достойного исследования «Проблема истории у Дройзена» горячо поддерживала напечатание собственноручных записей Дройзена, так как во время работы над своей книгой живо ощущала недостаточность материала, опубликованного Пфлаумом и Вахом.

Когда я убедился, что сохранившиеся в наследии Дройзена записи находятся в исключительно благоприятном для публикации состоянии, я незамедлительно приступил к подготовке их для этой цели. Эти многочисленные рукописи содержат три разные по времени основные редакции лекций. Поскольку Дройзен всегда отмечал на полях листов день, когда была начата лекция, помеченная римской цифрой, большинство листов можно датировать. Листы самой первой редакции, которые были разработаны для летнего семестра 1857 г., а затем, как показывают даты, положены в основу курсов 1858, 1859, 1859/60, 1860/61 гг., не сохранились как цельная рукопись, а некоторые листы были вложены в листы второй редакции, другие же были включены и в третью редакцию. Но то, что сохранилось от первой тетради, носит лишь фрагментарный характер. То же самое относится и ко второй тетради, листы которой составляют самую большую часть и разложены в шесть конвертов, которые со второго по шестой надписаны рукой Дройзена: «Эвристика», «Критика», «Интерпретация», «Изложение», «Систематика»; на первом конверте, содержащем вводные листы, указан лишь год: 1862/63. Из этого и из других согласующихся с этим дат можно сделать вывод, что лекции были переработаны для зимнего семестра 1862/63 гг.; но «Очерк», как отмечено выше, на правах рукописи был напечатан еще раз в 1862 г. Большой объем второй редакции объясняется тем, что она использовалась чаще всего, а именно в течение 11 семестров (62/63, 63, 63/64, 65, 68, 70, 72, 75, 76, 78, 79 гг.). Поэтому ее листы имеют больше всего дополнений, исправлений, вы-



черкиваний; поля сплошь исписаны вторичными заметками, чаще всего мельчайшим почерком. Чтобы прочесть их, необходимы значительные усилия, и полная расшифровка тетради второй редакции — если она вообще возможна — была бы, во всяком случае, весьма затруднительна. Но, к счастью, на 73-м году жизни Дройзен полностью еще раз переписал эту тетрадь для чтения лекций в летний семестр 1881 г. По этой рукописи он еще раз прочел курс в зимний семестр 1882/83 гг., но и в этот последний раз он добавил еще несколько листов, отличающихся особо размашистым почерком. Эта последняя тетрадь дает намного более широкий обзор, чем листы прежних редакций; вероятно, причиной новой обработки был неподобающий вид, который приняла старая тетрадь, а также потребность внести изменения и дополнения по содержанию. О том, что и в эту тетрадь были в некоторых местах вложены листы ранних редакций, уже было сказано.<sup>6</sup>

Итак, эта тетрадь содержит полный, заверченный текст. Поэтому идея публикации окончательно оформилась. Ее можно было осуществить; тем более, что Дройзен, следуя своему методу работы, которого он неизменно придерживался всю жизнь, тщательнейшим образом, слово за словом разрабатывал лекции во всех редакциях, и, следовательно, также и в этой последней; тетрадь эта, можно сказать, была готова для печати, за исключением всего нескольких мест, о чем необходимо еще сказать. Но материала было так много, что Дройзен его не всегда успевал прочесть во всем объеме в академические часы. По этой причине он не стал заново переписывать в последнюю тетрадь раздел «Систематики», рассказывающий об общности нравов («Исторический труд сообразно его формам»), а отослал слушателей к «Очерку». Вводные пояснения к главе «Нравственные начала» (ниже, с. 304–307) он еще разработал, но в конце их сделал замечание: «„Очерк“ (§ 62–76) развивает вкратце формы этой общ-

<sup>6</sup> Этим более старым листам, обозначенным датами семестров 67/68, 78, 79, соответствуют ниже места на страницах.

ности, которые в их предметном содержании все без исключения комментируются в этике, а некоторые объясняются в других научных дисциплинах». Но находящиеся на полях против этих мест карандашные пометки (до § «Прекрасное», четверг 15.02.83. LIV, до § «Государство», пятница 16.02.83. LV) показывают, что на этих двух лекциях он, импровизируя, давал обзор широких сфер, которым в вышеназванных, часто состоящих только из ключевых слов параграфах «Очерка» отведено примерно пять печатных страниц. Следовательно, последняя тетрадь имеет в этом месте ощутимый пробел. Но его можно было заполнить. Конечно, пришлось прибегнуть ко второй редакции, где эти разделы были разработаны подробно, и вставить эти листы сюда. Думаю, единство этим не было нарушено. Читателю лишь не надо забывать о более раннем по времени возникновении этих разделов. Ибо некоторые замечания в них, как, например, суждение о современном уровне истории искусства (с. 338), или ссылку на набирающую «в наши дни» силу доктрину Штала и практику Наполеона III (с. 379) можно объяснить, лишь обратившись к началу шестидесятых годов.

Вообще нельзя было и думать о том, чтобы печатать все написанное. Также было бы трудно и хлопотно приводить все выбранные разночтения и более подробные варианты из более ранних рукописей: это потребовало бы большего объема и даже затруднило бы чтение. Тот же, кто захочет в будущем провести более подробные исследования, может сам просмотреть рукописи, которые после выхода этого тома я передам Тайному государственному архиву в Берлин-Далеме, чтобы они воссоединились с остальным, уже хранящимся там литературным наследием Дройзена.

Как бы тщательно ни были проработаны тетради, то, что подлежит публикации, все же, естественно, должно быть в некотором смысле подготовлено к печати. Ибо и последняя тетрадь по-настоящему все же не была еще готова к ней. Автор, если бы он сам публиковал ее, несомненно подверг бы ее доработке и, вероятно, очень зна-

чительной. Но сторонний издатель имел право сделать только самое необходимое. Ему показалось правильным обращаться с рукописью хотя и с величайшим пиететом, но не с гипертрофированной педантичностью.

Начиная с самого второстепенного, внешнего, следует сказать, что некоторые добавления издателя заключены в квадратные скобки. Кроме того, повсюду вводились ныне действующие правила правописания, а пунктуация ориентировалась на сегодняшнее употребление. Имена даны в правильном написании; только относительно греческих имен я не считал необходимым подгонять их к единой форме. Поэтому встречаются написания Aeschylus и Aeschylus, Pheidias и Phidias, Ptolemaios и Ptolemäus и др. Небольшие стилистические неточности или некрасивости, например, вызванные более поздними вставками, просто исправлялись или выравнивались. Но значительных вмешательств, даже там, где редакция была явно еще не для печати, не делалось. Лишь там, где иногда, особенно в начале последней тетради, имелось несколько параллельных формулировок, делалась попытка установить единый связный текст. Ради лучшей обзорности были согласованы заголовки разделов лекций и заголовки «Очерка», или по последним дополнены и вставлены номера параграфов «Очерка» там, где они в тетради отсутствовали.

Нередко в тетради в противоположность краткости «Очерка» предмет излагается весьма широко, чему виной, как легко можно заметить, педагогические причины. Так, например, в разделе «Критика источников» (с. 207). Как раз этот предмет был особенно дорог Дройзену, и он хотел изложить его как можно более доходчиво для слушателя. Делать в нем сокращения было бы непозволительным вмешательством. Но в других местах могли быть допустимы и даже, как мне казалось, необходимы некоторые опущения и сокращения. Ибо хотя лектор и любит повторять ранее сказанное, но уже напечатанное можно и не повторять.

Иногда и в тетради были записаны только ключевые слова, а связное изложение должно было возникнуть

при чтении лекций. Такие перечисления встречаются, в частности, в разделах о грамотах и надписях (с. 102 и с. 105). Их можно было бы без труда отбросить. Но мне не могло прийти в голову стилизовать их задним числом. Такие перечисления всегда понимались как примеры, и напечатанные лекции не обязательно должны быть справочником или очерком источниковедения.

То же самое можно сказать и о ссылках на литературу. В тетради лишь изредка встречаются более или менее точные выходные данные. Но, как мне кажется, было бы чересчур педантичным дополнять названия или делать вставки, например, на странице 100 привести полное название упомянутой там публикации бумаг кардинала Гранвеллы, или когда на странице 95 в скобках упоминается выдающийся исследователь сказаний «Маннхардт из Данцига», приводить его сочинения. Так же и во многих других случаях. Ведь дело заключается не в библиографической полноте и точности. Кто захочет получить более подробную справку, может воспользоваться справочниками. Вопрос о том, не слишком ли мало было здесь мною сделано, я оставляю суду специалистов.

Как говорил Майнеке и как покажет публикация, главная прелесть лекций заключалась в рассыпанных в них многочисленных примерах, которые Дройзен, «универсальный историк», свободно и в обилии извлекал из всех сфер истории и из областей самых различных наук. Правда, при напечатании здесь возникают сомнения. В приводимых Дройзеном примерах все соответствует тогдашнему уровню исследования, но часто уже не соответствует сегодняшнему. На многое сегодня смотрят иначе, что-то было дополнено, исправлено, что-то оказалось вовсе неверным. Как поступать в таких случаях? Я не мог решиться на вмешательство в текст, за исключением всего нескольких примеров, где можно было без особого ущерба вычеркнуть уже неверные и необязательные примеры и устранить в них ошибочное, сделав небольшие изменения. И, вообще, добавлять примечания, исправляющие ошибки, казалось

мне насилием над текстом. Этот текст был написан не сегодня, а от 80 до 50 лет назад, и если примеры свидетельствуют о тогдашнем уровне науки, то, мне кажется, в этом заключается особая ценность и прелесть.

Посмертные публикации, тем более публикации лекций, всегда несколько проблематичны. И это произведение, выходящее в свет после смерти автора, несмотря на все усилия, не может по-настоящему заменить издание, о котором позаботился бы сам автор. Что Дройзен иногда подумывал об издании своих лекций, можно понять из предисловия ко второму изданию «Очерка» (ниже, с. 453). Там он упоминает, что ему высказывали пожелания продолжить «Очерк» и переработать его в настоящий справочник; но «на сегодня» он должен был отказаться от этого, поскольку «Очерк» был написан совсем для другой цели. В дальнейшем, из-за перегруженности другими своими обязанностями, он отбросил эту мысль. В предисловии к третьему изданию он уже не упоминает о ней, и знаменательно то, что, помещая в нем предисловие к первому изданию, он опускает предисловие ко второму. Многие будут сожалеть, что он не издал такой справочник. Возможно, последний сослужил бы значительную службу для науки и для самого Дройзена, и тогда, по меткому выражению Майнеке (с. 278), то направление его творчества, о котором теперь возвещает только «Очерк», не затерялось бы незаслуженно «на продолжительный срок в тени более пространных и более удобных для посредственного вкуса публикаций, воплощающих его замысел».

Нынешняя публикация не может ни заменить собой труд самого Дройзена, ни полностью воспроизвести те лекции, которые были некогда прочитаны в действительности. Живое слово и исходящую от него силу воздействия никогда нельзя заменить печатным текстом, и чем энергичнее и ярче это слово, тем менее это возможно. Кроме того, как на примере уже было показано выше (с. 29), там, где Дройзен говорил об особо важных для себя вещах, он переходил на импровизацию. Следует привести еще один пример. В разделе, рассказываю-

щем о монографической форме изложения, в том месте, где в качестве примеров его применения названо развитие государства, церкви, конституционного устройства и т. д. (ниже, с. 418), на полях тетради карандашом сделаны беглые заметки: «например, история музыки: все новые требования, предъявляемые к ней, и новые средства; скрипка, Палестрина и т. д». Из этих заметок, набросанных, очевидно, при подготовке к лекции, мы можем понять, что здесь, как и в других местах, многое было рассчитано на свободную импровизацию, и такие моменты, несомненно, были наиболее хороши. По крайней мере в одном случае можно было включить в текст один такой импровизированный фрагмент, а именно заключительные слова (ниже, с. 446), записанные Майнеке и уже опубликованные в его сочинении о Дройзене (с. 287); он переписал их мне еще раз, советуя включить их и в это издание, и я охотно последовал этому совету.

Как бы то ни было, все же при публикации именно этих лекций можно, пожалуй, довольствоваться заменой того, что само по себе незаменимо. Ибо, как значится в подписном листе, о котором еще предстоит сказать ниже, их публикация «в соединении с политическими сочинениями Дройзена и его перепиской, уже изданными после его смерти, дает живое представление о все еще недооцененной личности ученого во всем ее научном и человеческом значении, во всей силе ее нравственного содержания, дает широкому кругу читателей хотя бы некоторое представление о том поразительном впечатлении, которое эти лекции производили на слушателя». И одновременно из этих лекций яснее, чем из краткого «Очерка» и других высказываний Дройзена, высветится третья из его великих концепций, «историческая», как ее называет Майнеке. Из них станет очевидным, что «дерзновенный почин Дройзена, стремящегося утвердить и прояснить зыбкую сущность историографии, вокруг которой снова и снова разгораются споры, и создать философски обоснованную теорию ее методов, задач и достижений,

явился эпохальным деянием»; деянием, которое, как ясно высказал уже Эрнст Мейстер,<sup>7</sup> как, резюмируя, отметил Майнеке и затем в определенном направлении подробнее обосновал Вах, представляет собой самостоятельный, подготовительный и ведущий вперед, поистине необозримый «этап» в развитии новой «историологии» (Майнеке) на пути от Вильгельма фон Гумбольдта и Шлейермахера к Дильтеу, Виндельбанду, Риккерт и Зиммелю, а затем к Шпрангеру и Ротхакеру. Своеобразие достижений Дройзена как ученого в немалой степени заключается в том, что в отличие от этих мыслителей — и это станет очевидным благодаря публикации лекций — философские основы историописания подробно и систематически обсуждаются здесь крупным историком, который, наверное, как никакой другой немецкий историк, обладал арсеналом, позволяющим заниматься философией.

Для меня с самого начала было несомненно, что издание лекций нужно дополнить переизданием «Очерка историки». Хотя «Очерк», как уже отмечалось, и без лекций имеет свою собственную историю. Но для лекций «Очерк» просто обязателен. Как когда-то у слушателя он был перед глазами, так и теперь читателю нужно иметь его под рукой как справочник. Во многих местах тетрадь ссылается на «Очерк», и я позволил себе добавить некоторые другие ссылки, не обозначив их особо. Кроме того, и это важнее, в «Очерке» есть многое, что либо совсем нельзя найти в тетради в том же контексте, либо дано не так подробно.

Следовательно, не могло быть никаких сомнений, что здесь надо еще раз напечатать «Очерк» как необходимое подспорье для читателя, да и вопрос, как это сделать, был намного проще, чем в случае с тетрадью. Публикация, само собой разумеется, должна была следовать последнему отредактированному самим автором, т. е. третьему изданию. В этом издании несколько изменено

<sup>7</sup> *Meister Ernst*. Die geschichtsphilosophischen Voraussetzungen von Johann Gustav Droysens Historik. Historische Vierteljahrschrift. 23. 1928. S. 25–63, 199–221.

прежнее распределение материала, а именно раздел «Изложение», или, как он теперь называется, «Топика», который ранее наряду с «Эвристикой», «Критикой», «Интерпретацией» составлял четвертый подраздел «Методики», был изъят из этого раздела и помещен в конце лекций как равноправный с «Методикой» и «Систематикой», третий главный раздел. В предисловии к третьему изданию автор замечает, что при повторном чтении лекций это «оказалось целесообразнее». Но тем самым Дройзен пожертвовал удивительной, возвышенной концовкой со ссылкой на свидетельство Иоанна Крестителя.

Учитывая, что уже Пфлаум (см. выше, с. 26), хотя и далеко не исчерпывающим образом, отметил расхождения, которые имеют место в трех изданиях, но прежде всего расхождения между ними и текстом, опубликованным на правах рукописи, я счел своим долгом учесть эти варианты как можно более точно, не различая их по большей или меньшей важности, что мне показалось ненаучным. Эти расхождения указаны в примечаниях к тексту «Очерка».

Само собой разумеется, были перепечатаны имеющиеся во всех трех изданиях приложения и еще было добавлено предисловие ко второму тому «Истории эллинизма» (выше, с. 24), которое было впервые включено в число приложений Ротхакером и которому он дал меткое, заимствованное из текста статьи заглавие «Теология истории». В предисловии к первому изданию «Очерка» (ниже, с. 451), печатавшемся также в последующих изданиях, Дройзен говорит, что он «предпочел еще на какое-то время отложить это сочинение, поскольку читателя, по-видимому, не может заинтересовать так, как интересуется меня самого, то, какими путями, из какой исходной точки я пришел к результатам, которые теперь предлагаю ему». Эти в высшей степени знаменательные для Дройзена слова уже давно утратили значение и, как с полным правом говорит Ротхакер, они прямо-таки обязывают нас перепечатать в нашем издании это сочинение. Я только поставил это преди-



словие, предназначенное друзьям-коллегам, на первое место среди приложений, поскольку мне хотелось соблюсти временной порядок. Я перепечатал его по оригиналу, но сохранил также примечание (с. 379), которое сделал мой отец, когда он впервые опубликовал это сочинение в первом томе «Малых работ по древней истории»<sup>8</sup> (с. 298 и след.) и тем самым изъял его из незаслуженного забвения.

Я колебался, не надо ли перепечатать также опубликованный Дройзенем в первом томе «Ежегодных отчетов исторической науки за 1880 г».<sup>9</sup> обзор некоторых новых выходивших в те годы изданий. Он содержит несколько общих соображений полностью в духе лекций и «Очерка», но этот обзор отвлек бы читателя безразличными ему именами и производил бы впечатление инородного тела. Таким образом я отказался от публикации этого обзора, но хотел бы напомнить о нем, поскольку он, по-видимому, совершенно забыт.

Зато в качестве последнего приложения я включил «Вступительную речь», произнесенную Дройзенем 4 июля 1867 г. при его вступлении в Берлинскую академию. В этой речи Дройзен сам сформулировал то значение, которое имела «Историка» в его творчестве, и тем самым она наилучшим образом завершает данное издание. То, что она уже была напечатана в «Переписке» (2, с. 888 и след.), не может быть препятствием.

Таковы подходы и принципы, которыми я руководствовался. Я могу лишь надеяться, что сделал до некоторой степени правильный выбор и достиг того, чего можно было достичь. Но то обстоятельство, что я вообще смог опубликовать этот том, наполняет мою душу величайшей радостью и глубоким чувством благодарности. Уже давно передо мной брезжила цель напечатать лекции. Но когда я подготовил все к печати, надежды на издание начали становиться все более зыбкими. Тогда я об-

---

<sup>8</sup> *Droysen J. G. Kleine Schriften zur Alten Geschichte* [herausgegeben von Emil Hübner]. Zwei Bände. Leipzig, 1894.

<sup>9</sup> *Jahresberichte der Geschichtswissenschaft I. Jahrgang 1878*. Berlin, 1880. S. 626–635.

ратился к Фридриху Майнеке с вопросом, не возьмет Прусская академия на себя издание и не поручит ли это дело мне. Майнеке сразу же откликнулся, и по его запросу, поддержанному Эрнстом Хейманном, академия 1 марта 1934 г. приняла соответствующее решение. Но поскольку она из своих собственных средств могла выделить лишь небольшую сумму, постольку она испросила дополнительные средства на публикацию от Немецкого общества вспомоществования. Но и оно не смогло оказать соответствующей поддержки. Таким образом дело снова застопорилось; а когда потерпели неудачу и многие другие попытки, я приготовился к тому, что издание будет сорвано. Тогда в начале этого года г-н генерал Бухфинк, горячий почитатель Дройзена, мой хороший и давний знакомый еще со времени его доцентства в Йене, которому я подробно сообщал о моем предприятии и его неясных перспективах, объявил, что если ничто иное не поможет, то нужно собрать средства частным путем. Он связался с г-ном рейхминистром в отставке его превосходительством Шифером. Был составлен подписной лист, подписанный историками Отто Хинце, Фридрихом Майнеке, Генрихом фон Србиком, Ульрихом Вилькеном, генералом Бухфинком и мной, разосланный широкому кругу почитателей Дройзена, историков и ревнителей исторических наук, и он очень скоро возымел желанный успех, правда не столько за счет числа дарителей, сколько благодаря размеру некоторых сумм. И академия 7 мая 1936 г. подтвердила свое прежнее решение. В начале августа мы смогли начать печатание и за четыре месяца его завершили.

Всех великодушных покровителей этого издания я хотел бы от всего сердца поблагодарить, прежде всего генерала Бухфинка и его превосходительство Шифера, без энтузиазма и энергии которых оно сорвалось бы, затем всех подписавшихся и — я могу, наверное, при этом говорить и от их имени — всех, кто великодушно внес лепту в дело издания книги, Прусскую академию, прежде всего академика Фридриха Майнеке, который с самого начала энергично выступал в поддержку издания,

и, наконец, всех тех, кто дружески помогал мне при корректурах, моего здешнего коллегу, филолога-классика Фридриха Цукера и еще раз генерала Бухфинка.

Я считаю великой милостью судьбы, что мне выпало счастье вслед за ранними публикациями Дройзена издать и эту книгу. Оставляя будущему то, что еще нужно сделать — все еще отсутствующее полное собрание малых произведений Дройзена по Новой истории, публикацию его заметок, касающихся преподавания истории в университетах, архивного дела и т. п., — я завершаю ныне благодатную деятельность, которую я в течение четверти века посвящал памяти моего деда.

Йена, 18 октября 1936 г.

*Рудольф Хюбнер*

**ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  
И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ**



# ВВЕДЕНИЕ

## Предварительное замечание

Название, под которым я объявил этот курс лекций, лишь приблизительно очерчивает то, о чем я намереваюсь говорить. Я не хочу предлагать Вам ни обзор отдельных дисциплин, каковые обычно причисляют к необходимым для изучения истории, ни руководство (одогетику) к тому, как следует организовывать это изучение, как восходить от одной ступени к другой. Моя цель иная, практическая в ином смысле. Среди наших академических и государственных экзаменов предмет истории признан особым; и число тех, кто, как принято говорить, изучает историю, непрерывно растет.

Что же это значит: изучать историю? Что подразумевают под историей на экзаменах по этому предмету?

Приходя в университет со школьной скамьи, студенты полагают, что история есть не что иное, как важнейшие, главным образом политические события древнего и нового времени. Приблизительно такое же толкование, только более глубокое и специализированное, дают затем и в университетских лекциях, наряду с известным методом, как нам самим при исследовании получать из источников, критикуя их, новые результаты. Имея огромный объем уже накопленных исследований, мы все больше свыкаемся с мыслью, что нельзя объять всю область истории, а нужна специализация, например, следует изучать только древнюю историю

или, наоборот, только новую, или историю только немецкого средневековья, как будто это особые науки.

Итак, в чем же заключается научный характер таких занятий? Какова связь этого характера с их методом? Мне кажется, для всякого, кто хочет обратиться к историческим занятиям, будет интересно разобраться в этом и задаться вопросом, в чем их оправдание и как они соотносятся с иными формами и направлениями человеческого познания, в чем заключается своеобразие их задачи, насколько обоснован их метод.

Вопросы, над которыми до сих пор едва ли кто серьезно задумывался, и менее всего в кругах самих историков. Отсюда и то печальное явление, когда другие науки по-настоящему не знают, в чем они схожи с нами, а что относится только к нашей компетенции. Отсюда не менее безрадостное явление, когда другие науки время от времени претендуют на то или иное из нашей области, под конец заявляя: то, что остается истории от других наук, принадлежит фантазии, история представляет собой всего лишь нагромождение случайных и внешних заметок — и прочие расхожие уничижительные отзывы.

Целью этого курса лекций является обсуждение намеченных вопросов, а также обзор задач исторической науки и того, каким способом она должна их решать.

Прежде всего разберемся, как мы вообще приходим к тому, что начинаем говорить об истории и науке истории?

# І. История

## § 1–7

### Исходный пункт

Конечно, мы не будем заимствовать из других наук дефиницию нашей науки и правила ее метода. Ибо мы тем самым подпали бы под их нормы и стали бы зависимы от их методов.

Если бы мы, как того часто требуют в наше время, захотели трактовать историю по методу естественных наук и заявили, что она постольку научна, поскольку объясняет механикой атомов исторический мир, то история была бы лишь одной из естественных наук. В то же время естественные науки признают, что далеко не все, что относится к области эмпирических исследований, они могут объяснить с помощью своей механики атомов.

Если это так, то для того, что остается, сколь бы велико или мало оно ни было, необходимо найти иные формы познания, соответствующие своеобразию явлений, содержащихся в этом остатке, и вытекающие из этого своеобразия, для которого они должны быть пригодны.

Поскольку наша наука эмпирическая, мы не можем поступить иначе, как эмпирическим путем найти и занять исходный пункт для наших исследований.

Отыщем в нашем представлении слово «история». Мы употребляем его, ощущая приблизительность его значения. Насколько мы сознаем самих себя, мы замечаем, что несем в себе огромную массу представлений, созерцаний и воспоминаний, опыта и достоверных понятий, которые соотнесены с уже не существующими, былыми вещами и событиями, в отличие от других наших представлений, которые соотносятся с еще суще-



ствующим и чувственно воспринимаемым, — представления и воспоминания, наличная совокупность которых обнимает и определяет наше Я, представляет собой орган нашего воления и умения.

То, чем мы таким способом обладаем, во внешней действительности уже не существует, поскольку в своем внешнем бытии оно минуло, а существует только как воспоминание и представление в нашем уме, лишь там оно еще живо и оттуда продолжает действовать и участвовать в нашей жизни.

Мы понимаем под словом «история» сумму того, что произошло в течение времени, насколько наше знание может проникнуть в глубь веков — точно так же, как мы по аналогии употребляем слово «природа», желая охватить всё, что имеется где-либо в пространстве, доступное нашему знанию и исследованию.

[1. Пространство и время]. Здесь мне придется сделать одно замечание, имеющее для нашего вопроса важнейшее значение. Оно касается способа наших чувственных, т. е. эмпирических, ощущений и тем самым является нормативным для нашего эмпирического познания. Это так называемая специфическая энергия наших органов чувств, как ее объяснила новейшая физиология (Вундт. Физиологическая психология. 1874).

Она учит, что ощущения, относящиеся к различным чувственным нервам, например, ощущение синего, сладкого, теплого, ощущение высоты звука, образуют совершенно обособленные циклы. Одни и те же колебания воздуха, которые ухо воспринимает как звук, кожа, по крайней мере, при более низких звуках, воспринимает как вибрацию, а глаз как колебание струны. Каждый из этих органов чувств ощущает одно и то же явление иначе, каждый на свой лад. А с другой стороны, каждый из наших органов чувств, как бы он ни был возбужден, ощущает лишь в своем цикле ощущений; так, например, возбуждение глазного нерва, будь оно вызвано освещенными предметами или давлением на глазное яблоко, или электрическим током, пропущен-

ным через глаз, порождает лишь световые ощущения; глаз сам по себе не различает, каким образом возникло возбуждение, вследствие которого у него появилось это световое ощущение. Точно так же слух, вкус и т. д.

Следовательно, вещи не сами по себе синие, сладкие, теплые, высокого тона, а это ощущения, которые вызываются их воздействием на тот или другой наш орган чувств; не воздействующее является синим, теплым, сладким и т. д. То, как ощущается воздействие, принадлежит органу чувств, который его воспринимает. Следовательно, ощущение является не *отображением* в нашей душе того, что воздействовало на нее, а лишь знаком, который орган чувств телеграфирует в головной мозг, сигналом происшедшего воздействия. Ибо отображение требовало бы некоего сходства с отображенным предметом. Знак же может не иметь никакого сходства с тем, что им обозначено; отношение между тем и другим состоит только в том, что один и тот же предмет, воздействуя при одинаковых условиях, приводит к возникновению одних и тех же знаков, следовательно, что неодинаковые знаки всегда соответствуют неодинаковым впечатлениям.

Какими бы субъективными, т. е. принадлежащими всецело нашим чувственным ощущениям, ни были эти знаки, они ни в коей мере не являются только видимостью, а каждый из них есть именно знак чего-то происходящего. Поскольку одинаковые комбинации воздействий на каждый из наших чувственных органов приводят к возникновению одинаковых знаков, относящихся к его сфере действия, постольку под воздействием одинаковых впечатлений на органы чувств и вследствие их перевода в головной мозг там всегда повторяется одна и та же комбинация соответствующих знаков. Если спелый персик был однажды воспринят глазом как пурпурный, вкусовыми нервами — как сладкий, осязательным органом — как мягкий, то затем при виде спелого персика в нашей душе повторяется та же комбинация знаков, и эта комбинация повторяется благодаря названным признакам спелости плода. Когда мы ориенти-

руемся в темноте среди предметов, которые нас окружают, ощупывая их кончиками пальцев, выясняя, плоски они или объемны, сколь они высоки и широки, стоят ли вплотную друг к другу или отдельно, и наши десять пальцев работают как подвижные ножки циркуля, тогда все наши органы чувств одновременно как бы ощупывают предметы вокруг нас, чтобы получить от них воздействия, каковы каждое из пяти чувств воспринимает по-своему и телеграфирует в душу, а затем, обобщив, найти, какая комбинация внешних знаков из этого получается. Мы имеем в этих знаках и их комбинациях не отображение действительности, а, скорее, соответствующую реальностям систему восприятий, которая подвижна, разнообразна и достаточно точна для того, чтобы в соответствующей изменяющейся комбинации знаков следить и наблюдать за тем, что существует и происходит вокруг нас, постоянно меняясь.

Сколь бы мало мы ни сознавали это натуралистически, в нашем мире знаков и, прежде всего только в нем, содержится для нас весь мир сущего и происходящего вне нас, точно так же, как в наборном ящике типографского наборщика содержатся слова, фразы и целые книги. Во все новых прикосновениях и восприятиях наших чувств, вновь и вновь под контролем наших знаковых систем, мы получаем если и не отображение сущего и происходящего, то хотя бы представление о них, непрерывно расширяющееся, пополняющееся и корректируемое.

Такова основа всякой эмпирии. Не мир явлений дает нам эти знаки, а особая природа различных чувственных нервов и нашей спонтанной и своеобразной деятельности формирует из воздействий на наши чувства и при помощи этих инструментов то, что мы получаем для себя из этого воздействия. Она, возбужденная извне, образует бесконечные системы знаков, при помощи которых в нашем внутреннем мире проецируется и воспроизводится для нас мир явлений. И в этой своей деятельности наша душа развивается в особую спонтанную силу, она становится мыслящим духом.

Все внешние волнения, воспринимаемые нашим мыслящим духом посредством органов чувств, он накапливает и, имея их в наличии, анализирует, связывая на основе их разнообразных модальностей, среди которых временная последовательность и пространственное сосуществование являются наипервейшими и самыми общими. Обе эти формы возникают не из тех или иных ощущений отдельных органов чувств, а, так сказать, из нашего общего чувственного ощущения, ощущения того, что мы сами находимся в бесконечном пространстве посреди рассеянных и неустанно движущихся реальностей, движемся вместе с ними, и все же являемся в них чем-то собранным и замкнутым в себе, твердой точкой, неким Я.

Как все другие модальности или регистры нашего восприятия и системы его знаков, пространство и время как таковые не существуют во внешнем мире; здесь имеет место лишь неустанное рассеяние и движение, так или иначе различимые колебания, которые наши органы чувств воспринимают как цвет, тепло, звук; тяжесть они воспринимают как свободное падение, коему что-то препятствует, и т. д.; лишь наш ум регистрирует полученные чувственные впечатления как цвет, тепло, звук, тяжесть, как пространство и время; и лишь благодаря этим чувственным впечатлениям мы начинаем различать в самих по себе пустых категориях: цвет, теплота, звук — всевозможные цвета и звуки.

Мы сперва воспринимаем эти воздействия реальностей на нас в пространстве и времени, а затем разлагаем нашу систему знаков на две большие области потому, что обе эти формы, оба регистра оказываются самыми общими, в которые можно включить и которым можно подчинить все прочие: тепло, звуки, цвет, тяжесть и т. д.

Ибо оба эти созерцания, пространство и время, объемлют в себе самые широкие альтернативы, и более того, они дополняют друг друга в такой степени, что под их «или-или» для нас всё подпадает, о чем мы узнаем из восприятия. Пространство и время соотносятся друг с другом как постоянство и непрерывное движение, как

покой и спешка, как связанность и безудержность, как материя и сила. Всякое движение состоит в том, что время снова и снова преодолевает инертное пространство и включает его в поток становления, пространство же снова и снова стремится затормозить мимолетное время, распространить его вширь и привести к покою бытия. Но эти наиболее общие созерцания, пространство и время, пусты, пока не получают какое-либо дискретное содержание в силу того, что мы определяем и наполняем их отдельными, одновременными или последовательными частностями. Определять последовательность и одновременность — значит различать частности в пространстве и времени, значит не только сказать, что они существуют, но и что они собой представляют.

[2. Двойственность человеческой сущности]. Из наших рассуждений вытекает еще и другой результат. Наша человеческая сущность, условие нашего познания и знания, имеет сильно выраженный двойственный характер, она в одно и то же время и чувственна и духовна, находится в самой гуще неустанно движущегося мира явлений, увлекаемая ими из стороны в сторону, и одновременно сосредоточенная и по отношению к этому миру замкнутая в себе, в своей духовности, в своем Я-бытии.

Это Я-бытие — не только жизнь, которой живет и растение, не только чувственная душа, которая есть и у животных. Какими бы высокоодаренными ни были иные из животных, до высот Я-бытия, до речи, мышления, духовного творчества, насколько мы наблюдаем, не поднимается ни одно.

Аристотель (О душе. II, 4, 2) говорит, что у животного, растения есть способность «производить себе подобное (животное — животного, растение — растение), дабы по возможности быть причастным вечному и божественному» (ἵνα τοῦ ἁεὶ καὶ τοῦ θεοῦ μετέχῃσι). Следовательно, в непрерывности вида они соучаствуют в божественном и вечном; вид есть постоянное, идея, которая проявляется в отдельном животном, в отдельном растении, а

именно так, что в любом из этих явлений вид повторяется и воспроизводится периодически. Аристотель добавляет, что животное и растение, т. е. отдельное индивидуальное явление, «продолжает существовать, но не оно само, а ему подобное»: οὐκ αὐτὸ ἀλλὰ οἷον αὐτό, «оставаясь единым не по числу, а по виду».

В противоположность этому характеризуется род людской. В нем есть ἐπίδοσις εἰς αὐτό, т. е. он постоянно добавляет к самому себе приращение, создавая нечто новое и большее с явлением каждого нового индивидуума. Человек причастен божественному и вечному иначе, чем животное, оставляющее после себя только себе подобное (οἷον αὐτό). Ибо человеческое в каждом новом индивидууме получает некую прибавку к самому себе (ἐπίδοσις εἰς αὐτό), и именно поэтому индивидуум имеет собственное значение, представляет интерес как индивидуум и значителен в ряду поступательного развития. Именно поэтому ему дано оставлять после себя в том, что он, созидая, совершает, свой αὐτότατον, выражение и отпечаток, отражение своего собственного бытия. И именно эта его сущность, созидающая и преобразующая в различных формах, относится к историческому исследованию. И у человека есть своя тварная сторона, но все же genus homo не только животное; это естественнонаучное определение его рода охватывает не все его существо, как у животного или растения, можно бы даже сказать, что взамен родового понятия ему дана история. И ее содержанием являются все новые и новые открытия и преобразования рода человеческого.

Такая четко выраженная двойственность человеческой сущности обуславливает обширные циклы научных выводов, выработанных человеческим умом. Поскольку наше Я обладает духовной и чувственной сущностью, эти выводы могут исходить либо от чувственной, либо от духовной стороны, могут быть либо эмпирическими, либо спекулятивными, т. е. либо ум, наблюдая и исследуя, обращается к внешнему миру, либо мыслящее Я, обладая богатым накопленным содержанием, углубляется в него и познает само себя. Конечно,

это противопоставление необъективно, ибо в той и другой форме действует одно и то же познающее Я, оперирующее одним и тем же материалом, а именно теми же системами знаков, которые присутствуют в нас, будучи вызваны эмпирически, но мысленно упорядочены и скомбинированы в представления, слова, мысли.

Находясь в самом центре мира явлений, мыслящее Я может понять и познать себя лишь благодаря тому, что оно не желает отказаться от своей противоположности внешнему миру, не-Я.

И, опять-таки, мыслящее Я может эмпирически относиться к чувственному миру лишь потому, что оно знает себя как духовно единое, как целостность, и оно сосредоточивает как в фокусе внешнее, бесконечно рассеянное многообразие. Из этого центра оно может сознательно и целеустремленно воздействовать на внешний мир, как бы реагируя посредством своих органов чувств сообразно той же системе знаков, которую оно заимствовало из внешнего мира; может, насколько оно в силах, упорядочивать свою периферию.

## **История и природа**

Главный вопрос можно сформулировать так: что дает нам мерило и, так сказать, право, для того чтобы из хаоса эмпирических ощущений одни обобщать как историю, а другие — как природу?

Мы знаем: все, что есть в пространстве, одновременно есть и во времени и, наоборот; следовательно, вещи не в нас разделяются на природу и историю не объективно, а пространство и время суть только самые общие категории, согласно которым мы можем для себя разлагать всю совокупность явлений и упорядочивать их. Наше восприятие поставит явления в тот или иной ряд, в зависимости от того, какой момент ему покажется главенствующим: время или пространство.

Мы очень хорошо знаем, что солнце, луна и звезды, а также камень, растение, животное пребывают во вре-

мени; но для камня, каковым бы он ни был, значение времени заключается разве что в том, что он подвергается выветриванию. У растения, животного, пожалуй, есть временное протекание, но зерно пшеницы, брошенное в землю, через былинку, цветение, колос станет повторением таких же зерен. И то же самое можно сказать о животном, обо всей жизни на земле, всем звездном мире, главным признаком которого для нас является периодический восход и закат. Момент времени кажется нам здесь вторичным, бесконечный ряд времени разлагается в этих преобразованиях на равные повторяющиеся циклы или периоды, как это называется в алгебре. Что касается индивидуальной жизни животного, растения, то мы не можем понять их иначе, нежели как повторяющиеся в них периоды, их материальность, действующие в них физические и химические законы; наше исследование в конечном счете ищет механику атомов, которая позволяет им быть и становиться такими, какие они есть. Итак, в явлениях этого ряда мы понимаем лишь постоянное, материальное, в чем совершается движение, правило, закон, по которому оно происходит, — ищем равное в перемене, неизменное в изменчивости; момент времени кажется нам здесь всегда вторичным. Но всеобщее понятие «пространство» получает здесь свое дискретное содержание бесконечно расширяющегося бытия, и совокупность таких представляющихся нам явлений бытия и вращающегося по кругу становления мы понимаем как природу.

В других явлениях мы встречаемся как с более важным с переменным в постоянном и с меняющимся в равном. Ибо здесь мы видим, что в движении возвращаются не всегда к одним и тем же формам, а складываются все новые и более развитые формы, такие новые, что материальное, в котором они проявляются, становятся как бы вторичным моментом. Мы здесь видим постоянное становление новых материальных образований. Любое новое является не только иным, чем более раннее, но и происходящим из более ранних и обусловленным ими, так что оно предполагает более ранние и идеально имеет их в



себе, продолжая их, и в этом продолжении указывая на ещё другие образования, которые последуют за ним.

Именно в этой непрерывности все более раннее расширяется и дополняется более поздним ( $\epsilon\lambda\iota\delta\omicron\varsigma \epsilon\iota\varsigma \alpha\upsilon\tau\acute{o}$ ), именно в этой непрерывности целый ряд изведанных форм складывается во все более высокие результаты, и любая из изведанных форм является моментом становящейся суммы. В этом неустанном следовании один за другим, в этой восходящей непрерывности всеобщее понятие «время» получает свое дискретное содержание, содержание бесконечной последовательности поступательного становления. Совокупность таких явлений становления и поступательного движения мы воспринимаем как историю.

И в сфере, понимаемой нами как природа, имеются отдельные существа, индивидуальности; возможно, что и для них есть какое-либо движение прогресса, какая-либо историческая жизнь, конечно, только с точки зрения, которая находилась бы вне сферы нашего человеческого познания. Насколько мы можем видеть и наблюдать по свойству человеческой природы, лишь в мире человека есть этот знак поступательного развития восходящей в себе непрерывности.

Ибо как в нас самих, так и во всех человеческих сферах мы как движущую причину познаём энергию воли. И эта воля направлена на то, что еще только должно возникнуть, родиться или измениться, на то, что вначале существует лишь в мыслях т. е. еще не существует, пока не претворится в дело, и, следовательно, любой такой волевой акт как бы обращен к будущему и имеет своей предпосылкой настоящее и прошлое; он направлен на то, чтобы этой идее соответствовало бытие, в котором она имеет свою действительность и истину, чтобы преобразовать это бытие согласно идее и по-новому, так, чтобы оно стало в ней истинным. Ибо истиной является та идея, которой соответствует бытие, и бытие истинно, если оно соответствует идее.

Здесь движущим и действующим моментом является не механика атомов, а воля, которая рождается и оп-

ределяется из Я-бытия, и действующая одновременно воля многих людей, которые в этом сообществе, в этом духе семьи, духе общины, духе природы и т. д. обретают как бы общее Я-бытие, которое ведет себя аналогичным образом.

Именно это превращает мир людей в нравственный мир. Сущность нравственного мира есть воля и воление, которое как таковое должно быть индивидуально, следовательно, свободно, должно быть постоянным стремлением к совершенству, постоянным поступательным движением и которое подлежит тому же закону, даже если воля и воление пренебрегают этим законом и нарушают его.

Движение этого нравственного мира мы и обобщаем как историю. И к тем явлениям, которые мы получаем посредством эмпирического восприятия из этих сфер, у нас, воспринимающих, иное отношение, чем к природе.

Впрочем, и в сфере человеческой жизни имеются такие элементы, которые можно измерить, взвесить, вычислить, и именно они являются субстратом или, вернее сказать, материалом, на основе которого проходит вся человеческая деятельность вплоть до ее высочайших и самых духовных форм.

Ибо мы, люди, не создаем, а лишь формируем и моделируем что бы то ни было из материала, возникшего естественным образом или исторически ставшего, материала, который мы находим, являясь в этот мир. Но материальные условия далеко не исчерпывают сущность нравственного мира, и их никак не достаточно для объяснения этого мира, и кто полагает, что может объяснить его материальными условиями, тот теряет или отрицает здесь самое что ни на есть главное. Ведь, не деревом и медью инструментов, не акустическими законами звуков и аккордов, которые они издают, можно объяснить и понять Бетховенскую симфонию. У композитора были все эти средства и материалы, и акустические эффекты, чтобы породить нечто, не имеющее аналогии во всей сфере природы, нечто, возникшее в его душе и в душах людей, самозабвенно внимающих его музыке,

вызывающее, как по волшебству, те ощущения и представления, которые переполняли и волновали его душу. В этих звуках композитор обращается к нам, и мы понимаем его, слушая эти звуки, мы понимаем их, ибо чувствуем то, что он высказал ими, ибо они вызывают во всех регистрах нашей души одинаковое чувство.

Конечно, можно, как было замечено, принять во внимание изменчивость и последовательность изменений тех вещей, которые мы обозначили как принадлежащие природе, рассмотреть их с учетом момента времени; и поэтому говорят об истории земли, об истории развития, например, гусеницы, об истории землетрясений, истории природы. Но, пожалуй, можно сказать, это только *vel quasi*<sup>1</sup> история; история в высоком смысле есть лишь история нравственного космоса, история человечества.

С другой стороны, отдельный человек живет только отведенное ему время, а затем умирает, бытие дано ему лишь на короткий срок.

И отдельный народ живет не вечно, он меняется, и если у него есть юность, то наступит и старость, и смерть.

Жизнь в истории не *только* поступательна; непрерывность оказывается кое-где прерванной, перескакивающей отдельные этапы, иногда даже идущей вспять.

Впрочем, перескакивающей лишь для того, чтобы продолжить начатое здесь в другом месте; идущей вспять лишь для того, чтобы затем продвинуться вперед с удвоенной силой. И довольно часто бывает, что народ, перенапрягший свои интеллектуальные силы, становится как бы шлаком, пашней, истощенной хищническим возделыванием, как, например, в Италии конца императорского периода. Если затем на невозделанной пашне возникают новые образования, которые перекрывают руины и остатки старого, принимая их таким образом в себя, то непрерывность восстанавливается; и, разглядев ее нити, исследование обнаруживает значительность и притягательность и того периода, когда эта пашня была заброшена.

Это сказано для того, чтобы напомнить, что идея о непрерывности имеет и может иметь для нас значение даже там, где она кажется прерванной.

В ряду этих элементарных предварительных вопросов заслуживает внимания еще один пункт.

Формы и движения нравственного мира, к которым обращается исторический эмпиризм, как было изложено выше, доступны нам в большей степени, чем формы естественного мира, и постижимы потому, что мы, воспринимая их, получаем не только знаки, но и выражения и отпечатки той же системы знаков, с которой мы сами работаем.

Эта конгенитальность, это тождество знаков и регистров, в которых мы воспринимаем чувственные ощущения рефлексов и отзвуков, при помощи которых Я выражается вовне, присуща всем людям и типична для всего рода человеческого. И поэтому то, что люди повсюду и во все времена делали, ощущали, думали и говорили, желали, действовали и творили, есть непрерывность, общее достояние, непрерывное самопревосхождение (*ἐπίδοσις εἰς αὐτό*). И причина, почему мы ощущаем потребность в понимании и все большем осознании подобной непрерывности, кроется в том, что мы, любой из нас, причастны к этой непрерывности. Каждый на своем месте есть не только сумма до него пережитого и выработанного, но и новое начало дальнейшей деятельности; и именно поэтому на своем месте он необходим, а его самобытность имеет ценность и значение. Его значение и ценность определяются по тому, как он, будучи на своем месте, продолжает трудиться согласно своему кругозору, каким бы широким или узким он ни был. Таков он, и другой, и все. Они не только могут, они должны быть таковыми, ибо это их сущность, всякий лишь постольку есть Я, поскольку он таков и так поступает. Он был бы ниже своей сущности и призвания, потерял бы сам себя, слыл бы лишь материалом и массой, а не полным, замкнутым в себе Я, личностью, если бы он не жил, руководствуясь этим своим долгом.

Мы смело можем сказать: каждый индивидуум есть исторический результат. Не по своей тварной ипостаси; в этом отношении он находится в многообразных связях, которые мы обобщаем понятием природа; в таком качестве его может и должен понимать по крайней мере врач. Но с момента его рождения на него воздействуют бесчисленные факторы той великой непрерывности, которые относятся к компетенции исторического эмпиризма. Еще неосознанно он воспринимает огромное число воздействий со стороны своих родителей, их духовных и телесных задатков, влияния климатического, ландшафтного, этнографического окружения. Он с момента рождения оказывается среди чего-то готового, ставшего, т. е. среди исторических данностей своего народа, языка, религии, государства, уже готовых регистров и систем знаков, в которых воспринимают, думают и говорят, всех этих уже сложившихся представлений и воззрений, которые суть основа воления, деяния, формирования. И лишь благодаря тому, что входящий в мир новичок принимает в себя уже полученное по наследству и в свою очередь, познавая бесконечное, суммирует его и строит из него свое собственное Я так, что его самая истинная и сокровенная сущность сливается со всем исторически ставшим вокруг него, что он непосредственно располагает всем этим во плоти как своими органами и членами, лишь благодаря всему этому ему дана не только тварная и животная жизнь, но и высшая человеческая жизнь.

Он находится целиком здесь и теперь, в живом настоящем человеческого бытия, не по праву своего рождения. Он еще только потенциально в нем; чтобы быть человеком, ему придется сначала стать человеком; и он будет человеком лишь постольку, поскольку он сумеет стать им, все больше и больше становиться таковым. Поэтому, например, дети — это не маленькие взрослые, они отличаются от взрослых не только количественно; ребенок есть качественно иное, чем юноша, мужчина. Это фундаментальное положение всякого воспитания, и нет ничего более пагубного, если его забывают, как

это часто бывает в сверх меры образованных семьях. Ребенок лишь движется в направлении этого богато наполненного содержания настоящего, поднимаясь по ступеням вверх, и это настоящее есть сумма времени бесконечных жизней человеческих. Ребенок должен их снова пропустить через свой внутренний мир, т. е. он должен научиться жить; с первого слова, которое он услышит и поймет, и научится произносить его, начинается внутреннее душевное воспитание и учеба жизни.

Благодаря тому, что любой оказывается окружен всем тем, что пережито его семьей, его народом, его временем, предыдущими столетиями, человечеством, он своим трудом восходит на уровень ставшего настоящего, следовательно, благодаря тому, что он сознательно живет в истории, и история живет в его сознании, и только благодаря этому, он становится выше простого тварного существования и поднимается до духовного и нравственного, которое ставит человека выше монотонности остальных творений, словно поднимает его из пространства во время, из природы в историю, превращая его из непостоянного атома в приливах и отливах на периферии мира явлений в новый центр.

С полным основанием древние называют человеческое бытие *humanitas*, образованностью. Образование целиком и полностью имеет историческую природу, а содержанием истории является неустанно совершенствующаяся *humanitas*, растущая образованность.

Таким образом, у нас есть точка, которая придает нашей науке ее подлинное значение. Мы видим, что наша наука занимается задачей, которая специфически присуща человеческой природе, бытию бесконечного духа. Мир людей с начала и до конца исторической природы, и в этом его специфическое отличие от природного мира. Исторический мир, по существу, есть человеческий мир; он находится между естественным и сверхъестественным, как и сам человек по своей духовной и чувственной сущности причастен и тому, и другому.

И еще более определенно: «*cogito ergo sum*»<sup>2</sup> — это не основоположение, не принцип, а факт, первый в ряду

фактов, в которых мы уверены. Благодаря ему мы уверены во внешнем мире явлений, которые мы воспринимаем чувственно, обобщая и упорядочивая их в формах нашего мышления. Лишь это «*cogito ergo sum*» дает нам руководство и надежду на то, что как наше единичное Я, так и миллионы подобных, живущих с нами и живших до нас, и продолжающих трудиться в *одной* великой непрерывности, суть лишь примеры, лишь отражения, лишь преходящие воплощения одного продолжающегося вне пространства и времени единства, абсолютного единства высшего существа, которое наш ум пытается познать с помощью своего мышления, но уже достоверно знает благодаря своей вере.

## II. Исторический метод

### § 8–15

Неужели эта сфера явлений, которую мы относим к исторической эмпирии, такова, что она нуждается в особом научном методе? И какие ее моменты позволяют развивать такой метод?

Естественно, явления этой сферы во все времена рассматривались по-своему. Но это делалось как бы лишь фактически, инстинктивно. Сознание того, что их понимание так или иначе составляет научную задачу, и эту задачу можно решить методически, пробудилось у людей весьма поздно, точно так же, как люди в течение беспредельно долгого времени ходили, говорили, прежде чем осознали законы логики, структуру и правила языка, физиологию процесса ходьбы и т. д.

Нельзя сказать, что классическая античность, какие бы великолепные исторические труды она ни подарила миру, осознала тот факт, что историческое исследование может и должно иметь собственный метод. Даже Аристотель, который нередко проводил исторические исследования, не считает историю наукой и находит (Поэт. 9), что «поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем (τὰ καθόλου), история — о единичном (τὰ καθ' ἑκάστον λέγει)». У него (Проблем. XVIII ὅσα περὶ φιλολογίαν § 9 и § 10) обозначены два вопроса как относящиеся к истории — и более того, в ученый век после него филология замещает собой и историю, к ней в качестве предмета исследования отходят все больше и больше произведений из обильного исторического материала, и только единичное (τὰ καθ' ἑκάστον) приковывает внимание.

Во все времена спекуляция, как теософская, так и философская, пыталась играть главную роль в областях, принадлежащих истории, и уж тем более в областях



природы, пока в XV в. возвращение к классическим штудиям и свободный дух Реформации не стал осваивать новые пути. Но едва наша наука вышла из-под власти философии и теологии — большая заслуга XVIII в. — как пришли естественные науки, возжелавшие овладеть ею и опекать ее. Точно так же, как полвека назад философия, пребывая еще в апогее своего безраздельного господства, надменно говорила: лишь философия — наука, а история постольку наука, поскольку умеет быть философичной, — так и теперь явились естественные науки и говорят: наука лишь то, что движется на основании естественнонаучного метода, и к ним присоединяется так называемая позитивная философия Конта и Литтре, а Томас Бокль пишет целых три тома, чтобы таким образом, как он выражается, возвести историю в ранг науки.

Научные методы являются как бы органами нашего чувственного восприятия: они, как и эти органы, обладают специфической энергией, своей определенной сферой, для которой они пригодны, и, основываясь на ней же, определяют себя по своему виду и применимости. Глаз несомненно является органом, удивительно и целесообразно устроенным, но кто же может желать, чтобы при помощи глаза ощущали и то, что можно лишь услышать, обонять, попробовать на вкус. Конечно, по колебаниям струны, издающим звук, можно увидеть, насколько звук низок, но видят не звук, а лишь колебания, ибо свойством воспринимать колебания как звук обладает только ухо. Если естествознание не способно своим методом охватить всё, то нельзя же из этого делать вывод, что и вообще невозможно научно понять запах розы, звуки скрипки, поскольку их нельзя увидеть, вообще невозможно ощутить, напротив, у человека имеются для этого другие органы чувств. И если в мире явлений остаются такие, которые не поддаются естественнонаучному методу, то для них, много их или мало, нужно найти иные пути познания, ибо иначе мы бы на основании наших инстинктивных ощущений не знали, что имеются явления, которые требуют иного, а не естественнонаучного эмпиризма.

Что касается исторического метода, который мы ищем, то здесь важны будут три момента:

- 1) имеющийся в наличии материал для исторической эмпирии;
- 2) способ, при помощи которого мы получаем результаты из этого исторического материала;
- 3) полученные таким образом результаты и их отношение к реалиям, объяснить которые мы пытаемся.

### 1. Материал для исторической эмпирии.

Наше Я, воспринимающее и представляющее себе мир явлений, распределенный в пространстве и времени видит в пространстве природу вокруг себя, простирающуюся без конца и края; что же касается времени, то нашему Я принадлежит только миг, оно живет только миг, позади него бесконечная пустота того, что минуло, впереди него бесконечная пустота того, что грядет.

И вот эту пустоту позади себя наше Я наполняет представлениями о том, что было, воспоминаниями, в которых для него прошлое непреходяще; а пустоту впереди себя оно наполняет своими надеждами и планами, представлениями о том, что оно хочет осуществить и ожидает, чтобы другие увидели это претворенным в жизнь.

Представления о том, что было, но прошло, у нас есть прежде всего благодаря тому, что мы сами жили и творили вместе со всеми, а о более старых временах — благодаря воспоминаниями других людей, нашей семьи, нашего народа; кроме того, представления о прошлом хранятся в бесчисленных окружающих нас вещах и формах, в нашей учебе, в самом нашем языке, запас слов и представлений которого уходит своими корнями в незапамятные времена.

Всем этим мы владеем сначала бессознательно и как бы непосредственно. Наше духовное содержание составляет беспредельно огромное число фрагментов прошлого, которые находятся в нас сейчас и здесь и обобщены в мир наших представлений. Лишь посредством акта рефлексии наше Я осознает то, что этот мир

его представлений некогда возник, был возведен пласт за пластом, он исторической природы; что оно застало большую часть этого мира представлений уже в готовом виде, унаследовало его, изучая, усвоило его, что этим миром представлений наше Я детерминировано в своих мнениях, суждениях, устремлениях, в мыслях о том, что хорошо, справедливо, истинно, в своем чувственном бытии и делах наше Я детерминировано этой своей наполненностью становлением, своим исторически обусловленным содержанием. Ибо если Кант в «Критике чистого разума», в своей теории познания приходит к выводу, что мыслящий дух не достигает в-себе-бытия вещей, их достоверности, а в «Критике практического разума» он, напротив доказывает, что наше свободное воление обусловлено безусловной истинностью познания и находит свой смысл в понятии долга, то именно это, так сказать, историческое содержание нашего Я устраняет это мнимое противоречие. Ибо в мышлении чистого разума Я полностью отвлекается от этого своего содержания и работает лишь как логическая энергия этого мыслящего индивида, в то время, как вступает в силу общая наполненность Я, каким бы оно ни было исторически обусловленным и ставшим, и из которого мы хотим, действуем и воздействуем. Те истины практического разума суть продукты истории, результаты ἐπίδοσις εἰς αὐτό, которые превращают исторический мир в нравственный мир.

Продолжая жить практически, мы действуем и непрерывно создаем из этой общей наполненности нашего духовного бытия, и любое настоящее наполнено бесконечным общим трудом и взаимопроникновением целей, интересов и деятельности бесчисленных равнодвижущих человеческих существ, каждое из которых аналогично определяется ставшим содержанием своей духовно-нравственной жизни. И так происходит сегодня, будет происходить завтра, так происходило столетия и тысячелетия назад; и такое движение человеческого мира в неустанной непрерывности продолжалось и продолжается вплоть до момента Здесь и Сегодня.

Следовательно, когда человеческий ум начинает размышлять о том, что его Здесь и Теперь, все, что наполняет его и что из человеческого окружает его, возникло в такой непрерывности, и когда он пытается уяснить то, что есть в нем и вокруг него, и, чтобы осознать это и быть уверенным, начинает исследовать, как оно стало *таковым*, то для этой цели он не может обращаться к прошлым событиям, ибо последние минули. А эмпирически можно понять только то, что есть в нем и вне его вот в этот момент и здесь непреходящего, в какой бы измененной форме оно ни было, только это должно и сможет дать ему искомые сведения.

Это первое фундаментальное предложение нашей науки: то, что она хочет узнать о прошлом, она ищет не в нем, а в том, что из него еще имеется в наличии, и тем самым, в какой бы то ни было форме, доступно эмпирическому ощущению.

Наша наука целиком основывается на том, что из таких еще современных нам материалов мы будем устанавливать не прошлые события, а аргументировать, исправлять и расширять наши представления о них, а именно путем методического подхода, который развивается из этого первого фундаментального предложения.

Неосознанно, порою по привычке, сегодня, как и всегда, всякий занимается тем, что для нас должно стать исторической наукой. Но лишь с понимания того, о чем идет речь, задача приобретает не только свою определенность и четкость, но и тот огромный объем, который мы, хотя бы суммарно, могли обозначить, заявив, что история охватывает становление человеческого нравственного мира. Итак, все, что мы находим в космосе нравственного мира, любой единичный момент и любую единичную форму, имеет предысторию своего бытия и более тесные или далекие связи со всеми иными здешними формами. Было бы глупостью или просто дилетантством считать, что возможно объять и охватить это целое. Наша наука — не просто история, а *ιστορία*, исследование, и с каждым новым исследованием история становится шире и глубже, т. е. наше знание о кос-

мосе нравственного мира, которое затем этика может теоретически схематизировать и догматизировать, с каждой новой ступенью во все более широкой форме.

Итак, материалом нашего исследования является то, что еще не исчезло из былых времен нравственного человеческого мира.

Мы видели: действуя, формируя и преобразуя, человек в любом своем проявлении оставляет после себя отпечаток своей самой сокровенной сущности, своей воли и мысли. И человеческое существо, находясь посреди того пространственного бытия, обмена веществ природы, не может поступать и отличать себя иначе, кроме как брать для себя необходимое из природы, и, овеществляя его, превращать мир в свой элемент, как это делает в процессе питания и животное и растение. Но у человека все это происходит в таком объеме, в такой свободе, которая далеко выходит за пределы аналогии просто с тварным существованием, это происходит со все возрастающей преобразующей энергией, для которой, кажется, нет ни границ, ни меры. Эта человеческая сущность может фиксировать даже самое мимолетное, световую волну, овладеть звуковой волной, чтобы выразить мысль в форме звука и отлить сказанное слово в образ, в письмена на каком-либо материале; таким образом она может выразить мысль, чувство, любое движение души и придать им длительность и осязаемость. Она может подчинить своей воле стихии, силы природы, материалы и, подслушивая их законы, заставить их физические и динамические свойства путем вычисления и комбинаций работать в искусных механизмах по своей воле и для своих целей. Бесчисленные формы, в которых развивается формообразующая энергия человеческой сущности; и, формируя, запечатляя, комбинируя, мимолетное наличное бытие индивида в любом своем проявлении превращает материалы в носителей того, благодаря чему человек причастен божественному, вечному.

Все эти формы, хотя над ними трудились многие индивиды, многие племена, народы, являются, по существу, индивидуальными, поскольку их формировали,

сообща и взаимодействуя, именно волевые акты. В таких формах, сколько бы их ни осталось в наличии, можно узнать личность, индивидуальность формирующих их индивидов, ибо она выразилась в этой форме точно так же, как звучание слова, *начертания* письменных знаков являются индивидуальными, хотя сотни и тысячи пользовались теми же знаками, чтобы выразить себя, и как памятник зодчества есть свидетельство о волевых актах тех людей, кто его строил, хотя над ним работали сообща многие. И эта человеческая сигнатура — такая отчетливая, чеканная, что даже если сохранились хотя бы фрагменты, хотя бы следы ее, тотчас же узнают, что их оставили человеческий дух и рука, следовательно, они являются выражением и отпечатком самой внутренней сущности того и тех, кто ее так сформировал.

2. Это приводит нас ко второму пункту. Так как эта внутренняя сущность не полностью идентична любому из таких проявлений, она обнаруживается не целиком и полностью в нем. Таких проявлений по времени много, и они разнообразны, но каждое из них есть проявление той же самой внутренней сущности, как отрезок окружности к центру, из которого это проявление воспринимается на основании многих других и вместе с ними; все эти отрезки окружности, все эти выражения и отображения указывают на один и тот же центр, этим центром является энергия, которая обнаруживается в любом из таких проявлений. Эту формирующую энергию следует познать и понять в ее проявлениях, реконструируя ее из них, вне зависимости от того, много или мало у нас их есть в наличии. Такие выражения следует объяснять тем, что в них хотело выразиться. Следует понять их.

Тем самым мы получили слово-определение. Наш метод есть понимание путем исследования. Это второе фундаментальное предложение (см. по этому поводу «Очерк», § 8 и след.).

Отдельное Я, в своем теле полностью само по себе, в полной и ощутимой противоположности по отношению к миру внешних явлений и, замкнутое в себе, проходит

как одинокая точка в мире явлений; согласно своей двойственной природе оно выражает любой внутренний процесс благодаря чувственной стороне согласно системе знаков, которые оно, возбужденное ощущениями извне, развило в себе; и в этих спонтанных отблесках и отзвуках воспринятых чувственных впечатлений и их комбинаций, которые оно совершает в себе, оно все снова и снова выходит из своего одиночества и вступает в живой контакт с внешним миром.

И если, проявляя себя через мимику, слова, волевые акты, оно наталкивается на создания, которые подобны ему и обладают чувственностью и духовностью, то они со своей стороны получают благодаря своим проявлениям чувственные впечатления, которые аналогично стимулируют и возбуждают их, поскольку они конгениально соотносятся с его впечатлениями. Вождедением разгораются мои глаза; страх бросает в дрожь, за внезапным ужасом следует сдавленный крик. Это происходит как со мной, так и с любым другим. Крик ужаса заставляет того, кто его слышит, испытывать страх кричащего.

В самых непосредственных проявлениях своей чувственно-духовной природы человек имеет общее с высшими животными. И собака дрожит от страха, и лошадь храпит, если она слышит звук трубы. Укрощение животных основывается на том, что мы подслушиваем у них что-то от их души, что мы понимаем некоторые ее движения. Конечно, почему бык во время испанской корриды разъяряется при виде красного платка, мы уже не понимаем; красный цвет, очевидно, производит на него совершенно иное впечатление, чем на нас. Тем более не понимаем мы душу растения, почему оно в высшей степени восприимчиво к колебаниям, ощущаемым нами как свет, но, по-видимому, не ощущает колебания, воспринимаемые нами как звук. И, наконец, о солнце, луне и звездах мы не имеем почти никакого представления, разве только то, что они движутся по одному и тому же закону, который мы знаем как свободное падение, как закон тяготения. Полностью человек понимает только человека.

Это неисторический, следовательно, для нас совершенно праздный вопрос, был ли когда-либо *genus homo*<sup>3</sup> в том состоянии, которое демонстрируют нам высокообразованные животные. И все же на этот вопрос следовало бы ответить в историческом плане, а не только в натуралистическом или уже тем более не при помощи доисторических гипотез; если бы мы получили подтверждение всеобщих выводов, каковые делают из этого Дарвин, Геккель и др.

Насколько мы знаем из исторических данных о человеке, он намного выше животного состояния. Не только потому, что он, как свойственно его роду, отражает чувственные впечатления, которые он получает; он идет вперед от простых впечатлений к их осмыслению в душе, к различению и сравнению их, к суждению и выводу, свободному развитию мысли. Только в человеческом существе сумма впечатлений объединяется в целое, которое имеет свое место, свой орган, свое по-особому свободное воление и возможность в объединяющей энергии, в его Я. Его самая подлинная сущность проявляется прежде всего в языке, а не только в междометиях, как у высших животных, но и в разнообразных способностях различения и сравнения, суждения и заключения, в котором движется наш мыслящий дух. Наш язык — наше мышление, и только мышление делает нас говорящими. Животное не говорит потому, что ему нечего сказать, несмотря на всех человекообразных обезьян.

Прежде всего в языке у человека есть возможность выйти из одиночества своей замкнутой в себе сущности. Я-бытие, абсолютная граница, которая отделяет душу от души, строит в языке мост, ведущий от себя вовне к себе внутрь.

Язык посредством слуха является лишь одним из таких способов проявления, в котором обнаруживается целостность Я-бытия, правда, самый совершенный и одновременно самый первичный. Наряду с ним есть другие способы, и очень разные. Уже то, что летучий звук слова можно при помощи письма передать глазу, и



даже удаленному в пространстве и времени, есть бесконечное расширение сферы нашего Я.

Но я могу также описать образ воспринятых мною людей и вещей не только словами, но и передать его в красках, в камне, металле и увековечить копию некогда бывшего, преходящего прообраза, пока материал, в котором он изображен, не поддастся разрушению временем. Точно так же я, как звено моей семьи, моего народа, могу, обучая, трудясь, создавать формы, которые будут еще долго существовать после краткого промежутка отпущенного мне времени и воздействовать на людей; и пока результаты моей жизни оказывают воздействие, они являются свидетельством моей деятельности, моей воли, моих мыслей; я живу в них после того, как меня давно уже не будет.

Боле того, мыслящее Я, чтобы увеличить сферы органов чувств и их энергию, строит для своих целей из природных материалов и на основе познанных им законов орудия любого рода вплоть до достойных удивления машин; это еще одна сторона ἐπίδοσις εἰς αὐτό, в то время как, насколько известно, ни одно животное не может создать ничего отдаленно похожего, за исключением устройства своего лежбища или гнезда.

И, продолжая вышесказанное, можно добавить, что сюда относятся и промышленные заводы, основание городов и укреплений, строительство портов, дорог, а также право, закон, государство, церковь, одним словом, все человеческие творения, даже если их создавала и преобразовывала общая энергия воли многих; все они являются выражением человеческого духа, и они понятны человеческому духу, поскольку он может их ощутить эмпирически.

Одним словом, нет ничего, что волновало человеческий ум и находило чувственное выражение, что не могло бы быть понято, нет ничего, что могло бы быть понято, что не находится в области нашей конгенности, т. е. в области нравственного мира.

Ибо ни в сфере спекуляции, ни в сфере природы нет настоящего понимания. Философская спекуляция, по-

жалуй, может представить доказательства существования Бога, но они доказывают только, что человеческое мышление, хотя и ищет некое X, абсолютное и вечное, но не достигает его, а лишь видит направление, где оно, очевидно, пребывает. И теологическая спекуляция, благочестивая вера, познает божество лишь в той мере, в какой она очеловечивает его, взирает на него как на высшую ступень не связанного ни пространством, ни временем восхождения того, чем является человеческое Я в мимолетном наличном бытии. И та, и другая спекуляция может лишь предчувствовать нечто, вечно находящееся под покровом, познать его некоторым образом, лишь до некоторой степени.

И вещи в пространстве, которые мы обобщаем как природу, понимаются нами постольку, поскольку мы их практически или теоретически подводим под категории, мыслительные регистры, свойственные нашему Я. Мы понимаем их только по материалу, содержащемуся в них, как материал для нашего употребления, по правилам и законам, в которых повторяется круговорот их бытия. Индивидуальное, собственная жизнь, которую они имеют, для нас безразличны. Ибо их мы не понимаем. Мы убиваем живое дерево, чтобы употребить его на дрова, мы прерываем жизнь пшеничной былинки, чтобы употребить ее зрелые зерна в пищу, мы используем неустанный поток ручья, чтобы энергией его движения приводить в действие нашу мельницу. Мы вгрызаемся в скалу, чтобы бросать кусок за куском ее жилы в плавильную печь и таким образом получать железо, медь, серебро.

Наше историческое понимание можно сравнить с тем, как мы понимаем человека, говорящего с нами. Не только отдельное слово, отдельное предложение, воспринимаемое нами, но и отдельное высказывание есть для нас *одно* проявление его внутренней жизни; и мы понимаем это высказывание как свидетельство о его внутреннем мире, как пример, как луч центральной энергии, которая равна себе и одна и та же, обнаруживается, как мы предполагаем, и в этом направлении, и

в любом ином. Единичное понимается в целом, из которого оно рождается, а целое — из этого единичного, в котором оно выражается. Понимающий, который сам есть Я, целостность в себе, так же как и тот, кого он должен понять, дополняет себя его целостностью из единичного выражения, а единичное выражение из его целостности.

Понимание есть самое совершенное познание, которое для нас, как людей, возможно. Поэтому оно происходит непосредственно, внезапно, без того, чтобы мы осознали логический механизм, действующий при этом. Отсюда акт понимания является непосредственной интуицией, творческим актом, искрой, между двумя заряженными электричеством телами, актом зачатия, концепции. В процессе понимания полностью задействована вся духовно-чувственная природа человека, одновременно дающая и берущая, порождающая и воспринимающая. Понимание есть самый человеческий акт человеческой сущности, и всякая подлинно человеческая деятельность заключается в понимании, ищет понимания, находит понимание. Понимание есть самая интимная связь между людьми и основа всякого нравственного бытия.

И удаленное в пространстве и времени, и все, что люди хотели, сделали, создали в далеком прошлом и даже в незапамятные времена, следует понимать как слово говорящего нам, находящимся Здесь и Теперь. Это суть истории. Задача истории есть понимание путем исследования.

3. Теперь у нас остался еще третий вопрос. Каковы полученные нами результаты и насколько они носят научный характер?

Как мы видим, реконструирование фактов, да и самих прошлых событий, не может быть целью нашего метода и тем более его результатом. Было бы бессмысленно, если бы от нас ожидали, что мы будем наблюдать объективные факты прошлого, которые были и прошли раз и навсегда; также нелепо от нас ожидать, что мы дадим отображение того или иного прошлого времени.

Ибо такое отображение могло бы быть лишь образом фантазии, поскольку того, что подлежало бы отображению, уже нет, а оно может быть только в нашем представлении.

Наша задача может заключаться только в том, чтобы понять воспоминания и предания, остатки и памятники прошлого так, как понимает слушающий говорящего, чтобы попытаться узнать путем исследования из тех имеющихся еще у нас материалов то, чего хотели те люди, которые формировали, действовали, трудились, что волновало их Я, что они хотели высказать в таких выражениях и отпечатках своего бытия. Из материалов, какими бы фрагментарными они ни были, мы пытаемся познать их волеие и деяния, условие их желаний и последствия их поступков; из отдельных выражений и образований, которые мы еще можем понять, мы попытаемся реконструировать их Я, или в том случае, если они действовали и созидали сообща, вместе со многими другими, постичь это общее, дух семьи, дух народа, дух времени и т. д., частицей и выражением которого они являются, и дополнить из полученного таким образом познания разрушенный и стертый ареал их общего бытия, и, так продвигаясь вперед, понять, насколько возможно, их место в общем движении минувших времен рода человеческого, в этом беспредельном *ἐπίδοσις εἰς αὐτό*, сумма которого фактически, хотя лишь частично осознанно, является нашим настоящим, и мы сами находимся в нем.

Итак, следует не устанавливать минувшие времена ни объективно, ни в том виде, какими они были в их былом настоящем — это было бы бессмысленно, как и желание найти квадратуру круга — а следует расширить, дополнить, исправить наше вначале узкое, фрагментарное, неясное представление о минувших временах, наше понимание их, развивать и преумножать их согласно все новым подходам; создавать не картины прошлого или образы того, что давно минуло — поэты и авторы романов и прочая публика пусть развлекаются такими фантазиями, — а обогащать и преумножать наш

мир мыслей, познавая и аргументируя непрерывность нравственного развития людей, и теперь настала наша очередь, ныне живущих на миг, подхватить это развитие, понимая его внутренние связи, продолжить, внося тем самым свою лепту в него.

И тем самым мы решили еще один вопрос, является ли и может ли быть наше историческое исследование и познание наукой.

Эмпирическая сторона того, что происходит во времени и есть в пространстве, дает нам только фактическое и единичное. Чтобы быть наукой, наше исследование должно добавлять к единичному, которое дает эмпиризм, всеобщее, исходя из которого можно объяснить, что есть и что происходит, почему это есть и происходит, — всеобщее и необходимое, познаваемое не в форме воззрений, а через мысль. Сущность науки в том, что она ищет и добывает истину. И как было ранее сказано, бытие, на которое направлена наша мысль, является для нас истинным, если оно совпадает с мыслью, и истина для нас есть мысль, которая постигает бытие и изображает его, каково оно есть в своей сущности. Критерий истины бытия есть мысль, истины мысли — бытие.

Эмпиризм, занимающийся природой, наблюдая природные факты, познает в них однообразно повторяющееся, правило этого повторения и, если удастся, закон, который определяет материальное бытие по числу и мере, в механических, физических, химических необходимостях. Всеобщее и необходимое, которое определяет бытие и взаимосмену в природе, есть та найденная мысль, которая высказывает всеобщее и необходимое в наблюдаемых данностях.

Исторический эмпиризм применяется к данностям человеческого, т. е. нравственного мира. Где же в таком случае там найти необходимое и всеобщее, в котором мы должны научно обобщить единичное?

Это вопрос, касающийся особо важного пункта. Все в сфере нравственного мира происходит в настоящем и в живом взаимодействии и конкуренции людей; все, что они делают, определено сиюминутными, личными и

сталкивающимися между собой интересами, и волевые акты, действующие здесь в них, имеют свой импульс, свою меру, свою границу. Можно сказать: любое настоящее протекает в толчее бесконечных дел, и любое из них обуславливает другие и обуславливается ими. Как же из этих дел людей возникает история?

Необходимое и всеобщее в живом практическом движении настоящего, т. е. в истории разнообразно. Здесь закон, право и государственное устройство, там значительные необходимые требования и нормы экономики, церкви, политики или военного дела, служебной ответственности, художественного творчества и т. д. Для всех этих понятий и сфер деятельности существуют различные науки, которые трактуют и обосновывают их, затем науки, исследующие одно и то же, но зачастую с весьма разных точек зрения, как того требует живое, практическое движение настоящего; эти науки имеют дело с сущим, с фактами действительной жизни, воспринимают их на основе действующих или обуславливающих моментов и законов.

Но среди обуславливающих моментов практически имеющегося в настоящем есть и результат этого единичного, этого состояния, этих внутренних связей, следовательно, его предыстория; и то, что вчера еще было настоящим, сегодня уже принадлежит предыстории сегодняшнего дня. Отсюда, несомненно, очень важно рассматривать дела людей, исходя из предварительных условий и деятельности сегодня и теперь, из их становления, и видеть в делах настоящего лишь конечные итоги имеющегося налицо прошлого.

Необходимое и всеобщее для такого исследовательского подхода является как раз потому особым, что он не воспринимает бесконечную подвижную поверхность делового настоящего, а переводит его в другое измерение, как бы углубляя его. И неустанно следит за становлением настоящего, все глубже проникая в него, и таким образом устанавливает поступательное движение, самовосхождение, ἐπίδοσις εἰς αὐτό, которые мы выявили как отличительные признаки человеческого, т. е.

нравственного мира. Сколь бы поверхностными мы были, если бы знали только настоящее и его дела! Это настоящее, каково оно есть, а также любое прежнее, развивалось лишь в непрерывности длительного процесса становления, восходя с одной ступени на другую, расширяя свое пространство, воздвигая все более высокое здание. Оно проектировалось родом человеческим, поколением за поколением, и оно будет неустанно продолжать развитие, открывая новые грани с большей энергией, ставя перед собой более высокие задачи; и, кажется, в некогда проснувшейся и восходящей на все большую высоту человеческой природе заложены беспредельные скрытые возможности самоусовершенствования, или как сказал поэт:

«Allah braucht nicht mehr zu schaffen,  
Wir erschaffen seine Welt». <sup>4</sup>

Эта непрерывность движущегося вперед исторического труда и творчества есть всеобщее и необходимое, связующее единичные факты истории и придающие любому факту в его неповторимости определенное значение, и только тем фактам, которые неповторимы. Эта непрерывность не есть развитие, ибо тогда была бы предопределена уже в зародыше, в первых зачатках, целая последовательность, а только благодаря труду растут силы, и с решением каждой решенной новой задачи мы отвоевываем у бытия в природе, которое вначале господствовало над нашим родом и держала его в тисках, новые сферы и вынуждаем ее служить нашим целям, работать для них по нашим указаниям.

В этой непрерывности и восхождении исторический мир имеет свою идею и истину, наш эмпиризм работает, чтобы исследовать частности прошлого, насколько их можно как-либо эмпирически понять, чтобы все более подтверждать эмпирически в них эту непрерывность, доказывая отдельные звенья в цепи этого поступательного движения, а именно во всех направлениях духовно-чувственной сущности природы человека, как в питании, так и познании, как в языке, так и в обычаях,

как в искусстве и ремеслах, промышленности, торговле, ведении войны, так и социальных и политических условиях — во всем, что в своем настоящем считалось делом и что происходило.

Каждый небольшой фрагмент материала, который представляется нашему историческому эмпиризму, мы исследуем, чтобы увидеть, вторгается ли он и как в эту непрерывность исторического труда, истина которого для нас определена и неизменна, так как мы сами, наш народ, наше образование, наши социальные условия, — являемся его суммой, его обобщенным результатом. В этой идее исторического труда минувшие времена имеют свою истину, а, насколько мы можем их исследовать, они подтверждают нам истину этой идеи.

И тем, что наше настоящее, как и любое настоящее до нас, отталкиваясь от обобщенных результатов более раннего, которые составляют его содержание, стремились вперед и, обуреваемое волеием, которое определяло его деяния, вырывалось в ближайшее будущее, чтобы претворить свою волю, подтверждается то, что эта идея движущейся вперед непрерывности, как ранее, так и в дальнейшем, есть верное биение пульса нравственной, т. е. исторической жизни.

Какого рода эта непрерывность движения вперед, как ее используют народы и как появляются свежие силы, готовые и далее взваливать на себя ее труд, об этом пойдет речь позднее, в другой связи.

## Примечания

<sup>1</sup> Как бы (*лат.*).

<sup>2</sup> Я мыслю, значит, я существую (*лат.*).

<sup>3</sup> Род человеческий (*лат.*).

<sup>4</sup> Аллаху не надо уже ничего творить,  
Мы закончим его творение (*нем.*).



# МЕТОДИКА

## Исторический вопрос § 19

Прежде всего попытаемся найти точку, от которой берет начало историческое исследование. Нам придется найти ее эмпирическим путем, следуя характеру нашей науки.

Ребенок, поначалу не ведающий ничего о былом, постепенно улавливает из разговоров и рассказов окружающих самое простое и доступное ему, затем, не переставая задавать вопросы, он узнает многое другое и с каждым годом все большее; вводя эти отрывочные сведения в мир своих представлений, восполняя живой фантазией пробелы, он восстанавливает последовательность событий и, вглядываясь в мир как бы из самого себя, субъективно, зачастую превращает, неизвестно как, то небольшое и малое, что знает, во многое и великое, и удивительное.

Подобным образом поступает любой народ во времена юности, человечество — на самых ранних стадиях своего развития. Из окружающей их действительности и из воспоминаний они творят собственную предшествующую историю, богатую и пеструю, заполняя лакуны своей фантазией и восстанавливая общий смысл; тем самым они проясняют для себя мрак минувших времен и верят всему субъективному и фантастическому, или самими же и выдуманному. Таким образом, мир их представлений отражает скорее их мироощуще-

ние, их одаренность, их сиюминутные интересы, а не реальность их бытия.

Момент, когда пробуждается рефлексия, сомнения в воображаемом мире, знаменует важный шаг вперед в истории развития как индивидуума, так и народов.

Ибо эта наполненность нашего Я, т. е. мир воображаемых реальностей и логических связей, окутывающих наше Я словно атмосферой, словно дымкой, заключающей его как бы в скорлупу, есть прежде всего что-то традиционное, доставшееся нам по наследству от предков, вошедшее в привычку, оно наше и как будто не наше, скорее оно обладает нами, чем мы им, оно властвует над нами.

Но из совокупности того, что у нас есть в действительности или только в воображении, из понимания и ощущения нашего внутреннего мира, из нашего самоощущения рождается у нас новое представление о целом, о части, об отдельном моменте. Наше Я, словно пресытившись обилием представлений, вместо того чтобы по-прежнему наивно воспринимать новые, начинает всем своим внутренним содержанием и благоприобретенным самоощущением отторгать их.

И, раз начавшись, эта реакция отторжения не прекращается. Сомневаясь, замечая, что последующее не сходится с предыдущим, что разного рода противоречия и несуразности соседствуют здесь *bona fide*,<sup>1</sup> размышляя о том, что все подлежит проверке как возникшее в нас неосознанно и доставшееся нам от прежних времен, мы начинаем свободно распоряжаться тем, что до сих пор владело нами, властвовало над нами, и сами властвовать над ним.

Гете сказал некогда довольно туманно:

«Was du ererbt von deinen Vätern hast,  
Erwirb es, um es zu besitzen».<sup>2</sup>

В некотором смысле эти слова укладываются в ход нашего рассуждения. Ведь это мы получили «в наследное владенье» от наших предков сумму представлений, и после того как наша фантазия связала их внутренним

единством смысла, дополнила и расцветила его, у нас возникло представление о целом, об отдельных частях целого, об их отдельных свойствах. Мы воспринимаем вещи так, представляем их себе так, судим о них так. Но по какому праву? На каких основаниях?

Есть ли у наших взглядов, наших суждений какое-либо реальное содержание? То, что мы имели и во что верили, мы впитали в себя с молоком матери, получили по праву наследства, заимели как бы *ex autoritate*,<sup>3</sup> а не про праву нами самими приобретенного, обоснованного, оправданного.

Вот почему мы перво-наперво должны подвергнуть сомнению все, что у нас было до сих пор и чему мы верили, чтобы, проверяя и обосновывая, приобрести заново и осознанно.

Дело заключается тут в моменте зарождения сомнений, который проступает более или менее ясно в развитии любого человека, однако большинство людей довольствуется тем, что пересмотру у них подлежат лишь житейские отношения, касающиеся лично их, а в остальном они живут, искренне полагая, что великие всеохватные явления истории человечества таковы, какими они привыкли их видеть со школьной скамьи. И те, кто по роду научной или практической деятельности далеки от истории, — как юрист, естествоиспытатель или купец, — обходятся, что касается их представлений о прошлом, тем немногим, что они вынесли из школьных, общеобразовательных предметов.

Впрочем, благодаря прежде всего общему образованию у нас и сложились определенные, многократно откорректированные взгляды на прошлое. Мы знаем уже о Лютере, Цезаре, Карле Великом; у нас есть некоторое представление об их деятельности, о тех обстоятельствах, в каковых они действовали, о значении их деяний для их народа и времени, наша фантазия по мере сил работала над завершением и проявлением этой картины. Но было ли в действительности все так, как меня учили в школе и как я это себе представляю? Имело ли выступление Лютера в Вормсе такое огромное значе-

ние? И почему оно приобрело такое значение? О каких таких политических, церковных, национальных вопросах шла речь в Вормсе, что убежденность Лютера в правоте того, что он свершил возымела такую сокрушительную силу?

На этом примере можно увидеть, что подразумевается под понятием «исторический вопрос». Задаваясь этим вопросом, я уже знаю о Лютере и Вормском рейхстаге, знаю в общих чертах сам факт, его контекст, его значение, по крайней мере, я так думаю. И в своем вопросе я примерно уже очертил круг того, что я ожидаю найти в поисках ответа, я уже интуитивно предполагаю, что за известными мне обстоятельствами кроется нечто иное и более важное; моя интуиция основывается на совокупности всего мною пережитого и прочувствованного. Именно поэтому я и могу поставить вопрос так, ставлю его так.

В таком вопросе уже содержится нечто очень личное, это уже *мой* взгляд на эти отношения, мое представление об этих деятелях, мое понимание этих событий вместе с потребностью в толковании их, ибо пока всё в эмбриональном состоянии. В моем уме как бы произошел акт зачатия, концепции, и тотчас все силы и соки моего существа подключаются к формированию и развитию этой концепции. Она, как зародыш, растет и развивается во мне, прежде чем родиться, как бы проживает в материнском чреве души многие стадии становления и преобразования, чтобы постепенно созревать и стать жизнеспособной.

Это долгий и многотрудный путь. С постановки исторического вопроса у нас появляется лишь некая возможность, проблеск в душе, надежда. Речь идет о том, чтобы выяснить, так ли все было в действительности, как мы представляли себе в момент постановки вопроса, и можно ли это доказать. Теперь следует приступить к поискам необходимых материалов, к их разработке, чтобы увидеть, подтверждается ли предвосхищенная нами мысль. И по мере того, как эта мысль углубляется, как уточняется ее формулировка, она изменяется

сама. Тут нас подстерегает опасность упустить ее из рук или погрязнуть в мелочах; в огромной массе особенностей и частных мыслей, кажется, ускользает от нас; мы приходим в отчаяние от неразрешимости задачи, которую самонадеянно поставили перед собой. «Тысячу раз я бросал на ветер уже исписанные мною листки, — говорит Монтескье во введении к своему „*Esprit des lois*“,<sup>4</sup> — и если находил истину, то для того только, чтобы тут же утратить ее». <sup>5</sup> У многих в поисках ответа опускаются бессильно руки, они сбиваются с прямой дороги на окольные тропы, их исследование растекается в ширину, а не идет в глубину, они довольствуются строительством ученых гипотез или предаются дилетантским удовольствиям ученого досуга. Для того чтобы держать твердый курс и, несмотря ни на что, идти неуклонно к цели, надобно обладать характером.

Так обстоит дело в нашей области, да и в любой иной сфере высшей духовной жизни: будь то у мыслителя, поэта или любого исследователя, работающего в какой-либо научной области. При начинании нового исследования все повторяется: зарождение концепции, интеллектуальные усилия, даже муки творчества. Чем сильнее развит вопрошающий ум, чем богаче содержание вкладывает он в свой вопрос, приступая к новой задаче, тем значительнее вопрос, который он ставит. Можно бы сказать, что именно в вопросе и в его постановке проявляется гениальность историка. Например, когда Нибур в своей «Римской истории» задается вопросом, кем были на самом деле плебеи и патриции; или когда Токвиль, стремясь понять французскую революцию, ставит вопрос об экономических и социальных условиях жизни низших слоев населения Франции и т. д.

Из вышесказанного можно понять: то, что мы обозначили как исторический вопрос, отличается качественно от простой любознательности вопрошающего ребенка. Мы также далеки от того, чтобы считать любую оригинальную мысль, пришедшую нам в голову, историческим вопросом, таким, как его понимает историк и каковой ему нужен.

Был ли вопрос поставлен по существу или он никчемный и порочный, выясняется не в поисках материала для ответа, не в критике этого материала и его интерпретации — ибо это всего лишь три стадии методической работы, — а из его аргументированного изложения, о чем пойдет речь в разделе «Топика».

Ибо добытое путем критики и интерпретации понимание исследуемого нами по данному вопросу материала требует по свойству человеческой природы, чтобы его высказали понятным языком, и это понимание, как мы видели, есть нечто совсем иное, чем реконструкция объективного факта или внешней реальности того, что некогда, будучи в своем настоящем, находилось в совсем ином смысловом контексте, несравнимом с нашим сегодняшним.

Возьмем такой пример: сотни картин какой-нибудь пинакотеки, — у любой из них свое собственное бытие, любая в отдельности поворачивается к ценителю искусства, эстету, ученику художника и т. д. разными своими гранями. История же искусства ставит их в единый смысловой ряд, к которому они сами по себе не имеют никакого отношения, ведь не для того они были написаны, но, поставленные в единый смысловой ряд, они представляют некую последовательность, непрерывность, влияние которой испытывали на себе, хотя и не осознавая этого, творцы этих картин и которая на основе выбора картин, даже по их композиции, технике рисунка и колориту позволяет нам, хотя бы приблизительно, различать это пестрое, многообразное собрание по времени и странам.

Разумеется, историк искусств обязан, приступая к изложению, критически изучить каждую картину этого собрания, являющегося материалом его исторического вопроса, чтобы убедиться в подлинности отдельный картин и их названий; затем он может приступить к интерпретации каждой отдельной картины по аспектам, относящимся к его дисциплине, как техника рисунка, колорит, композиция, сюжет и т. д. Когда у него будут в руках все необходимые ему, как историку ис-

кусства, результаты, тогда он может приступить к изложению их; его ἀλόδειξις<sup>6</sup> покажет нам, что он правильно и со знанием дела поставил вопрос. Это выражение «ιστορίης ἀλόδειξις», т. е. «изложение исследования», употребляет Геродот, начиная свой исторический труд.

Напротив, если бы историк без предварительной подготовки принялся за исследование первого попавшегося предмета? — например палимпсеста Плавта, поверх которого написана монашеская литания, — дабы подвергнуть его критике и дать его интерпретацию, — что же из этого бы вышло?

Поскольку он, не будучи филологом, не намерен подготовить эту литанию или Плавта, написанного под ней, для научного издания, а желает провести исследование как историк, то его изложение (ἀλόδειξις) свелось бы к тому, что он-де изучил этот кодекс, свидетельствующий о том, что в монастыре Боббио имели обыкновение счищать текст древних рукописей, чтобы поверх него написать какой-нибудь новый. Если целью исследования было проследить историю этого куса ослиной кожи, который был первоначально исписан комедией Плавта, затем в IX в. поверх него литанией и который вот уже 80 лет такие-то и такие ученые трактовали как палимпсест, то такое изложение показало бы, что данный историк поставил в историческом смысле порочный вопрос.

Как видим, ἀλόδειξις есть испытание на расчет, догадку. Ибо исследование должно быть нацелено не на случайную находку, а на поиск чего-то определенного. Оно должно знать, чего оно хочет найти; вещам следует задавать вопрос правильно, тогда они дадут нам ответ. Изложение же только покажет результаты поиска.

Вопрос и поиск, отталкивающийся от него, — это первый шаг исторического исследования. В «Очерке» для обозначения этого методического этапа научной работы употребляется слово «эвристика».

Как же нам вести поиск? Как подойти к ответу на вопрос?

Просто мы начнем с другого конца: как я пришел к этому вопросу? Как возник у меня именно такой образ того или иного события, причастных к нему людей, обстоятельств и т. д.? Из каких таких черт сложилось во мне это представление (фантастиков), которое я хочу проверить и откорректировать? Откуда у меня взялись черты, которые я обобщил таким образом? Каковы они, какова их достоверность?

Это как бы размышление про себя, вопрос к себе. Эвристика, разлагая на составные части якобы простое, воистину многократно и в разных сочетаниях опосредованное, исследует элементы, из которых состоит это X.

Согласно вышесказанному речь пойдет о двух вопросах.

1. Каковы в историческом вопросе элементы, представляющиеся мне клубком переплетенных нитей, и как мне найти материалы, которые помогут мне распутать этот клубок снова на отдельные нити, исследуя которые, я смогу дойти до их начала, чтобы убедиться обоснованы ли они, и если да, то насколько.

2. Каков вообще характер тех материалов, из которых мне всякий раз приходится выискивать необходимое для моей работы? Быть может, в силу того, что они различны по виду, они различны и по своей ценности? Все ли они стоят в одинаковом отношении к тем некогда существовавшим реальностям, о которых они должны для меня свидетельствовать?



# І. Эвристика

## Исторический материал § 20, 21

Для цели нашего курса лекций будет разумнее сначала обсудить второй вопрос, чтобы получить общее представление об источниках, а затем перейти к первому, чтобы поискать правило и метод, применяемые к частным случаям.

Согласно эмпирической природе нашей науки материал для ее исследования должен иметься налицо и в таком виде, чтобы им можно было воспользоваться эмпирическим путем. Даже если это материал из прошлого, для нашей цели он пригоден уже потому, что имеется в наличии и доступен. Мы же своим исследованием постараемся воскресить в нашем воображении образ того, что было и навсегда минуло, и тем самым заполнить пустоту, лежащую позади нашего сегодня.

Все материалы такого рода принято называть *источниками*. Однако будет весьма уместно закрепить имеющееся здесь существенное различие также и в названиях.

Как у наших современников, так и людей любой прежней эпохи существовала потребность в воскрешении своего прошлого, которую они на свой лад умели или хотя бы пытались удовлетворять. Все, что позволяет нам взглянуть глазами ушедших поколений на *их* прошлое, т. е. мемуары и письменные свидетельства, отражающие их представления о нем, мы называем *источниками*. Тот факт, что источники являются одновременно *остатками* того настоящего, в котором они возникли, для нас пока второстепенен; существенным представляется нам в них то, что их авторы считали своей миссией рассказать о событиях или общественных условиях, свидетелями которых они были.

Совсем иначе обстоит дело, когда до наших дней сохранились всевозможные вещи из прошлого, и они в преображенном до неузнаваемости виде или руинах присутствуют еще в нашем настоящем. Например, старинное здание, старое цеховое устройство; сам наш язык представляет собой добрый кусок прошлого, хотя и живой, и функционирующий в полную силу. Только исследователь распознает такие более или менее очевидные остатки прошлого и использует их как материал для исследования. Другие вещи, скажем, выкопанные из земли или сохранившиеся под грудой мусора и щебня старинных церквей и давно заброшенных замков, являются тем более красноречивыми свидетельствами былых времен, поскольку они, как бы задумавшись, застыли в неподвижности сто, триста лет назад. Всю эту категорию материалов мы назовем *остатками* прошлого.

Между источниками и остатками расположена третья категория, обладающая одновременно свойствами и тех и других. Это остатки былого, из тьмы которого они свидетельствуют грядущим поколениям об определенном событии своего настоящего, как бы фиксируют свое представление о *нем*. Из-за их монументального предназначения назовем их памятниками.

## Остатки прошлого

### § 22

а) Естественно, количество их необозримо, так как все, что несет на себе отпечаток человеческого духа, человеческой руки может быть привлечено исследователем в качестве материала. На основе таких материалов и делаются бесчисленные исторические открытия, особенно о тех временах и о тех условиях, о которых источники, т. е. письменная традиция, говорят мало или вообще безмолвствуют.

История доисторической эпохи, ставшая такой популярной, особенно в среде естествоиспытателей, интересующихся историей, целиком зиждется на подобных

материалах. Эта наука зародилась в результате первых находок в могильниках на Севере Европы: выдолбленных из кремня ножей, топоров, кирок и т. д. и найденных при этом скоплениях остатков пищи, растительных и животных, из которых, между прочим, узнали о климатических и природных условиях того периода, которому принадлежали люди, обладавшие таким оружием и инструментами; например, узнали, что во время каменных могильников в районе юго-западного побережья Балтийского моря еще не было лиственных деревьев, а были только хвойные, т. е. климат этого края был холоднее, чем теперь, и, вероятно, холодные течения из Северного Ледовитого океана еще не были отгорожены продолжающимся и сегодня подъемом территории Финляндии (архивариус Лиш из Шверина). Затем в этом регионе были обнаружены другие могильники, где вместо каменных орудий попадались бронзовые. По слою земли, в котором их находят, установили, что бронзовый век наступил после каменного; находили остатки растительности, свидетельствующие о более мягком климате; тот факт, что люди этого периода уже умели плавить и варить легкоплавкую медь и украшали предметы, изготовленные из нее, чеканными и резными орнаментами, казалось, свидетельствовал о большом прогрессе культуры, о котором историческая традиция, само собой разумеется, вообще ничего не сообщала. Затем, в 1854 г., во время небывалого падения уровня воды на швейцарских озерах, было сделано в Цюрихском озере первое открытие так называемых свайных построек с фрагментами орудий, утвари, с растительными и животными остатками (профессор Фердинанд Келлер из Цюриха). Вскоре подобные открытия были сделаны на территории всех культурных стран Европы (Хельбиг. Италики в долине По. 1879). Был сделан вывод, что эти свайные поселения относятся отчасти еще ко времени каменных орудий, но преимущественно уже к бронзовому веку. Тот факт, что точно такие же свайные постройки распознали в повествовании Геродота о пеонах, обитавших у Керкинитского озера, и

увидели их на рельефах колонны Траяна, изображающих сцены его войн с дакийцами, натолкнул ученых на мысль, что подобные сооружения принадлежат не только так называемой эпохе первобытного общества, но они характерны вообще для той ступени развития цивилизации, которая при определенных обстоятельствах, возможно, продолжалась в более поздние столетия и, очевидно, сохранилась до наших дней, например у туземцев острова Борнео. О свайных постройках уже есть обширная литература, останавливаться на которой я не буду. Естествознание занимает в ней потому такое большое место, что, только опираясь на точные естественнонаучные знания, можно распознать и оценить остатки костей, растительности, разнообразные камни и сделать на основе их изучения выводы о теллурных условиях их тогдашнего существования. Но для историка важно здесь то, что эти остатки несут на себе отпечаток человеческого духа и его руки; из всего того, что некогда употреблял и использовал человек, мы получаем представление, хотя и весьма расплывчатое, об условиях жизни людей, и свидетельство об этом не может дать нам ничто, кроме остатков. Для естествоиспытателя главное заключается в ответе на вопрос, существовал ли человек в так называемый третичный период, предшествующий делювиальной формации.

Такое же значение имеет открытие в руинах грандиозных сооружений первоначальных смысла и цели их возведения. Так, например, ряд ступ, встречающихся от Гидаспа до великих пещерных храмов вблизи Бамиссана у перевала в сторону Бактры, представляют собой — согласно рассказам китайских буддистов-паломников — буддийские монументы в память Будды и его учеников, а монеты, найденные в них, датируются временем от Александра до последних Сасанидов. Таковы мощные римские валы от Рейна до Дуная, в Северной Англии, Траянов вал в Добрудже; особенно следует выделить оба английских вала с развалинами римских укреплений и лагерей, с большим количеством исключительно привлекательных антиков. Для исследователя

здесь, как на ладони, полная картина военной и лагерной жизни римлян. Далее так называемые кольцевые валы, земельные насыпи в регионе между Исполинскими горами и морем как немецкого, так и славянского происхождения; так называемые «языческие пашни» близ Мюнхена и Ульма, вытянутые в длину площадки 40–60 м в ширину, приподнятые, на 4–5 м, с параллельно идущими бороздами, в которых увидели остатки прагерманского земледелия, в то время как милевые камни римской дороги, проходящей через них, показывают, что эти пашни были уже здесь до 201 г. до Р. Х., когда еще никаких германцев южнее Дуная не было.

Чем чаще попадает такой материал, по счастливой случайности оказавшийся в одном месте, и чем он разнообразней, тем живее предстает перед нами прошлое. Нет ничего более впечатляющего, чем когда древние наскальные гробницы Египта, эти подземелья, хранящие тысячи изображений повседневных занятий, воочию показывают нам всю бытовую, экономическую и культурную жизнь страны Нила периода XVIII, даже XII династии, т. е. за две тысячи лет до Р. Х.; или когда из раскопок Помпеи предстает нашему взору римский провинциальный город начала периода империи во всей полноте своей повседневной жизни, замершей в момент страшного извержения. Или еще: старинный торговый город Кулак южнее устья Гаронны, лежавший с XV в. погребенным под песками дюн; древние скифские царские курганы на юге России с их разнообразными остатками эллинистической техники и варварских потребностей. И многое-многое другое.

Необозримо разнообразие предметов, которые можно обобщить понятием «остатки» и по-разному подразделять. Для нашей цели достаточно следующего.

Прежде всего, необходимо выделить тот аспект, который способствовал формированию одной характерной особенности нашего времени. Это коллекции с научной, особенно исторической направленностью. Пожалуй, нечто подобное появилось уже в конце Греческого периода. Аристотель, вероятно, был первым, кто

основал естественнонаучные коллекции и собрание литературных произведений (Δικαιώματα, дидаскалии) и документов; его школа, затем научные заведения в Александрии, Антиохии, Пергаме и т. д. не только основали большие библиотеки, но и, каталогизируя литературные произведения, поднимали их общественную значимость.

Богатые римляне последовали примеру греков. У римлян весьма популярным стало любительское коллекционирование, направленное на собирание статуй, картин, резных камней, драгоценных сосудов для украшения дворцов и вилл; однако о научном интересе не могло быть и речи. Позднее средневековый мир Востока и Запада также не продвинулся в этом отношении ни на шаг вперед. Когда монастыри и церкви собирали и хранили реликвии, геммы, драгоценные камни и сосуды, ковры, диптихи и т. д., то здесь превалировал отнюдь не исторический интерес, а интерес совсем иного характера, а именно церковного благочестия и роскоши, как-вые играли главенствующую роль в те далекие времена, когда в Афинах украшали всевозможными дарами по обету, реликвиями, трофейными доспехами Акрополь, в Додоне и Дельфах — храмы и т. д.

Вновь пробудившийся в Италии со времени Петрарки (1350) интерес к классической древности привел к страстному увлечению собиранием ее остатков: монет, всевозможных произведений искусства, эпитафий, рукописей и т. д. Кое-где и по эту сторону Альп, особенно со времени Карла Смелого и императора Максимилиана последовали итальянскому примеру, в частности отдельные княжеские дворы, богатые патриции; в среде знати все больше входило в моду собирание отдельных вещей для убранства своих покоев и демонстрации роскоши, или просто из любознательности. Об этом свидетельствуют многочисленные кунсткамеры, собрания раритетов в Англии, заложенная около 1560 г. эрцгерцогом Фердинандом так называемая Амбразская коллекция; основанная около 1640 г. картинная галерея, дом принца Морица в Гааге и многое другое. Что касает-

ся исторического интереса, то он начисто отсутствовал у таких собирателей, они руководствовались только интересом обладания, например доспехами известного полководца, письменными принадлежностями знаменитого поэта, охотничьим ножом такого-то императора, шпагой такого-то короля.

Поэтому в высшей степени интересно проследить, как постепенно, в течение всего каких-то ста лет, складывалось иное отношение к таким вещам, как шаг за шагом приходили к пониманию, что из такого скопления диковинок можно извлечь и иную пользу.

Сначала к такому выводу привела потребность в упорядочении сокровищ. В Вене, Париже, Берлине имелись тысячи монет, преимущественно античных. При наличии такого огромного числа золотых и серебряных ценных предметов было настоятельно необходимо для их учета навести порядок и составить их списки, чтобы можно было быстро просмотреть их запасы. В этом направлении была предпринята не одна попытка; и вот в конце XVII в. в Вене иезуит Экгель придумал простую историко-географическую систему, по которой монеты, относящиеся к одному городу или одной местности, были расположены в хронологической последовательности. Это новшество вызвало большое число исследований о происхождении каждой отдельной монеты, ее месте в хронологическом ряду, зачастую определяемом только по стилю и технике. Эта система, перенесенная на монеты Востока, средних веков и Нового времени, стала основой всех нумизматических собраний. Тем самым монеты разных стран и эпох взаимно дополняют друг друга, а все вместе они образуют огромный *corpus numismatum*,<sup>7</sup> в котором имплицитно содержится вся история монет и еще нечто большее. Торговля монетами также способствовала систематизации: крупнейший торговец монетами первой половины нашего столетия Мьонне (Париж) выпустил в свет каталог, составленный по той же системе с добавлением цен; в нем вся масса обычных, редких и наиредчайших монет, предназначенных к продаже, размещена по местам, отве-

денным им в системе. Неизмерима польза, которую извлекли из этого удачного начинания исторические сочинения по нумизматике.

Приблизительно тот же принцип применили к большим собраниям картин, в которых были собраны художественные произведения из разных мест: например в Дрездене, Мюнхене — из многих замков; во Флоренции в палаццо Питти — из церквей и монастырей, в Париже при Наполеоне — в результате многочисленных завоеваний. Лишь постепенно научались смотреть на них с точки зрения истории искусств: распределять их по школам, т. е. историко-художественному направлению, а внутри школ, насколько возможно, и во временной последовательности; вместе с каталогами крупных собраний исследователь получает систематизированный обзор истории живописи.

Как бы само собой, такой принцип, примененный к коллекциям вообще, привел к совершенно новому отношению к собранным экспонатам. Все эти антики, майолики, оружие, сосуды и всевозможные диковинки, накопленные благодаря богатству и любительству, стали воспринимать под новым углом зрения и формировать из них технологические, этнографические, военно-исторические и т. д. собрания. Например, тысячи японских, китайских, французских и т. д. изделий из фарфора, хранящиеся в Дрездене; бесчисленные предметы скандинавских древностей в Копенгагене; собранные Линденшмитом в Майнце предметы римского оружия и лагерной утвари, — все это может показать, как коллекция, собранная со знанием дела, придает отдельному, зачастую незначительному экспонату, такую значимость, о какой прежде никто не мог даже подумать. В результате секуляризации, начавшейся с 1789г. во Франции, а затем, с 1803г., в Германии, Испании, Италии и т. д. в руки коллекционеров попали из прежних мест обитания огромные сокровища, состоящие из резных работ, миниатюр, ковров, гемм, изделий золотых дел мастеров и т. д. Постепенно эти богатства возвращаются в крупные публичные собрания и включаются в историко-географическую



систему, аналогичную для всех. Только на такой основе стало возможным изучать историю художественной и ремесленной техники и производства.

Раз возникнув, идея проявляет себя по всем направлениям стимулирующе и дает богатые результаты. Наконец, и раннее христианство вошло в поле зрения коллекционеров, и начался поиск и в этом направлении. О первой христианской общине в Риме, в которую входили и члены рода Флавиев могут дать нам самые достоверные сведения только римские катакомбы. В этих подземельях многократно повторяются аллегория Орфея, пение которого глубоко трогает всех, аллегория Доброго пастыря, образцом которому послужила статуя Гермеса, несущего на плечах овцу; аллегория Псалмопения в ризах священнослужителя, аллегорическая сцена, как олень идет напиться к источнику и т. д.

Ту же линию продолжали, когда начали собирать орудия земледелия и ремесла, станки и ткани, предметы почтового дела, артиллерийского искусства и т. д. и, систематизируя их, объединяли в коллекции, дающие обзор исторического развития технологии, земледелия и т. д.

Можно увидеть, что во всех этих коллекциях речь идет о предметах художественного и технического творчества человека, проявляющегося в этих остатках изделий и орудий труда и представляющего последовательно довольно полный материал для изучения развития различных отраслей.

Разумеется, эти предметы включаются в коллекции не для того, чтобы на них снова взирали как на диковинки. Коллекционирование является только первым шагом, сразу же за ним возникает потребность в историческом освоении всего собранного. И основой для этого служит каталог, который отнюдь не является только инвентарным списком предметов, собранных в одном месте, пронумерованных с указанием места происхождения, или просто путеводителем для беглого осмотра.

Любой отдельный экспонат требует более или менее критического исследования и основательной интерпретации. Лишь постепенно каталоги начинают отвечать

своему высокому назначению. Подступы к составлению таких каталогов можно отметить только в области нумизматики и в составленном Фридрихом каталоге скульптуры, хранящейся в берлинских музеях.

б) Как вторую категорию остатков мы можем обозначить пережитки учреждений и правовых институтов, в которых нравственные сообщества, народ, община, государство, общество, церковь и т. д. нашли свою форму, свое выражение, свое утверждение, так что они наглядно показывают нам состояние человеческого общества прежних времен: сюда относятся различные государственные устройства, законы, гражданские и церковные уставы, всякого рода правовые и экономические отношения.

Частично такие отношения дошли до нас в виде писанных кодексов законов и уставов, лежащих в их основе в качестве нормы. Хотя этим законам и уставам уже не соответствуют никакие ныне действующие институты, но это не делает их менее интересными. Для понимания начальной истории германских государств чрезвычайно важное значение имеют собрания так называемых *Leges barbarorum*,<sup>8</sup> кодексы бургундов и готов, *Lex Salica*<sup>9</sup> и т. д. В этой регламентации правовых отношений, в заповедях и запретах, в нормировании вергельда и т. д. мы видим те социальные условия, для которых они были созданы, чтобы регулировать правовые решения. Например, *Capitulare de villis*<sup>10</sup> Карла Великого, т. е. хозяйственные распоряжения для императорских доменов, из каковых мы узнаем о полеводческих и садоводческих работах, о повинностях зависимых крестьян, о домашних ремеслах, каковые Карл Великий распорядился перенести по римскому образцу в свои немецкие владения. Индийский кодекс Законов Ману, сборник исландских законов Грагас XII в. дают нам живое представление о социальных условиях и событиях, о которых мы мало знаем или вообще ничего не знаем из исторических сочинений.

Но часто подобные пережитки укладов присутствуют в настоящем, хотя и видоизменившись, и под позд-

ними наслоениями. По всей Северной Германии кое-где можно обнаружить своеобразные правовые институты, называемые фламандскими. Исследуя их и сравнивая с другими явлениями, мы узнаем намного больше, чем только историю этого правового института: такие выражения и топонимы, как фламандская гуфа, фламандский церковный приход, флеминг вблизи Берлина, фламандская улица во многих городах по левому берегу Эльбы, являются остатками сельских и городских колоний, основанных беженцами из Нидерландов, которые покинули родные места вследствие большого наводнения и дошли до Вислы (конкурсное сочинение бельгийца де Боршграве. История бельгийских колоний. 1865). И когда в немецких городских хрониках и отдельных грамотах нам попадаются упоминания о городском праве Любека, Магдебурга, Зюста, то лишь после изучения исключительно разработанного и своеобразного права этих городов, которое частично практиковалось вплоть до 1848 г., например в городах Шлезвиг-Гольштинии и Мекленбурга, мы получаем некоторое представление о городской жизни, начиная с XIII в., о которой едва ли что нам расскажут сами городские хроники. Мы не могли бы оценить значения Эрфурта, если бы не распознали в Эрфуртском праве водопользования основы своеобразной культуры садоводства и разведения цветов на продажу и красильных растений, которое было занесено сюда из Майнца. И тот факт, что в Эрфурте, отчасти еще и сегодня, сохранили ту же культуру поливного садоводства и т. д., весьма наглядно иллюстрирует сведения из дошедших до нас старинных законоположений.

Общинный луг в любой немецкой деревне, каковой существует еще и сегодня, или по крайней мере существовал во времена наших отцов, есть живой кусок истории. Если, исследуя это явление, оглянуться в глубь далеких времен, то можно увидеть, что такое распределение деревенского луга уходит своими корнями во времена первых поселений, и первооснову его можно распознать еще и сегодня. И тут обнаруживаются харак-

терные различия в расположении деревни и луга в древних гау гессенцев, свевов и фризов по нижнему течению Зале по сравнению с соседними гау тюрингов, с одной стороны, и саксов — с другой; и далее, лежащие к Востоку от Зале и Эльбы немецкие и славянские деревни отличаются с первого взгляда тем, что последние расположены в форме подковы, первые же по обеим сторонам дороги, проходящей через деревню. Хотя Ниссен (*Das Templum*. 1869) и не прав, утверждая, что он всегда распознает в римских городах Италии ту же ориентацию, что и в римском лагере, по *cardo*<sup>11</sup> и *decumanus*<sup>12</sup>, все же такие города, как Турин, выросшие из *castra stativa*,<sup>13</sup> имеют именно такую планировку.

Известно, что многие обычаи и нравы, сохранившиеся по крайней мере кое-где до сегодняшнего дня, уходят своими корнями в древние языческие времена: костры в ночь на Ивана Купалу, пасхальная вода, гусь на Мартынов день, или юлкапп на Рождество и т. д.

С тех пор, как Гримм в своей Немецкой мифологии первым обратил внимание на этот факт, в Германии, Англии, Франции, повсюду вновь обнаруживали такие древние пережитки и приходили к пониманию, что в народных обычаях содержится много исторического материала о древних и древнейших временах (Маннхардт из Данцига).

в) Эти рассуждения подводят нас к третьей категории остатков. Те же исследования по германистике доказали, что в наших детских сказках о Белоснежке, можжевелевом дереве, о диком охотнике, крысолове из Гамельна и т. д. сохранились языческие представления древних германцев. Христианство, хотя и накрыло их волной, но полностью истребить не могло. Эти языческие представления держались так цепко, что пережили даже славянское вторжение в земли между Эльбой и Балтийским морем, где некогда жили лангобарды и семноны.

Павел Диакон (*Gesta Long. I, 9*) говорит о лангобардах: «*Wodan, quem adjecta litera Gwodan dixierunt*»,<sup>14</sup> и такая форма имени Вотана сохранилась в рассказе о

госпоже Гауде, бытующем в землях от Хафеля до Бардовика (В. Шварц. Современная народная вера и древнее язычество. 2-е изд. 1862). Представление древнего языческого времени, переосмысленные и ныне уже непонятные, дожили до наших дней.

Подобное можно обнаружить и в Древней Греции, где в более светлый мир олимпийских богов все снова и снова вторгаются отзвуки преодоленной эпохи, темные фигуры древних богов, как называет их Эсхил, и разве только в мифологемах и их метаморфозах можно проследить ход исторического развития той эпохи вплоть до момента, когда с завершением эпической традиции появляются первые скудные известия об ее внешней истории.

То же можно сказать о любом религиозном и языковом явлении и его преобразованиях как у греков, так и у любого другого народа. Язык, каков он есть в настоящий момент, или как он сложился в великих литературах, представляет собой живой кусок истории, а именно в лингвистическом плане, т. е. в грамматике и этимологии, в языковых образах и метафорах. Такое выражение, как «Knall und Fall»,<sup>15</sup> могло возникнуть в нашем языке только после появления огнестрельного оружия (когда падению дичи наземь предшествовал выстрел из ружья); другое выражение, «ich traue dem Frieden nicht»<sup>16</sup> пришло к нам из тех времен, когда пытались установить по всей Германии вечный мир, однако купец боялся поехать со своими товарами на ярмарку в соседний город. Такие словари, как немецкий Гримма, французский Литтре, снискали заслуженную славу прежде всего тем, что они показывают словарный запас языка как удивительное отражение живой истории и мировоззрения различных времен и народов.

Известно, какую важную роль сыграло сравнительное языкознание для изучения происхождения народов, о которых не сохранилось никаких воспоминаний, как, например, на основе одинаковых названий домашних животных, сельскохозяйственных орудий, самых простых занятий человека и т. д. можно доказать

уровень культуры индогерманских народов до их разделения.

Не менее показательно, как лингвистика открыла для себя важную вещь, что язык, будучи выразителем духа народа, является одновременно его пределом. К пониманию китайской культуры пришли, лишь осознав, что язык китайцев не фонетический, а, так сказать, офтальмический, что китайцы в принципе по-иному мыслят, чем другие народы, а именно на основе не звуков, которые мы слышим, а знаков, которые видим, так что у письма китайцев есть такая особенность, что оно может быть прочитано и понято также носителями других языков, а не только китайского, что оно есть пазиграфия, пользуясь которой, 200 млн подданных Поднебесной империи понимают друг друга, как бы далеко они ни отстояли друг от друга в языковом и этнографическом отношении.

Итак, после того как я обозначил первую категорию остатков как разряд творений рук человека, вторую — как разряд социальных и правовых пережитков, а теперь назову третью разрядом мировоззренческих представлений, выраженных в языке, само собой будет понятно, что к этому разряду следует отнести несравненно больше материала: это дошедшие до нас в письменном изложении и литература народов, и их научные труды, и всякие философские и религиозные воззрения, и духовный кругозор любой эпохи. Такая поэма, как Дантова «Divina Commedia», для историка поучительна не только из-за содержащихся в ней многочисленных исторических экскурсов, но прежде всего она — драгоценный документ своей эпохи благодаря нравственным, религиозным и политическим взглядам автора; и я не знаю ничего другого, что бы более величественно и проникновенно представило эпоху начала XIV в. Мы знаем относительно мало о духовной жизни трех последних столетий до Р. Х., но если воздать должное апокалиптическим писаниям евреев, в том числе книге Даниила, а также Сивиллиным книгам, книге Еноха, — всей той синкретической литературе, которая существовала на-

ряду с ученой александрийской, то тут нам откроется мир идей, делающий действительно понятными те страстные стремления и упования, которые прокладывали путь зарождающемуся христианству.

г) Наконец, остатки письменного делопроизводства как официального, так и частного характера, свидетельства которого сохранились в архивных актах, отчетах, отзывах, деловой корреспонденции, счетах. Характерным для этих материалов является то, что они были фиксированными моментами торговых и деловых отношений, юридических сделок, моментами, случайно и частично сохранившимися и вырванными из непрерывного процесса, и, разумеется, не самими сделками, ибо многое, зачастую самое важное, совершалось не письменно, а устно. Даже из времени мы можем получить лишь самые общие сведения о ведущихся переговорах; даже самые что ни на есть аккуратные счета государства, общины лишь до определенной степени достаточны для историка, так как они преследовали иную, деловую цель.

Ясно, что в данном случае исследователю не остается желать ничего лучшего, как иметь в руках подобные деловые остатки, каких бы подчас трудов и затрат времени ни требовало использование их для исследования. Такие материалы, сохранившиеся только во фрагментах, уходят в глубокую древность. Среди иератических папирусов из древнеегипетских гробниц встречаются договоры, приказы, отчеты, относящиеся ко второму, даже третьему тысячелетию до н. э. Среди глиняных табличек, дошедших до нас из библиотеки Ашшурбанипала в Ниневии, кроме ученых и исторических записок имеются также деловые письма, договоры, счета, относящиеся к VIII в. до н. э.; среди глиняных цилиндров, найденных в Вавилоне и его окрестностях, есть счета одного торгового дома начала правления Селевкидов, написанные еще клинописью.

Затем следующими за вавилонскими оригиналами являются греко-египетские папирусы, содержащие деловые записи разного рода, общей численностью около

200 экземпляров: купчие, документы проверки сбора податей, акты Гермия (Амадео Пейрон), протокол одного гражданского процесса, записанного от начала до конца. Из римской античности сохранились несколько восковых табличек, частично из Помпеи, частично из отдельных провинций и т. п.

В средние века только в VI в. помимо грамот появляются письменные деловые документы, сначала касающиеся монастырей и церквей в Италии, Франции и Англии. Римские епископы стали составлять перечни сохранившихся актов очень рано. Уже в 419 г. папа Бонифаций I говорит: «*ut scrinii nostri monimenta declarant*»<sup>17</sup> (Яффе. Regest. № 142), до нас дошли regesta папы Григория I (590–604), которые были изданы в 1702 г. бенедиктинцами. Следующим по возрасту является архив, сохранившийся в лондонском Тауэре, который ведется, если и не с самого норманнского завоевания, то во всяком случае со времени Генриха II (1150), и в котором, естественно, хранятся также многие документы англосаксонского периода; а затем следует назвать несравненную книгу «*Domes day*»<sup>18</sup> за 1086 г., составленную чиновниками короля, статистическую поземельную книгу, а также поземельную книгу императора Карла IV за 1374 г. для марки Бранденбург. Затем, пожалуй, назовем архив в Венеции, в котором уже в 1300 г. работа шла полным ходом.

Само собой разумеется, что всегда и везде предпринимались попытки навести такой порядок в деловых бумагах, по крайней мере государственных, чтобы ими можно было пользоваться и всегда иметь их под рукой. В Афинах для этой цели служил метров, для которого позднее построено было Фидием здание. В Риме Сулла основал так называемый табулярий, который до сих пор занимает весь восток на Капитолийский холм со стороны форума, он должен был объединить все разбросанные архивы и одновременно служить как бюро для всех чиновников администрации.

Немецкая государственность в первые столетия средневековья долгое время не была привязана к постоянной



резиденции, поскольку не было определенного центра правления, и наведение должного порядка для канцлера было трудным, даже невыполнимым делом. Например, вместе императором Генрихом VII в Италию переехала вся немецкая имперская канцелярия, а после его насильственной смерти в 1313 г. все немцы из его свиты ускакали в спешке домой, оставив имперские бумаги в Италии на произвол судьбы, там они разрознивались, часть их ещё и сегодня находится в городском архиве Пизы (Фикер. Остатки немецкого имперского архива в Пизе).

Естественно, что такие обустроенные городские республики, как Любек, Флоренция, Венеция, такие образцовые администрации, как управления Тевтонского ордена в Пруссии, хранили свои деловые бумаги и держали их в надлежащем порядке, как это еще прежде было заведено в церквах и монастырях. В конце XIV в. и княжеские дворы начали проявлять интерес к архивному делу, а, начиная с XV в. гряда актов княжеских и городских архивов росла со все возрастающей скоростью. Уже в XV в. имеются огромная политическая корреспонденция дипломатов: *oratores*<sup>19</sup> и *ambassiatores*,<sup>20</sup> официальные записи переговоров на соборах в Констанце, Базеле, отдельные заметки о рейхстагах имперских сословий. В период Реформации добавились другие виды документов: протоколы коллоквиумов и диспутов, мнения и письма теологов к их начальству. При Карле V и Филиппе II сложился совершенно современный стиль письменного делопроизводства, как это видно, между прочим, из бумаг кардинала Гранвеллы, которые хранятся в Безансоне и составляют 82 фолианта; часть этих бумаг была опубликована в 9 томах *in quarto* французским правительством по инициативе Гизо.

Не только изучение политической истории последних столетий напрямую связано с сокровищами архивов. Наверное, в еще большей степени зависит от них исследование внутренних социальных условий, торговли и ремесел, налоговой системы, военного дела.

В изучении архивов мы делаем только первые шаги. Работа с архивными документами еще потому такая

трудоемкая, что только некоторые собрания приведены в порядок, да и то кое-как: но еще ничего по-настоящему не обработано и ничего не доведено до того состояния, чтобы исследователь хотя бы с некоторой уверенностью мог ориентироваться в массе архивных актов; разве что грамоты, особенно до 1500 г., пользуются особым вниманием и с ними бережно обращаются.

Правда, уже в XVII и XVIII вв. не раз поднимался этот важный вопрос (например, Венкер. Архивный аппарат и чутье архивариуса), а в Майнцском университете до его гибели в 1793 г. была специальная кафедра архивоведения. Но только в нашем столетии, когда историческое исследование все более углубляется и набирает силу, стали лучше понимать значение архивов; и совершенно новым, по крайней мере по идее, был принятый Наполеоном I по предложению Жерандо план создания в Париже *école des chartes*;<sup>21</sup> эта идея, правда, была реализована лишь в 1821 г., однако школа эта служит теперь не столько архивоведению, сколько поощрению исторического исследования вообще. Упущенное во Франции пытались возместить в Бельгии; по повелению короля Леопольда I была проведена реорганизация бельгийских архивов, и эту огромную работу поручили достойнейшему всяческих похвал Гашару, которого назначили *archiviste general du royaume*.<sup>22</sup> Тем самым было положено начало, и постепенно и в других странах делаются хотя бы первые попытки последовать опыту бельгийцев.

## Памятники

### § 23

Место памятников — между остатками и источниками. Их предназначение состоит в свидетельствовании, сохранении для памяти какого-либо момента того времени, тех событий, деловых отношений и юридических сделок, остатками которых они являются, а именно, в такой форме, в какой данный момент и его смысловой

контекст воспринимали его современники, и в этом плане памятники аналогичны источникам.

а) В полном смысле слова сюда относятся грамоты, документальные свидетельства, предназначение которых состоит не только в том, чтобы заключать какую-либо торговую или юридическую сделку, но и свидетельствовать в будущем об этом акте заключения при совершении новых сделок. При использовании таких документов для исследователя исключительно важно не забывать об этих аспектах. Есть различные виды грамот. Поскольку и завещания, и долговые расписки и доверенности, векселя, акции являются в некотором смысле грамотами, то в конце концов вошло в привычку употреблять это слово довольно широко и небрежно. Грамотами в подлинном смысле слова можно назвать лишь торжественное свидетельство, подтверждающее заключенные договоры и юридические сделки, включая дарственные, документы о помиловании, дворянские и прочие дипломы.

Конечно, при слове грамота мы в историческом плане сразу же и прежде всего вспоминаем средневековые письменные документы, которые за последнее время уже изданы во многих сборниках: грамоты пап, церквей, монастырей, императоров, королей, князей, городов и т. д.

Причина столь неутомимых, усердных трудов, затрачиваемых на публикации грамот, заключается в том, что для средних веков вплоть до эпохи Реформации, когда обычные архивные документы стали накапливаться со все возрастающей скоростью, у нас, помимо источников, нет письменного материала, или есть всего немного, и в грамотах мы находим надежную опору для изучения правовых и прочих отношений.

Такие грамоты появляются в пору меровингских и лангобардских королей, постепенно облекаясь в те постоянные формулировки, в которых как раз и проявляется торжественный характер их обнародования.

Затем наряду с грамотами следует отметить *breve*,<sup>23</sup> адресованное отдельному лицу, заверенное личной пе-

чатью, например папским перстнем; далее *placita*, т. е. распоряжения, постановления сословных собраний, а также решения таких собраний, когда они выступают в функции суда (сеньориальный суд). (О других формах см.: Гарри Бреслау. Канцелярия императора Конрада II. 1872).

За усердным изучением средневековых грамот как-то совсем забыли о том, что до сегодняшнего дня в частных и государственных делах имеют хождение совершенно аналогичные документы, и они, хотя бы отчасти и иногда, представляют для исторического исследования не меньший интерес.

Исследование грамот Нового времени все еще находится в полном пренебрежении. Исследовать их еще и потому так трудно, что нередко лишь после тщательного изучения делящихся зачастую годами предварительных переговоров удается установить всего несколько статей или даже слов, из-за которых-то и затянулись официальные переговоры, и, лишь узнав эти слова, мы получаем в руки ключ к разгадке всего документа. Например, в тайном договоре о Прусской королевской короне от 16 ноября 1700 г., в конечном итоге, все сводится к следующему: должно ли быть записано в договоре, что курфюрст Бранденбургский не *полномочен*, как того хотел император, или что курфюрст *не надеется* — как того добивались с прусской стороны, без одобрения императора возложить на себя королевскую корону. Вот в чем суть: может ли только император присуждать королевскую корону, или курфюрст совершает суверенный акт, признание которого испрашивают и у императора, как у любого другого суверена.

Теперь немного о трудностях датировки. В случае государственных договоров речь идет не только о дате заключения договора, но и о дате его ратификации и даже обмена ратификационными грамотами, только после которого договор вступает в силу.

Мы можем проследить историю таких документальных свидетельств вплоть до античности. Кроме вышеупомянутых, дошедших до нас в оригинале протоко-

лов, например египетских, у нас из античного периода есть также аутентичные копии государственных актов, а именно в виде надписей. Ибо сохранившиеся в передаче отдельных авторов договоры, например приведенные Полибием договоры между Римской республикой и Карфагеном, дошли до нас как раз не в аутентичной форме; или приведенный у Фукидида (V, 97) договор Афин с Мантинеей и Элидой, фрагмент которого был найден в виде надписи на камне; из этого фрагмента оказывается, что у Фукидида данный документ передан с пробелами. С договорами, дошедшими до нас в виде надписей, дело обстоит иначе: тут мы имеем целый ряд подлинных документов, прежде всего афинских. Ибо в Афинах публичное выставление на каменной стене документов является актом аутентичной публикации; в «Лисистрате» Аристофана, где в сцене переговоров женщин Эллады пародируется античный судебный процесс, говорится: «τί βεβούλευται ἐν τῇ στήλῃ παραγράφαι»<sup>24</sup> (513). Это псефизмы, высеченные на стене договоры с другими государствами; составленные уходящими в отставку должностными лицами и адресованные новым отчеты о произведенных выплатах, об отпуске наличности, например в казне, на корабельных верфях. И здесь документ облечен в более или менее схематическую формулировку, которая была весьма важна для его достоверности. Подобные документы из Афин, а именно прескрипты народных решений, почетные постановления и т. д., у нас имеются в таком количестве, что можно установить в их обычных, постоянных формулах и эту важную сторону их оформления. Иногда такие документы, свидетельствующие о заключении государственных актов, встречаются и в других греческих городах; частично их формулировки можно толковать по аналогии с аттическими.

Среди римского эпиграфического материала число подлинных документальных свидетельств меньше или, вернее сказать, здесь представлены в большом количестве лишь некоторые категории таких документов, например «*tabulae honestae missionis*»,<sup>25</sup> да еще от-

дельные *senatus consulta*<sup>26</sup> и отдельные *leges*.<sup>27</sup> Тем больше попадаются всевозможные надписи, реестры, весьма четкие формулы которых служат совсем иным целям, а отнюдь не заверению их как документов. Для исследования особенно важно учесть последовательность перечисления должностей и почестей, как передается имя, какова характерная форма посвящения, похвальных слов и т. д.

б) *Надписи*. Здесь, как и повсюду, надписи не являются документами в собственном смысле слова, но все же они памятники очень своеобразного мемориального предназначения, и поэтому их можно включить в нашу главу о монументах. Они представляют собой исторический материал, освоенный во всем своем богатстве только в XIX в.

Не все надписи могут быть использованы как исторический материал, например изречения из Корана, украшающие мавританские здания, также многие благочестивые сентенции на фасадах христианских домов и на надгробиях. Чем ближе к Новому времени, богатому прочими историческими известиями, тем заметнее отступает значение эпиграфики на задний план, и только еще кое-где можно отметить специфический интерес к ней, например, коллекционирование надписей Майнцского собора или надгробных надписей на кладбищах Нюрнберга.

Для античности эпиграфический материал является тем значительнее, поскольку наше знание ассиро-вавилонского мира, древнеегипетской истории и в очень большой степени греческой истории основывается почти исключительно на нем.

в) *Монументальные памятники архитектуры и искусства*. Многие надписи, о которых здесь шла речь, являются лишь более или менее значительным фрагментом исторического памятника, на котором они размещены. Например, многочисленные надгробные стелы; бесчисленные посвящения на стенах храмов, на дарах по обету; стихотворные надписи на статуях, на гермах и т. д., а также эпиграммы в антологиях, нередко

списанные с подлинных надписей на памятниках. Точно такими же деталями монументов являются почти все иероглифические надписи Египта, ибо для целей немонументального письма там пользовались иератикой и сверхскорописью, и еще раньше демотикой. Из персидских клинописных надписей по крайней мере несколько являются дополнениями пластического изображения, так, например, огромная Бехистунская трехязычная надпись на наскальном рельефе, на котором изображена победа царя Дария над магами и другими восставшими против него царями.

Скульптура, произведение искусства в таких остатках представляет собой подлинный памятник: такое произведение стремится своим изображением зафиксировать на вечные времена прославляемое событие, оно подлинно исторической природы. Искусство по своей сути, в своих великих творениях монументально, и произведение искусства можно полностью понять лишь в его историческом контексте, а в своих совершенных творениях оно понятно и без надписи. Таковы колонна Траяна, пергамские рельефы, увековечившие победу над галатами.

И при таком подходе в поле зрения исследователя оказалась бы не только скульптура и архитектура, но и живопись. У нас мало живописных памятников классической античности. Настенные росписи Помпеи не мемориального, а скорее декоративного характера; пожалуй, большее значение имеют дошедшие до нас во фрагментах прекрасные росписи палатинских дворцов. Малочисленность живописных памятников восполняют мозаичные работы, среди них мозаика из Помпеи, изображающая битву Александра (еще один апофеоз побед Атталидов над галатами), а на закате античности великолепные мозаики в соборе San Vitale и San Apollinare nuovo, созданные в период великого остгота Теодориха (Кроуэ и Кавальказелле. История итальянской живописи, в переводе на немецкий Макса Йордана. I, 1869).

Как мозаичное искусство, так и его дальнейшее развитие, живопись по сырой штукатурке (*al fresco*), кото-

рая по происхождению — более раннее явление, с XI в. распространяются и к Северу от Альп, обогатили Запад стилем византийского искусства, в то время, как в Сицилию и Испанию начинает проникать пестрая арабская вязь изречений. Если мысленным взором окинуть все эти базилики, соборы, монастыри, княжеские дворцы и замки германо-романского Запада, украшенные скульптурой и фресками, бронзовыми воротами, чашами и распятиями, инкрустированными античными геммами, облачениями священнослужителей и гобеленами, то начинаешь лучше понимать техническое и историко-художественное развитие Запада.

Особенно поразительно, как рано севернее Альп стали использовать живопись не только для украшения церквей, но и для создания подлинно исторических, мемориальных изображений. Как повествует Лиудпранд, король Генрих I повелел написать в трапезном зале дворца в Мерзебурге *ζωγραφία*, картину битвы с венграми (ок. 930 г.), «*adeo ut rem verum potius quam verisimilem videas*».<sup>28</sup> На палантине, вышитом по канве, конца XI начала XII вв. из Бойе, длиной более 200 футов, изображены сцены завоевания Англии норманнами. С грандиозных фресок Джотто в Ассизи, фресок в Campo Santo в Пизе на рубеже XIII и XIV вв., а севернее Альп, веком позднее, с творений братьев ван Эйк, наступает великий период в истории живописи, который в мощном порыве вовлекает в свою орбиту современные исторические события, изображая их. Я напому о фресках в Сьенском соборе конца XV—начала XVI в., изображающих жизнь папы Пия II (Энея Сильвио Пикколomini), и о великом апофеозе папства, увековеченном в рафаэлевых Станцах, и т. д.

В этот период появляется гравюра на дереве и грабштих для размножения живописных произведений и распространения их среди народных масс. Появление гравюры на дереве по достоверным экземплярам можно датировать уже 1426 годом (намного раньше появились отгиски с крашенных деревянных досок в «*Biblia rauregem*»,<sup>29</sup> снабженные рифмованными подписями;



нищенствующий монашеский орден). Гравюра на меди возникает через полвека, родившись из техники чернения золотых дел мастеров (черненные бронзовые пластины для надгробных памятников, Любек). Бурные времена Реформации способствовали расцвету этих двух видов гравюры, тяготеющих к карикатуре, и их исключительно сильному воздействию особенно на светскую и церковную политику. Позднее, в мятежные времена, такие карикатуры стали ходовым товаром, например голландские карикатуры в период борьбы Нидерландов за отпадение от Испанской короны, карикатуры времен Тридцатилетней войны (собрание в библиотеке Гамбурга).

г) Синкретический характер памятников особенно привлекательно проявляется в монетах, являющихся сверх того и документами, и если уж какая-либо категория памятников для исторических штудий представляет интерес, то это — *нумизматика*.

Если главное свойство монеты состоит в том, что кусок металла, особенно благородного, путем чеканки, подтвержденной государственным авторитетом и гарантией, выдается в розничной торговле за определенную стоимость, то, как свидетельствует Геродот (I, 94), а до него Ксенофан у Поллукса (IX, 83), этот чрезвычайно важный для торговли шаг первыми сделали лидийцы.

Нельзя сказать, чтобы культурные народы и раньше не употребляли благородные металлы в торговле для обмена. На египетских барельефах довольно часто можно увидеть среди приносимых в качестве дани вещей горки золотых колец, а по свидетельству одного древнего автора египтяне пользовались в качестве разменной монеты скарабеями (камнями-амулетами в виде навозных жуков). Вавилоняне, от которых по всему древнему миру пошла система мер и весов, при обмене товаров взвешивали благородный металл. Финикийцы, согласно одному древнему сообщению, метили слитки взвешенного металла буквой, обозначающей число (ὀβελίσκοι или ὀβελοί). Но именно лидийцы, которых Геродот называет также первыми розничными торгов-

цами (κάπηλοι), начали чеканить монеты (с какого времени — историк не говорит); сопоставляя некоторые факты, можно предположить, что это, вероятно, случилось незадолго до начала VIII в. до н. э. Ибо аргосский царь Фидон, сделавший так много для развития сношений между полисами Греции, уже чеканил серебряную монету, а время его правления приходится, пожалуй, на VIII Олимпиаду (а не на XXVIII).

Началось все с того, что на укрепленном на матрице (отсюда «quadratum incisum»<sup>30</sup> самых древних монет) округлом куске золота или серебра оттискивали тот тип, который был гравирован на молотке, которым наносили удар: черепаху в Эгине, щит в Фивах, бокал на Хиосе или какой-нибудь иной знак, бывший символом города. Сначала без надписи кругом, которая появилась лишь в VI в. — по этим легендам можно с уверенностью датировать монеты Фемистокла из Магнесии, и монеты Александра I Филэллина в Македонии, — уже с середины VI в. до н. э. монеты отличались художественной формой, которая достигла наивысшего совершенства прежде всего в Македонии, Фессалии, Таренте, Сицилии. Официальный чекан города или владельца города удостоверял, что монета действительно имеет ту стоимость, которой она обладала при ее выпуске, чекан был официальным свидетельством номинальной стоимости монеты.

Нет необходимости объяснять, каких больших успехов добилось историческое исследование в этой области. Существование индобактрийских государств после Александра можно установить и в историческом аспекте объяснить почти исключительно только по монетам. По второму клейму сотен разных типов монет из Тарента можно нарисовать картину ремесел города (ткачество, красильное ремесло и т. д.). По монетам римских семей знакомятся с родовыми святынями. Изображения на больших монетах римских императоров (Берлинский музей) представляют величайший интерес для изучения топографии Рима; кроме того, на них можно увидеть портреты императоров и членов их фамилий.

Для истории искусств также важны монеты Адриана с головой Олимпийского Зевса Фидия, монеты Книда со статуей Венеры, монеты из Афин со знаменитой скульптурной группой Гармония и Аристогитона.

Другой очень поучительный аспект изучения монет — проверка их номинальной стоимости. Метрология Бёкка впервые натолкнула ученых на мысль о связи метрологических систем классической античности и их зависимости от вавилонской системы мер. Эту мысль затем развил И. Брандис («Система мер, монет и весов в Передней Азии до Александра». 1866) и подтвердил ее главным образом монетами, а в 1860 г. Моммзен в своей «Истории римского монетного дела» проследил своеобразную трансформацию системы веса Италии.

Вместе с клонящейся к закату империей приходят в упадок искусство и значительность типов монет, хотя монеты императоров Константинополя все еще лучше, чем восходящих германских империй, а затем и городов, и епископств.

Тем сильнее заявляет о себе восточная нумизматика: например, весьма внушительные серии монет парфянских Аршакидов, затем великолепные в художественном отношении монеты Сасанидов с легендами на пехлеви, которые расшифровал Юстус Ольсгаузен. Затем следуют арабские чеканки, сначала калифов, затем бесчисленных династий от Испании до Индии.

Средневековая нумизматика Запада была в упадке, но еще хуже обстоит дело с исследованием ее ценностей.

Начало ее исследованию положил Лелевель, теперь ею занимается Данненберг в Берлине («Немецкие монеты времени саксонских и франкских императоров, 1876; о стоимости см.: Сетбеер. К истории денежного и монетного дела в Германии. В журнале «Исследования по немецкой истории». 1, 2, 4, 6).

Лишь со времени Штауфенов снова можно говорить о некоторых художественных достоинствах (золотой Augustalis, августдор, Фридриха II итальянской рабо-

ты), которые затем, в XV в. доводятся до подлинного совершенства чеканки; примером могут служить монеты императора Сигизмунда. Но и эти монеты не могут похвалиться пристрастием к изображению исторических событий; на них можно увидеть бесконечные стилизованные в немецком стиле гербы, да еще святых покровителей городов и мадонн. Только в конце XV в. появляются профильные портреты императоров, королей и князей. С тех пор здесь по-прежнему не на чем остановить взгляд, самое большее, что иногда попадает, это талеры с портретным изображением анфас. Кроме того, конечно, имеет место медальерное искусство.

Прежде чем я перейду к медалям, еще два замечания, касающихся нумизматики.

Нет ничего более привлекательного для наших исследований, чем так называемые клады монет, т. е. находки закопанных в большом количестве в одном месте золотых монет. Когда в Восточной Пруссии нашли в горшке несколько сотен золотых монет, которые все без исключения были выбиты ранее определенного года правления императора Грациана, то тем самым удалось доказать, какими своеобразными путями они попали в этот край. В саду древнего Сидона в 1863 г. нашли более 3000 золотых статеров, на большинстве из них был свежий штемпель, по которому выходило, что эти монеты были закопаны между 310 и 306 гг. до н. э.; среди них нет ни одной персидской монеты, только греческие Филиппа, Александра и Филиппа Арридея, а также монеты нескольких самостоятельных городов: такая находка была подобна лучу света, упавшему на покрытую мраком историю этого периода. В землях по побережью Балтийского моря нередко находили такие клады, в которых попеременно лежат арабские и англосаксонские, или арабские и немецкие монеты, некоторые из них разрезаны ножницами. По этим монетам можно узнать распространение и пути средневековой торговли до XIII в. и понять, почему торговые города переносили свои конторы в Висби, на ливонское побережье (Нарва и Ревель), в Новгород: из-за конкуренции с итальянскими

городами — с Амальфи, Пизой, Венецией — оптовая международная торговля была вынуждена уходить все дальше на Восток.

Второе замечание касается монет кризисного времени, осадной монеты. Это монеты, которые правители выпускают в лихолетье, например во время осады города или оккупации чужой провинции, чтобы возместить недостаток платежных средств: например разрезают серебряную посуду, набивая на эти куски серебра импровизированный штемпель, или на имеющиеся в оккупированной стране монеты набивают символ, который обозначает их как признанные деньги. Такие набивки или перечеки встречаются нередко среди античных монет и поэтому очень поучительны (особенно часто встречаются имевшие широкое распространение коринфские монеты). Кроме того, такие набивки часто бывают на испанских пиастрах, французских кронах; имеются бесчисленные осадные монеты времен французской революции, особенно в Италии. Их часто нельзя причислить к настоящим осадным монетам, а просто желали сэкономить на расходах по переплавке монет, или нужен был предлог, чтобы придаться к тем, кто не сбыв изъятые из обращения деньги.

Исследование таких вещей представляет особую привлекательность. Следующий шаг к монетам кризисного времени был сделан, когда произвольным, зачастую не имеющим никакой стоимости кусочкам металла стали придавать фиктивную стоимость, набивая штемпель, например оловянная драхма Диониса I или медный талер (Muntetaler) Карла XII, медные пластины в ладонь величиной со штемпелем «4 риксдалера» (Александр Брюкнер. О медных талерах Карла XII).

А когда дело зашло так далеко, то оказались в сфере обесцененных ценных знаков, которые в конце концов со времени французских ассигнаций превратились в постоянный фактор денежного обращения.

Я уже упоминал о памятных монетах, медалях. Кое-что такого рода встречается уже в античности, например великолепные огромные золотые медали в

честь Александра Великого, которые чеканил его поклонник Александр Север (Longprèrier. *Tresor de Tarse. Revue numism.* 1868); несколько больших медалей таких римских императоров, как Диоклетиан. Особенно в последние пять столетий памятные монеты и медали стали своего рода компенсацией богатства форм античной чеканки. Только в конце XIV в. не без влияния античных штудий, возродившихся со времени Петрарки, в Падуе, Мантуе начали чеканить *tesserae* (знаки) для различных публичных целей, с профильным портретом владыки города (Франческо ди Каррара) на одной стороне и с каким-либо символическим изображением по античному образцу — с другой. Вскоре стали чеканить такие знаки в большом количестве, отливая их из бронзы, их называли «большие металлы» (медальоны, *medaglioni*). Со времени Пизанского собора 1409 г. это новое искусство достигло необычайного расцвета и пользовалось огромной популярностью для портретных изображений и для увековечивания важных событий и знаменитых деятелей, например великолепные итальянские работы XV в. (Лукреция Борджиа с Амуром). Лишь к концу XV в. появились немецкие работы (Дюрер), затем работы нидерландских мастеров. Постепенно возвращались к штамповке таких медалей, что явно не пошло на пользу их художественности.

Своеобразие данного искусства заключалось в том, что оно продолжало служить увековечиванию знаменитых людей и значительных событий. Уже в период Реформации появилось множество таких памятных монет. Нидерландцы отметили свою тяжелую борьбу за свободу против Испании целой серией таких пфеннигов. А затем Франция, Англия, почти все государства. Ничего нет более привлекательного, чем такие монументальные серии, на которых запечатлена история, и их стихотворные легенды (*Afflavit Deus, Nostris ex ossibus* и т. п.).

Позднее, правда, творилось много безобразий с этими знаками: выпускались чудотворные медали; имели хождение серии профильных портретов, например, в

начале XVIII в. были популярны портреты пап, и Фойгту Младшему вздумалось воспроизвести в своей книге одну медаль из этой серии как портрет Пия II, в то время, как есть прекрасные, подлинные медали с его изображением, правда, они являются раритетами.

д) Эмблематическое изображение на монетах и тем более на медалях по большей части используется в гербах, этой удивительной символике, которая вот уже тысячу лет разрабатывается по крайней мере в Западном мире. Ибо хотя, как полагают, можно найти гербы уже в греческом мире, то там все же это слово можно употреблять только не в собственном смысле, поскольку там такие знаки лишь личного и индивидуального характера, в настоящих же гербах главным является непрерывность рода. Правда, иначе обстоит дело с гербами городов.

Я сошлюсь здесь хотя бы на то, что в последнее время родилась идея свести истоки гербов к так называемым идеограммам, которыми, согласно «Саксонскому зеркалу», у немцев с древних времен метилась свободная собственность и которые сохранились до сегодняшнего дня в знаках — метках на заготовках средневекового крестьянского наследия, на тюках с товарами торговых домов. Это «знак от руки» или марка торгового дома (Михельсен, Гомейер), т. е. простые фигуры, чаще всего состоящие из перекрещивающихся штрихов. И, возможно, именно отсюда происходят самые простые элементы в геральдике, например черно-белый щит герба Цоллернов, разделенный простым крестом; или золотые и черные полосы с поперечиной в асканийском и саксонских гербах — и такие наипростейшие знаки называются почетными. Лишь с XII в. добавляются так называемые фигуры в щите: львы, цветы, крылья, птичьи когти и т. д., по-видимому, это преимущественно местные обозначения крепости, города, власти, территории, по которым стали именовать себя, хотя эти знаки были древними, как, например, саксонская лошадь, которая еще и сегодня красуется в брауншвейгском гербе, или эти знаки *ad libitum*<sup>31</sup> выдумываются, нередко с каким-либо намеком на имя, например, графы фон

Кеферштейн включили в свой герб трех жуков. Называл ли себя римский род Колонна по остаткам колонн у их родового замка или они включили в свой герб колонну на основе своего родового имени, мне неизвестно. Такие говорящие имена знала уже греческая античность, как это можно увидеть из монет, например, Родос — роза, Силинунт — лист плюща.

Уже с XII в. вошло в обычай присоединять к имени название владения, и вначале это происходило так: скажем, второй, третий сын, получая новое владение, отказывался от старого имени своего рода, например, младшая ветвь графов Цоллернов называла себя графы Гохбергские, а другая, получившая во владение Нюрнберг, бургграфами Нюрнбергскими, но сохранила за собой черно-белый щит. Это же явление можно наблюдать и у менее значительных родов вплоть до министралов, так что генеалогическую связь в XIII–XIV вв. следует определять отнюдь не по имени, а, скорее, по гербам. И, наоборот, если многие немецкие семейства носят такие часто встречающиеся фамилии, как Штейн, Шёнберг, Лимпург и т. д., то различие их гербов показывает, что они не родственники. Поэтому, когда колонна в гербе графов фон Геннеберг побудила колоннов считать оба рода родственными, это не было такой уж нелепостью. Но когда на Констанцском соборе в пору расцвета гербов папа Мартин V счел своим родственником бургграфа Нюрнбергского, только что ставшего курфюрстом Бранденбургским, то он просто принял за колонну несколько массивно нарисованный скипетр Рудного казначейства в гербе курфюрста Бранденбургского.

## Источники

### § 24

Говоря о памятниках, мы установили, что, будучи остатками прошлого, они предназначены также для фиксации, для сохранения в памяти потомков некоторых моментов внешнего события и его значения, а



именно в таком художественном и символическом обобщении, чтобы вызывать у зрителя соответствующие представления и чувства.

Статуя героя, его живописный портрет должны живописными или пластическими средствами выпукло передать как бы квинтэссенцию его исторического бытия и деяний, а не показывать его таким, каким он мог оказаться в тот или иной момент. Фотографическое сходство является чисто внешним и сиюминутным, оно верно, но не истинно, ибо оно фиксирует лишь данный момент, один из многих, дополняющих и корректирующих друг друга,— таланту художника дано путем обобщения высветить эти моменты и тем самым выявить подлинную сущность портретируемого, или, как сказал один художник (Эдуард Бендемани): «Хороший портрет есть проповедь». Иными словами, он показывает портретируемого, каков он в своей истинной сущности или каковым он должен быть.

Еще одухотвореннее предстает перед нами образ действительного в символических и аллегорических изображениях. Когда в 1513 г. Дюрер в прекрасной гравюре «Рыцарь, смерть и дьявол» изобразил твердого и непреклонного, сильного своей верой рыцаря, которого не могут сбить с избранного им пути два самых ужасных порождения человеческого страха и соблазна, то его гравюра явилась подлинным апофеозом Зиккингена, рыцаря Франциска, аллегорией, прекрасней которой невозможно себе и вообразить.

Чем свободнее в художественном отношении такое произведение, тем слабее его внутренняя связь с действительным фактом, пока она, наконец, в музыке, танце, архитектуре не превращается в  $\mu\mu\mu\mu\mu\mu$  не столько действительного факта, сколько чувства, порожденного им. Например, симфония Eroica, задуманная в 1809 г. как апофеоз Наполеона. Такова предпринятая для прославления светской власти папы проводимая по проекту Микеланджело перестройка собора Св. Петра, грандиозный купол которого во всем своем величии должен был вознестись выше древнего Пантеона.

Разумеется, что такие художественные творения всегда содержат в себе нечто иррациональное и тем самым неопределенное; и чем они идеальнее, тем в большей степени иррациональны. И тот, кто пытается, прибегнув к реализму, подправить в них это идеальное, тот рискует разрушить самое лучшее, что в них есть.

По присущему человеку свойству мы не можем постичь внешние вещи более ясно и точно, чем через слово и мысль, реализующуюся в словах, и мы представляем вещи определенно и четко лишь постольку, поскольку мы перевели их на язык слов, т. е. на наши понятия, суждения, выводы, включили их в бесконечно подвижную и точную систему нашего представления и мышления.

Таким образом, параллельно происшествию, становлению вещей идет перевод их на мысли, и насколько эта операция продвигается, настолько мы постигаем вещи и имеем их, они входят в наше сознание, они для нас суть происшедшие и здесь. Но при таком мысленном переводе сами вещи не остаются теми же, внешними и разрозненными, т. е. они не остаются прежними потому, что в процессе нашего осмысления их включаются в смысловые связи, причинно-следственные цепочки, в системы поводов, целей, условий и т. д., которые не в них самих, а лишь в нашем восприятии, в нашем понимании их, значит, они не остаются прежними как раз по тем же причинам, по каким мы в силу наших чувственных и умственных способностей в состоянии понимать их.

К этому следует добавить еще одно замечание. Все, что усваивает наше представление, тотчас вступает в связь со всем нашим внутренним миром, становится в нем одним из живых элементов, изменяясь в дальнейшем вместе с ним по мере того, как он вбирает в себя все новые и новые элементы.

Стоит только раз понаблюдать за самим собой, чтобы убедиться, как порой бывает трудно точно зафиксировать воспоминания, как смещается и изменяется образ того, что мы сами видели, даже сами делали, в чем участвовали. Дом, город, где мы жили в детстве, когда мы

возвращаемся туда через десять, двадцать лет, кажутся нам совершенно другими, меньше, хотя они остались такими же, как были; не дом, не город, а мы изменились и вместе с нами наше представление о них.

Из этого обстоятельства непосредственно вытекает существенное различие между письменной и устной традициями. Общим для той и другой является, что они в мире представлений хранят и передают из поколения в поколение то, что было и произошло. Но письменная традиция перед устной имеет то преимущество, что она в определенный момент зафиксировала эти текущие представления и тем самым вырвала их из потока дальнейших превращений.

Естественно, что устное предание о недавних или только что совершившихся событиях несравненно богаче, чем письменное. Ведь только бесконечно малая частичка того, что, передаваясь из уст в уста, становится воспоминанием, когда-нибудь будет записана.

Большинство событий, связанных с Франкфуртским парламентом 1848 г., кануло в лету, так как провал всего этого предприятия свел на нет значение отдельных процессов, и ни один из участников не проявляет ни малейшего желания оставить подробные записки о *нем*. Об ужасах французской революции еще в 1830–40 гг. во многих семьях сохранились живые, передающие дыхание времени предания, рисующие происходившие тогда события весьма иначе, чем в книгах Тьера и Ламартина, воспевающих их. Но с третьим, четвертым поколением постепенно умирает предание, согретое личным чувством; письменное предание, если оно имеется, получает преимущество благодаря раз и навсегда зафиксированным редакции и пониманию, *fable convenue*.<sup>32</sup> Только в народе, до которого не доходят никакие преобразования такого рода, и только в отдельных, привязанных к совершенно определенному месту выражения хранятся воспоминания о событиях и людях, оставивших по себе в народе сильное, неизгладимое впечатление, как, например, о старом Фрице или Мартине Лютере, или, когда где-нибудь на Севере Герма-

нии слышишь от крестьянина рассказ о Шведском времени, после которого осталось «вот то заброшенное селение» или «вот тот редут, насыпанный тогда»; в таких рассказах спрессовано народное представление о Тридцатилетней войне.

Стоит поразмышлять над такими фактами, чтобы понять, во что превратится устное предание, если его не будет обуздывать и удерживать в определенных границах сопутствующая ему, быстро распространяющаяся письменная продукция, безудержно преумножающаяся в течение последних триста лет.

Устное предание стремится к упрощению, оно из всех фактов запоминает лишь самое интересное, о том или ином историческом деятеле лишь один характерный анекдот и, идеализируя его, сводит все к простым, предельно четким, пластическим представлениям. Для образованной публики Людовик XIV раз и навсегда охарактеризован фразой: «L'état c'est moi»,<sup>33</sup> хотя эта фраза нигде не засвидетельствована и не совпадает с его исторически подтверждаемыми взглядами. У любой великой армии складывается собственная мифология о своих героях, и она, пожалуй, не самая маловажная составляющая боевого духа армии. Достославная чеканность и сила греческих и римских характеров объясняется в немалой степени тем, что мы знаем о каждом из них всего один или несколько выразительных анекдотов и на их основе строим образ, который, конечно, же будет весьма чеканным потому, что природное многообразие реального бытия уже не нарушает монолитности личности.

Каким бы важным ни было различие между устной и письменной традицией, оно само по себе не носит принципиального характера, тем более, если принять в соображение тот факт, что все, что сто или тысячу лет назад было еще устной традицией, дошло до нас лишь благодаря его записи.

Другой подход к рассмотрению источников предложила так называемая критическая школа, а именно разделение источников на первоисточники и вторич-

ные, производные. При этом подходе предполагается, что историческая традиция восходит к одной первоначальной форме, а что все прочие, более поздние, так или иначе ее использовали. При этом обходят молчанием вопрос, как же возник такой первоисточник. Следует ли считать таковым любого из участников битвы, кто затем смог рассказать о ней? Что же он видел со своих позиций, будучи, вероятно, подначальным? Насколько он знает о взаимосвязи всех моментов сражения? и т. д.

Кроме того, само собой разумеется, что в том случае, когда более поздний источник оказывается произведенным из более раннего, то он вовсе и не источник; а если нельзя уже установить его первоисточник, хотя он имел таковой, то для нас он будет по необходимости заменой первоисточника, но тем самым его значение не повышается. Коротче говоря, этот подход не дает нам критерия принципиального различения разнообразных источников, но он заслуживает быть рассмотренным нами в разделе о критическом методе, где мы вернемся к нему.

Точно так же недостаточно продуман вопрос о различении прямых и косвенных источников, когда под косвенными понимают источники, написанные вовсе не о том, ради чего мы их привлекаем к исследованию, используя как источники. Понятно, что здесь речь идет не о различных источниках, а о нашем различном употреблении их. Например, если Евангелия, особенно три первых, для нас совершенно достоверный источник о жизни Иисуса, но в то же время они приводят некоторые сведения о римском цензе, представляющие определенный интерес для изучения государственного устройства Римской империи и позволяющие разрешить некоторые вопросы хронологии, то в предназначение Евангелий все же не входило служить источниками по истории и государственному устройству Рима, и, допуская, что эти книги верны в мелочах, бывших для них малозначимыми, мы поступаем на свой страх и риск.

Возьмем другой пример. Если мы используем труды таких авторов, как Видукинд, Титмар, Випон, желая установить, скажем, понятие «*principes*» в государст-

венном праве XI–XII вв., то мы как бы заранее предполагаем, что эти авторы выбирали слова с дотошностью ученого правоведа, но ведь их внимание было приковано совсем к другим материям, а никак не к этим юридическим терминам. Их труды могли бы считаться косвенными источниками по вопросам государственного права лишь тогда и постольку, поскольку можно допустить, что эти авторы понимали техническое значение этих слов в духе своего времени, а не старательно избегали их, исходя из избранной ими манеры изложения, как, например, поступал Геродот, который весьма старательно избегает официальных и технических выражений, заменяя их описательными.

Как мы видим, все, что верно в теории косвенных и прямых источников, относится к другому разделу наших лекций. Эти исторические книги, будучи остатками времени своего возникновения, пожалуй, впитали в себя атмосферу своей эпохи и ее общие представления, однако они передают их не с фотографической точностью до мельчайших подробностей, а часто намеренно высказываются суммарно.

Из природы источников вытекает другое различие, более значительное. Если источники суть мнения, восприятия, то в них заложен двойной момент; момент воспринимающего и того, что он должен воспринять.

Согласно вышесказанному источники можно будет различать по принципу: какой из этих моментов сильнее заявляет о себе, являются ли источники в большей степени субъективными или же они основаны прежде всего на знании предмета, положения дел.

Дипломат обязан писать свои донесения, придерживаясь, насколько только возможно, сущности дела, ибо от этого зависит принятие важнейших решений; со своей позиции он не может увидеть того, в какой связи находится отдельный, непосредственно им наблюдаемый момент с другими, происходящими далеко от него событиями. Но, может быть, это увидят в той инстанции, куда он посылает донесения. Именно поэтому он непременно стремится изложить увиденное как можно проще.

И совсем иная ситуация, если от него потребуют письменно высказать его мнение о положении дел, как они ему видятся с его точки зрения, и о мерах, которые следует принять. Здесь он также имеет дело с фактами и, возможно, даже с теми же, которые он уже сообщал, но теперь они ему нужны, чтобы обосновать свое мнение, высказать свои соображения по плану действий; тут он может изложить *свою* точку зрения на взаимосвязь сообщаемых им событий и отношений. Такая памятная записка, несомненно, может служить историческим источником, но это источник совсем иного рода, чем его донесение.

И, таким образом, у нас теперь в руках то, что нам надо, принцип различения источников. Тот или иной процесс, факт воспринимается, а затем излагается либо по возможности сухо, по-деловому, т. е. максимально прагматично, а именно излагается или с опорой только на внешние моменты общего контекста, или на основе внутренней каузальной связи, т. е. или в основном реферирующе, или, скорее, комбинирующе — либо в изложении превалирует субъективный элемент над деловым. И тут снова возможны два варианта: субъективный элемент доминирует либо потому, что эмоциональность сильнее делового элемента, *φανταστικός*<sup>34</sup> сильнее *νοητικός*,<sup>35</sup> например, в народном сказании; либо потому, что фактический элемент служит лишь материалом и поводом для дальнейших соображений и аргументации, скажем, в речах Демосфена или Эдварда Берка, в комедиях Аристофана или «Генриаде» Вольтера.

Само собой разумеется, что сочинения, которые мы называем источниками, писались не для того, чтобы стать образцами данного жанра, и их нельзя строго разложить по этим четырем рубрикам, напротив, здесь имеет место многократное взаимопроникновение и перекрещивание. Но эти четыре рубрики дают нам схему, по которой мы с самого начала можем ориентироваться относительно пригодности источников для исторического исследования.

а) Субъективный ряд источников. Мы убедились, что параллельно любому происшествию идет непосредственное восприятие, транспонирование его в представление. То, что видел очевидец и рассказывает, передается дальше из уст в уста, понимаемое в свою очередь каждым по-своему, так что факт очень скоро обрастает слухами, окрашен ими, искажен до неузнаваемости. В эпохи просвещенные и литературные затем, пожалуй, начинаются всевозможные корректировки, и вместе с письменной фиксацией факта суждение может быть легко подвергнуто дальнейшей проверке.

Там, где нет такого контроля или он слабый, складывается весьма примечательная форма предания.

В позднем средневековье во всех странах христианского мира мы встречаем так называемые исторические, или народные, песни, которые доподлинно представляли общественное мнение, особенно в смутные времена, уж тем более до появления печатных «летучих листков». Вспомним, майнцские песни времен императора Сигизмунда, песни Петера Эшенлоера, что распевали в корчмах, песни швейцарцев времен их войны с бургундцами, боевую песню дитмаршенцев о мечах у Неокоруса (издание фон Лилиенкрона).

Бытует ложное представление о народных песнях, как будто они родились сами собой, путем *generatio aequivoca*:<sup>36</sup> «Кто песенку эту нам сочинил». Народ хранит в памяти то, что ему по сердцу, переделывая на свой лад: «На прохладном берегу Зале» (Куглер).

Чаще всего такие песни исчезают вместе с ситуацией, породившей их. Другие же остаются, если они прекрасны или выражают непреходящие, понятные всем чувства, например песни о принце Евгении; или иногда в текст старинной песни подставляется новый персонаж, скажем, Марлборо (Мальбрук). Новая точка зрения на народные песни привела к новому пониманию сущности народного предания, что дало прекрасные результаты.

Теперь уже видно, к каким новым открытиям ведет такой подход. «Сказание о Дитрихе», «Битва воронов»,



«Песнь о Хильдебранте» уходят своими корнями во времена Великого переселения народов. Все эти сказания готов, бургундов, франков слились в цикле сказаний о Нибелунгах. И у германских народов повсюду пели такие песни еще до Великого переселения народов (Tacitus. Ann. II, 88: «Arminius canitur adhuc barbaras apud gentes»).<sup>37</sup>

Поэтическая, т. е. рифмованная форма, не имеет особого значения; были и прозаические предания такого рода. Например, в Греции λόγοι, которые так часто приводит Геродот в качестве своего источника; и Пиндар (Pyth. IV), рассказывая предания о Крезе, Фаларисе и других, называет в качестве преданий καὶ λόγοι καὶ αἰοδοί, буквально «рассказчиков-ремесленников».

Однако, как правило, предпочтение оказывают поэтической форме, благодаря чему воспоминание и предание хотя бы как-то фиксируется. Конечно, такую фиксацию нельзя сравнить с письменной: напротив, передаваясь из уст в уста, песни постоянно изменяются.

Во всех этих сказаниях, песнях мировосприятие, по существу, субъективно. И тот факт, что, как правило, это анонимная субъективность, каковая здесь изначально заявила о себе, не меняет сущности дела. В памяти и представлениях всех сородичей, всех, кто принадлежит к одному племени или народу, эти песни, сказания живут и развиваются, вбирая в себя все новые представления, открытия и даже факты. Так, во времена папы Калликста II, около 1122 г., был включен, вероятно, самим папой в сказание о Карле Великом хроники Псевдо-Турпина рассказ о крестовом походе короля. При описании событий сказание в конечном итоге лишается всякой исторической достоверности и, полностью пренебрегая прагматической и фактической стороной дела, становится тем поэтичнее, и исполненное чувством, идущим из глубины души, оно превращается в яркое выражение духа народа.

Помимо сказаний есть еще другая категория преданий. Точно так же, как нечто внешне созданное, вовлеченное в круг представлений становится полностью

субъективным, так и самое субъективное, глубоко душевно прочувствованное и продуманное, все, что наполняет и волнует душу как предчувствие божественного, излагается в форме историй, которые принимаются на веру. Религиозное чувство проецируется в форму священных историй, в которых наше самое сокровенное пытается как бы представить логику своей реальности, находит свое подтверждение и оправдание. Миф и сказание встречаются, срастаясь друг с другом, история и вера взаимопроникают друг в друга и, если и та, и другая, неразрывно слившись, забывают подлинное значение своего содержания, они продолжают жить в виде сказок.

Таким образом, у нас имеются подходы, необходимые для понимания гомеровских, германских, индийских народных сказаний, более древних книг Ветхого Завета. Как в «Нибелунгах» миф и сказание неразрывно переплелись, например миф о Зигфриде и Брунгильде и т. д. со сказаниями о Великом переселении народов, так и в «Илиаде» и «Одиссее» (Бенедиктус Низе) и т. д. Для исторического исследования Ветхого Завета одной из самых трудных задач является разграничение мифа и сказания; как полагают, в основе рассказов о Самсоне, Исааке лежит миф.

Уже в мифе о Зигфриде, которого убивает Хаген, как полагают, можно установить историю священного года и годовой цикл праздников, по которому, согласно языческим верованиям, совершался год. Сюда же относятся культ и гимны о Деметре и Коре, Геракле и его двенадцати подвигах. В природе культа заложен обычай отмечать священную историю богов по годовому циклу, а именно песнями и плясками встречать их ежегодное возвращение. Майский граф, которого кое-где и сегодня выбирают и воздают ему почести, — один из последних отзвуков языческих времен; сюда можно отнести также праздничные обряды в ночь на Ивана Купалу, каковые использует Шекспир в «Сне в летнюю ночь».

По таким поводам у греков появились не только гимны в честь бога и его деяний, но и возникли прежде все-

го праздничные театральные зрелища, представление о «страстях» Диониса и κῶμος<sup>38</sup> праздничной процессии, для которых позднее Эсхил сочинил «Орестею», вплетая в ее действие реформу ареопага своих дней, как если бы она имела отношение к сюжету художественно обрабатываемого им мифа.

То же самое можно сказать о средневековых мистериях, прообразе нового драматического искусства, которое, особенно в Испании, в комедиях де Вега и Кальдерона было доведено до совершенства. Церковь рано приступила к созданию своего циклического церковного года и цикла христианских праздников, занявших место языческих. Жития мучеников и святых, бесчисленные *vitae Sanctorum*,<sup>39</sup> каковые собраны в грандиозном труде болландистов, трансляции, т. е. рассказы о переселении какого-либо святого или перенесении реликвии к новому месту назначения, являются лишь фрагментами великой христианской мифологии, которая, как и в эпосе язычников, предстает перед нами как смешение сказания и мифа. Еще надо добавить истории о чудесах и видениях, пышным цветом расцветают легенды, культ Девы Марии, складываются постепенно учения об ангелах, представления об аде и чистилище — явления, все дальше отходящие от реальности, но все же рисующие ее в отраженном свете чудес и деяний святых. Я напомним о грандиозной поэме Данте, который, с полной достоверностью, наглядностью и мощной силой поэтического воображения воспевая Ад, Чистилище и Рай, все же стоит обеими ногами на почве современной истории, в гуще борьбы своего времени.

Именно в этой поэме со всей четкостью проявляется та, другая сторона субъективного восприятия. Пребывая в предельно напряженном и возбужденном состоянии духа, он обращается к священным и мирским историям, преданиям церкви и мучительным воспоминаниям своей собственной политической жизни лишь как к материалу и форме изображения своих самых сокровенных мыслей и размышлений, чтобы, опираясь на весомость пережитых фактов, представить их как бы не-

опровержимо истинными. Несомненно, поэма Данте — наиценнейший исторический источник, но такой, где любой факт не только насквозь субъективно окрашен, но и вообще претендует и может быть только фактом внутреннего мира *поэта*.

Итак, понятно, к какому виду источников мы подошли. Это такие источники, где авторы мысленно обращаются к вопросам своего времени, политическим, церковным, социальным и т. д., чтобы на основе своего мировосприятия, своих исторических взглядов прокомментировать их. Это та манера, к которой прибегают великие ораторы Афин и Рима, например, Демосфен в «Олифских речах», обращаясь к своему народу; точно так же, как и пророки Израиля проповедовали, грозя неминуемыми карами, как все визионеры, вплоть до Сивилл, в своих видениях провозглашали наступление конца света, близкий Судный день Господний — это все та же манера, которую затем подхватили хилиасты первых веков христианства, которая возродилась в памфлетах Квинтомонархистов церковной революции в Англии XVII в.

Если вникнуть в суть данных примеров, то, сдается мне, ни у кого не будет сомнений, какого рода источники я имею ввиду.

#### б) Прагматический ряд.

Слово «прагматический» понимается здесь в том смысле, как его употребляет Полибий. *Πράγματα* — это государственные дела, и он употребляет *τὸ πρᾶγματικόν* в противоположность манере, вошедшей в обиход у риториков и авторов развлекательных книг, а также для противопоставления своих сочинений рассказам о мистических и легендарных вещах (Pol. X, 1; IX, 2 и др.). Для Полибия писать «прагматически» значит излагать события со знанием дела и предмета.

Итак, мы называем прагматическими такие источники, авторы которых умышленно писали по возможности сухо, по-деловому в двояком смысле: или придерживаясь внешнего хода событий, несколько не заботясь о мотивах и чувствах, или исходя из внутренней

логической связи причины и следствия, средств и цели и т. д. Я старательно избегаю слова «объективный», потому что оно привело бы к совершенно ошибочному пониманию. Сначала об этом.

Лессинг однажды сказал в своей порою парадоксальной манере, что звание истриографа подобает лишь тому, кто пишет историю своего времени и своей страны, так как только в этом случае он может выступать как свидетель. Это было выражением довольно плоского скептицизма. Лессинг полагал, что, поскольку в предании есть так много искаженного и неточного, то в конечном итоге можно говорить с уверенностью лишь о том, что можешь подтвердить как человек, «видевший собственными глазами или слышавший собственными ушами». Лессинг забыл, как бесконечно мало видит и слышит отдельный человек, и, кроме того, то немногое из увиденного и услышанного может быть совсем незначительным, если пишущий видел и слышал, находясь, не как Цезарь или Фридрих Великий, на командном пункте, в центре становящихся событий. И даже те, когда говорят о какой-либо битве, переговорах, о принятых решениях и их последствиях, вынуждены полагаться на докладываемые им донесения, а последние в свою очередь — не слепки действительности, любое слово в них, любая фраза есть выжимка множества событийных моментов, обобщенных рапортующим, т. е. любой другой вестовой сообщает со своего пункта наблюдения и несколько иначе. Даже Фридрих II не смог разобраться в бесчисленных отдельных действиях, составляющих все вместе сражение, потому что, например о битве при Колине было распространено его военачальниками, особенно из лагеря фон Дессау, не говоря уж из лагеря противников, множество противоречивых данных; но в общем и целом ход этой битвы ясен. Я держал в руках бесчисленные донесения прусских офицеров из корпуса Йорка, например рапорты о сражении у Кацбаха: всего три-четыре от командующих бригадами, на основании их Йорк поручил адъютанту составить общую сводку своего корпуса; плюс донесения двух других

корпусов; эти сводки не только расходились между собой в отдельных деталях, но русские господа кое-где просто-напросто лгали; но затем по политическим соображениям Мюфлингу пришлось составить общую сводку в пользу русских, и битва была названа ради Сакена по речке Кацбах, в то время как главное сражение происходило возле бушующей Нейсы. И так повсюду, где еще можно проверить предание. Изложение всегда тем ненадежнее, чем оно более детально, или, точнее говоря, не в деталях и в их наглядности заключается истина. Не те, кто видел «собственными глазами и слышал собственными ушами», как полагал Лессинг, являются ручателями истины; с них и того довольно, если они верно передают все, что можно было увидеть и услышать с их пункта наблюдения.

Чтобы завершить обзор прагматических источников, нам следует учесть еще один аспект.

Что касается преимущественно субъективной категории источников, то можно считать ее отличительным признаком некоторую невольную сентиментальную сопричастность, потребность высказать то, что волновало нашу душу. Тот, кто сочинил этот логос, кто сложил эту песенку, имел в виду не сам факт, событие, свидетелем которого, возможно, он был, а то, как ему рассказать об этом по-своему, попривлекательнее; для него корректность повествования отошла на задний план, дав волю его чувствам, каковые его обуревали в момент этого происшествия, и его намерению пробудить такие же чувства у слушателей.

Смысл же и цель прагматических источников направлены на знание предмета и беспристрастное сообщение о нем, что для них с самого начала является определяющим. И, таким образом, именно цель и дает нам необходимый критерий определения категории источников. И тогда для нас будет иметь значение, было ли сообщение предназначено одному или нескольким, или всем, с какой целью оно было записано, является ли оно личными дневниковыми записями или обращено к современникам, потомкам, или оно

было предназначено для поучения, практического применения, развлечения.

1. Наипервейший и самый естественный мотив написания письма — желание сообщить кому-либо другому в письме, если этого нельзя сделать устно, о происшедшем или услышанном. И тем самым мы охарактеризовали первую категорию источников, имеющую исключительное значение: *письма*.

Ценность письма целиком и полностью зависит от талантливости и положения пишущего, но не только от этого, а до некоторой степени от положения и интересов адресата. Как отличается Шиллер в письмах к Гете от Шиллера в письмах к Вильгельму фон Гумбольдту! А если письмо не относится к сфере частной корреспонденции, если оно направлено должностному лицу, главнокомандующему армии, ведущему министру, суверену, то оно приобретает совершенно иной характер и становится деловым документом (Бисмарк у Пошингера).

Необъятная область эпистолярного материала простирается от самых банальных мелочей до самых значительных писем. В письмах Лютера, Меланхтона и других реформаторов мы ощущаем живое мироощущение той эпохи. Сохранившиеся письма XV в. Энея Сильвио Пикколомини, Поджо, других деятелей времен Констанцского и Базельского соборов, вошедшие в солидное собрание Мартена и Дюрана, дают нам массу самого поучительного исторического материала в живом, хотя и одностороннем, восприятии непосредственных участников событий. И такие письма встречаются, начиная от святого Бонифация, папы Григория Великого, двенадцати книг «*Varia*»<sup>40</sup> Кассиодора. Можно себе вообразить, какой сокровищницей будет для нас собрание писем в «*Monumenta Germaniae historica*», которое издает Ваттенбах.

Есть превосходные собрания писем античного периода: римского — письма Цицерона, Плиния Младшего; греческого — письма многих знаменитых государственных мужей, философов, ораторов и т. д.; но большинство этих писем — подделки, как это стало неоспо-

римым фактом со времени появления критики Бентли на письма Фалариса.

Здесь следует учесть еще два момента. Во-первых, письма по своей природе могут полностью перейти в категорию субъективных источников, если авторы изливают в них свои чувства и высказывают свои соображения, как, например, великолепные письма мадам де Севинье эпохи Людовика XIV или письма Рахель (Фарнгаген), и весьма показательно, что именно в конце XVIII в. стало очень популярно писать романы в письмах («Кларисса», «Грандисон»).

Во-вторых, очень интересны частные письма английских и голландских послов: законы республики и парламентарской Англии не позволяют в официальной корреспонденции обсуждать важные и секретные материи, и из этого положения находят выход: пишут о таких вещах как бы тайно, в частных письмах. Это необходимо знать, чтобы оценить переписку Яна де Витта или Николая Гейнзиуса, или герцога Веллингтона.

Для критики источников интересны, но несколько в ином плане, отдельные письма эпохи Александра Великого. В своем исследовании об источниках по истории Александра я указал на то, что материалом, на основании которого написаны первые источники о походах Александра, были, как доказано, письма, а именно письма его самого и к нему; достоверность одних можно установить со всей определенностью, другие дошли до нас в виде надписей (например, его указания по возвращению эллинских изгнанников). А Эсхин рассказывает о Демосфене, как тот накануне битвы при Иссе, когда всяк ожидал, что маленькое македонское войско будет растоптано под копытами многочисленной персидской конницы, расхаживал в экклесии, торжествующе показывая письма «во всех десяти пальцах». Мы из источников узнаём, что уже десятью годами раньше стратег Тимофей брал с собой на войну Исократ, чтобы тот писал письма к демосу Афин, а Фукидид (VII, 10) упоминает письма, которые писал афинянам Никий из Сицилии. Было бы весьма заманчиво когда-нибудь сопо-



ставить все из таких писем греческого, эллинистического и римского времени, что можно еще разыскать и найти в наших источниках.

2. Вторым важным аспектом является тот факт, что именно из писем такого рода возникли *газеты*. Под этим словом я понимаю прежде всего тот тип хранящихся в наших архивах известий, которые стали появляться с XV в. прежде всего и главным образом в таких крупных торговых центрах, как Венеция, Данциг, Любек, а также Прага, Рим, Флоренция и т. д., они выходили из контор крупных купеческих домов, куда стекались вести со всех сторон и адресовались деловым партнерам, а немного позднее князьям. Например, я знаю реляции, посылаемые торговым домом Якоба Фуггера курфюрсту Фридриху Мудрому и его наследникам. В конце XVI в. в доме Фугнеров была в совершенстве налажена и стала регулярной рассылка таких известий; собрание реляций дома Фуггеров за несколько десятилетий хранится в Веймарском архиве. С наступлением Реформации такие новости, реляции начинают печатать уже в виде «летучих листков» с сообщениями о рейхстагах, религиозных диспутах, военных событиях, и Слейдан добрую часть своих сведений черпал из подобных материалов. Затем, по преданию, в Венеции во время войны с турками в 1550 г. было принято распоряжение, чтобы в одном трактире, вход в который стоил одну *gazetta*, один венецианский алтын, публично растолковывали поступающие известия. Газета в современном смысле слова родилась из таких листков-оттисков, а именно с тех пор, как они начали выходить регулярно в почтовый день, обычно по четвергам. Первой такой газетой пока считается венская «Реляция всех самых знаменательных достопамятных событий» за 1609 год (в Гейдельберской библиотеке хранятся 115 листков in 12<sup>o</sup>), т. е. еженедельные номера, в которых каждый отдельный листок, помеченный датой, начинается словами: «Новости из Праги, Лондона» и т. д. В течение двух последующих десятилетий такие газеты стали выходить везде, в качестве заголовка особой по-

пулярностью пользовались такие названия, как «Меркурий» в Голландии и Франции, а в Англии и Голландии «куранты».

Весьма интересно, что уже в Риме со времени Цицерона имелась своего рода газета, сначала «*acta diurna tam senatus quam populi*». <sup>41</sup> (Sueton. Caes. 20), а со времени Императоров «*acta urbana*», <sup>42</sup> естественно, как источники они в высшей степени важны.

Пожалуй, та же потребность вызвала издание Ἐφημερίδες в лагере Александра, в них сообщали о событиях придворной жизни в царском лагере, и, вероятно, существовали и военные ефемериды в форме писем, может быть, это были упоминаемые иногда письма к Антипатру, которые затем регулярно рассылались через особых гонцов (βυβλιοφόροι) сатрапам и стратегам.

От газет мы продвинемся еще на один шаг вперед. С тех пор, как вскоре после Вестфальского мира цензура стала пристальнее следить за газетами, воскрес старый обычай рукописных газет в новом значении, например, известный Абрахам Викефорт во времена Яна де Витта. Если сочинители таких газет не имели возможности напечатать все, а зачастую самое лучшее, они наряду со своими газетами писали от руки реляции, которые затем примерно раз в неделю рассылали в конвертах князьям, магистратам и т. д. за хорошее вознаграждение, например, Руссе, Родрик, Гарейс, Мерлин, Амон и т. д.

Далее, в XVII в. стало очень популярным писать политические брошюры в форме писем и публиковать их (*Lettre d'un gentilhomme*<sup>43</sup> или *Lettre d'un Hollandois á un ami*<sup>44</sup> и т. д.), своего рода маска, дававшая то преимущество, что можно было писать более индивидуально, выражая при этом свою, одностороннюю точку зрения. Образцы подобных памфлетов, принадлежащих перу известных государственных деятелей, дает нам не только английская литература (Уолпол, Честерфилд, Болингброк и т. д.); Фридрих Великий писал, чаще всего сам, военные сводки во время двух Силезских войн, а именно в форме писем «*Lettre d'un officier Prussien á un*

de ses amis»,<sup>45</sup> и его письма являются самым достоверным источником об этих войнах.

3. Следующей формой непосредственных и первых сообщений мы можем назвать *дневники* самого разного рода, начиная с тех, которые ведутся целиком в личных интересах и с субъективной односторонностью, до таких, которые регистрируют по возможности сухо ежедневные деловые происшествия, как это положено в служебных журналах, и тем самым они переходят, собственно говоря, из цикла источников в разряд деловых остатков. В таком случае главная цель состоит в том, чтобы зафиксировать все, что принадлежит летучему мгновению: факт, ситуацию, чувство или представление, какими они были на самом деле, прежде, чем более новые события и свежие впечатления видоизменяют их.

Разумеется, такие дневники тем значительнее, чем шире кругозор того, кто ведет их, чем более богатое событиями время, когда он пишет, чем масштабнее его личность и чем более деятельное участие он принимал в событиях эпохи. Если Леопольд фон Бух из близкого окружения Великого курфюрста в 1674–1683 гг. вел дневник, то понятно, как важно, что этот дневник сохранился. Именно тогда, когда дневники пишутся с определенным интересом, как, например, военный дневник полковника фон Шака за 1812—1815 гг. и дневник графа Фридриха Дона того же времени, которые я смог использовать для биографии Йорка, то они тем поучительнее.

Дневники приобретают для нас тем большее значение, чем более ранним является их происхождение. Дневник Льва Рожмитальского, шурина короля Подебрада, который вел молодой магнат во время своего путешествия по Германии, Бургундии, Англии, Франции, Испании, приводит массу исключительно интересных известий. Если обратиться к античности, то к такому же типу относится дошедший до нас в отрывках в «Индике» Арриана дневник путешествий Неарха, который вел флот Александра от Инда к Евфрату. И, без сомнения, в основе «Анабасиса» Ксенофонта лежат записи

путевого журнала, сделанные во время возвращения на родину 10 000 греков, о чем свидетельствуют заметки о стадиях, парасангах и многое другое.

Исходным пунктом для определения другой, близкой к журналам, категории мог бы служить еще один пример из античности. Царь Антигон Одноглазый часто приводил в изумление посланцев, являющихся к нему на аудиенцию, точностью своей памяти, он помнил, кто уже раз был у него 10, 20 лет назад, о чем он вел с ним переговоры, какой ответ от него получил; у него были *ὑπομνήματα*, записки для памяти, обо всех делах, и перед аудиенцией он наводил в них справку, чтобы знать суть дела.

Подобные заметки встречаются в самых различных формах. Так, например, журналы поступления и выдачи бумаг, которые были заведены в княжеских кабинетах, вошедшие в обиход в XIV—XV вв. книги ежедневных записей в отдельных патрицианских семьях в Нюрнберге, Майнце и т. д.; обычай записывать все важные решения городского совета и происшествия в городе, чтобы в практических делах иметь возможность навести справку (бумаги служили в качестве свидетелей); точно такой же характер носят книги записей маркграфа Альбрехта Ахилла. Можно назвать много таких источников вплоть до полковых книг приказов и паролей, из которых мы черпаем, например, самые важные и иногда единственные сведения по военной истории Пруссии во время царствования Фридриха Великого.

4. Как четвертый вид непосредственных записей к дневникам примыкают *хроники*, анналы. Если письма, дневники характеризуются тем, что лицо или лица, авторы или секретари, писали о том, что интересовало их лично или касалось круга деловых партнеров или коллег, желая, чтобы эти факты не забылись, то хроники имеют иной кругозор. Хроники стремятся зафиксировать вообще все достойное внимания, что произошло или случилось в действительности, как правило, во временной последовательности или, по крайней мере, по годам.

В наипростейшей форме таковую временную последовательность показывают списки эпонимов ассирийских царей, которые издал Джорж Смит на основании глиняных табличек из Хорсабада: на каждый год правления какого-либо царя на протяжении всего его царствования приходится свой эпоним, т. е. высокие чиновники двора, наместники провинций сменяют в этой должности друг друга по очереди. В этих списках в отдельные годы добавляют сведения о покоренных народах и завоеванных городах.

Несомненно, в Египте не только в одном храме велись такие хронологические записи, разумеется, в простой последовательности царей с указанием их полных имен, и не только начертанные иероглифами — у нас есть несколько таких, — но и написанные демотикой на папирусе. Уже цитируемые древними ἀναγραφαί Фив и Гелиополиса были такого рода списками и, они, очевидно, имели исторические добавления, как это можно понять, обратившись к фрагментам книги жреца Манета, приводимым, в частности, в книге Иосифа Флавия «Contra Apionem». <sup>46</sup> Такого рода, пожалуй, и книги Царств и Паралипомена из Ветхого Завета.

Ибо здесь, как и повсюду в античности, не было другого типа хронологии — я имею в виду летоисчисления, — кроме как по правящим царям, причем каждый год их правления исчисляли по-порядку.

Каких трудов и усилий стоило народам придти хотя бы и к такому малоудобному способу летоисчисления, можно наглядно проследить на примере греков. Каждый греческий город сам по себе считал по эпонимам, жрецам, царям, архонтам, пританам и т. д. Списки таких эпонимов были, но, конечно же, чем дальше вглубь веков, тем они были ненадежнее. Мы знаем о такой παλαιολάτῃ ἀναγραφῇ спартанских царей, о списке жриц храма Геры в Аргосе, возможно, и здесь записывали отдельные исторические факты. Но вряд ли с ними можно связать так называемых ὄροῦράφοι, οἱ κατ' ἕτος πρᾶττόμενα γράφοντες, <sup>47</sup> как объясняют грамматики это слово (ионийцы Азии говорят ὄρος вместо ὄρα,

χρόνος. Ибо древнейший из известных нам горографов (логографов) Харон из Лампсака — ровесник Персидских войн. А всевозможные краткие хроникообразные заметки, встречающиеся у более поздних авторов, таких, как Диодор, Диоген Лаэртский, заимствованы отнюдь не из древнейших, неприязательных хроник, а из таблиц александрийской эпохи, например, такую таблицу составил Аполлидор, а за сто лет до него подобная таблица (marmor Parium) была высечена на камне, вероятно, для дидактических целей. Своего рода аттические хроники во время Демосфена попытались создать Андротион, а через сто лет Филохор.

Что касается хронологической фиксации в Риме, то дела там обстояли не менее плачевно, употребляемые там для этой цели списки консулов из-за колебаний относительно начала года были малопригодны, так что, создавая со времени Третьей Пунической войны четкие списки, были вынуждены прибегать к различным вставкам, подтасовкам и другим насильственным средствам. Конечно, были уже *annales maximi*, вести которые был обязан Pontifex Maximus<sup>48</sup>, таблица месяцев, *calendarium*, и таблица лет, *liber annalis* («книга города» как ее называет Моммзен), в ней перечислялись ежегодные консулы. Но если оригинал этой книги и не погиб в так называемом «галльском пожаре» в 399 г. — ибо Рим не был тогда сожжен, — то все же во времена Варрона и Цицерона его уже не было, а были лишь копии, в том числе написанные в храме Юноны Монеты на полотняном свитке. В этой старой *liber annalis*, вероятно, кратко отмечались, какие знамения, триумфы, эпидемии и т. п. случались в каждом году. Далее, вероятно, такие записки делали и другие должностные лица, скажем, плебеи-эдилы, некоторые семьи. Обо всем этом трудно судить с уверенностью. Во всяком случае в Риме делали попытки писать повествования в форме *анналов*, сначала Фабий Пиктор во время Второй Пунической войны на греческом языке, а Невий и Энний латинскими стихами; эта та форма, которую Тацит в своих «*Анналах*» поднял на недосягаемую высоту.

Но наряду с анналами продолжали пользоваться календарной формой, которая в свою очередь положила начало средневековых хроник, как показал Моммзен в статье о Хронографе 354 года. Этот римский хронограф императорского периода содержит календарь на год, консульские фасты до 354 года, расчет пасхалий до 412 г., список городских префектов, дни смерти мучеников и т. д. и, наконец, «Всемирную хронику» Иеронима. Именно такую форму календаря ввели церкви и монастыри, и она стала основой записей всякого рода, необходимых для церковных и практических целей.

Затем, непрерывно развивая эту форму римского календаря, добавляя другие случающиеся в каждом году события придворной и государственной жизни, постепенно вырабатывали относительно подробные хроники. И нет ничего удивительного в том, что, например, один монастырь заимствовал свою хронику у другого, списывая ее, а затем продолжая на свой лад. Эти хроники, особенно более поздние, приближаются до некоторой степени к подлинной историографии, например хроника Эккехарда монастыря Аура («*Chronica Uraugiensis*», ок. 1110 г.).

От этой более старой формы хроник отличается более поздняя, каковая складывается главным образом в городах. В Италии ее начало можно датировать серединой XIII в. (братья Виллани), в Германии — началом XIV в., со времени создания Страсбургской хроники Клозенера и Эльзасской хроники Якоба Твингера Кенигсгофенского, а затем следуют городские хроники Любека, Кельна, Берна, Магдебурга. Уже то обстоятельство, что их писали чаще всего не духовные лица, а городские писари, и что в этих хрониках интересы города и его округа выдвигаются на передний план, придает им совсем иной характер. И они становятся подлинной историографией, как, например, превосходная «Бернская хроника» Конрада Юстингера; но они имеют еще то преимущество, что кругозор их авторов замыкается исключительно интересами города, и тем самым их пишут с односторонней точки зрения.

Параллельно с хрониками через все средневековые проходят исторические сочинения более свободной формы, обозначаемые то как *annales*, то как *historiae*. Их образцами были римские хроники, и средневековые авторы отчасти подражали им, особенно Светонию. Это было отчасти продиктовано намерением получить таким образом исторический обзор, например, Павел Диакон, писавший в эпоху Карла Великого, в основу своей хроники кладет Евтропия, а там, где тот заканчивает свое повествование, выкручивается, как только может, а затем его хронику доводит до 820 г. Ландульф Сагакс. Целью одних хроник является проследить историю определенного народа или государства, например, у Павла Диакона — историю лангобардов, у Григория Турского — историю франков, у Иордана — историю остготов. Задачей других было рассказать в форме анналов об определенных периодах времени, например, Флодоар в своих «Анналах» подробно записывает современные события от 919 г. до 986 г.

Разумеется, значение сведений, сообщаемых хрониками и анналами, тем меньше, чем дальше — как по времени, так и по общественному положению — их авторы отстоят от записываемых ими событий, и наоборот, их значение тем возрастает, чем ближе они к ним, тем более, если они их современники или так или иначе причастны к ним.

Таким образом, у нас есть теперь еще две формы источников, и та, и другая, собственно говоря, ставили перед собой цель просвещения современников и потомков или по крайней мере претендовали на это.

5. Теперь перейдем к *достопримечательностям*; в сочинениях под таким названием знаменитые деятели сообщают о событиях, свидетелями и участниками которых они были. Этот жанр появляется лишь тогда, когда складывается подлинная публичная жизнь, которая придает таким специфическим повествованиям значение и вызывает интерес к ним; и здесь все равно, считает ли автор, что именно его видение событий особо привлекательно и его личность достойна особого вни-



мания, или он хочет так или иначе оправдать, объяснить свои намерения, или желает, чтобы факты дошли до потомков в его интерпретации. Рассказчик здесь в центре повествования; его интересы есть та категория, на основе которой и ведется повествование.

Примечательно, что такая форма изложения появилась сначала в Греции в пору Перикла и софистов, а именно в *Υπομνήματα* Иона Хиосского, и такая повествовательная форма развивалась вплоть до Арата; в Риме первым к ней обратился Катон Старший в сочинении «*De sua vita*»,<sup>49</sup> а затем ею пользовались вплоть до времени Императоров, а позднее она возродилась в высокопросвещенном мире позднего ислама — я имею в виду мемуары султана Бабура (ок. 1500). В западноевропейском средневековье эта форма долгое время отсутствовала. Однако в некоторой степени сюда можно отнести «*Antapodosis*» епископа Лиудпранда времен Оттона I. Затем, начиная с XIV в. эта форма повествования возрождается прежде всего в романских странах. Во Франции, например, хроники Фруассара о франко-английских войнах XIV в., а затем хроники Филиппа де Коммина (ок. 1480) дают толчок написанию ряда мемуаров, той традиции, которая с этого момента, все обогащаясь и преумножаясь, продолжается до наших дней в многообразии форм, тенденций, точек зрения, хотя и не без подделок.

6. Близки к мемуарам те рассказы, в которых видные деятели не только излагают достопримечательности *своей* жизни, но и берутся рассказывать со своей точки зрения историю своего времени, повествуя при этом на основе своего опыта и соответственно своим взглядам о тех событиях, свидетелями, а может быть, и виновниками которых они были сами. Возглавляет такой разряд источников Фукидид, сюда же относятся и Полибий, и явно тенденциозные *Commentarii*<sup>50</sup> Цезаря. В Риме, как правило, для этого вида изложения употребляют слово «*historia*», например, Гелий (*Noct. att. V, 18*) проводит границу между историями и анналами: «*historia earum rerum, quibus rebus gerendis ipse interfuerit is qui narret*».<sup>51</sup>

Главным здесь является не прекрасный стиль и не сомнительная слава владения искусством исторического повествования, а компетентность, основательное знание обсуждаемых вещей. Такие мемуары встречаются в средние века, так, например, Нитхард, сын Эгинхарда и внук Карла Великого, который в *Historiarum libri IV* сообщает о междоусобице сыновей Людовика Благочестивого, в которой он сам принимал участие как дипломат и воин; эти книги он написал в 840—843 гг. по заданию Карла Лысого. Можно назвать еще Випона, канцлера Конрада II; епископа Николауса из Бутринто, который писал для Генриха VII. Император Карл V сочинил такую книгу об истории своей жизни, фрагменты которой сохранились. Карл V диктовал свои мемуары «*De sua vita*»,<sup>52</sup> опубликованные в 1602 г., но затем бесследно исчезнувшие, пока их снова не нашли в переводе на португальский язык (*Commentaires de Charles-Quint publiés par Kervyn de Lettenhove. 1862*). К этой же категории относятся «*Histoire de mon temps*»<sup>53</sup> Фридриха Великого и другие его мемуары.

7. Если, рассказывая о разряде источников, обобщенных нами под понятием «прагматические», мы начали с самых простых, деловых сообщений и завершили этот разряд комбинирующими источниками, т. е. такими, в которых факты излагают, предварительно сопоставив их, установив между ними более глубокую взаимосвязь, выявив более значительные цели и задачи, то понятно, что записки государственных мужей и военачальников приближаются к источникам такого рода, ибо они стремятся не только сообщить факты, но и выявить их значение, их взаимосвязь, их подлинное историческое содержание.

В приведенных выше примерах авторы делают заметки, исходя из собственного опыта и в течение своей практической деятельности, и для нас их труды являются источниками, поскольку они на основе знания предмета так изложили факты, могли их так изложить.

Но точно так же, сопоставляя и выдвигая гипотезы, могут поступать и излагать события и те писатели, ко-

которые далеко отстоят от них. Все равно, будет ли это история их времени, или история прошлого, даже давно минувшего времени, поскольку они рассказывают не о чем-то своем, совершенном ими самими, ценность их изложения всегда будет заключаться именно в таких соображениях, сопоставлениях, выводах, причем не имеет никакого значения, произведены ли они на основании научного исследования или использования новых материалов, оставшихся до сих пор вне поля зрения историков: архивных материалов, грамот, остатков иного рода; и эти материалы могут стать тогда новыми источниками.

Следовательно, сюда относится огромное число исторических произведений, которые весьма неравноценны, и для любого исследователя представляют совсем иной интерес, чем источники. В этих книгах главное — не эти соображения, т. е. представления, которые сложились у автора, а сами материалы, которыми он оперировал, и в этом случае следует попытаться, насколько это возможно, распознать цель этих операций, чтобы затем как бы вышелушить материал. Ибо в таких источниках обычно кроется то политическая или церковная тенденция, которая сказалась на трактовке материала, например, по большому счету, в историографии Ветхого Завета, то на передний план выступает общеисторический интерес, т. е. стремление обобщить всеобщую историю по возможности полно и наглядно, например у Диодора Сицилийского, то к рассказу примешиваются патриотические и национальные тенденции, как, например, у Ливия или в «Истории Европы в 1789–1815 гг.» Тьера, истории эпохи, конец которой он еще застал будучи мальчиком. А, быть может, здесь проявляется интерес назидательного развлечения или занимательного назидания, образцы которого можно найти во многих скучнейших произведениях Вольтера. А то заявляют о себе все эти тенденции сразу, как вообще в продукции новейшего времени.

Мы поговорим обо всех этих формах в разделе «Топика».

Естественно, что с ростом потребностей образования исторический материал начинают перерабатывать, подгоняя все сильнее под общепринятые понятия, и в конечном итоге мы имеем вместо живого постижения истории формальную *fable convenue*. И такой процесс мы можем наблюдать уже в Греции, где исторический материал обобщают, все сильнее ужимая, пока, наконец, пошлейшие школьные учебники и справочники не начинают удовлетворять потребности обучения и образования; точно так же было в римской литературе, когда писатели типа Флора и Евтропия поставляли суммарные, ужатые варианты великой историографии времен Республики и Августа. Они — последыши эпохи упадка историографии, в их книгах едва ли когда заходит речь о действительных взаимосвязях событий, понимании и исследовании их. Я уже не говорю о нынешнем преподавании истории, каковое принято считать обязательным для общего образования; это великое заблуждение нашей школьной и образовательной системы полагать, что подобные схематические и поверхностные знания необходимы для общего образования, и вообще могут дать его.

Сущность образования и значение истории в деле образования заключается совсем в ином. Образование и высокая техническая культура, и экономическое богатство расходятся как небо и земля; образование, в сущности, этической природы, так как оно основывается на том, чтобы мы научились пониманию и уважению всего человеческого. Понимание условий жизни людей и наших современных институтов, их содержания и значения углубляется по мере того, как мы воспринимаем их в историческом становлении; именно такое более глубокое понимание и дает образованному человеку превосходство над грубой массой и изысканной грубостью.

У любого настоящего существует потребность заново реконструировать историю своего становления, своего прошлого, т. е. понять все то, что есть и стало таковым, осмыслить в свете добытого нового знания как бы с более высокой точки, окидывая взором все бóльшие пространства.

Но, разумеется, чем дальше удаляются от нас вещи и события, которые мы пытаемся постичь, тем меньше остается у нас возможностей так сразу и непосредственно увидеть их и правильно оценить. Необходимо длительное и трудное опосредствование, чтобы вникнуть в чуждое, ставшее для нас непонятным, чтобы восстановить представления и мысли, которыми люди руководствовались сто, тысячу лет назад, совершая эти события, по-своему их воспринимая; необходимо как бы понять язык, на котором говорят странные для нас теперь события и социальные отношения.

Здесь наша наука вступает в совершенно особый и характерный для нее круг задач. Она должна не только повторить то, что уже у нас имеется как историческое предание, но и проникнуть глубже, она стремится, насколько это возможно, мысленно воскресить и понять все то, что еще можно найти из прошлого, как бы создать новые первоисточники.

Она может это частично сделать, привлекая и используя материалы, бывшие до сих пор неизвестными, памятники, которые ранее еще не были найдены и поняты. Мы уже знаем египетскую и ассирийскую историю лучше и глубже, чем знали ее многие так называемые источники, дошедшие до нас из античности. История Реформации Ранке, написанная на основе огромного числа архивных документов, содержит несравненно больше материала, чем великолепный Слейдан, современник Реформации, но она еще дает обзор событий и анализирует политический контекст той великой эпохи лучше и надежнее, чем кто-либо из современников Реформации мог даже предположить.

Наша наука может это сделать путем методического разбора известной исторической традиции. Нибур в своей «Римской истории», можно сказать, не использовал ничего иного, кроме Ливия, Дионисия и других известных авторов; но его исключительная историческая и политическая проницательность, его умение подвергать источники перекрестному допросу, его большое мастерство интерпретации государственных отношений и условий по-

зволили ему открыть и доказать вещи, о которых ни Ливий, ни его современники не имели никакого понятия.

Исследования историков масштаба Ранке, Нибура и других, конечно, нельзя назвать первоисточниками в собственном смысле слова, но уж тем более нельзя назвать производными, вторичными. Эти исследования представляют собой не первое, непосредственное восприятия, но авторы их пришли к своему пониманию, следуя таким надежным путем, что их книги во многих отношениях имеют более высокую ценность, чем первоисточники.

Этим высокоразвитым типом комбинационного исторического понимания я завершаю обзор материалов.

## Поиск материала

### § 26

В таком изобилии материалов движется наши исследование.

Мы видели, что оно в каждом отдельном случае отталкивалось от определенного вопроса. Этот вопрос, эта задача возникли у нас либо в связи с нашими научными занятиями и интересами, либо исследователю была поставлена такая задача внешними обстоятельствами, например, архивариусу в случае поступления любого нового документа или антиквару при получении любой новой монеты, эпитафии и т. д., или чиновнику, который должен доказать старые права и претензии какого-либо цеха, и т. д. Это всегда определенный вопрос или комплекс вопросов, которые подлежат исследованию, и для этого прежде всего необходимо разыскать нужный материал.

Для начала у нас уже есть кое-что: общие знания, приобретенные нами, известные нам справочники в библиотеках — все это необходимо, чтобы хотя бы познакомиться с уже имеющимся положением вещей, касающихся данного вопроса, и ориентироваться в уже используемых источниках.

Если речь идет о событиях недавнего прошлого, то можно получить справку от их участников; конечно, здесь необходимо более или менее подготовиться и получить кое-какую информацию, чтобы правильно задавать вопросы. И таким образом мы получим лишь источники, т. е. различные мнения, ценность которых предстоит еще рассмотреть более пристально.

И всякий раз приходишь к убеждению, что надо попытаться получить еще дополнительный материал, кроме источников, т. е. мнений, и, если возможно, раздобыть остатки, являющиеся результатом взаимосвязи тех процессов, чтобы получить другие разъяснения. Если это события последних столетий, то следует обратиться к архивам. Там, в архивах, наша задача по поиску материала весьма усложняется. Мы там имеем перед собой папки дел с сырым, необработанным материалом, тонущим в огромной массе мелочей, он мало пригоден для исследования, рассеян в грудe актов, перелопатить которую и при этом не заблудиться стоит огромного труда. За четыре, пять столетий до нашего времени архивы еще очень скудны; из более древних времен они содержат лишь случайные, отдельные документы, разве только кое-какие грамоты, и чем дальше вглубь веков, тем более случайного характера архивные документы, и чем их меньше, тем чаще попадаются поддельные, и только опытному знатоку благодаря его тонкому чутью и пристальному вниманию работа в архиве иногда преподносит щедрые подарки.

И такую же картину можно наблюдать в классической античности, и уж тем более в догреческой, где катастрофически мало источников, где нельзя прибегнуть к помощи архивов!

А если исследователь имеет дело не с вопросами политической истории, а хочет разобраться в экономических, социальных явлениях, в торговле, искусстве, технике, во всем том, о чем еще нет никаких предварительных работ, даже нет сборников документов, что тогда?

Главное, к чему я хочу все свести, это искусство поиска необходимого материала — *эвристика*.

Мы очень скоро приходим к пониманию, что все, что мы имеем в наличии из исторического материала, особенно в виде источников, есть, собственно говоря, лишь малые крохи; даже в том случае, когда материал как будто в изобилии, то, как правило, оказывается, что по интересующему нас вопросу самого важного-то и нет, а сохранились только случайные сведения.

Дело заключается в том, чтобы найти себе помощь и подспорье косвенным путем.

Если для исторического исследования огромным прогрессом было то обстоятельство, что — сначала в XVII в — вышли за пределы источников и обратились к архивам — Гортледер,<sup>54</sup> Хемниц,<sup>55</sup> Пуфендорф,<sup>56</sup> Зекендорф<sup>57</sup> — чтобы отыскать и привлечь к исследованию остатки юридических, деловых документов, то, обратившись к остаткам всевозможной документации, т. е. как бы косвенным источникам, наша наука получила исключительно широкий спектр новых возможностей, которые продвинули ее значительно вперед. Заслуженой немецкой историографии нашего столетия является формирование направления, во главе которого стоят Нибур, Савиньи,<sup>58</sup> Баур,<sup>59</sup> Якоб Гримм.

Искусство эвристики, разумеется, не может создавать материалы, которых нет; но ведь есть не только такие материалы, которые любой видит с первого взгляда; гениальность исследователя проявляется и в том, что он умеет найти там, где другие ничего не видели, пока им не показали, какие сокровища таятся там.

Согласно вышесказанному мы установили такую последовательность:

а) Материалы, которые можно получить сразу же, без особого труда. Иметь таковые под рукой и знать их является непременным условием эрудиции и компетенции ученого.

б) Следующим шагом является открытие до сих пор неизвестных источников, памятников и архивных материалов. Довольно часто такие открытия бывают благодаря счастливому случаю. Например, когда Перц<sup>60</sup> в 1833 г. отыскал в Бамберской библиотеке считавшуюся



пропавшей со времени аббата Тритемия<sup>61</sup> рукопись Рихера (монаха монастыря Сен-Реми, 996 г.).<sup>62</sup> Например, многочисленные греческие и римские надписи, собранные в последние десятилетия в результате систематических поисков. Так, книга «Антимакиавелли» Фридриха Великого, которую в 1740 г. в Амстердаме издал Вольтер, но, как известно, сильно переработав ее, так что нельзя было решить, что в ней принадлежит королю, а что издателю, пока позднее в собрании автографов не нашелся и не был издан в 1834 г. полный, за исключением всего нескольких глав, экземпляр, написанный собственной рукой короля; с тех пор в бумагах Секретного государственного архива нашлись недостающие главы, и только тогда стало очевидным, как велика разница между оригиналом и изданием Вольтера.

Такие находки все-таки милость случая. Но чтобы распознать найденное во всем его значении, надобны пронизательный взгляд, точное знание предмета и верный ход размышления, а это заслуга ученого. Старинные картины в ратуше в Госларе были известны всякому горожанину, но лишь опытный глаз художника понял их историко-художественное значение, а затем копаясь в документах городского архива, обнаружили, что Михаэль Вольгемут,<sup>63</sup> знаменитый учитель Дюрера, приблизительно в 1490 г. был приглашен в Гослар и получил за роспись ратуши столько-то гульденов золотом.

в) Не только счастливому случаю мы обязаны новыми открытиями. Можно, пожалуй, и по наитию напасть на след разыскиваемых вещей. Бывает и так, как будто идешь по пятам желанной вещи, меняющий свое местонахождение. Например, оригинала «Confessio Augustana»<sup>64</sup> у нас нет, и все же для установления подлинного текста он был бы очень необходим, так как все имеющиеся копии расходятся друг с другом. Следовательно как же раздобыть аутентичный текст? Было известно, что император Карл передал врученный ему оригинал герцогу Альба; итак, вероятно, тот попал в библиотеку дома Толедо. Готтгольд Гейне в 1845 г. отправился на поиски его в Испанию, исследовал библио-

теки Каллахоры и Симанкаса и многих других городов, он нашел много интересного и значительного, но не «Augustana». Удачливее был Гизебрехт<sup>65</sup> с «Annales Altahenses». Он установил, что еще Авентин<sup>66</sup> приблизительно в 1520 г. использовал их; он смог из текста Авентина реконструировать большой фрагмент этих анналов; но в сохранившихся остатках библиотеки монастыря Алтаих<sup>67</sup> не нашлось оригинала; но один ученик Гизебрехта напал на след разыскиваемых бумаг Авентина, и в них-то и нашлась по крайней мере полная копия этих «Анналов», которую он затем, в 1868 г., издал совместно с Е. фон Ефеле. Особенно важной для истории Силезских войн Фридриха Великого является книга «Les campagnes du Roi»,<sup>68</sup> напечатанная в 1762 г., в своем предисловии издатель довольно прозрачно намекает, что ее автором был генерал Штилле; но король в своем похвальном слове (1750), обращенном к Штилле, хотя и упоминает некоторые ненапечатанные произведения Штилле, но среди них этой книги нет; и вот в Берлинском архиве нашлись несколько рукописей книги «Campagnes du Roi», более или менее отличающиеся друг от друга, а также от напечатанного варианта; необходимо было сравнить их с оригиналом, но где он мог быть? Штилле был причастен к немецкой развлекательной литературе, его гарнизон был расположен в Хальберштадте, он был знаком с Глеймом<sup>69</sup> и состоял в переписке с ним; там могла быть рукопись «Campagnes», там она, написанная рукой Штилле, и оказалась.

г) Далее, вещи, казалось бы, не являющиеся историческим материалом, следует превратить в таковой путем правильного упорядочения их. Лишь подходя совершенно по-особому к таким вещам, исследователь может извлечь из них много полезного.

К полезным результатам может привести такой метод прежде всего в отношении древней истории. Например, блестящее исследование Кирхгофа<sup>70</sup> об истории греческого алфавита. Дело в том, что Бек в «Corpus Inscriptionum Graecarum» поставил древнейшие над-

писи как *antiquissimae* на первое место, при этом не сделав никаких выводов, не соотнеся их друг с другом в палеографическом отношении. Кирхгоф же, сопоставляя начертания букв, получил различные системы и временные последовательности и тем самым хронологические точки опоры для периода, предшествующего Пеллопоннесским войнам, а также много материала для объяснения политической истории и истории искусств. Другой пример: из жизни Эрвина фон Штейнбаха<sup>71</sup> мы знаем очень мало, но Страсбургский собор наглядно показывает, как он, перестраивая старое сводчатое здание с полукруглыми арками, претворял в жизнь готический стиль с его стрельчатыми арками, какие формы этой новой архитектуры он разрабатывал, применяя изысканный декор. Адлер,<sup>72</sup> изучая архитектуру собора в Фрейбурге, других церквей Швабии и Алемании, установил те же стилевые преобразования, ту же манеру, те же архитектурные формы и, таким образом, на основании произведений Мастера он смог доказать этапы его творческого пути вплоть до самого совершенного его творения в Страсбурге.

Да, у нас нередко имеется повод поступать так же и с настоящими источниками. Ибо последние — не только предания о том, что произошло, но и остатки своего времени и его представлений. Этот аспект учел Фердинанд Кристиан Баур, изучая книги Нового Завета: он распознал в них разные направления и воззрения первых христианских общин, он увидел сильное противоборство между учениями Павла и Петра, между христианско-языческим и христианско-иудейским направлениями; он выявил в Посланиях сферу распространения того и другого направления, те тенденции, те спорные вопросы, которые разводят их, евангельскую историю, которую сторонники Павла понимали иначе, чем последователи Петра. Таким образом, из самих этих источников, понимая их как остатки и писания времени, исполненного противоборством идей, он косвенным путем получил материал, чтобы изложить структуру раннего христианства совсем иначе, более адекватно естествен-

ному положению дел, чем рисовала ее общепринятая традиция, каковая сложилась на основе тех же письменных памятников, использованных как источники.

д) Другой путь освоения косвенных материалов — *заключение по аналогии*, а именно известное явление полагают похожим на искомое и поэтому привлекают его к сравнению. Из скупых заметок средневековых источников совершенно невозможно понять, как смогли немцы, как это случилось в действительности, оттеснить славян от Зале или Эльбы за Одер; как здесь найти понятное объяснение? Ясно, что они продвигались с боями, что им пришлось по-военному закреплять завоеванную территорию. Может быть, это происходило по аналогии с тем, как римляне продвигали глубоко вперед свои военные колонии, или как русские устраивали свои военные посты с блокгаузами на Амуре и в Туркестане? Впрочем, по рекам, сначала на Зале, затем на Мульде и вдоль Эльбы стали обнаруживать развалины укреплений, по три-четыре, выдвинутые над рекой: крупный пост по эту сторону реки; иногда появляются известия о таких сторожевых башнях и их округе, о ленсманнах, посаженных на землю вблизи этих укреплений. Короче говоря, благодаря такой аналогии все проясняется.

е) Наконец, *гипотеза*, предположение какой-нибудь причинно-следственной связи, доказательством которой является очевидность. Для исследователя такая гипотеза вытекает из свободных общих представлений, на основе которых он развивает целый ряд возможностей или только одну объясняющую, а затем проверяет, включаются ли все имеющиеся в наличии фрагменты в эту гипотетическую связь. Основой такой гипотезы является представление, что любая вещь, любое событие, очевидно, имели какой-то смысл, так как они когда-то были и действовали, и что поэтому мы можем представить себе их становление и протекание, но не для того, чтобы тем самым удовлетворить нашу фантазию, а чтобы вновь найти утерянный смысл.

На такой гипотезе основывается расшифровка клинописных памятников. Среди скопированных Карсте-

ном Нибуром<sup>73</sup> в Персеполисе клинописных надписей, которые затем подробно изучал Гротефенд,<sup>74</sup> встретились два барельефа, изображающие принесение дани царю. Гротефенд предположил, что здесь должно быть имя Дария или Ксеркса, нашел несколько одинаковых групп знаков, которые, как он предположил, должны содержать имена царей; благодаря неустанному труду ему удалось определить некоторые знаки как буквы; свои заметки он издал в 1802 г.; он сам, затем Лассен,<sup>75</sup> Бюрнуф,<sup>76</sup> Бэр пошли по этому пути дальше, и в середине 30-х годов был составлен алфавит персидской клинописи и одновременно установлен язык, на котором сделаны эти надписи. Тем самым получили ключ к двум другим клинописям, находящимся на большой Бехистунской надписи и являющимся переводом персидской (см. с. 106); и так на основе гипотетического исследования получили знание вавилоно-ассирийских и так называемых туранских клинописей и, главным образом, благодаря этим открытиям пришли к освоению неисчислимых богатств клинописных памятников Ниневии и Вавилона.

Точно так же гипотезе мы обязаны открытием Велькера,<sup>77</sup> благодаря которому у нас теперь есть ключ к полному пониманию творчества Эсхила: открытие трилогии.

Или открытие Инама-Стернегга<sup>78</sup> («Формирование крупного землевладения во время Каролингов». 1878). Он выдвинул гипотезу, что быстрый переход от древнегерманской свободы, каковую еще можно распознать в обычае вызова вассалов на войну времени Карла Великого, к бесхозяйственности и зависимости крестьянства периода Оттонов, очевидно, был обусловлен экономическими отношениями, что лишь усиление и концентрация рабочих сил сделали возможным применение подсечного земледелия на больших пространствах, подъем агрокультуры, более высокие урожаи, так что богатые и более могущественные феодалы начали присваивать рабочую силу, а также владения меньших; и в улучшенном состоянии больших территорий малень-

кие люди, теперь уже не полностью свободные, получили лучшие условия.

Вот в таких формах движется эвристика. Поле ее применения неотъемлемо и границы его установить трудно.

Здесь очень своеобразно дает о себе знать еще один момент.

Конечно, если речь идет о вопросе, поставленном и сформулированном внешними обстоятельствами, например исследование отдельного события, конъектурное восстановление и объяснение отдельной надписи, то в конце концов можно подойти к той черте, через которую пока не переступить, и тогда закрывают эту главу исследования признанием, что имеющийся материал по этому вопросу содержит такие-то и такие пробелы; умение открыто признаться, что пробелы остаются, имеет для исследования большое значение.

Совсем иначе, если мы сами задаемся вопросом, так сказать, не по принуждению, а в ходе наших исследований, более вольно формулируя задачу.

Долгое время Филиппа и Александра считали виновниками гибели прекрасного греческого мира и наступления веков глубочайшей деградации. Исторические источники об Александре и его преемниках не приводят никаких иных сведений, кроме сообщений о войнах и завоеваниях, из которых никак нельзя уловить, а было ли в эту эпоху хоть что-либо, кроме разрушений. Неужели столетия после Александра были такими пустыми и бесплодными? Но ведь в это же время, и не только в Александрии, Пергаме, Антиохии, ведутся большие филологические исследования и занимаются точными науками; в надписях на камне и в папирусных свитках этой эпохи рассказывается о больших предприятиях Александра, Антигона, Птолемея и др.; организация очень своеобразной системы социального обеспечения, и все это — с энергией и проницательностью поступательного движения, очень напоминающими монархию XVIII в.; образование самостоятельных греческих государств в Бактрии и Индии, стремительный подъем торговли, грандиозное строительство каналов

и т. д., расцвет городов, как, например, показывает недавно открытая надпись, что по цензу времени рождения Христа Апомея на Оронте насчитывала 170 000 римских граждан. Можно увидеть, как греческое образование с 180 г. до н. э. проникает в Рим, как вскоре под влиянием Полибия и др. в кругах Сципиона распространяется просвещение, которое вскоре приобрело огромное, в том числе и политическое, значение в реформах братьев Гракхов — их матерью была Корнелия. Можно увидеть, как в иудейской культуре времен Септуагинты совершаются преобразования, которые в лице Филона достигают полной зрелости, и т. д. Короче говоря, если проследить духовное развитие в течение этих столетий, то становится понятным весьма своеобразное значение эллинистического периода с его антагонизмом как по отношению к исключительно эллинскому, так и к презираемому варварскому миру; формирование и обоснование образа жизни, в котором общечеловеческое становится выше навитизма и племенного характера прежних формаций, брожение, теократия и этнократия; периода, в течение которого обнаружались такие явления, как проповедник и чудотворец Аполлоний Тианский, иудейская секта эссенов, зарождающееся христианство. Таким образом, путем поисков и исследования мы приходим, естественно, к иному результату, чем предполагал наш первый вопрос: да и сам наш вопрос изменился, был скорректирован, он стал глубже, жизненнее, компетентнее.

Понятно, что значит для нас такое изменение вопроса. Прослеживая вопрос об Александре и его политике, мы наталкиваемся на аспекты, которые современники Александра, находясь в гуще тех великих сражений, вероятно, и не замечали. И все же лишь эти аспекты открывают нам значение и тенденции всего того, что свершил Александр и что произошло благодаря ему. Ход последующих трех столетий вплоть до великого поворота, начала христианства, как бы дает нам ключ к разгадке; мы находим точку, в которой сходятся, как в фокусе, все развития со времени похода Александра.

Лишь в этом великом контексте мы поймем эпоху Александра, диадохов, эпигонов.

Тем самым с методологической точки зрения мы должны учесть следующее соображение. Значит, к историческим материалам относятся и последствия событий, на которые ссылались наша задача, наш вопрос, последствия, о которых не знали и не предполагали современники. То, что следует за великими событиями, есть как бы анализ и додумывание до конца тех моментов, которые были в них заложены и действовали. И если такие последствия произошли из этих истоков, то наше право и обязанность предполагать уже в последних зародыши такого развития, импульсы к нему. При распознании и установлении этих истоков именно последствия и развития, которые проистекают из них, будут для нас историческим материалом.

История города Рима до войн с самнитами была бы для нас темной и безразличной, если бы эти войны и война с Пирром не превратили Рим в то, чем он стал, и тем самым приобрел значение и весь более ранний период римской истории. Масса накопившихся в структуре немецких государств со времени Карла IV явлений деградации и невозможности какого-либо улучшения обнаружилась лишь в попытках имперской реформы при императоре Максимилиане. И если основание Таможенного союза в 1827 г. казалось современникам чисто экономического характера, то в 1848 г. и в 1871 г. последствия показали, что означал Таможенный союз на самом деле, а основатели его осознали, что они смогли достичь на этом пути таких последствий.

И так повсюду. Это право исторического рассмотрения — воспринимать факты в свете того значения, которое они приобрели благодаря своим последствиям. Без этой связи, без этой непрерывности мы отказались бы от попыток исторического осмысления фактов. Следует только помнить, что именно наше понимание так углубляет их; не следует думать, что тем самым мы поймем эти факты так, как их понимали их современники, как их воспринимали первоисточники.



## II. Критика

### § 28, 29

Что значит для нас историческая критика в общем, было разъяснено ранее. Если наше исследование начинается с того, что мы, исходя из наших исторических взглядов и представлений, сначала желаем удостовериться в правильности определенного вопроса, т. е. установить, является ли верным и насколько все то, что до сих пор для нас представлялось *bona fide* таковым, то мы уже увидели, как можно найти материал для ответа на такой вопрос и дополнить его.

Следующим шагом будет проверка найденных материалов на предмет того, годятся ли они для наших надобностей, и насколько.

Я употребляю такие неопределенные выражения, потому что в нашей науке касательно задач критики и того, что входит в ее компетенцию, царит большой разноречивостью мнений.

Слово «критика» употребляется весьма широко и разнообразно. Филолог под этим понятием, в основном, подразумевает восстановление текстов; критик искусства оперирует преимущественно эстетическими оценками; в философии со времени Канта это слово означает глубочайшее спекулятивное исследование и т. д.

Во всех этих различных толкованиях слова «критика» одно является общим, что речь идет о просмотре и анализе чего-то данного или свершенного. Но что именно подлежит здесь анализу, форма ли, содержание, цели или условия, происхождение или работа, или еще что-либо иное — в самом слове этого не заложено; это придется определить философу, эстетике, военному, зодчему и т. д. в зависимости от его точки зрения и прочих задач.

Что касается истории, то сделать это нам будет вдвойне трудно, пока мы не уясним для себя, какая именно

задача относится к ее домену, и только согласно этой задаче нужно будет определить ее критический метод.

Исходя из идеи, что дать оценку происшедшему или свершенному можно было бы, либо в прагматическом отношении подвергнув критике историческое достижение, скажем, государственное устройство, литературные и художественные творения определенной эпохи, либо дав моральную оценку характеру, таланту, поступкам исторических деятелей, мотивам, условиям их действий.

И довольно долго историография не только удовлетворялась таким видом критики, но и видела подлинную свою задачу в том, чтобы заседать в судебной палате, вызывая всемирную историю как на Страшный суд, а то и самой вершить этот суд. Так, например, Оттокар Лоренц<sup>79</sup> («Фридрих Кристоф Шлоссер<sup>80</sup> и о некоторых задачах и принципах историографии», 1878) совсем недавно высказал мнение, что только «оценка» и правильный метод «определения духовных ценностей» могут превратить историю в науку. Но являются ли наши материалы всегда таковыми, что мы можем с уверенностью судить о чем-либо и выносить приговор? И есть ли у исторической науки критерий, по которому можно судить о художественном произведении, о ведении войны, об экономическом прогрессе, а не лучше ли предоставить все это искусствознанию, военной науке, экономическому учению?

Впрочем, еще на заре истории пришли к мысли о необходимости проверки и корректировки сохраненных традицией фактов, каковым верим. Когда Фукидид, в отличие от легковверного Геродота, слишком охочего до красивых историй, попытался установить, насколько возможно, верность фактов; когда Полибий подчеркивал важность предметной стороны дела, признавая только ее, в отличие от современных ему греческим историков, которые писали всегда лишь ради впечатления и развлечения, то это было немалым прогрессом исторического познания.

Было бы чудовищной несправедливостью, если бы мы не признавали того, что Фукидид уже использовал

не только λόγος, подвергая критическому разбору предание, но стал использовать и служебные письма из Метроона в Афинах. А начиная с Аристотеля, такой стиль основательного исследования быстро входил в жизнь, его можно отметить у авторов «Аттид», у Птолемея в истории Александра, у Иеронима в истории Диадхов, и так до Полибия, который, вероятно, заимствовал из документов не только приводимые им известные договоры, например с Карфагеном, но и другие официальные письменные свидетельства, например данные о римском легионе и лагере. А с Варроном в римскую литературу вошел подлинно научный элемент.

Но лишь позднее средневековье вместе с пробудившимся интересом к классической античности, который способствовал развитию духа Нового времени, великие практические вопросы привели к подлинной и систематической критике благодаря тому, что в начавшейся борьбе против римской иерархии и ее безмерных притязаний, лжи и подделок прибегли к особому оружию, научному исследованию. Вероятно, первый образец подлинного критического исследования дал Лоренцо Валла<sup>81</sup> (о нем Цумпт<sup>82</sup> в ж. Шмидта,<sup>83</sup> 1844): в 1439 г. Валла доказал подложность так называемого «Константинова дара» и грамоты, составленной по поводу дарения, он также показал ложность мнения церкви, что авторами так называемого «Апостольского символа веры» являются двенадцать апостолов; он разоблачил поддельность мнимого письма Христа к царю Авгарю Эдесскому, которое приводится в истории церкви Евсевия (I, 13). Тот же критический, т. е. современный, дух, только еще более пронизательный, проявляется открыто и во всю силу в период Реформации, и главным средством борьбы против папизма было критическое доказательство, как, например доказательство, что ставшее церковной догмой учение о Семи таинствах, учение церкви о Предании, «Лжеисидоровы декреталии»,<sup>84</sup> культ Девы Марии, истории святых и т. д. являются фальшивками и сплошным обманом. Затем около 1550 г. Флакиус<sup>85</sup> в своих «Центуриях»

произвел критическую чистку всей истории церкви первых веков христианства.

То, что римская церковь, несмотря на Тридентский собор, не смогла уже одолеть евангелического учения, это потому, что последнее, разделенное на реформатское и лютеранское направление, продолжая и внутри себя борьбу и критику, сохранило современный дух свежим и действенным. С великой борьбой Нидерландов против испанской сверхдержавы начинается тот ряд исследователей-гугенотов: Казаубонус,<sup>86</sup> оба Скалигера,<sup>87</sup> Гуго Гроций,<sup>88</sup> — которые применили искусство критики к обширной исторической области.

Таким образом были проторены пути по первоизданной целине традиционного исторического предания, священного и мирского; вскоре к ним добавились исследования по дипломатике Лейбница, по естественному праву Пуфендорфа и Христиана Томазия, и сюда же относится «*Dictionaire historique et critique*» Пьера Бейля,<sup>89</sup> первое обобщение полученных путем критического метода результатов, предназначенное образованной публике.

После того, как был проложен путь, с начала XVIII в. стали предпринимать попытки теоретического осмысления критики. Я упомяну книгу Эрнести<sup>90</sup> «*De fide historica recte aestimanda*»<sup>91</sup> 1746 г., а затем книгу Гризбаха<sup>92</sup> «*De fide historica ex ipsa rerum quae narrantur natura dijudicata*»;<sup>93</sup> и та и другая направлены в основном против библейской истории и ее чудес. Это был рациональный анализ того, что возможно или невозможно согласно природе вещей и ее неизменным законам.

Второй раз филология снискала себе заслуги в деле продвижения и поощрения критики. Перезониус<sup>94</sup> и Бентли учили критиковать предания, не только исходя из внешних моментов, не только с помощью скептического рационализма, но и по содержанию, различать подлинное и поддельное в дошедших до нас текстах по их художественному стилю и манере изложения мысли. Затем последовали Лессинг, Винкельман, Вольф,<sup>95</sup> Нибур, которые применили ту же критическую систе-

му к философемам, к произведениям искусства, таким великим литературным творениям, как поэмы Гомера, труды Ливия и т. д. Всех их объединяло то, что предметом исследования они сделали источники нашего познания, на основе которых можно было изучать прежде всего историю античности. И в теологии, в которой рациональное направление в конце концов в трудах церковного тайного советника Паулуса<sup>96</sup> полностью было засушено и стало чисто внешним, получила полное признание также идея, которая пришла вместе с тюрбингенской школой Фридриха Христиана Баура и проявилась в его исследованиях Нового завета.

В то же время в тридцатые годы в работе над изданием «*Monumenta Germaniae*» набирала силу историческая критика в школах Перца, Бёмера<sup>97</sup> и Ранке, которые подхватили начатое Нибуром в «Римской истории» и стали развивать на материале немецкой средневековой истории.

В наши дни отличительным признаком этой критической школы является то, что она видит в критике единственный метод нашей науки, а именно в критике, которая направлена, в сущности, на источники.

Из круга этой школы появляется мало публикаций по теоретическим вопросам нашей науки. Статья Генриха фон Зибеля<sup>98</sup> «О законах исторического знания» 1864 г. едва затрагивает их; Мауренбрехер,<sup>99</sup> Ульманн<sup>100</sup> и другие обсуждали лишь частности, более всего по сути дела пишет Деннигес<sup>101</sup> в «Критике источников истории Генриха VII», 1841.

По Деннигесу, критика должна заниматься установлением объективных фактов, которые можно добыть путем строгого анализа и сравнения сообщений. Таким образом, критика должна установить аутентичность сообщений; критика дает возможность изложить факты, ее целью является то воздействие, в результате которого ей удалось выбрать подлинно исторический факт таким образом, чтобы можно было найти *идею* этого факта. Затем вступают другие факторы, предъявление доказательств и т. д. По-видимому, Деннигес считает

предъявление доказательств — и есть нахождение и понимание идеи, которая якобы заключена в фактах.

Это мнение, как видим, объясняется привычкой сравнивать средневековые источники, имеющиеся в наличии, разделять их на производные и первичные, считая объективными те факты, которые-де вытекают из письменных памятников, ловко доказанных как первоисточники.

Однако этот метод, примененный к другим, а не только к политико-историческим или церковно-историческим вопросам, очень скоро завел бы в тупик. Как можно с таким методом подходить к истории архитектуры или экономической жизни, поскольку о таких материях вообще нет никаких повествовательных письменных источников.

И где найти ту меру, по которой можно определить, какое из самых первых сообщений, зачастую взаимоисключающих, передает так называемый объективный факт, к примеру, из сообщений о церковных реформах Григория VII,<sup>102</sup> начиная с собора 1046 г. в Сутри, по поводу которых основательно противоречат друг другу Боницо<sup>103</sup> из Сутри и Бенцо, епископ Альбы, один на стороне папы, другой — императора.

А как поступать, если в качестве первоисточников есть еще и другие материалы? Если в нашем распоряжении в архивах находится большое число деловых бумаг? А что делать такой критике в истории литературы, искусства, где у нас налицо непосредственно искомые объективные факты? У нас в изобилии объективных фактов по истории нашей литературы XVIII в., а именно произведения наших авторов еще непосредственно перед нами, и здесь для установления собственно исторического факта мало что еще осталось сделать, разве что устранение многочисленных опечаток прежних изданий. Приступать ли тогда без лишних рассуждений к доказательству идей? Или что касается немецкой литературы, то осталось только рассказывать в печати эпизоды из личной жизни писателей, например отношения Гёте к Оттилии, госпоже фон Штейн, Лили и т. д.

Мы видим, что в таком понимании критики очень много неясного. В нем заключено верное предчувствие того, что наше историческое исследование непременно должно обращаться к историческим материалам, из которых только и можно получить знание о происшедшем. Но, вводя понятие объективного факта, такой подход обнаруживает полное непонимание природы наших исторических материалов. То, что при таком подходе обозначается как объективный факт, например, сражение, церковный собор, бунт, — но были ли они таковыми в действительности? Не являлись ли они скорее актами многих, бесчисленных моментов, *одного* процесса, которые лишь представление человека обобщает как таковые, исходя из повода или цели, или последствий, общих для этих моментов? В действительности все это суть волевые акты людей, поступки и страсти такого множества индивидов, из которых в нашем обобщающем представлении сложилось то, что мы обозначаем как факт этого сражения, этого бунта. Не сражение, не бунт были в тот момент чем-то объективным и реальным, а тысячи людей, которые с шумом и криком неслись навстречу друг другу, сталкиваясь и избивая друг друга и т. д. И можно сказать, волевые акты, поступки и страсти людей в сфере истории имеют то же значение, что и в природе клетка, лежащая в основе всех органических соединений и эволюций.

Мнение, будто все, что относится к области истории, обязано своим происхождением таким волевым актам, таким поступкам и страстям людей, есть, строго говоря, лишь аналитическое суждение; это просто-напросто парафраз понятия «история, т. е. нравственный мир».

Но точно так же ясно, что и аналогия с теорией клетки недостаточна, чтобы исчерпать исторический мир, как она и для органического не может быть исчерпывающей. Ибо хотя события совершаются благодаря воле участников и только через нее, однако их сущность, их исток и направление не заключены целиком в воле и только в ней. Здесь прибавляются еще и другие моменты, которые только и определяют, по существу, это первичное и

лишь формальное предназначение индивидуально желаемого и придают ему значение и действенность.

В большинстве случаев эти подлинные факты, волевые акты индивидов имеют несоизмеримо малое значение по сравнению с тем, что совершилось благодаря им, и являются лишь частичкой, лишь средством этого, и мы путем нашего исторического исследования ищем то, что там произошло, что определило и объединило в данный момент отдельные воли, т. е. ищем мотивы и импульсы, которые, возможно, действовали в индивидах под влиянием момента как вспышка, искра пробежавшая через них, но с такой силой и возбуждением, что каждый участник был как бы приподнят над сферой чисто индивидуального желания и вовлечен в общий процесс.

Впрочем, художник, мыслитель, великий правитель, полководец может выразить *свою* волю, *свои* мысли в том, что он *делает*. В других случаях много воль объединяются, чтобы реализовать общее, а именно они, обычно во многом индивидуальные и различные, объединяются в этом *одном* деле, в одном направлении и намерении. В великом движении Реформации именно каждый индивидуум делает выбор и выступает вместе; но в том, что сотни тысяч объединяются в единой воле, заключается историческое значение этого выбора. Не отдельные волевые акты, а действующий в них импульс является исторически важным.

В других контекстах волевые акты являются как бы непосредственными и произвольными актами того же рода и направления. Так, в языке какого-либо народа, который реализует себя все снова и снова, конечно, через каждого говорящего, но пребывая в духе каждого индивида, этого народа и формируя мир его представлений, язык является силой более могущественной, чем любой индивидуум и его волевые акты, благодаря которым он (язык) функционирует и живет.

Следовательно, есть три формы, в которых волевые акты переходят в так называемые факты: либо это *одна* господствующая воля, которая определяет многие, либо многие конкурирующие волевые акты, действующи-



щие в определенный момент совместно, либо определенная более высокой общей формой совокупность всех, выражающих волю.

Переход от вышеизложенного к нашему вопросу напрашивается сам собой. Материал, имеющийся у нас для исследования, есть из прошлого то, что еще не исчезло, т. е. либо остатки, а они вызваны к жизни волей и рукой человека, его волевыми актами, либо источники, т. е. мнения, которые являются не зеркальным отражением или производением какого-либо иного механизма, а мнением того, «кто видел собственными глазами и слышал собственными ушами», а также тех, кто в свою очередь пересказал услышанное другим, пока кто-либо, один или несколько, не записал все это, передаваемое из уст в уста.

Как остатки, так и источники являются историческим материалом, поскольку они дают знание происшествий былых времен, следовательно, знание волевых актов, каковые некогда, в своем настоящем, имели место и действовали и, подтверждая себя, вызвали у нас желание вновь представить их себе в виде истории. Для этой цели у нас нет иного материала, кроме данных остатков, данных источников.

Мы имеем перед собой уже не то, что произошло или было совершено, т. е. так называемые факты в их бывшей действительности, их мы уже не можем эмпирически понять и научно трактовать, а можем изучать только то, что от них осталось и имеется в настоящем, — вот эти остатки, предания и памятники.

Итак, задачей исторической критики может быть только констатация, в каком отношении находится этот имеющийся у нас для исторического исследования материал к тем волевым актам, о которых он нам рассказывает. Только имея ясный и полный ответ на этот, казалось бы, формальный вопрос, мы можем приступить к использованию его свидетельства, исходя из его содержания.

Согласно вышесказанному этот формальный вопрос формулируется по трем аспектам, которые в одинако-

вой степени применимы ко всем трем видам исторических материалов.

а) Действительно ли наш материал является тем, чем он считается или претендует быть таковым? На этот вопрос отвечает *критический метод определения подлинности*.

б) Является ли наш материал неизменно тем, чем он был и желал быть во время своего возникновения, какие изменения он претерпел и не следует ли его отбросить? На этот вопрос отвечает *критический метод распознавания более раннего или позднего*, это как бы анализ материала по его временным слоям.

в) Спрашивается, был ли и мог ли быть данный материал в момент своего возникновения вещественным доказательством, каковым он считался или претендовал на это, или он с самого начала лишь частично, лишь относительно соответствовал тому, свидетельством чего он слышит? На этот вопрос отвечает *критический метод определения верности* материала. Именно в этой главе место так называемой критике источников.

г) Наконец, спрашивается, содержит ли имеющийся у нас материал все моменты, о которых исследованию требуются свидетельства и справки; является ли он и в какой мере полным? На этот вопрос отвечает *критическое упорядочение* верифицированного материала. Добытый нами с помощью первых трех вопросов материал представляет собой необработанную массу всяческих фрагментарных набросков, архитектурных руин со всевозможными орнаментами, каннелюрами, профилями и т. д. Дело заключается не в том, чтобы восстановить здание, а скорее в том, чтобы отыскать план, стиль, архитектуру здания. И целью критического упорядочения является подогнать очищенный материал сначала по пазам и обломкам, еще распознаваемым внутренним связям таким образом, чтобы можно было увидеть все недостающее.

Критическим упорядочением материала завершается задача критики и настает очередь интерпретации.

а) Критический метод определения подлинности  
§ 30

Во всех категориях исторического материала подделки играют значительную роль; и ничто так ясно не показывает отличие исторического знания последних четырех столетий от средневекового восприятия истории, как то обстоятельство, что примерно с конца XV в. начали обращать внимание на различие подлинного и подложного. Ранее только однажды, в период александрийской учености, начиная с Аристотеля, подобную роль играл вопрос εἰ γνήσιον.<sup>104</sup>

Имеются самые различные виды подделок и разные их мотивы. Здесь играют роль *praefraus*,<sup>105</sup> обман по политическим соображениям, на подлог идут ради коммерческих выгод, из тщеславия, личного или национального, или просто из любви к обману. И ученый розыгрыш может иметь место. Одним словом, подделок и подлогов имеется в таком количестве и разнообразии, что, проводя историческое исследование, всегда нужно удостовериться, является ли материал, с которым надлежит работать, тем, чем он считается или каковым хочет слыть.

Естественно, что в зависимости от исследуемого объекта метод проверки меняется, и зачастую весьма сложно, да далеко не всегда и возможно, прийти к совершенно достоверному результату. Ибо доказать полностью подложность — это значит доказать происхождение, время и цель подделки. И только после такой проверки подделка может представить, хотя и несколько по-иному, но большой интерес, и будучи на своем месте может быть оценена как важный исторический материал.

Для определения вида этой критики нам придется проанализировать по крайней мере главные категории наших материалов.

Сначала *остатки и памятники*. При этом не стоит задерживаться на тех случаях, когда народная молва связывает ставшие непонятными остатки прежних

культурных эпох с неверными историческими именами, т. е. когда, например, громадные клинописные надписи на Бехистунских рельефах (выше с. 134), которые со времени расшифровки клинописей оказались апофеозом деяний Дария I, местные жители считают и называют творением Семирамиды; или оба колосса в Мединет Абу,<sup>106</sup> недалеко от Кириака;<sup>107</sup> сотни греческих и римских надписей обозначают их как статуи Мемнона<sup>108</sup> и, рассказывают, что одна из них издает звук, когда появляется утренняя заря, мать Мемнона; или «Мышиная башня»<sup>109</sup> не далеко от Бингена датируется по архиепископу Гатто,<sup>110</sup> перекупщику зерна, который, якобы спасаясь от мышей, укрылся в этой башне. Такие народные толкования, собственно говоря, неподложные свидетельства, хотя они довольно долго оказывали влияние на научное исследование. Например, Tullianum в Риме, храм над источником, якобы построенный Туллом Гостилием<sup>111</sup> и названный по нему; или, еще и сегодня говорят «сервианова стена», хотя предание, будто ее построил Сервий Туллий, ничем не подтверждено; например, у греков периода расцвета было широко распространено мнение, что Микены были крепостью Агамемнона, в то время как новые раскопки свидетельствуют о чем угодно, только не о греческом происхождении этой крепости. И много таких рассказов, основанных на ложно истолкованных памятниках или остатках, греческие и римские историки принимали всерьез.

Еще более сомнительны бесчисленные реликвии буддистов, древних храмов Эллады, римской и греческой церкви и т. д. Сколько же зубов было у Гаутамы Будды, если бы каждый зуб из тех, что хранятся в многочисленных святилищах и выдаются верующим за таковой, был подлинный! А как римская церковь эксплуатировала принцип «Vulgus decipi vult»,<sup>112</sup> доказательств тому более чем достаточно в виде бесчисленных реликвий и всяческого обмана и надувательства. Показать абсурдность такого рода «святынь» не всякому удастся так хорошо, как это сделали в 1845 г. Зибель и Гильдемейстер<sup>113</sup> на примере «нешитого плаща Христа», хра-

нящегося в Трире; они доказали, что это и не плащ, хотя и не сшитый, и уж никак не Христа, а великолепная ткань времени крестовых походов с вытканной на ней арабской надписью.

Примерно к тому же ряду относятся тысячи *antichità*:<sup>114</sup> геммы, вазы, медали и т. д., — которые обычно привозят англичане из Италии; многие предметы роскоши и раритеты в кунсткамерах и оружейных кабинетах, вошедших в моду в прошлом веке при больших и малых дворах. Также бесчисленные картины в старых картинных галереях. Здесь, как правило, любое блестящее имя, которое дано экспонату, вызывает большие подозрения, например многие Рафаэли, Тицианы, Микеланджело, и, как правило, этого достаточно, чтобы потребовать доказательства их подлинности. Точно так же бесчисленные античные статуи, которые бодро выдавали за эллинские шедевры, даже если они были из каррарского мрамора.

Разумеется, в нашем веке провели основательную чистку этих коллекций, хотя еще и сегодня старые наименования доставляют много хлопот. Примером может служить великолепный портрет Дрезденской галереи, который считался портретом Лодовико Моро работы Леонардо да Винчи, пока господин фон Квандт<sup>115</sup> в 1846 г. не распознал в нем руку Гольбейна Младшего и вскоре доказал, что на этом портрете изображен базельский ювелир Моретта; старая гравюра Голлара<sup>116</sup> подтвердила данное имя и правильность хода рассуждения; и, наконец, на аукционе Лоуренса в Лондоне галерея купила рисунок руки Гольбейна, который был не чем иным, как рисунком с натуры, исполненным невероятной живости и правдивости. Тем самым был получен результат, представляющий интерес не только в отношении этого портрета, но и для истории искусства, поскольку из состава произведений Леонардо да Винчи была изъята картина, живопись которой уже начали трактовать как характерный стиль итальянского художника.

Обширнейшее поле применения критический метод по определению подлинности нашел в нумизматике.

Здесь мы имеем дело с очень разными видами подделок, в зависимости от того, какой аспект принимается в расчет: антикварная редкость, официальный чекан или стоимость металла.

Уже в античности были так называемые *pummi subaerati*,<sup>117</sup> т. е. монеты, «анима» которых из неблагородного металла, так что в этом случае подделка касается номинальной стоимости (Фемистокл из Магнесии). Конечно, античные подделки для нумизматики представляют совершенно особый интерес, и цена их высока как подлинных античных фальшивых монет.

Другой вид античной подделки, это когда варвары во Фракии и Галлии и т. д. имитировали чекан главным образом золотых монет Филиппа и Александра. Встречаются и такие подделки, которые при превосходном содержании благородного металла подвергались различного рода порче.

На протяжении всего средневековья изготовлением фальшивых монет занимались, так сказать, на официальном уровне. Право бить монету стало доходным благодаря тому, что владетель монеты: король, князь, епископ или монетный союз, — завладев этим правом, начинал чеканить монету все хуже и хуже, по возможности, всякий год новые пфенниги, повелевая живущим в его монетном округе менять старые монеты на новые, разумеется, по номинальной стоимости. Это был особо прибыльный вид косвенных налогов в пользу владетельного лица. Каким тяжким был этот налог, можно увидеть на таком примере: новая монета, изданная в 1465 г. курфюрстом Саксонским в 20 грошей за один рейнский гульден, а по стоимости металла лишь 50 грошей достигала стоимости одного рейнского гульдена (итак, 150 % прибыли). Когда же, наконец, пришли к простой мысли бить так называемые «вечные пфенниги», т. е. монеты, не подлежащие обесцениванию, то очень скоро, в эпоху пройдох и фальшивомонетчиков, расцвело пышным цветом новое искусство, как путем обрезания изменять официальную стоимость золотой или серебряной монеты. Итак, для исследования досто-

инства монет и тем самым рыночных цен, например на зерно, мясо, да и для изучения общего экономического положения, — нумизматический материал вплоть до XVII в., да еще и в XVII в. в высшей степени ненадежен. Но эти монеты, будучи монетами своего времени, подлинны, они являются неверным мериллом стоимости, но не фальшивыми монетами, так что их исследование скорее надо отнести в главу, рассказывающую о проверке материала на верность.

С тех пор, как вместе с возрождением наук появился любительский интерес к коллекционированию античных монет сначала римских императоров; а затем наличие нумизматической коллекции стало непременным атрибутом, свидетельствующим о роскоши княжеских дворов и домов знати и об образованности их владельцев, началась фабрикация фальшивых монет; и по оценке одного крупного знатока приблизительно треть античных монет нынешних собраний составляют современные подделки. Вплоть до XVIII в. покупали все почти без разбору и критики, интерпретировали и иллюстрировали политическую историю античности на основе многих, в том числе и фальшивых монет, подкрепляя свою трактовку разными соображениями. Вместо того чтобы перечислять многие и многие имена, я только назову действительно гениального нумизматика Вайяна («*Arsacidarum imperium*»<sup>118</sup>), ум. в 1708 г.; ученого и государственного деятеля Эзекиеля Шпангейма<sup>119</sup> («*De usu et praestantia numismatum antiquorum*», Вена, Лоренц Бейер, 1701). Когда Лоренц Бейер в 1701 г. издал «*Thesaurus Brandenburgensis*»,<sup>120</sup> то в этом издании были вперемешку подлинные и поддельные монеты; когда Эразмус Фрелих в Вене в 1744 г. опубликовал «*Annales regum Syriae nummis illustrati*»,<sup>121</sup> то, несмотря на всю его ученость, работой почти невозможно пользоваться из-за ее некритичности.

Нумизматическую критику, сначала в отношении античности, можно датировать только 1792 г., выходом в свет труда Эккеля «*Doctrina nummorum veterum*». Но по мере того, как критика совершенствовалась, подделки

начали изготавливать со все большим знанием дела, техника становилась все изощреннее и искуснее, пока они не достигли подлинного апогея в великолепных чеканках Беккера из Ганау как по технике изготовления — он оттискивал свой штемпель всегда на старые матрицы, — так и в отношении знания истории монет; в конце концов, он сам издал каталог выпущенных им чеканок.

Растущий спрос на средневековые, особенно итальянские, монеты дал толчок фабрикации фальшивых монет, естественно, еще в большей мере медалей, которые очень искусно изготавливают особенно в Риме и Флоренции.

Что касается как монет, так и медалей, то здесь критический метод требует от исследователя исключительного опыта и большого знания деталей. Следует учитывать все: художественную работу, знания эпиграфики, выбор изображения, затем патину медных и серебряных чеканок, неровность и ломкость края, содержание благородного металла, пробу, т. е. все те знания и умения, которых можно добиться только путем длительной и постоянной практики.

Я перехожу к *надписям*. Об огромном количестве эпиграфического материала уже шла речь, но критический метод установления подлинности или подложности того или иного эпиграфа был применен, собственно говоря, лишь в отношении греческих и римских надписей. Кроме того, были сделаны первые шаги в изучении рунического письма, правда, его исследование проводилось весьма по-дилетантски (особенно в Дании). Закупленные Берлинским музеем довольно давно «Маобитские надписи», нанесенные на целом ряде предметов утвари и орудий труда, сразу же были энергично отвергнуты как сплошные подделки, однако затем у них нашлись новые защитники.

Что касается греческих надписей, то впервые здесь внес некоторую ясность Бекк; он своей достойной восхищения работой, можно сказать, создал науку эпиграфику. Правда, почти все собранные им надписи были у него лишь в копиях, которые либо путешественники сняли на месте, либо были сделаны специально для



него с камней, разбросанных по разным коллекциям. Только после него и, особенно со времени работы по изданию «Corpus Inscriptionum Latinarum», вошло в обычай, что исследователи сами отправлялись в путешествия, чтобы списывать надписи с камней, а еще позднее придумали очень простой способ снимать при помощи сырой бумаги с камней оттиски, которые передают точно любую линию письма. Следовательно, эпиграфический метод критики Бекка сначала смогли применить к языковой форме греческих надписей и к их содержанию; материал, имеющийся у Бекка, не позволил ему разработать палеографическую систему греческого алфавита, но, следуя по своему пути, он нашел, что уже в XV в. Кириакус из Арконы<sup>122</sup> выдумывал надписи, что Мишель Фурмон, который в 1728 г. привез из своего путешествия в Константинополь и Грецию копии с более чем 3000 надписей только с Пелопоннеса, причем самые древние и значительные по содержанию как раз и подделал. Завершив третий том (Египет), Бекк передал продолжение издания Иоганнесу Францу;<sup>123</sup> четвертый том, содержащий материалы из Италии и Сицилии, а также надписи на вазах и т. д., завершил издание старого «Corpus Inscriptionum Graecarum», насчитывающее примерно 10 000 номеров. С тех пор количество эпиграфического материала значительно увеличилось, собрания Питтакиса, Рангабе,<sup>124</sup> Леба и Ваддингтона<sup>125</sup> и т. д. включили тысячи новых надписей.

Новое собрание «Corpus Inscriptionum Graecarum» во вступительной статье сочло излишним говорить о подлинности экземпляров, опубликованных в нем, поскольку большинство из них даны по камню или в копии. Но не все надписи имеются еще в оригинале, а некоторые, представленные в списках Кефалидеса, Питтакиса, Франца, Ленормана,<sup>126</sup> являются более чем подозрительными, особенно Ленорман — опасный фальсификатор.

Моменты критики здесь частично внешние, формальные — особенно со времени доказательства Кирхгофом истории греческого алфавита, благодаря которо-

му получили возможность с достаточной уверенностью хронологически определять недатированные надписи вплоть до времени Александра и многое другое — частично внутренние, содержательные моменты, применимые и к имеющимся лишь в копиях надписям.

Если Феопомп у Гарпократиона словами Ἀττικῶϊς γράμμασι передает, что так называемый Кимонов мир между Афинами и персами не был заключен, так как документ написан не аттическими, а ионийскими буквами, то для него этот внешний аргумент является неопровержимым, поскольку в Афинах вместо старого алфавита официально стал употребляться так называемый ионийский лишь при архонте Евклиде около 403 г. Если новые исследователи возражали против этого, приводя довод, что старая стела была уничтожена в период, когда Афины при посредничестве Алкивиада, пытались вступить в союз с персами, а во времена Феопомпа имелась лишь более новая копия, выставленная на акрополе по какому-либо поводу, то в таком случае с полным правом можно задать вопрос, бывало ли такое, чтобы уничтоженная стела была официально вновь установлена, и разве Феопомп был таким уж несведущим, что подверг восстановленный документ палеографической критике.

Другим примером может быть надпись на так называемой Змеиной колонне<sup>127</sup> в Константинополе, вотивном даре после битвы при Платеях, на ней высечены имена принимавших участие в этой битве союзников Эллады. Э. Куртиус<sup>128</sup> объявил эту надпись по внутренним причинам неподлинной, а сделанной по памяти при восстановлении старинного монумента, погибшего во время пожара (Jenaer Literatur-Zeitung, 1854, p. 156). Палеографический характер букв, а также некоторые диалектальные формы (особенно Σεκούν вместо Σικούν), как было замечено в полемике с ним, как раз являются веским доказательством идентичности вновь найденного монумента.

У античных ораторов, да и вообще (Plut. Diog.) встречаются многочисленные документальные свидетельства

ва, многие из которых, несомненно, неподлинны, но есть и подлинны. Так, например, νόμος, приведенный Демосфеном против Макартата (7), подтвержден надписью, которая во время Пелопоннесской войны восстанавливала старый закон Солона. Напротив, все документы в речи Демосфена «De Corona»,<sup>129</sup> подложность которых в 1837 г. я пытался доказать, признана теперь повсеместно поддельными. Когда Георгидес в «Археологической газете» (1867, р. 110) опубликовал камень с приведенным в § 75 документом ἐπὶ ἄρχοντος Νικόκλέους, в котором исправлены ошибки, которые показывали неподлинность этого документа (например, ἐπὶ Νικομάχου ἄρχοντος и вместо искаженного Ἀριστοφῶν Κολυττεύς общеизвестное Ἀριστοφῶν Ἀζηνιεύς), то вскоре ему было доказано, что он просто выдумал свой камень и надпись на нем.

Римская эпиграфика появилась вскоре после греческой. В конце XVIII в., когда длинный ряд Thesauri завершился томами Supplementum Donati к изданию Муратори,<sup>130</sup> насчитывалось около 80 тысяч эпиграфов. И с тех пор это число значительно увеличилось. Однако эти старые собрания были поистине Авгиевыми конюшнями; огромное число надписей было безобразно скопировано, произвольно изменено или так дополнено, что из малозначительных слов получились великие, а что касается чрезвычайно значительных экземпляров, то многие были полностью выдуманы. Но вот Боргези<sup>131</sup> в Сан-Марино начал свои штудии; вокруг него собрался небольшой кружок, в основном немецких исследователей (Келлерманн, Ян<sup>132</sup> и т. д.), и именно этому кружку Моммзен, бывший в середине сороковых годов в Италии, обязан направлением своих исследований.

Главная задача заключалась в том, чтобы попасть на след, откуда идут подделки и интерполяции. Оказалось, что сокровищницей из которой на протяжении двух веков черпали Thesauri, была хранящаяся в Турине в 35 фолиантах коллекция неополитанца Пирро Лигорно, жившего в середине XVI в.; Боргези, изучив

эту коллекцию, нашел более 200 лжеконсулов, а из фастов Лигорно пришлось вычеркнуть более 800 консульских эпитафий. Фальсификаторы — ибо Пирро Лигорно был не одинок — не довольствовались тем, что пускали гулять по свету массу подложных копий, они изготовляли на продажу копии подлинных надписей на камне, и такие копии обильно представлены среди экспонатов музеев; фальсификаторы фабриковали и камни с надписями, якобы свидетельствующие о значительных исторических фактах, например известное решение Сената, запрещавшее Цезарю переходить Рубикон. Местный патриотизм, особенно в Италии, Испании и т. д. породил много подобных вещей. Разоблачение и разъяснение всей системы фальсификаций является большой заслугой «Corpus Inscriptionum Latinarum», начало которому положил в 1852 г. Моммзен своим изданием «Inscriptiones Regni Neopolitani», а в настоящее время он близок к завершению этого труда.

Что касается греческих и римских надписей, то здесь надо высказать еще одно наблюдение. Характер коллекционирования надписей с самого начала не позволил прийти к однозначному определению, что следует понимать под словом «надпись». В то время, как Бекк включал сюда и написанные кистью на вазах легенды, новый «Corpus Inscriptionum Atticarum» толковал это понятие несколько уже и, например, отбрасывал этикетки, вдавленные штемпелем на ручках глиняных сосудов, а «Corpus Inscriptionum Latinarum», напротив, включал восковые таблички, а также графитты из Помпеи и т. д.

Во всяком случае, большая разница, имеем ли мы перед собой надписи коммунальных или государственных властей или надписи общества сотрапезников, как, например, в аттическое время многочисленные надписи дионисийских художников, или надписи частного характера, скажем, об умерших, или бегло начарапанные рукой шутников каракули на стенах домов Помпеи. В Афинах, где можно довольно точно проследить такие явления, естественно, всякий официальный акт должен был быть положен в архив (Метроон);

надпись была либо официальной публикацией для принятия к сведению и исполнению, либо для придания торжественности и важности принятому постановлению, и ее высекали на камне, подкрепляя авторитетом государства, за общественный счет. Аналогично обстоит дело с соответствующими решениями Сената в Риме и т. д. Следовательно, данные категории надписей, хотя и не документы в полном смысле слова, то все же аутентичные и официальные копии их. Такая надпись, как *marmor Parium* 264 г. до Р. Х., означает ничто иное, как кодекс. Если сотни надписей засвидетельствовали звучание колосса Мемнона у Фив (ср. выше, с. 167), то это, конечно, весьма интересно, но ровно ничего не значит, как и, к примеру, книга записей посетителей домика на Брокене<sup>133</sup> в горах Гарца.

От эпиграфики к *дипломатике*, науке о критике грамот, всего небольшой шаг. Естественно, в доримское время в Греции, Египте и т. д. имелись формы заверения документов. Но ставшее привычным слово «дипломатика», которое восходит к грамотам раннего средневековья, непосредственно примыкает к римскому обычаю.

В период Императоров слово «*diploma*» означало официальный документ, употребляемый при заключении юридических сделок, касающихся как официальной, так и частной жизни, или дающий полномочия на заключение сделки или засвидетельствования этого акта. И эта форма перешла затем в романский и германский мир.

Сюда относятся некоторые формальности, придающие достоверность письменному документу, как то: подпись и скрепление печатью, или данные свидетелей делового акта, или подвешивание печати заключающих сделку сторон и тому подобное, например, такого вида предписания были нормированы в законе вестготов для Испании в статье *De scripturis valituris et infirmandis*.<sup>134</sup>

Не всякий был посвящен во все эти ухищрения дипломатики, тем более что в те века умение читать, а уж

тем более писать, в основном, было делом духовного сословия. Но тому, кто умел правильно составить грамоту, не стоило большого труда написать или подправить особенно дарственные, при этом он мог не очень опасаться, что обман раскроется. Уже в пору Каролингов сложилась формальная техника изготовления подлогов, каковая использовалась прежде всего в интересах церкви и монастырей, а по большому счету к ней прибегала курия. Так, «Edictum Domini Constantini»<sup>135</sup> в «Лжеисидоровых декретах», согласно которому Константин Великий, якобы подарил папе Сильвестру<sup>136</sup> Италию и поэтому перенес свою резиденцию в Константинополь; этот эдикт уже в середине IX в. рассматривали как несомненный факт, например, в послании архиепископа Гинкмара Реймского<sup>137</sup> (ep. III, 13 у Миня<sup>138</sup>), в то время как в послании папы Адриана<sup>139</sup> Карлу Великому проскальзывает лишь легкий намек на мнимый факт.

Подделка грамот проходит через все средневековье, она стала настоящей отраслью ремесла. Как заверяет Каффиг в своей «Histoire constitutionnelle et administrative de la France», IV, p. 344, «en chaque cour un faussaire de titre»,<sup>140</sup> и он приводит сведения по крайней мере об одном таком «faussaire» при дворе Людовика XI. И хотя все видели вред, приносимый этим ремеслом, но не было средств доказательства подделки, которые могли бы быть признаны судом.

Наконец, в судебной практике на одном процессе были сформулированы основные принципы проверки документов. В 1638 г., в ходе тяжбы монастыря Св. Максимиана, расположенного в окрестностях Трира, с курфюрстом-архиепископом Трирским адвокат Николаус Циллезиус подверг критике грамоту курфюрста как подложную и установил определенные нормы проверки подлинности. В 1648 г. Лейбер<sup>141</sup> предпринял подобную проверку Магдебургской грамоты Оттона I. Спустя всего несколько лет во Франции началась тяжба между иезуитами и бенедиктинцами. Иезуит Паперброх<sup>142</sup> подверг критике грамоты монастыря Сен-Дени,

которые бенедиктинцы в 1648 г. использовали в «Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti». Паперброх участвовал в издании большого труда «Acta Sanctorum», к напечатанию которого его орден приступил в Антверпене с 1643 г. под руководством Иоганна Болланда, таким образом, у Паперброха был двойной повод для соперничества. Чтобы защитить свой орден от нападков иезуита, бенедиктинец Жак Мабильон<sup>143</sup> издал в 1681 г. большой труд «De re diplomatica, libri IV», который впервые внес ясность и навел порядок в деле изучения и критики дипломов. С тех пор эту дисциплину разрабатывают много и основательно вплоть до наших дней, примером чему является последнее и важнейшее сочинение Юлиуса Фиккера<sup>144</sup> «Статьи по дипломатике», 1877–1878.

Критика дипломов — это прежде всего критический метод установления подлинности по внешним, формальным критериям в противоположность высшей критике.

Нет необходимости объяснять, как можно применить отдельные моменты дипломатической критики к автографам, письмам всякого рода, письменным оригиналам. Когда лет 20 назад вдруг в продаже появилось так много автографов Шиллера, то доказать их подложность можно было совершенно легко при помощи метода дипломатической критики, т. е. только по внешним, свойственным только дипломам признакам, только не по бумаге, так как фальсификаторы сумели раздобыть неисписанные страницы и листы из Веймарского архива, из актов 1790–1805 гг. Подобным образом удалось палеографически установить подделки грека Симонидеса, который где-то году в 1845 выставил на продажу рукописи Урания и «Пастыря» Гермаса, и это удалось, между прочим, благодаря тому, что обнаружили следы карандаша, которым Симонидес предварительно рисовал свои копии.

Такая, можно сказать, аналогия дипломатической критики оказывается применимой и при типографских изданиях, разве что касательно XV—XVIII вв. необходимо еще до некоторой степени превосходное знание

различных виньеток, литер, а также издателей; особенно для всякого рода брошюр и памфлетов. Так, например, в начале XVIII в. издания с указанием на титульном листе «у Пьера Марто в Кельне», или два оттиска мнения Штралендорфа с указанием места издания «Ингольштадт в издательстве Петера Штулвагена», все это издания никогда не существовавшей фирмы, они, вероятно, отпечатаны в Галле.

Различные критерии, употребляемые в дипломатике, применяются в тех случаях, когда все зависит от внешней формы, например в отношении грамот, автографов и т. д. Но многие грамоты дошли до нас не в оригинале, а в виде скрепленной копии, или так называемых «Vidimus»,<sup>145</sup> т. е. копий, которые та или иная инстанция засвидетельствовала, что такая-то и такая грамота передана дословно, представлена в данную инстанцию, которая нашла ее в полном порядке, установив ее подлинность: «non abolitam, non concellatam nec in aliqua parte vitiatam, sed omni suspicione carentem».<sup>146</sup> Или грамота, лишь в копии, имеется в копейных книгах соответствующей канцелярии или в *codices traditionum*,<sup>147</sup> например, церкви и монастыри обычно составляли списки вкладов и т. д.

Вот здесь-то и можно найти множество поддельных грамот. Многие из них состряпаны на скорую руку, чтобы поставить на них «Vidimus», а затем употреблять в качестве так называемой «завизированной» копии. В «traditiones»<sup>148</sup> имеется весьма сомнительного не менее.

Естественно, здесь вряд ли помогут методы дипломатической критики. Лишь исходя из внутренних, сущностных причин, можно решить, был ли этот экземпляр тем, за что он себя выдает. Это — так называемая высшая критика.

Естественно, она должна в своих исследованиях применять все подобные средства: как языковые, так и сущностные основания, как стилистической формы, так и прагматического контекста, — чтобы решить вопрос, могло ли быть сочинено то, что у нас есть в нали-



чии, в тех условиях, для той цели, теми лицами, в том месте, в то время и т. д.?

Здесь поиск идет не так, как у филологов при помощи их критического метода, т. е. ищут не то, *что* здесь будет подходящим, а задают вопрос, *является ли* подходящим то, что мы уже имеем; ибо если это подлинное, то должно в любом отношении оказаться соответствующим.

Поговорим сначала о высшей критике грамот, которая в последнее время, с выходом в свет выше упомянутого труда Фиккера, сделала большой шаг вперед. Естественно, исследователи с удвоенным усердием приступили к проверке подлинности каждой грамоты, так как все вытекающие из любой грамоты обстоятельства непременно должны быть в качестве исторического материала особо надежными и важными. Они нашли в подробной обстоятельности, присущей форме грамоты, также критерии внутреннего рода. Уже тот момент, что по крайней мере в более старые времена документ датировали одновременно и по годам правления, и по индиктам, дал важную точку опоры. Применив критический метод, поставили вопросы, был ли император, король и т. д. в тот день, в том месте, которые обозначены в документе? Были ли названные в качестве свидетелей лица в то время в его окружении, или можно ли доказать алиби одних, а других считать как умерших? Был ли тогда поименованный в грамоте человек канцлером или писарем, или был ли деятель, распознаваемый по характеру письма, действительно канцлером, писарем т. д.? В результате отвергли как подложные целый ряд императорских и других грамот не только в копиях, но и в оригиналах, поскольку они не выдержали проверки по названным критериям.

Если бы попристальнее пригляделись к грамотам новых веков, к тому, как они на самом деле изготавливаются, то, естественно, заметили бы, что с датировкой грамот дело обстоит не так абстрактно и просто, как ранее полагали. Как трудно уже установить дату договора, дворянского диплома, присвоения новой должности. Под датировкой понимают и день, когда князь выска-

зывает свое согласие на дотацию, назначение на должность, и дату приказа кабинета, письменно зафиксировавшего волю князя, или канцелярской выписки из приказа кабинета; или в случае государственных договоров, которые часто реализуется только после длящихся долгие месяцы обсуждений полномочных представителей с обеих сторон, что обозначает дата на грамоте договора: день ли, когда заверченный проект подписывают парламентареры, или день, когда они по получении одобрения своих принципалов ставят свою подпись на написанном на пергаменте тексте договора и заверяют ее печатью, или когда договор после обмена ратификационными грамотами вступает в силу; подразумевается ли под датировкой именно этот день обмена грамотами?

Фиккер сначала учел все эти обстоятельства в отношении средневековых грамот и пришел к очень важным выводам. Он считает, что поскольку после настоящего акта присуждения звания или помилования до окончательного составления грамоты часто протекали месяцы, даже год со днем, то датировка грамот редко соответствует, а вернее, никогда не соответствует этому первому акту, но названные свидетели все же находились среди присутствующих при дворе во время этого акта, что и канцлер, и писарь за время, прошедшее между этим действием и составлением документа, могли поменяться и т. д. Следовательно, в результате этого на основе бездоказательных критериев большое число грамот было объявлено подложными; но тем не менее очень популярные итенеарии<sup>149</sup> императоров, королей и т. д., составленные чаще всего по датировке грамот, имеют в своем основании ни на чем не основанную предпосылку. Одним словом, целый ряд наиценнейших результатов, которые, как полагали медиевисты, можно почерпнуть из грамот, был поставлен под сомнение и требует совершенно новой проверки.

В наших печатных собраниях грамот обычно доходят только до 1500 г. Но для последующего времени вопрос о подлинности имеет большое значение, конечно, за ис-

ключением тех грамот, которые касаются частноправовых отношений и относятся к компетенции суда. В традиционную историю последних столетий перешла масса фактов из подобных грамот, каковые в разгар полемики партий и дипломатической борьбы отчасти фальсифицированы, отчасти полностью выдуманы, и едва ли кто занимался их исследованием. Например, Нимфенбургский договор 1741 г.<sup>150</sup> и целый ряд других подделок периода двух Силезских войн, которые в «Истории прусской политики» Козера и его других сочинениях о государственной политике были доказаны как фальшивки, сфабрикованные либо при дрезденском, венском, лондонском дворах, либо частными лицами в целях достижения политических выгод. Фальшивка совершенно такого же рода стала в 1859 г. поводом заключения мира в Виллафранке:<sup>151</sup> в то время как император Франц-Иосиф надеялся — и мог надеяться — на армию, которая была обещана ему Пруссией и уже была мобилизована, Наполеон III представил ему официальный документ, предложение о посредничестве, которое якобы ему (Наполеону III) сделали Пруссия и Англия, чтобы тем самым вмешаться между воюющими сторонами; обыкновенная фальшивка, ибо заявление, переданное Пруссией Вене через 14 дней, констатировало, что Пруссия не делала никаких таких предложений и не получала их от Англии.

Конечно, высшая критика относится как грамотам и официальным письменным свидетельствам, так и ко всем прочим письменным материалам нашего исследования, будь то политические или исторические произведения, или же литературная продукция иного рода, труды знаменитых и незнаменитых авторов. Ибо масса подложного чрезмерна; и в то время, как критика стремится произвести здесь чистку, обман по политическим или благочестивым мотивам, обман, сулящий доход, а также партийный фанатизм ежедневно и ежечасно пускают в оборот все новые и новые фальшивки.

Следовательно, поскольку здесь речь идет о письменных материалах, т. е., очевидно, написанных кем-либо,

то фальсификация будет заключаться или в том, что самому по себе подлинному документу дается фальшивое имя; или в том, что выдумывают историю под достоверно известным именем; или выдуманно то и другое одновременно: документ и имя.

1. Пример первого рода. Среди речей Демосфена числятся восемь, которые были действительно произнесены и именно в то время, но которые, вероятно, библиотекари Александрии приписали без всякого на то основания Демосфену; их стиль и содержание показывают, что они принадлежат одному и тому же лицу, и дальнейшее исследование доказало, что их автором был Аполлодор, сын Пасиона из Трапезунда.

Подобное встречается и в средние века и в Новое время, особенно в сборниках. Очень важное для истории Констанцского собора произведение «*De modo uniendi et reformandi ecclesiam*»<sup>152</sup> было перепечатано в «*Magnum Constantiense Consilium*»,<sup>153</sup> 1700 г., V, p. 68, Германном фон дер Хардтом,<sup>154</sup> который приписал его Иоганнесу Герзону,<sup>155</sup> факт, который сильно смущал исследователей творчества Герзона, его отношения к церкви. И. С. Шваб в своей работе «Иоганнес Герзон» 1858 г. довольно убедительно доказал, что автором того сочинения был Теодор фон Ним.<sup>156</sup> Или другой пример. План раздела Польши 1710 г., известный как проект Петра Великого (см.: Ф. Ферстер. Фридрих Вильгельм I. 2. 1835. С. 113); впрочем, статьи договора составлены так, как будто их действительно диктовал царь, но инициатором плана был король Август II Польский,<sup>157</sup> и план был разработан его министром графом Флеммингом<sup>158</sup> и прусским тайным советником маршалом фон Биберштейном, представлен последним царю, который очень резко его отклонил; в 1732 г. к этому проекту еще раз вернулись.

2. Пример второго рода, когда под именем какого-либо знаменитого или значительного деятеля выдумывается документ. Реформация императора Фридриха III,<sup>159</sup> подлинная 1443 г., была незначительна и не имела никакого отношения к «Реформации 1523 г.»<sup>160</sup>

которая была сочинена в бурное время, и в последней говорилось, что император будто даровал низшим слоям населения такие-то и такие свободы была использована в «12 статьях» крестьянской войны).

Другой пример — многократно упоминаемое «Завещание» Петра Великого, которое было вымышлено одним поляком в наполеоновское время и не без причастности самого Наполеона, как доказал Бреслау в журнале *Зибеля*<sup>161</sup> за 1879 г. Или: многочисленные французские мемуары, вплоть до последнего времени, например «*Mémoires tirés des papiers d'un homme d'Etat*»,<sup>162</sup> которые печатались в 1828–1838 гг., как будто написанные Гарденбергом<sup>163</sup> и несколькими участниками войн против Наполеона, а на самом деле, в основном графом де Аттонвиллем и неутомимым фальсификатором Боманом.

3. Автор и произведение вымышленные. Например, сивиллины орфические книги из античности; «*Vaticinium Lehninense*» брата Германа из Ленина,<sup>164</sup> которое так любят цитировать ультрамонтанские (папистские) профессора; Маттео ди Джавиннаццо, якобы из времени короля Карла Анжуйского в Неаполе,<sup>165</sup> пока В. Бернгарди в 1868 г. не доказал, что эти примечательные анналы фальшивка XV в. Далее, Шефер-Бойхорст<sup>166</sup> в своих «Флорентийских этюдах» (1874) доказал, что «Флорентийская история» Маласпины,<sup>167</sup> даже чудесная «Хроника» Дино Компаньи<sup>168</sup> — подделки, вероятно, конца XVI в.

Обнаружив подложность, исследование часто следует продолжить. Обман остается необъяснимым и невероятным в случае, если нельзя доказать, какие резоны его вызвали. Я напому о так часто предпринимаемых попытках доказательства подложности Оссиана; какой же гений был Макферсон, если он мог выдумать такую прекрасную поэзию ради мистификации! Или в основе фальсификации лежат мотивы политические, религиозные и т. д., которые придают подложному произведению иное значение, если эти мотивы будут доказаны. Так, в 1816 г. мюнхенский журнал «Алемания» опубликовал письма Нибура, Гнейзенау<sup>169</sup> и других прусских

государственных деятелей о разделе Саксонии. Эти письма были вымышлены, но они показали в ярком свете политику Баварского двора: эти письма как материал по прусской истории совершенно не пригодны, но они тем показательнее для характеристики антипруских тенденций в начале существования Немецкого союза.<sup>170</sup>

## б) Критический метод определения более раннего и более позднего

### § 31

Уже критический метод определения подлинности как остатков, так и источников, если проводится не как простое отрицание, часто приводит к диакритическому результату, т. е. к пониманию, что с первоначальным и подлинным связаны более позднее и неподлинное, которое в свою очередь, будучи верно ориентированным и, заняв свое место, станет подлинным и зачастую весьма поучительным.

В представлении большинства людей псалмы считаются Давидовыми; кто внимательно читает, никогда не сочтет псалом «На реках вавилонских» (Пс. 136) таковым, и если мы научились различать более новые псалмы и древние, Давидовы, мы получим очень важный материал о времени Изгнания, даже времени Маккавеев. Не только в случае письменных памятников это так, но и в отношении остатков и памятников иногда даже в большей степени. Бамбергский, майнцский соборы начали строить в стиле полукруглых арок, а закончили в так называемом готическом стиле. Такой город, как Прага, Трир или даже Рим, конечно, же исторический памятник, но очень различных времен, каковые уже различаешь с первого взгляда. При более пристальном диакритическом рассмотрении видишь здесь целый ряд минувших столетий; в Праге это самые древние городские районы: Вышеград, Еврейский город, Страгов, затем время Карла IV (мост с башнями), затем эпоха утраквистов (чаша у Тынского храма), наконец, время после битвы у

Белой горы (постройки иезуитов в Градчанах). Еще пример. В любом действе культа римской церкви, в ее таинствах, в ее иерархии все перемешалось: древнее, более позднее, новое, — и когда римские христиане полагают, что у них-то и сохранилось христианство в первоначальном виде и всегда оставалось таковым, то в этих утверждениях проявляется просто недостаток критичности.

Главное здесь заключается в природе исторических материалов, т. е. они должны прежде всего обладать тем свойством, что они еще присутствуют в нашем настоящем, следовательно, они сохранились вплоть до наших дней, но одновременно, само собой разумеется, уже не такими, какими были в момент возникновения, и что они сохранились именно потому, что, продолжая жить, включали в себя новые элементы, или их формы подвергались изменениям, часто до неузнаваемости. Поскольку они суть непосредственно перед нами, они принадлежат настоящему, их в качестве исторического материала надо рассматривать в правильном свете, отделяя различные этапы хронологической последовательности и, таким образом, подвергая их проверке.

Следовательно, речь идет о вопросе, является ли и может ли быть то, что перед нами налицо, еще тем же самым, чем оно было и хотело быть, и какие изменения, искажения можно распознать и вынести за скобки целей исторической задачи.

То, что в течение времени было добавлено, можно было бы признать подделкой, если бы сохранение первоначального вида входило в задачу соответствующего материала и было мерилем его ценности, например в случае таких письменных свидетельств, авторы которых намеренно придавали им такие форму и содержание, в которых высказалась их самая сокровенная сущность и которые должны оставаться такими; например, Гораций и Овидий, в произведения которых в средние века было интерполировано много чужого. По крайней мере так кажется тем, кто желает иметь подлинного Горация и Овидия; и, строго говоря, у честных монахов, делавших списки, и у вагантов, считавших себя поэта-

ми, не было никакого на то права контрабандой протаскивать свои вирши в поэзию Горация и Овидия.

Иначе обстоит дело с такими остатками, которые были и остаются живым достоянием, в котором любое новое поколение видело свою собственность и заявляло о своем праве поступать с ней, как ему заблагорассудится. Если духовные песнопения, греческие эпические или немецкие старинные песни, сопутствуя жизни народа, вместе с ним развиваясь и многократно изменяясь, наконец, на определенной стадии своего преобразования были письменно зафиксированы или даже объединены в большие композиции, то нельзя, конечно, говорить о подложности, скажем, отдельных фрагментов в «Илиаде» или «Одиссее» или в «Нибелунгах», тем более нельзя называть подделкой, когда на мотив песни подмастерья «О, Иннсбрук, я должен тебя покинуть»<sup>171</sup> в евангелических церквах поют хорал «Все леса объаты покоем».<sup>172</sup> И государственные устройства, символы веры, формы и жизнотворчество общины, городская архитектура и т. д. — все это является историческим материалом, но в их цели не входило и не входит оставаться неизменными; они продолжают жить вместе с новыми поколениями; исходя из потребностей любого настоящего, они будут постоянно и незаметно, можно сказать, органично преображаться; их жизнедеятельность непрерывно продолжается независимо от того, растут ли они или приходят в запустение. Нет определенного человека, к которому они могли бы быть привязаны, нет определенного момента времени, когда они были бы установлены в качестве нормы и на все последующие годы. Они же не собирались стать историческим материалом того или иного прошлого. Лишь историческое рассмотрение делает их таковым, а именно пытаюсь понять их развитие в определенный момент времени, но не забывая при этом о синхронности разновременных явлений. Для этой цели мы путем исследования различаем то, что было ранее и что было позднее, реконструируя более ранние образования, выделяя их из непрерывного ряда преобразований и как бы изолируя. Так,



из еще имеющегося материала мы диакритически обновляем для себя наш абстрактный образ, для эмпирического рассмотрения которого в настоящем еще сохранились все основные элементы и признаки.

Великолепный пример такого диакритического исследования дает лингвистика. Она поставила перед собой цель доказать не только родство и направление постоянной дифференциации живых или сохранившихся в высокоразвитых литературах индогерманских и семитских языков, но и реконструировать их в тех формах, каковые они имели до дифференциации, а также показать последовательность формоизменений, которые они претерпели до наших дней.

Всевозможными сравнениями языков и составлением этимологий отдельных слов развлекались уже в античности, примером этого может служить Критил Платона; со времени возрождения наук такие сопоставления возобновились, особенно сравнения классических и древнееврейских языков. Прежде всего я напому о полигисторе Атаназиусе Кирхере<sup>173</sup> (середина XVII в.), влияние которого было заметно вплоть до начала нашего столетия. Началом подлинной лингвистики можно считать момент, когда Франц Бопп<sup>174</sup> в 1814 г. распознал полную аналогию прежде всего в окончаниях глагола в греческом, латинском, в санскрите и несколько фрагментарно в готском. Он поставил вопрос — и это был исключительно удачный вопрос — о причине такого подобия в языках таких далеких народов как по времени, так и пространству; и исследуя эти флексии, диакритически разделяя различное и аналогичное в них, постоянно сопоставляя их с формами личных местоимений, он установил, что последние в виде суффикса добавлялись к основе глагола и, сливаясь между собой, основа и местоимение видоизменялись. Не внешняя похожесть окончаний в названных языках, а однообразность, различаемая по едва заметным формоизменениям, показала ему родство этих языков. Такие аналогии, в то же время и различия, очевидная последовательность древнейших, новых и, наконец, разложившихся

форм этих языков показали ему их следование друг за другом и тем самым дали бесценный материал для изучения исторической жизни этих языков, а также народов, в обиходе которых они дифференцировались.

Данный лингвистический метод парадигматичен для всей совокупности таких явлений. Ибо всегда в исследуемом материале есть что-то относящееся к настоящему, в котором более старые и более новые элементы, кажется, живьем вросли друг в друга, или, лучше сказать, притаились в нем, и нужно искусственно, а можно лишь теоретически, выделить и отделить различные временные пласты. Кто в сегодняшнем Риме захочет отличить античное от средневекового, от времени Рафаэля и Микеланджело и обобщить его, тот должен отвлечься от живописных руин Палатина, не давая ввести себя в заблуждение тем, что более поздние времена привнесли в мавзолей императора Адриана так много своего, как это ныне демонстрирует замок Святого Ангела у моста через Тибр; по строительному материалу, по различным уровням почвы, архитектурным формам и т. д. он может диакритически распознать то, что относится ко времени Царей, Республики, Августа, Константина; в кладке средневековых палаццо семей Орсини, Колонна, церквей XV—XVI вв. он увидит тысячи каменных блоков и деталей древних храмов и базилик. Лишь тогда, когда по остаткам он различил и выделил каждую из такого множества архитектурных эпох, он может приступать мысленно к реконструкции республиканского Рима и отдельных архитектурных творений этого времени. Но если бы он предположил, что христианские церкви Рима это, как правило, хорошо перестроенные древние храмы или базилики, если бы он допустил, что русла рек, высота семи холмов, уровневые отношения древнего Рима были те же, что и сегодня, то он совершил бы *petitio principii*,<sup>175</sup> которая ввела бы его в великое заблуждение.

Такой же *petitio principii* было, когда О. Мюллер<sup>176</sup> предположил относительно греческой античности, что в Гомеровых и других преданиях, в которых греки несо-

мненно видели свою древнейшую историю, содержится нечто более или менее историческое, т. е. внешне фактическое, в этом смысле он и написал книги об Орхомене и о дорийцах. В то время еще не догадывались, как следует ставить вопрос относительно такого материала.

Лишь глубокие исследования о жизни Иисуса, начавшимся с Давидом Штраусом,<sup>177</sup> довели до сознания ученых разницу между мифом и сказанием, о которой говорилось раньше (с. 125) и тем самым проложили дорогу для решения многих исторических задач диакритического вида. Миф — это священная история, в которой догматы религиозного сознания, теологумена, представляются в виде исторических или естественных процессов так осязаемо, что не удивляются, увидев богов, бредущих среди людей, например, в «Деяниях апостолов» (14, 11) жители Листры приняли двух апостолов за богов: «Боги в образе человеческого сошли к нам». Сказание идет как бы по противоположному пути, поскольку оно, возбужденное каким-либо историческим фактом или исторической личностью, обращает их осязаемость и действительность как бы в дым, превращая их в идеальное представление, так, что они выходят за пределы любого человеческого воображения и кажутся священными и божественными. Например, император Карл в сказании, каковым он представлен архиепископом Турпином и в «Песне о Роланде», это «святой» Карл, как его называет и церковь; или Александр Великий уже у Псевдо-Каллисфена; в сказаниях об Александре Востока и средневековья вообще почти нет ни одной черточки из действительной его истории, а лишь общее впечатление от его величия рисует фантастическую картину сверхчеловеческих деяний.

Общими для мифа и сказания являются совершенная идеальность и потребность представить себе все с исторической наглядностью. Оба они тесно переплетаются, вращая друг в друга, и им верят *promiscue*. Без помощи со стороны контролирующего, трезвого предания стоило бы большого труда и усилий открыть их скрытые связи. Что касается короля Артура и его рыца-

рей Круглого стола, то у нас нет такого контроля, как в случае Карла Великого; для сказаний о Троянской войне у нас также нет такого контроля, каковой мы имеем в истории переселения народов для «Нибелунгов», и, наверное, следует отказаться от того, чтобы с помощью критического метода отыскивать и различать в циклах о короле Артуре и Троянской войне факты, одни из которых породили сказание, а другие привели к мифу. Довольно и того, что мы видим, как на определенной ступени развития греки и кельтские народы представляли свою предыдущую историю.

Но в душе народов так глубоко укоренилась древняя любовь к мифу и сказанию, что для них великие события сразу же преобразуются в сказания, отталкиваясь от образов их теологумен. Например, во время крестовых походов их участникам не раз являются, вмешиваясь в события, святые, даже сам Спаситель; или, когда случается какое-либо неслыханное бедствие: чума ли, голод, то все снова и снова появляется зловещий крысолов из Гамельна,<sup>178</sup> который в образе шпильмана шествует по городам и весям; например, впереди процессии флагеллантов шел шпильман, также крестовый поход детей; в душах людей в таких случаях воскресает древний Водан. И афиняне, когда они сражались при Саламине — как уже рассказывали их сыновья, — видели, как по воздуху с Эгины неслись к ним духи бури Аякидов, которые сражались на их стороне.

Критика недалеко бы ушла, если бы попыталась определять в сказании, дошедшем до нас, подлинное и неподлинное, верное и подложное. Она недалеко бы ушла, если бы пожелала выведать из мифа хотя бы самую малость об историческом происшествии. Но если она поставит вопрос правильно, применив диакритический метод, то она найдет и в том, и другом какой-нибудь момент, имеющий для нее в историческом плане первостепенное значение. А именно, внутренние религиозные переживания, проявляющиеся в мифе, в любом его слове и дающие верующему народу образ его самого и его поступательного движения вперед. Именно

народное восприятие великих событий обобщено в сказаниях народов, и оно, преобразуясь, продолжает жить с ними; для немцев — это Дитрих Веронский и император Фридрих, спящий в горе Кифгейзер. Когда Эсхил говорит о борьбе старых и новых олимпийских богов, ясно акцентируя мысль, что Зевс свергнул Кроноса и титанов, а те в свое время Урана, бывшего до них великим (ὁς πάροιθεν ἦν μέγας), открывается нам сознание той глубокой религиозной, душевной борьбы, которую нужно было выдержать всякому новому мировоззрению, всякой новой мировой эре религиозного сознания. В таких-то формах и отливаются факты духовной истории развития эллинов, великие периоды в жизни идей этого народа, пока на смену им не приходит философия, способствуя появлению совершенно иных форм. Познать ступени этого развития — вот в чем кроется причина огромного интереса исторического исследования к этим преданиям; и именно на этот момент исследователь должен нацелить свой диакритический вопрос.

Вот и исследование индийской мифологии обнаружило ряд аналогичных преобразований, которые, начиная с того самого Варуны, показывают не только аналогичную последовательность этапов, но и отдельные образы богов и мифологемы (например, Hermeias, Saranja, Erinis) совпадают с греческими. Дальнейшие исследования Зороастрова законоположения показало, что оно, первоначально идентичное с индийской религией, отошло от нее, стремясь, однако, со всей строгостью, хотя и весьма своеобразно, удержать древнее даже таким способом, что образы, считающиеся у индийцев новыми, более могущественными божествами, Зороастровым учением обозначаются как дэвы, как злые духи.

Исследования уже подошли к тому, чтобы доказать внутреннюю связь этих групп народов как в языках, так и мифологемах. И далее, благодаря тому, что с помощью сравнительной мифологии мы получаем возможность дополнить или объяснить воззрения одного из этих народов аналогичными воззрениями другого,

одновременно мы имеем средство отличить с определенной степенью точности мифические образы от образов сказаний и там, где у нас нет контроля в виде исторического предания.

Я напому хотя бы о том, что с методической точки зрения это тот же способ, с помощью которого во многих трактовках древней еврейской истории вплоть до канонической, данной в Моисеевом «Пятикнижии» и книге Иисуса Навина, объяснялось религиозное развитие избранного народа примерно до эпохи Пророков (см.: Кнобель. Так называемая таблица народов в книге Бытия. 1850).

Мне очень не хотелось бы, чтобы сложилось впечатление, будто этот диакритический метод применим только к явлениям, теряющимся во мраке далекого прошлого. Большой заслугой исторической школы в юриспруденции было то, что она уже не рассматривала «Corpus Juris» как канон общего права, каковое с 1495 г. стали усваивать в Германии и каковое утвердилось как имперское право, а увидела в нем развитие, научившись различать в нем наслоения веков, и начала преподавать в университетах историю римского права в качестве введения в изучение общего права. Тут стали очевидными различные слои этого грандиозного свода; право периода Республики, начала эпохи Императоров, Диоклетиана, Юстиниана, Подобным образом поступил Гнейст<sup>179</sup> в книгах по английскому основному государственному праву, доказав, что английское право отражает различные пласты правовых институтов многих столетий и что его можно понять во всех его особенностях лишь в том случае, если его воспринимать не как еще живой и действительный симбиоз самостоятельных элементов, а как последовательность, начиная от нормандского завоевания, даже от англосаксонского времени!

Когда в наши дни Римский престол выдвигает догму о «Papa Re»,<sup>180</sup> каким странным все это представляется, если диакритически исследовать канонические компетенции папской власти. Лишь в XV в., во време-

на Сикста IV,<sup>181</sup> из абстрактной власти папской тиары стало территориальное итальянское государство, и только в ходе современного государственного развития оно, как и столь многие малые государства, выдвигает все более высокие претензии на полный суверенитет. И кроме того, форма выборов коллегией кардиналов, т. е. духовной олигархии самого абстрактного типа, абсолютно не согласуется с тем современным понятием государства, на полную суверенность которого претендует *Papa Re*, точно так же противоречит сущности христианства, представителем которого желает быть *Vice Dei*,<sup>182</sup> Святой престол. Одним словом, все это образование, каковое имеет быть на самом деле, нельзя понять ни в каком отношении, если его не воспринимать и не рассматривать в его историческом становлении.

Понятно, этот критический метод определения более раннего и более позднего не только различает и разделяет, но и ведет к новому образованию, в котором проверяется соответствующий материал, содержащий смесь различных элементов.

Продвигаясь вперед таким образом, в нашем материале и из него мы постигаем историю развития, т. е. узнаём, как преобразовывалась та или иная идея, еще живой правовой институт, этот оживленный и кипучий энергией город, как часто изменялась в нем до неузнаваемости старая и самая древняя часть. И только в такой истории эволюции любая ее отдельная стадия будет очевидна и истинна, и более старые и новые элементы прояснят и подтвердят друг друга. И только проверенный таким образом, этот исторический материал становится для нас завершенным и достоверным, и мы можем поставить вопрос и использовать его дальше, прежде всего для интерпретации.

в) Критический метод определения верности  
материала  
§ 32

Особый интерес для исследования представляет вопрос, верно ли, может ли быть верным то, что дает ему имеющийся у него материал, и верно ли это по своему происхождению, назначению, природе.

Здесь в отличие от первых двух видов критики, обсужденных нами, речь идет не о форме, а о содержании, об изложенном в материале мнении, о том, что некогда действительно существовало и о чем оно хочет дать свидетельство. Следовательно, здесь возьмут слово не только источники и другие предания, но и памятники, даже остатки юридических сделок, т. е. архивные документы. И здесь в свою очередь могут быть очень поучительными любые неверности в зависимости от того, намеренные ли они или нечаянные, и тем самым они могут служить историческим материалом, только не материалом того, о чем они хотят нам дать свидетельство, а материалом для характеристики дающего показания.

1. Сначала один пример. Вместе с набирающим силы религиозным движением XV в. растет вера в дьявола и бесов, убеждение, что с ними можно общаться, поиметь от них всевозможные недобрые прибыли, заниматься с ними прелюбодеянием. Верят, что слышат, видят чертей, что их можно изгонять, избивать, обманывать; верят, что они могут обращаться в зверя, грызущего мертвечину оборотня, полагают, что можно овладеть дьявольским искусством и колдовством, съев варево из мяса новорожденного младенца и т. д. Со времени выхода напечатанного в Кёльне в 1484 г. «Молота ведьм» («*Malleus maleficarum*») Шпренгера и Генриха Инститориуса этот фанатический бред признается церковью тем, что он как преступление подлежит наказанию, и тем не менее он все более распространяется. Попытки вырывают признание о вещах, которых жертва вовсе не совершала, фанатическое безумие дает несчастным уверенность в чувственных ощущениях, в добровольности своих поступков,



так что в мучениях своей возбужденной фантазии люди приходят в судилище с самообвинениями, заявляя что они убили таких-то младенцев и съели их, в то время, как эти младенцы, живехонькие и здоровехонькие, играют на улице и т. д. Даже такие ясные и могучие умы, как Лютер и Меланхтон, обуреваемы этим безумием: они видят черта, говорят с умершими.

Еще и сегодня любой сумасшедший дом даст нам примеры таких ложных представлений, которые, поистине, не такие уж безумные, поскольку ортодоксальное учение церкви считает дьявола существующим. Врач, проследившая историю демономании, не даст себя убедить, что во время Реформации действительно являлись бесы, поскольку об этом самые знаменитые мужи говорят с полной убежденностью. Он скажет, их сообщения, их мнения не верны, ибо по своему врачебному и психиатрическому опыту считает, что это формы болезни, появляющиеся при определенных условиях. Но в этом незыблемом и всеобщем веровании увидит поучительное знамение времени и найдет в этом объяснение многим медицинским, главным образом гинекологическим, явлениям.

Хотя многочисленные *vitae*<sup>183</sup> в грандиозном труде болландистов свидетельствуют о чудесах святых, хотя всякий день тысячи верующих видят, как на картине св. Януария выступает кровавый пот, как глаза мадонны на картине обращаются в их сторону и из них каплют слезы, то мы уверены все же, что подобное основывается на обмане чувств, болезненном состоянии или просто обмане. Тогда мы говорим, что эти сообщения неверны, какими бы подлинными они не были; но они одновременно для нас поучительны, поскольку характеризуют тех, кто их передает или верит им.

Они неверны уж потому, что в силу человеческого понимания подобные мнимые процессы невозможны. Рассказчики, быть может, и не хотят сообщить ничего лживого, но они не способны правильно видеть; они не лгут, они верят тому, что говорят, для них это правда, но по сути это неверно.

Вот одна и очень обширная сфера неверного. Такие неверные сообщения доставляют исследователю бесконечные трудности не потому, что он не догадывался, что они неверны, а потому, что бывает трудно, часто невозможно, представить себе духовную атмосферу, в которой жили и трудились люди минувших эпох. Часто просто не понять, как такой человек, как Меланхтон, мог безоговорочно верить астрологии, или такие государственные мужи, как Сципион, Перикл, могли придавать особое значение для своих дальнейших действий знамениям во время жертвоприношения.

Очень близок к этому и другой пример. В эпоху Просвещения огромное значение придавали объяснению всяких таких вещей, как то знамения, чудеса, истории с привидениями, ведовские искусства и т. д., т. е. поискам какого-либо рационального зерна, которое затем якобы фантазия и обман, особенно обман священнослужителей, раздували до чудовищных размеров, но, по мысли просветителей это рациональное зерно следовало признать как факт и исторически правильно оценить его. Поступать таким образом было в равной мере и некритично и не исторически. Просто переносили уже ставшие привычными рациональные и прозаические взгляды на времена, когда их не было, по крайней мере, в таком виде; не учитывали силу и доверие веры, фантазии, субъективного видения, каковые можно наблюдать все снова и снова у любого ребенка. Тысячи и тысячи примеров учат нас, до какой степени самообмана может довести фантазия: те битвы в воздухе, которые так часто видели, то пение небесных сил, которое слышал, по его словам, св. Франциск, тот черт в Вартбурге, в которого Лютер швырнул чернильницу, и бесчисленное другое — есть не что иное, как субъективное видение и слуховая галлюцинация, и рациональный рассудок поступает несправедливо, отыскивая везде в качестве повода чего-либо внешне фактического, а не психологического или патологического, каковое имеет здесь место.

2. По другим причинам возникает второй разряд неверного. Никто не будет возражать, если мы признаем,

что блестящие победы, изображенные на колонне Траяна или египетских монументах, — это идеализации, что эти изображения неверны и являются точно такими же гиперболами, как и, например, распространенные у римских императоров прозвища *Germanicus*, *Britannicus*, *Parthicus*,<sup>184</sup> или прекрасные прозвища наших средневековых государей: Благочестивый, Мудрый, Добрый, Кроткий и т. д.

Мы помним, что если Рубенс рисовал апофеоз Генриха IV, Рафаэль и Пинтуриккио в Сьене — апофеоз Энея Сильвио, папы Пия II, то они должны были подчеркивать *ex officio* все самые блестящие эпизоды их жизни, отбрасывая сомнительные или даже бесславные. Или зауспокойные проповеди XVII–XVIII вв., которые так часто использовали в качестве источников. Подобные прославления как исторический материал неверны; уже из-за их предназначения из всего контекста их составления мы можем понять, что они не хотели, да и не могли соответствовать действительному положению дел, что они просто обязаны быть неверными.

3. Пойдем дальше по этому пути. Кто полагает, что официальные документы, служебные отчеты имеют презумпцию верности, во всяком случае по своей природе, тот весьма заблуждается. Если два князя, родственника, брата после долгой борьбы заключают мир, а таково содержание многих грамот, то оба заинтересованы в том, чтобы по возможности осторожно обойти причину их распри, и в грамоте о мире может даже не проскользнуть ни малейшего намека, что ранее между ними были раздоры и ненависть и, возможно, всего через несколько месяцев они вспыхнут с новой силой.

С полным правом и всевозможным усердием привлекают особенно охотно донесения послов, чтобы из их точных и надежных сообщений уяснить политические условия. Но точны ли они? Надежны ли они? Выходят ли за пределы того двора, о котором они сообщают, знаменитые донесения венецианских послов XVI–XVII вв. и разыскания, лежащие в их основе? Насколько обоснованы их данные о доходах князей, баронов и еписко-

пов страны их пребывания, которые они так любят приводить? И далее, эти, да и все иные послы сообщают лишь о том, что важно и интересно для их государства, их двора; они видят и наблюдают с его точки зрения и, исходя из его интересов, и часто толкуют факты исключительно превратно, как, например, Бенедетти в 1870 г. в своих донесениях Наполеону III о Пруссии и Германии.

Что касается архивных документов или публикаций, то и здесь есть масса сомнительного. Целью их далеко не всегда является простая передача фактов; скорее, речь идет о том, чтобы произвести впечатление, опощить определенные тенденции, отвести подозрение от некоторых лиц, а других оскорбить. Среди всех бюллетеней, которые издал Наполеон I, не было ни одного более правдивого, чем пресловутый 29-й, в котором сообщалось о Березине; нужно было подготовить нацию к ужасному; но в тексте этого бюллетеня едва ли можно уловить хотя бы слабый отблеск ужасающей действительности.

Мы увидели, как эти разряды отличаются от первого, где фантазия подменяла деловой взгляд. Во втором деловой взгляд присутствует, но несколько замутнен мотивами и сопутствующими обстоятельствами и тому подобным, в третьем, деловом разряде взгляд несколько окрашен односторонностью точки зрения или некоторой предвзятостью, т. е. он не ахроматический, как говорят в оптике. Дело заключается в том, чтобы устранить, насколько возможно, эту замутненность, чтобы исправить зрение.

Если очень повезет и у нас в наличии будет, кроме несколько окрашенного мнения одной стороны, не менее окрашенное мнение другой, то тем самым у нас появится средство отделить то, что надежно, от того, что остается сомнительным. Поэтому, если, как, например, в «Олинфских речах» Демосфена, представлено мнение одной стороны, то с удвоенной осторожностью следует доверять ему и хотя бы попытаться разыскать все, что было сказано, например, в пользу царя Филиппа, если

только кто-либо в Афинах говорил в его пользу. Читая как историк книги Цезаря о Галльской войне, очень скоро замечаешь, насколько тенденциозно он изображает эту войну. И даже удивительное военное искусство Ганнибала в изображении Полибия и его последователей далеко не получает правильной, заслуженной оценки.

Аналогично обстоит дело и во всем остальном. Повсюду приходится довольствоваться констатацией чего-то определенного лишь с некоторой долей уверенности, и при этом не надо полагать, что бóльший фрагмент даст бóльшую уверенность и хотя бы внесет бóльшую ясность. Это так же, как в микроскопе, у которого увеличение достигается лишь за счет ясности. В общем, можно сказать: чем больше деталей, тем больше неуверенности (ср. выше с. 129).

И это, впрочем, справедливо, ибо любой факт, любой процесс состоит из множества деталей. А человеческое восприятие есть просто сведение в единое представление многих единичных моментов. И даже фотография, передающая, скажем, дерево со всеми его листьями, прожилками на них, делает это лишь с одной стороны, на которую наставил свой фотоаппарат мыслящий человек. Вся эту совокупность сучьев, ветвей, листьев, прорезей и наростов на коре в зависимости от обстоятельств человек воспринимает по-разному: живописец и рисовальщик — по цвету и форме, ботаник — по семейству и виду, лесничий — как определенное количество саженой дров и т. д. Истинным является каждый из этих взглядов, поскольку истину высказывает отношение между бытием и мыслью. Но целью рисунка художника является не верность, а характеристика дерева; полнота и обстоятельность как будто относятся к верности рисунка, но не они интересны художнику. Иначе у лесничего, он воспринимает дерево лишь как древесную массу; ценность его данных состоит в том, что они приблизительно верны. Верность, правильность лишь несколько приближается к действительности, лишь до некоторой степени. И это отношение понятий «верно» и «истинно» для нашей дисциплины исключительно важно.

4. Все предыдущее подводит нас к следующему соображению. Для целей практической политики по праву придают большое значение статистике, и по крайней мере с начала нашего столетия методы и подходы, на основании которых она проводит свои изыскания, были доведены до высокой степени совершенства, хотя эта дисциплина, особенно с момента выхода в свет трудов бельгийского статистика Кетле,<sup>185</sup> ушла, пожалуй, так далеко вперед, что претендует на открытие истинных законов исторического движения и полагает, что своими исследованиями объяснила жизнь народов, выявив движущие их причины (Энгель. Демология, или учение о человеческих сообществах. В журнале Королевского Прусского Статистического бюро. 871).

Вероятно, можно было бы без труда доказать, что статистические изыскания, чем более детальными они становятся, тем они приобретают меньшую надежность, и что получаемые ими средние показатели (типа, в этой стране на каждую 1000 девушек 12 рожают вне брака; на каждую 1000 человек приходится столько-то воров), однако, не являются законами, каковыми они желают быть, законами, которые якобы положили конец свободе и ответственности тех, кого они касаются. Однако критика этой науки не входит в нашу задачу. Для нас достаточно, что она дает проверенную в некоторых отношениях, приблизительную картину реальностей, выраженное в цифрах представление об условиях и отношениях людей, нарисованную только с количественной стороны и, можно сказать, довольно достоверную картину для того, чтобы по ней можно было примерно ориентироваться в практических делах, с одной оговоркой, что живая действительность подправит исходные данные и сгладит их погрешности.

Для исторического исследования статистические данные представляют своеобразный интерес и некоторым образом отсылают нас к старым временам. У нас есть цифры податей по древнеримскому цензу, цифровые данные о двенадцати древнееврейских племенах во время их перехода через пустыню, многие данные о

численности армий, например, персидского войска, армии Александра; из средневековья у нас есть книги учета земель общины и доходов, получаемых от них, и поземельные книги, например, кадастр марки Бранденбург за 1374 г., в котором для каждого города и деревни даны количество гуфов, арендные повинности и т. д. (выше с. 99); регистры королевств и земель императора Карла V, в которых указаны его доходы, поступающие от каждой из этих земель, а также доходы местных епископов, монашеских орденов, крупных вассалов и т. д.

Можно понять, какое значение для исторического исследования должно иметь то обстоятельство, что будут собраны, насколько это в наших силах, статистические данные о былых временах. Лишь имея относительно точные данные о численности македонской армии, завоевавшей Азию, можно получить представление о поразительных успехах Александра, лишь на основе так называемых афинских списков подати с имущества и казначейских документов можно себе представить идею и превосходство политики Перикла; самый чувствительный пробел в наших знаниях римской античности заключается в том, что у нас совсем нет никаких материалов о финансовых делах республики. Конечно, статистика оперирует только количественными показателями. Но всякий знает, что у статистики есть критерий «больше» и «меньше», при котором число количественное приобретает очень даже качественное значение, как в известной притче о лошадином хвосте, из которого вырывают один волосок за другим. Город, насчитывающий 100 000 душ, не только в 100 раз больше городка в 1000 душ, а благодаря своим тесным сношениям с миром и конкуренции и т. д. представляет собой качественно что-то совершенно иное, чем городок, в котором все знают друг друга. И как нам считать Милан во времена Барбароссы, Нюрнберг в пору императора Сигизмунда — большим городом или малым городком? Никто не поймет борьбу Нюрнберга против Альбрехта Ахилла и двадцати других князей, если будет рисовать в своем воображении этих князей по богатству и численности войска

равными владетельным князьям XVIII в. Мы знаем о Нюрнберге той поры по спискам, составленным во время осады города курфюрстом Альбрехтом; итак, дело заключалось в том, чтобы точно определить число дневных порций, и выяснилось, что город насчитывал 17 824 жителя: мужчин, женщин и детей, 446 лиц духовного сословия с их челядью, 150 евреев, кроме того, 9912 беженцев из окрестностей; но есть и другие данные, составленные одним из тогдашних попечителей, согласно которому по всем категориям, без священнослужителей и беженцев, в городе было 15 559 человек, а с последними 25 982 души. Итак, в момент, когда, казалось бы, чрезвычайные обстоятельства требуют точности, мы имеем два документа со значительно расходящимися данными. Даже если и тот и другой не верны, они дают нам приблизительное представление о величине тогдашнего города, а Нюрнберг, который наряду с Мецем, Страсбургом, Ульмом называли самым большим городом империи, насчитывал где-то от 15 до 18 тысяч жителей.

Если Лютер в своих «Застольных беседах», говоря о различных сословиях, заявляет, что горожанин имеет ежегодный доход в 8 гульденов, рыцарь в 80, граф в 800, имперский князь в 8000, а курфюрст в 80 000 гульденов, то, хотя этот подсчет сделан весьма суммарно, он все же дает нам приблизительное представление.

Прежде всего нам необходимы такие, хотя бы и приблизительные, представления, чтобы все снова и снова не впадать в самую что ни на есть пагубную ошибку, а именно ненароком и исподволь протаскивать наши сегодняшние представления и навязывать их соответствующим отношениям более ранних времен, т. е. рисовать в своем воображении армии времен Густава Адольфа как сегодняшние громады. Нечасто бывало, чтобы в те времена врага на битву поджидали более 20 000 человек. Такая же картина во всех подобных случаях.

Подводя итоги различным способам применения критики при определении верности материала, мы сформулируем следующие вопросы, которые необходимо задавать материалам:



1. Можно ли, исходя из опыта и познания людей, считать верным то, что дает нам наш материал? Например, в вопросе о ведовских процессах.

2. Может ли быть верным сообщение в тех условиях, при тех обстоятельствах, при которых оно появилось. Например, в различных вариантах идеализации. И в том и в другом случае критический метод, примененный к воспринятым объектам, проверяет восприятие и его верность.

3. Можно ли заподозрить и распознать некоторую предвзятость мнения в мотивах, целях, личных отношениях сообщаемого? Например, во многих деловых отчетах.

4. Неизбежна ли неверность из-за недостаточности средств наблюдения и восприятия, из-за того, как проводится изыскание? Например, в статистических выкладках. В двух последних случаях критика субъекта и его метода, т. е. как бы инструментария восприятия, проверяет последнее и его верность.

Таковы приблизительно возможные случаи. Можно заметить, что остается еще один неприятный момент. Наш результат только тогда надежный, если он отрицательный, т. е. если у нас есть доказательство, что данный материал неверный или не может быть верным. Но разве из этого само собой следует вывод, что там, где нельзя привести такое отрицательное доказательство, имеющиеся у нас данные верны? Если в последнее время масса архивных документов показывает нам, как противоречивы, например, донесения дипломатов, военные сводки воюющих государств, то можно ли считать верными, например, рассказы Ливия о войне с Ганнибалом, сообщения средневековых хроник о борьбе тевтонских рыцарей с язычниками и литовцами только потому, что мы не можем доказать их неверность, поскольку у нас нет известий с противоположной стороны?

Здесь мы оказывается перед весьма сомнительной апоремой, которую нельзя было бы разрешить, если бы мы твердо не придерживались природы и задачи нашей

науки. Наша наука весьма далека от того, чтобы иметь своим неперменным условием или задачей абсолютную верность; мы поступили бы вопреки логике, потребовав этого от нее.

Для верности любой вещи нормой являются реальности, объекты, формально имеющие место быть в данный момент или бывшие во всем их многообразии. Нечто воспринятое и по свойству человеческой природы переведенное в представление входит в него и через него, то, что нам кажется не абсолютно, а относительно верным. Мы, правда, говорим:  $A=B$  или  $2 \times 2=4$ , но это верно лишь до некоторой степени, а именно, если я мысленно добавляю:  $A$  есть и остается чем-то иным, отличным от  $B$ , например, по растяжению, весу, действию или чему-то иному, в таком случае можно назвать  $A$  и  $B$  равными. Если я ставлю две вещи, каждую по два раза, то я могу их обозначить как 4 вещи, но при условии, если они одинакового вида или я понимаю их лишь как количество экземпляров и т. д. Мы совершенно привыкли к условным обозначениям на наших географических картах, но эти карты представляют собой приблизительную картину тех частей поверхности земли, каковые человеческое представление обобщает суммарно, лишь приблизительно, лишь в некотором отношении соответствующими действительности, лишь некоторым образом верно.

Совершенно так же обстоит дело с историческими представлениями и данными: лишь в определенном отношении они соответствуют тому, что здесь воспринято, о чем сообщено. Мы считаем эти данные верными не потому, что они объективно передают факты, условия, вообще прошлое. А потому, что с *этой* точки зрения, в *этом* отношении, для *этой* цели они соответствуют реальностям, что они достаточны, чтобы их можно было мысленно обобщить в соответствующие представления.

Людам, знающим дело, обладающим пронизательностью, ясным умом и историческим взглядом, дано познать и зафиксировать важные точки зрения, определяющие отношения.

Наша наука, подвергая свои материалы критической проверке на их верность, сможет доказать, что одни из них верны, другие же не могут быть верными, а в остальном, где она бессильна привести такие доказательства, будет довольствоваться скептическими замечаниями. Но она будет также исследовать, насколько, с какой точки зрения эти материалы верны: она не отбросит в сторону отчет дипломата, военную сводку только на том основании, что другие дают противоположные сведения, или что в них какие-то сообщения по существу дела невероятны и, следовательно, определенно неверные, а наоборот, она попытается найти ту точку зрения, с которой этот отчет воспринят и с которой можно объяснить все неточности или извинить их.

Следовательно, верифицированный нашей наукой материал, разложенный, так сказать, на его элементы, мотивы, намерения, предвзятости, предстанет перед нами обнаженным в своей *относительной* ценности, следовательно, и то демонологическое предание даст нам свидетельские показания, если не о бесах, то о душевном состоянии тех, кто в них верил, а из «Записок о Галльской войне» Цезаря нам станет ясно, почему и зачем он довольно часто приводит неверные сведения; в «Histoire des Girondins»<sup>186</sup> Ламартина мы увидим энтузиаста демократии, но, кроме того, и падкого на сенсацию фразера и лирика.

Итак, результатом этого раздела критики является верифицированный на самом деле материал; это критика говорит нам: вот точка зрения сообщающего или повествующего, именно с этой точки зрения предстают перед ним вещи в их одновременности и последовательности, как в перспективе, в таком ракурсе, что одни закрываются другими и т. д.

## Критика источников § 33, 34

Утверждение в § 33 «Очерка», что критика источников есть применение к источникам критического метода установления верного, не согласуется с господствующим ныне мнением. Напротив, считают, что критика источников есть особый вид подлинно исторического метода, даже единственный метод, и, не сознавая природы нашей научной задачи, рискуют подменить цель исторического исследования его средством. Поэтому очень даже стоит приложить усилия чтобы добиться ясности в этом важном вопросе.

Нельзя сказать, чтобы он был очень старым. Впервые он задел за живое Нибура. Нибур считал, что у Фабия Пиктора было одно действительное, хотя и во многих отношениях фантастическое, предание времен войны с Ганнибалом, касающееся государственного устройства Рима с момента восстания общины, и Нибур надеялся по преданиям реконструировать его понимание этой истории, т. е. он хотел, прибегнув к сочинениям Ливия, Дионисия и т. д. путем критики очистить от шелухи зерно предания и выявить то, что в представлении этого автора было историей римского государства со времени Республики. Это точно так же, как у Бёкка, когда он в своей умной критике сочинения Манета категорически заявил, что путем критики он желает восстановить не египетскую историю, а историю, каковую представлял себе Манет.

Как видим, задача, сформулированная Нибуром, была, скорее, задачей филолога, а не историка. Ибо историческая задача есть не восстановление взглядов Фабия Пиктора на римскую историю, а посильное исследование того, как эта история совершалась в действительности, и если Фабий писал в пору войны с Ганнибалом, то исторической задачей является не реконструкция его взглядов на время децемвирата, а исследование вопроса, были ли и могли ли быть его взгляды верными, и если были, то насколько. Как далеко можно про-

двинуться таким образом, можно ли повсюду без разбору наводить такую критику, исходя из старых законов, институтов, прочих остатков, это уже другой вопрос. Но даже если такое невозможно, то нельзя на этом успокаиваться и в отсутствие лучшего считать мнение данного автора верным, а следует отважиться открыто признать, что здесь кончается наше знание.

Во второй раз критика источников заявила о себе в связи с изданием «Monumenta». Занимаясь весьма скудной и порой очень поверхностной историографией нашего средневековья, очень скоро пришли к пониманию, что часто одну хронику просто списывали с другой от начала и до года X или компилировали из третьей и четвертой, и только в конце под несколькими последними годами приводились самостоятельные известия. Этот списанный материал сам по себе не имел никакой ценности, важно было доказать, откуда это было списано, следовательно, кто был речителем этих известий. И только тогда предстояло еще решить подлинно исторический вопрос, верны ли и эти оригинальные известия и т. д.

Продолжая исследования, затем выяснили, что даже относительно добросовестные средневековые историки, стараясь писать по-латыни красиво, занимались стилистическими контаминациями в такой же мере, как хронисты контаминациями содержания. Например, Эйнхардт,<sup>187</sup> характеризуя Карла Великого, прибегает к риторическим украшениям Светония, или Рагевин,<sup>188</sup> писарь и продолжатель хроники Оттона Фрейзингенского, списал из Иосифа (Руфина)<sup>189</sup> осаду Милана или Павии вместе с описанием крепостных укреплений и осадных работ, однако, приспособив до некоторой степени чужие слова к новому событию.

Исключительное значение имело то обстоятельство, что исследуя таким образом источники, начинали анализировать большое число традиционных преданий, разлагая их на отдельные слои. Очень скоро поняли, что применение того же метода к античным источникам принесет хорошие плоды. Нашли, что Диодор, Евтропий, Плутарх, проанализированные таким образом,

приобретали иное значение, чем то, каковое им приписывали по традиции, что «Всемирная история» Диодора есть не что иное, как отрывки из более или менее удачно выбранных авторов, большинство из которых благодаря его выпискам становятся нам до некоторой степени понятными; что Евтропий при всей скудости своих рассказов все же имеет собственное мнение, это, если вам угодно, хорошо составленный учебник. Чем энергичнее и самостоятельнее собственный взгляд автора, которого разбирает критика источников, тем сильнее в его трактовке видоизменяются используемые им источники. Хотя Ливий в IV и V Декадах, как аргументированно доказал Ниссен, переводит Полибия зачастую буквально, но делая выписки из него, он превращает его изложение в нечто совершенно иное: он подгоняет его под *свое* понимание римской истории, по поводу которого Август, впрочем, весьма отличавший его, высказался в том духе, что он (Ливий) является сторонником Помпея. Еще заметнее эта манера проявляется у Плутарха в его «Жизнеописаниях», где он ловко выбирает только то, что ему интересно, чтобы придать особую наглядность биографиям своих героев, при этом не слишком заботясь о прагматической логической связи.

Третья форма критики источников появилась вместе с исследованиями школы Баура о жизни Христа и о началах христианской церкви, с последующими изысканиями о Моисеевом «Пятикнижии» (ср. выше с. 150). Представители этой школы приступили к исследованию традиционной истории фактов, которые относительно долго, видоизменяясь, бытовали в форме устного предания и были записаны лишь спустя долгие годы; они проверили их в том направлении, как и в какой степени они изменились в восприятии столь многих поколений. Следовательно, им нужно было доказать существование в действительности того, что стало легендарным и приукрашенным и, наконец, было зафиксировано в этих писаниях, установить, насколько возможно, более ранние письменные фиксации этого устного предания, которые, вероятно, в наших источниках неразличимо слились. Они

сначала учли отношение сказания к истории, мифа к сказанию, тем самым практически и методически прояснив подлинную сущность критики источников.

Речь прежде всего идет о том, чтобы отбросить три таких нелепых понятия, которые вошли в критику источников, а именно понятия объективного факта, свидетельства очевидца и полноты материала.

В разговорах об объективных фактах проявляется полное непонимание природы вещей, которыми занимается наша наука. У нашего исследования нет объективных фактов в их реальности. То, что объективно совершилось в каком-либо минувшем времени, может быть всем чем угодно, только не историческим фактом в нашем понимании. То, что происходит, лишь нашим восприятием понимается и объединяется как связанный процесс, как комплекс причины и следствия, цели и исполнения, одним словом, как *один* факт, но те же самые детали другие люди могут воспринять иначе, связывая их с другими причинами, следствиями или целями.

Далее свидетельство очевидца (ср. выше с. 128). Ведь исследователь, предположив, что те, кто видели своими глазами и слышали своими ушами, дают несомненно правильные показания, или по крайней мере что кроме свидетельства очевидцев нет никакой гарантии верности, облегчает себе тем самым задачу. Если Цезарь или Фридрих Великий дают точные данные о сражениях и битвах, то они отнюдь не все видели сами на поле битвы, они полагались на официальные сводки, которые они получали, делая из них выводы о намерениях противника, о последствиях этой атаки или того колебания вражеской линии и т. д.

Все источники, как бы они ни были хороши или плохи, являются определенными мнениями о событиях, независимо от того, возникло ли это мнение о событии непосредственно в ходе его или было составлено на основе множества таких непосредственных и первых восприятий, или это мнение составил себе и записал более поздний автор на основании устных рассказов второго, третьего поколения, или спустя века писатель на осно-

вании бывших у него под рукой письменных источников. Поскольку всегда речь идет об одном и том же, о мнении о событиях, то вопрос критики сводится, в основном к следующему: насколько верно в данном случае мнение и может ли оно быть верным, т. е. соответствовать происшествиям.

И здесь мы в третий раз сталкиваемся с *petitio principii*. Эта логическая ошибка относится к тому обстоятельству, что полагают получить от источников больше, чем они могут дать. Кто же может поручиться, что в намерение источника входило рассказать все, а уж тем более, что он может это? Источник дает лишь то, что присуще ему, а полагать, что данные источников — это и есть история, противно нашей науке. Воистину, это совершенное ребячество полагать, что рассказы Диодора о времени Диадочов и есть их история. И здесь уместен вопрос, разве ты видел тех, кого ты не видел?

Более подробное изучение источников по новой истории, по которой имеется бесконечно более богатый материал и контроль в виде архивных документов, дает нам подходы, которые применимы к изучению более отдаленных времен.

Как мы уже говорили, происшествиям всегда сопутствует восприятие, осознание их и претворение в представление. Из многих тысяч мнений, которые формируются изо дня в день, одни приходят к нам из газет, становясь всеобщим достоянием на долгое время, другие носятся в воздухе в виде слухов, увеличиваясь, искажаясь, кое-где они возникают в форме личного воспоминания, третьи встречаются в письмах, дневниках, служебных записках, а иные, вспыхнув, гаснут уже на следующей неделе, в следующем месяце.

Если Шульцгесс писал в целом ряде ежегодных изданий историю года, начиная с 1760,<sup>190</sup> то он, как правило, клал в основу своего повествования газеты, служебные и прочие публикации, кроме того свои собственные воспоминания, т. е. слухи, которые он слышал. Те же события, но с других позиций, излагают французская «*Annuaire*», английский «*Annual Register*». Если Аделунг<sup>191</sup>



в 1762–1769 гг. в своей «Прагматической государственной истории» (в девяти томах) описывал период с 1740 по 1763 гг., обращаясь к некоторым газетам, ежемесячным журналам, а также опубликованным государственными бюллетеням, договорам и т. д., по-своему их обрабатывая и всегда указывая источник, то в данном случае, казалось бы, можно обойтись и без критики источников, если бы ее привычное понимание было верным. Иначе изображал это же время Вольтер в своем «Siècle de Louis XV»,<sup>192</sup> по-иному — другие писатели. Поэтому, если кто-нибудь ныне захочет изучить и описать это же время, ему придется обратиться и к Шульцгессу, и к «Annuaire», Аделунгу и Вольтеру, но он не удовлетворится их мнениями, а будет искать другие материалы, находя их в мемуарах, опубликованных позднее, в еще не использованных архивных документах он выскажет со своей точки зрения новое мнение о том времени, вероятно, более правильное и глубокое, чем те, кто был к нему ближе. Ведь именно поэтому он и приступает к своему новому изложению. Однако объективной истории и он не даст, точно так же, как и его источники. Естественно, что в такие бурные эпохи, как время Ганнибала, Александра, все было так же, и ежедневные события воспринимались современниками и тотчас переводились в представления. Следовательно, такие мнения и взгляды частично распространялись в письмах, служебных и устных донесениях, частично некоторое время продолжали жить в виде слухов и анекдотов; то же самое можно сказать об обобщениях, сделанных с различных точек зрения, национальной, партийной и т. д.; например, о времени Александра Клитарх повествовал с греческих позиций, Птолемей — с македонских; о Ганнибале Полибий писал с позиций, отражающих настроения увлеченного Элладой круга Сципиона, Катон — в римско-республиканском духе, Силан — как сторонник Ганнибала. То, что спустя 300 лет Арриан, пользуясь трудами Птолемея и других, очень разумно изобразил Александра, Ливий спустя 200 лет рассказал о войне с Ганнибалом, скорее, в духе патриотической риторики, чем по

существо, дает критике источников, между прочим, достаточно материала для ее исследований. Но доказательство того, что именно Ливий заимствовал у Полибия, а Антипатр, Силан, Валерий Антиий — у Целия, собственно говоря, не проясняет исторического вопроса. Ибо в нем речь идет о том, что мы еще достоверно можем установить о войне с Ганнибалом, о походе Александра. Вопрос же, из каких источников черпали Ливий или Арриан свои данные, вторичен, или даже, можно сказать, относится к истории литературы. Первичный же вопрос: как выглядели материалы, реальности, из которых возникли эти источники.

Здесь мы подошли к главному моменту. Мы можем взять в качестве образца Геродота.

Геродота довольно бездумно называют «отцом истории». Но тем не менее значение его в историографии чрезвычайно велико. И другие до него, начиная от Гекатея, пытались собирать устные в их время предания Греции, подправляя мифы и сказания, внося систему и последовательность в этот хаос, и, пожалуй, под конец стали добавлять рассказы о недавнем времени, начиная от нападения мидийцев и персов на Лидию и греческие города Азии. Но Геродот по-новому подошел к повествованию: он хочет рассказать о войнах с персами до битвы у Эвримедонта, и для своих разъяснений он включает, по случаю и эпизодически, то, что он проведал и увидел во время своих путешествий и что он смог разузнать из более ранней истории в греческих землях и за их пределами, не особенно критикуя то, что ему рассказывали персидские или греческие λόγιοι, но все же, переходя по своему усмотрению от одного λόγος к другому, он рисует живую общую картину, сквозной идеей и логической связью которой является великая война греков с персами. Источники, использованные им, можно узнать без труда, даже относительно персидских войн: он либо сам называет их, либо рассказывает так, что становится ясно, где заканчивается спартанский логос и начинается аттический, например, о битве при Платеях. Исключительно интересно с литературной точки зрения сле-

дить за его искусно, но тем не менее строго построенным повествованием. Но у него самого хватает здравого смысла не выдавать все, что он рассказывает, за верное; он сам говорит (VII, 152), что ему приходится τὰ λεγόμενα λέγειν,<sup>193</sup> но верить всему он не обязан.

Так, в чем же дело, почему он имеет для нас такое значение? Для нас он есть первый и, можно сказать, единственный источник по истории Персидских войн. Он не только собирал все, что мог о них услышать, но и воспринял их не по-мелочному, а в их великом историческом контексте, с правильной точки зрения; тем самым, он наложил свой отпечаток на историю этих войн на все времена. Он является их первоисточником не потому, что он был их свидетелем и участником, гарантирующим верность описания событий, а потому, что собрал воедино все слухи, анекдоты и неверные мнения, в которых отразилось восприятие этого великого периода. И другие современники Геродота описывали эти Персидские войны, Геродот же овладел преданием.

То, что можно и следовало бы назвать в техническом смысле первоисточником, является не потоком противоречивых слухов, мнений, взглядов. Да, не все отдельные дипломатические отчеты о переговорах, собранные вместе, являются историей переговоров, не все поданные в письменном виде сводки батальонов, полков, дивизий о их действиях во время похода — историей похода. Не сумма, не сложение всех деталей, а первое обобщение их как целого по их прагматическому ходу действия, по их главной причине и цели — вот все это и есть первоисточник. Ибо история есть не первое попавшееся восприятие отдельных событий, а мысленное представление о том, что там произошло, т. е. о происшествии в его значении, его логической связи, его истине.

Гёте сказал однажды о древнейших временах:

«Wo noch wichtig jedes Wort war,  
Weil es ein gesprochen Wort war».<sup>194</sup>

Важность такого произнесенного слова заключалась в том, что обозначенная им вещь становилась доступной

нашему разуму, адаптированной им, доведенной до нашего сознания. Приблизительно так же, как историческое восприятие превращает происшествия в первоисточник. Первоисточником следует называть не спутанный клубок первых известий, слухов, мнений; «это, — как говорится в § 34 „Очерка“, — лишь изо дня в день повторяющийся процесс поднимающихся и оседающих испарений, из которых затем возникают источники». Подлинные первоисточники, в отличие от бытующих мнений и воспоминаний, всевозможных нелепых и случайных моментов, являются первым историческим восприятием, первым историческим пониманием.

Там, где приходит такое понимание, возникнет общая историческая картина, и наоборот, там, где дело не доходит до такой общей картины, либо дух народа, эпохи еще не проснулся, либо он уже не обладает силой исторического видения, либо сознание людей не восприняло этот ряд явлений как проникнутый единством смысла, как совокупность. Так, для XV в. имеются исторические описания отдельных немецких городов, территорий, княжеских домов, но нет ни одного, которое бы обобщило империю как таковую, ибо идея национального единства заявила о себе только с началом Реформации, да и то ненадолго. Другой пример: никто до Аристотеля не предполагал, что драматическая поэзия имеет свою историю; до середины нашего столетия никому не приходило в голову говорить об истории музыки и т. д.

Геродот еще не имел таких возможностей, как историки Александра, Птолемея, Клитарха и т. д., у которых была в руках масса письменных сообщений о войнах, писем царя, дневников и т. д., которые уже по существу дела и в историческом плане приводили первое, непосредственное восприятие. У Геродота было только устное предание, λόγοι, которые уже 40–50 лет передавались из уст в уста в отдельных семьях, городах и т. д. Уже в этих логосах весьма заметна тенденция, характерная для устного предания, все сглаживать и обобщать, эта тенденция сказывается еще сильнее в используемых им λόγοι о более древних временах, например, о

времени Песистратидов, Солона, Крёза. В общем, так же обстоит дело с рассказами четырех евангелистов, которые письменно зафиксировали устное предание христианской общины, сложившееся и преобразовавшееся в течение жизни двух-трех поколений. Еще больше дистанция между рассказом первых книг Ветхого завета и непосредственного первого восприятия событий, так что в них повсюду сплавляется предание, преобразованное в сказание, и священная история, миф; даже в них еще довольно отчетливо видно, как произошло взаимопроникновение и слияние различных сказаний, не только в различии повествования элохиста от повествования яхвиста, но и предания Иуды от предания Израиля и тому подобное, как это показано Кнобелем в его «Комментариях к книге „Бытия“».

Понятно, в каком предпочтительном положении относительно нашего знания о них оказываются те времена, история которых была письменно зафиксирована, минуя длительный период бытования устного предания, и уж тем более благоприятны для исследователя те времена, когда современники или представители следующего поколения писали историю на основе живого ощущения времени, описываемого ими; еще более благоприятны условия для изучения новых столетий, когда у них наряду с такими первоисточниками имеются еще известия, отчеты, слухи, из которых слагаются сами первоисточники. Мы в таком случае можем еще увидеть, как эти первоисточники выстраивали материалы, сопоставляя их и делая выводы и по-своему воспринимая их, открывали подлинное их значение, как они, согласно своей идее освещая внешние события, обнаруживали их внутреннюю логику и взаимозависимость.

Естественно, одним из средств, применяемых критикой источников, будет и доказательство, как один автор использовал другого, в какой степени более новый источник зависит от более старого. Но такое доказательство никак не является главным результатом задачи критики. Напротив, критика источников должна различать:

1. Что воспринял этот источник и воспроизвел в своем изложении, т. е. события, деяния, переговоры и т. д. Ибо выявить это «что» по возможности точно является главной задачей. Что касается источников, как было показано выше, мы никогда не имеем дела с объективными фактами, а всегда только с мнениями о таковых, и главное заключается в том, чтобы в любом случае ясно представить, до какой степени достоверно и правильно восприняли они факты, есть ли у нас среди них такие факты, которые восприняты с разных точек зрения, чтобы мы могли увидеть их как бы стереоскопически. В этом отношении огромно отличие материалов новых столетий от материалов средневековья и античности. Хотя о некоторых периодах истории античности мы можем с полным правом сказать, что, наверное, по ним имелся такой же богатый материал, как и по истории новых столетий, и что дошедшие до нас немногочисленные остатки о времени Цезаря, Александра необходимо читать, постоянно помня, что они только малые крохи такого богатства. Как разительно отличаются от этих эпох времена Оттонов и салических императоров, о которых — что касается истории империи — сохранились почти только предания священнослужителей и монастырей, предания времени деловых отношений, тяжеловесных и медлительных, монотонного и инертного образа жизни, в котором, можно сказать, отсутствовало общение и который не оживляла учащенно пульсирующая городская жизнь и не нарушали трения между разными слоями возрастающего населения.

2. Так как источники суть мнения, то всегда надо учитывать, что господствующие в тот момент и в том месте представления придали им особую окраску и тенденцию. Исключительно характерно, как в XV в. повсеместно и безраздельно вплоть до начала Реформации царили демонологические взгляды; или как во время Валленштейна и Кеплера даже самые разумные мужи были привержены астрологии и верили, что их судьбу предопределяет положение звезд. А в их взглядах и отражается мировосприятие их времени!

Само собой разумеется, что тот же вопрос относится как к первоисточникам, так и к более поздним источникам. О начальной истории, т. е. от века Фабия Пиктора и примерно до I в. до Р. Х., римская традиция, я разумею старую анналистику, конечно, имела такие представления, каковые соответствовали скудости края и власти времен ранней республики, периода децемвиров и Камилла. С увеличением территории и ростом могущества Рима менялись представления римлян о первоначальном периоде своей истории, и уже Ливий описывал время первых ростков города и республики, исходя из представлений, соответствующих величию Рима своего времени, величию, выросшему из этих ростков. Или другой пример. Эпоха итальянского чинквеченто, возродив классические штудии, отбросила за ненадобностью всю библейско-иудаистскую традицию, которую в свое время церковь сумела поставить на место национального предания, и во взглядах итальянцев XVI в. на историю воцарил классический языческий мир, став мерой и образцом настоящего и его прогресса. В этой связи становится понятным, что значит разрыв Лютера с традицией римской церкви и его обращение к древнейшим историческим свидетельствам церкви: это были преобразившаяся идея времени, более глубокое, Августиново, понимание сущности христианства, опираясь на которое Лютер отверг порочную иерархическую традицию, пытаюсь при помощи подлинной критики источников восстановить то, что более чистое слово Евангелий и Посланий некогда восприняло как христианское.

3. Третий момент — индивидуальная окраска, которую толкователь вольно или невольно придает своему мнению в зависимости от своего характера, тенденции, своего пристрастного взгляда. Ксенофонт, будучи уроженцем Афин, в своей «Греческой истории» всегда на стороне Спарты, а по отношению к фиванцам так несправедлив, что даже прибегает к лжесвидетельствам; он даже почти не упоминает Второй Афинский морской союз. Как отличается французская революция в изображении Тьера и Тэна, какой разный Фридрих Вели-

кий у Карлейля и Маколея, какая совершенно разная эпоха Карла V у Слейдана и Сепульведы<sup>195</sup> и т. д.! Они оперируют одними и теми же фактами, но их тенденции, точки зрения, методы совершенно разные. Чтобы извлечь из этих трудов верные факты, понять верное и реальное положение дел, разобраться в том, что некогда произошло, нужно вычесть то, что они привнесли в свое восприятие, руководствуясь личной тенденцией и взглядами в зависимости от национального и конфессионального различия. Нужно поступить примерно так, как если бы мы захотели составить собственное представление о характере и поступках человека по рассказам о нем, сделанным тремя или четырьмя совершенно различными людьми. В этом случае нам надо оценить данные каждого исходя из того, что мы его знаем или полагаем, что знаем, и, наконец, на основе этих трех или четырех критических мнений мы попытаемся составить свое собственное, сделав примерно такое заключение: объективно этот характер таков.

Итак, мы можем под конец обобщить вопросы критики источников по следующим аспектам:

1. Первоисточниками являются не первые слухи и мнения, любые и бесчисленные первые мнения о происшествии, каковые возникают тотчас вместе с последним, а сделанные с определенной точки зрения первые обобщения в смысловой контекст, который высказывает их суть и их идею.

Если нам очень повезет, то мы будем иметь первое обобщение, сделанное еще под живым впечатлением от того, что произошло, еще в той атмосфере мыслей и настроений, которые были причиной происшествия и которые в свою очередь родились из него, как бы еще в историческом настоящем данного происшествия. Так, например, Геродот, Фукидид. В таком случае эти мнения господствуют над последующими временами, выражая твердо и совершенно мысли и настроения, которые породили такие события.

Конечно, Геродот, Фукидид оставили многое неупомянутым и неиспользованным, чем такие более позд-



ние исследователи, как Эфор, Феопомп, смогли воспользоваться как историческим материалом. Но вместе с Пелопонесскими войнами, с глубоким падением Афин пришло совершенно иное время. Эфор и Феопомп отстоят от времени, о котором писали Геродот и Фукидид, примерно как мы от времени Наполеоновских войн и Фридриха Великого; они воспринимали старое время в эпоху, когда совершенно по-иному стали смотреть на вещи, как это можно понять из того, как ораторы говорят о Фемистокле и Кимоне, Алкивиаде и Клеоне. Затем снова наступает полный переворот в образе мышления и мировоззрения эллинов, ознаменованный мировыми завоеваниями Александра и совершенно новым научным подходом Аристотеля. Каким разительно иным представляется время Персидских войн и гегемонии Аттики писателям после Александра. Но эту эпоху уже анализируют совершенно по-научному, например Филохор, фалериец Деметрий, собиратель Кратер. А с другой стороны, история этой эпохи превращается в школьный предмет, и для общего образования ее преподают в традиционном, суммарном изложении, например, у Диодора или в истории Юстина.

Итак, приступая к критике источников Диодора, Юстина, Плутарха, прежде всего нам надо попытаться уяснить себе, какие книги были в руках этих авторов и как они их использовали. Ибо мы хотим проанализировать, что есть верного у Диодора, Юстина, Плутарха. И все, что у них есть верного, они могли получить только из использованных ими источников. Если Диодор по истории со времени Персидских войн и до нападения Афин делал выписки из Эфора, то и по отношению к Эфору следует поставить тот же критический вопрос: без сомнения, он знал и использовал Геродота и Фукидида, но, конечно же, и другие материалы, например сочинения комедиографов, ведь он заимствует у Аристофана повод к Пелопонеской войне и, будучи изрядным педантом, принимает всерьез его смехотворные данные. Такого не могло случиться с теми, кто писал, еще живо ощущая могучее движение, кто,

сначала обобщив массу пережитого и познанного из великой идеи, изобразил все это как единый смысловой контекст, высказав то, что для всех современников было ясно и словно живое, лично пережитое стояло перед глазами. Применить методы критики источников к таким авторам, как Фукидид и Геродот, значит исследовать, каким образом, из каких устных рассказов или письменных официальных сообщений, в чьей передаче, в какой степени зная суть дела, они собирали для своего изложения материал и употребляли его.

Такова критика, когда первые сообщения относятся еще и к историческому настоящему тех вещей, о которых они рассказывают.

2. Если это не так, то изложение представляет интерес не только потому, что оно отражает свою собственную, более позднюю эпоху, остатками которой оно является, и ее идеи, но и со следующих точек зрения:

а) Это изложение является первым историческим обобщением того, что до сих пор передавалось лишь устно. Например, Иордан, или, скорее, Кассиодор для старой истории готов; или «Пятикнижие» для древней истории евреев.

В этом случае можно, пожалуй, констатировать только тот факт, что люди во времена записи этих памятников смотрели на прошлое таким образом, так фиксировали свои предания. И все, что верно в таком труде, можно найти ранее указанным путем критики сказания, с помощью диакритического метода и т. д.

б) Нам интересно само изложение, которое представляет собой свод или компиляцию более ранних произведений.

Затем, если эти более ранние произведения дошли до нас, то скомпилированному из них сочинению подобает лишь значение мнения мнений. Например, «Отпадение Нидерландов от Испанской короны» Шиллера: грандиозно по мысли, но по материалу полностью зависимо от авторов, которых он использовал (почти только Страду).

Или более старые произведения не сохранились. Тогда более позднее изложение заступает место пропавшего, хотя и как недостаточная замена. Тогда нужно, например, исследовать, как плохо использовал Диодор своего Эфора, своего Тимея, как вольно обращался Ливий с Полибием, что Юстин — всего-навсего риторическая выжимка из выписок, которые сделал Трог Помпей из лучших источников, особенно Тимагена.

в) Изложение является не только сводом и компиляцией из более старых источников, но и в нем добавлен новый материал из устного предания или из архивных документов, памятников и т. д.

Относительно нового материала более позднее произведение представляет собой в таком случае в некотором смысле источник, оно для нас является заменой предания, архивных документов, поскольку оно использовало их. Например, Авентин и «Анналы» из Альтаиха, списки которых были найдены лишь в последнее время (см. выше с. 149); или Зекендорф (*Commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismō seu de reformatione*, 1688),<sup>196</sup> который дает намного больше, чем Слейдан, материала, например из Веймарских актов, многие из которых с тех пор затерялись. Но Зекендорф писал не так, как Слейдан, вдыхавший воздух эпохи Реформации, а по-ученому, желая защитить лютеранство от пасквиля иезуита Мэмбурга.<sup>197</sup>

г) Хотя более позднее изложение заимствовано из более старых источников, но благодаря средствам критики и интерпретации оно сделало совершенно новые выводы из первых записок, которые прежде использовались неверно или недостаточно.

В таком случае более позднее изложение имеет ту ценность, что оно верно восстановило утративший свою достоверность материал, устранив неверную интерпретацию и заменив ее правильной. Таков, например, Нибур в «Римской истории». Еще в большей мере такой же результат обнаруживается, если исследование открыло в надписях и других остатках массу нового материала, что, например, сделал Моммзен в своей «Истории Рима».

## г) Критическое упорядочение материала § 35, 36

Завершена ли глава о критике, после того как мы рассмотрели критику источников? Остается еще исключительно важный вопрос, который неизбежно возникает из нашего стиля исследования, тем самым оправдывая его.

Материалы, которые мы смогли найти для решения исторической задачи, критика должна была рассмотреть с самых разных точек зрения, чтобы ответить на вопрос, можно ли их использовать, и если можно, то насколько.

Мы были вынуждены поставить три вопроса, исходя из которых нам пришлось проверить наш материал: 1) подлинный ли наш материал, т. е. представляет ли он собой то, чем он считается и за что себя выдает; 2) является ли он неизменно тем, чем был и хотел быть, или к нему уже примешано более раннее или более позднее; 3) было ли и могло ли быть то, вещественным доказательством чего он желает слыть, т. е. верен ли он.

Остается еще четвертый вопрос: содержит ли материал в том виде, в каком он перед нами налицо, еще все те моменты, свидетельства которых мы ищем, т. е. в какой мере он полон.

In abstracto всякий с легкостью согласится с тем, что наше знание фрагментарно, и наше историческое знание тоже неполно. Но уже форма исторического повествования, которую мы выбираем, создает у нас иллюзию того, что мы могли бы представить *весь* ход исторических событий от начала до конца, замкнутую в себе цепь событий, мотивов и целей. И исследователи слишком легко предаются иллюзии, будто все то, что нам досталось по наследству, хотя и не представляет целого, но все же важно, и оно-де может и должно быть достаточным для того, чтобы воссоздать картину целого.

Принципиальное значение имеет то обстоятельство, что мы в наших работах не должны забывать, всегда признаваясь себе, как обстоит дело в действительности с

историческим материалом. Почти всегда или, вернее, всегда, даже если имеется в наличии сверхбогатый материал, состоящий из многих свершений и событий, из массы деловых процессов и реализованных проектов, мы располагаем все же только фрагментами, лишь отдельными мнениями о том, что было и произошло. Без всяких сомнений, никогда военные действия не бывали зафиксированы в таком огромном количестве депеш, донесений войсковых частей, рапортов отдельных офицеров, как в ходе войны 1870–1871 гг., и труд Прусского генерального штаба<sup>198</sup> написан на основе такого большого материала, как ни одно другое военно-историческое сочинение. И все же и в нем отсутствуют тысячи и тысячи подробностей; как свидетельствуют его составители, многие офицеры, без донесений которых нельзя было обойтись, пали на поле боя, отдельные рапорты, приказы и т. д. затерялись. А как же быть исследователю в случае других крупных военных действий более отдаленных эпох, и уже тем более когда нет архивных документов или сохранились всего один или два источника?

Итак, любой исторический материал имеет лакуны, и исследование вынуждено прежде всего установить, какие пробелы содержит его материал. Ибо ясно, что чем меньше у меня твердых точек, тем произвольнее могут быть линии, которыми я их соединяю и, тем самым, картина, которую я по ним воспроизвожу; как та игра Швинда,<sup>199</sup> который предлагал нарисовать человеческую фигуру, соединив десять заданных точек, результатом были сотни фигур; если же давалась сотня точек, то едва ли можно было нарисовать и десяток.

Отсюда формулировка § 35 «Очерка»: «Острота, с какой обозначаются пробелы... является мерой достоверности исследования».

Это обстоятельство стало бы для нас тем барьером, о который мы спотыкались бы на каждом шагу, если бы в другом нашем методе не нашли некоторого подспорья для преодоления этого препятствия. Но прежде всего критика должна дать нам понять, какие пробелы имеет наш материал.

*Критическое упорядочение* материала — вот форма преодоления указанного барьера.

Верифицированный критикой материал — это все, что мы имеем и знаем об интересующем нас фрагменте прошлого. Каково было это прошлое, каков был ход его событий, что волновало его и вызывало вопросы, что было достигнуто или упущено, всего этого мы, пожалуй, не найдем в нашем материале, но что-нибудь да и осталось в нем, и его-то мы можем еще постичь, на основании этого материала мы должны выработать определенное мнение о том прошлом и тем самым некое представление о нем.

Первый шаг к выработке этого мнения есть критическое упорядочение материала. У нас есть для этого необходимые подходы, так как речь идет о процессах человеческого бытия, которые нам как таковые понятны, поскольку мы сами принадлежим к роду человеческому. Эти аналогии дают нам точки опоры для упорядочения материала. Первой такой точкой является временная последовательность.

Вот мы впервые и столкнулись с потребностью во временной последовательности, которая нам прежде всего важна, т. е. с вопросом о мере и правиле этой последовательности, с вопросом о *хронологии*, которая, разумеется, не есть только критическая вспомогательная дисциплина, у нее своя собственная жизнь и интересы.

Мы вряд ли можем себе предоставить, сколько трудов и усилий стоило человеческому разуму прийти к обобщению смены дня и ночи в относительно большие периоды, которые можно было измерять и определять по большим периодическим явлениям звездного неба. То, что приблизительно двенадцать оборотов Луны вокруг Земли соответствуют одному обороту вокруг Солнца, насколько мы знаем из дошедших до нас преданий, наши предки понимали всегда. Но из этого иррационального отношения между месяцем и годом сложилось великое разнообразие систем, которые были и оставались у каждого народа свои, и это обстоятельство очень затруднило нахождение всеобщего ка-

нона, каковой необходим для исторических потребностей.

Стоит только рассмотреть попытки установления общей хронологии у Диодора, в источниках которого встречались греческие Олимпиады, и аттические архонты, и годы от основания Рима, и летосчисление по консулам, чтобы убедиться, как много трудностей и ошибок возникло у него в результате его хронологических редуций. Еще бóльшие трудности испытывала астрономия, опирающаяся прежде всего на проведенные в Вавилоне наблюдения; или греческие историки и хронографы Александрии, которые пытались привести к единой хронологии историю многих народов. Им прежде всего нужна была какая-либо «эпоха», т. е. твердая начальная точка летосчисления, каковую им не могли дать ни основание Рима, ни первая Олимпиада, ни уж тем более завоевание Трои; да, и точка отсчета по восходу Сириуса, который пользовалась тысячелетняя история Египта для александрийцев в их хронологических расчетах, по-видимому, была недостаточно надежной. Они довольствовались тем, что вели расчеты по Вавилонской эре Навуходоносора от 747 г., продолжая ее по персидским царям, Александру, Лагидам, римским кесарям.

Затем, вместе с возрастающим значением христианства, для которого, естественно, достоверной была только Библия, началось летосчисление от Сотворения мира, которое в Византии вычислили на 5508 г. до Рождества Христова. Летосчисление от Рождества Христова, вычисленное аббатом Дионисием в VI в., с ошибкой минимум в четыре года, стало повсеместно употребляться церковью лишь с VII в., причем церковь восприняла этот календарь, усовершенствованный Юлием Цезарем, с високосным годом, чтобы при помощи вставного дня снова и снова выравнивать солнечный и лунный год. Но этот период с включением високосного дня был неточен, так что к началу XVI в. Юлианский год отставал от действительного солнечного на 10 суток. По поручению Тридентского собора папа Григо-

рий XIII инициировал исправление календаря, который за вычетом 11 дней был введен в католическом мире в 1582 г. и т. д.

Для исследования и общего обзора, естественно, было очень важно включить всю сферу нашего исторического обзора в единую хронологическую сетку, а не рассматривать историю каждого народа по его в некоторых отношениях очень несовершенному летосчислению, как это иногда делают и сегодня. Но такое сведение к одной системе нередко доставляет довольно много трудностей. И к тому же добавляется одно неприятное обстоятельство, что история и астрономия понимают эпохальный год, Рождество Христово, по-разному: астрономия принимает год Рождества за 0 после Р. Х., история же за первый год после Р. Х., а год до этого за первый год до Р. Х.

Итак, прежде чем приступить к упорядочению по времени критически проверенных материалов, наше исследование должно заняться этой весьма трудной дисциплиной, хронологией.

Интересно посмотреть, как в наших исследованиях эта потребность отлилась в некую форму, каковая, впрочем, поразительно не понимая своей сущности, предъявляет явно не соответствующие ее предмету претензии.

Ранее мы говорили о «регестах», списках грамот во временной последовательности с краткими данными об их содержании. Этой формой воспользовался Фр. Бёмер для хронологического упорядочения материалов. Он расположил грамоты по-порядку не только по дню и месту их составления и главному содержанию, но и указал имена названных в грамоте свидетелей и т. п. Он добавил еще хронологически определенные данные из источников. Одним словом, он дал в форме «регест» весь материал истории германских императоров от Каролингов до 1347 г. И он высказал мнение, что это единственный и достойный ученого вид изложения истории тех времен, будто бы все, что выходит за рамки критики, этой формы критики, есть просто фантазия.



Идея Бёмера упорядочить материал по времени совершенно верна. Но разве это единственный подход, о котором может идти речь? Например, приступая к изучению Пелопоннесской войны, исследователь непременно бы сопоставил материалы, относящиеся к каждому государству, чтобы сделать обзор того, что в них говорится о Коринфе, Аргосе, Византии, Таренте и т. д., а также материал о встречающихся отдельных деятелях; он отметил бы всех упоминаемых должностных лиц, особенно казначеев, стратегов в Афинах и т. д.

Совершенно ясно, чем разнообразнее аспекты, по которым можно группировать материалы, тем больше точек опоры дадут перекрещивающиеся линии. В этом отношении образцовыми являются *Indices* к латинскому «*Corpus Inscriptionum*»: они являются сокровищницей критически упорядоченных с самых разных точек зрения материалов по любой области римской истории, в них содержится все, что можно извлечь из надписей. Отсюда напрашивается мысль расположить в том же порядке все другие материалы: монеты, сообщения историков, записки по случаю всех авторов и поэтов, и в поддержку этого начинания был объявлен конкурс на сочинение по римской прозопографии.

Кто захотел бы изучать внутреннюю политику, например Пруссии, тот оказался бы перед горой материалов: сводов законов со времени Милиуса,<sup>200</sup> актов ландтагов более раннего периода, актов Генерального управления и т. д., — и безнадежно заблудился бы в этом лабиринте, если бы он сначала критически не упорядочил материалы, составив разнообразные указатели, чтобы установить, как велики пробелы; и он составил бы эти указатели тем вернее и в соответствии с сущностью дела, чем основательнее у него были знания финансовой и налоговой системы, экономической жизни и сношений.

Итак, станет ясно, что подразумевают § 35 и 36 «Очерка». Упорядочив по существу дела верифицированный материал, критика на этом завершает свою задачу. И теперь мы подведем итог всему тому, что у нас

есть в наличии из прошлых событий: мы имеем налицо не подлинный исторический факт, а то, что еще сохранилось от него в остатках, мнениях и т. д. И тогда мы устанавливаем, полон ли наш материал или имеет пробелы и какие, ведь на основании нашего материала нам надо написать наше исследование, получить наше понимание того небольшого фрагмента прошлого, который мы хотим мысленно воскресить.

### III. Интерпретация

#### Исследование истоков

#### § 37

Сначала одно предварительное замечание. Мы завершили главу о критике и нигде не нашли рубрики, где бы подробно поговорили об исследовании истоков. Разве не следует найти и установить ту точку, из которой берет начало и ведет свое происхождение историческое явление, например, истоки христианства и т. п.? Или это дело интерпретации?

Я вынужден признать, что излагаемый мною метод делает невозможной эту задачу, и добавлю, что в этом мне видится добрый признак того, что он верен.

Впрочем, есть такая манера повествования, которая, изображая события как процесс, показывая весь ход их развития, доводит их до внимания слушающих, как бы зримо воскрешая их. Но точно так же ясно, что мы, повествуя в такой манере, пытаемся лишь подражать последовательности, для чего мы путем исследования реконструируем то, что возникло и минуло, то, что нам кажется становящимся; но это же чистая абстракция или иллюзия полагать, что мы путем исследования подошли к началу, истоку возникшего явления, например, мы достигли непосредственного первоначала в лице Ромула и Рэма, с которых начинается могучая история римлян, хотя самим обоим первооснователям предшествовала длинная цепь связующих звеньев.

Еще более сомнительной иллюзией было бы, если бы мы искали это начало, полагая, что в нем суть вещи, ее подлинное жизненное зерно, из которого родилось это развитие. Относительно этого вопроса в области теологической науки изыскания школы Баура стала подлинно прагматическими. Представители этой школы ищут

первоначальное христианство, подлинное и истинное зерно сущности христианства, снимая, как у луковицы, кожуру за кожурой, чтобы найти в конечном итоге зародыш в самом нутре. Но что же есть этот самый-наисамый первый зародыш? Может быть, это Христос, его личность и его биография? Или вот это *Единое* учение, которое есть сумма всех других? Быть может, найдут даже то слово о сыновстве Бога или о любви, которая превыше всего, то семечко, каковое, будучи посеянным в землю, взошло и выросло, став деревом, осеняющим весь мир. Но только в этом могучем росте зародыш и мог стать деревом, только став деревом, семечко претворилось в действительность, получило свою полную истину. Ничто не помогло бы, если бы вздумали отрицать это дерево, например, на том основании, что первый зародыш уже с достоверностью не доказать, как нельзя доказать, было ли подлинным началом то или иное, или третье; или если бы, чтобы это познать, докапывались до корней и там бы искали первый зародыш, из которого выросло это дерево: этого зародыша там бы не было. Лишь в его плодах повторяется его начало, и если это дерево уже не плодоносит, то его жизнь и жизненная сила подошли к концу и оно засыхает.

Так дело обстоит со всеми историческими явлениями. И стремление к точке, которая в полном и возвышенном смысле была бы началом, непосредственным первоисточком, выходит за пределы исторического исследования. Мы же не продвинемся дальше относительных истоков, которые мы установили как начало того, что из них стало. Только из того, что уже возникло мы находим, устанавливаем начало. Ибо сконструировать непосредственное, абсолютное начало мы, пожалуй, можем спекулятивно, религиозно веря, но исторически найти или доказать его мы не можем, и кто хочет его найти, пусть не ищет его эмпирическим путем, с помощью исторического метода, иначе он будет вовлечен в скучнейшую дискуссию по поводу того, что было раньше, яйцо или курица, или в еще более скучные споры последователей Дарвина о *generatio aequivoca* протоплазмы.

Важно уяснить, что наше эмпирическое исследование может оперировать исключительно только имеющимися в наличии материалами, и что если оно излагает свои результаты в форме повествования, исходя из начальной точки, оно тем самым ставит *ad hoc*<sup>201</sup> начало, которое только относительно.

Учитывать это еще и потому так важно, что генетический метод повествования, исходящий из какого-либо начала, всякий раз вводит нас в заблуждение, что можно объяснить все возникшее и его начало, что можно доказать неизбежность того, что оно стало таким, как есть, и должно было стать таковым.

Но у этого вопроса есть и другая значительная сторона, которую мы должны также уяснить.

Несомненно, мы понимаем то, что есть, целиком и полностью только тогда, когда познаем и уясняем его становление. Но его становление мы познаем, лишь исследуя и постигая как можно точнее, каково оно есть. Это лишь некая форма и способ выражения понимания настоящего и сущего, что мы воспринимаем его как ставшее и уясняем его становление. А с другой стороны, это его становление и настоящее бытие мы проявляем из сущего, воспринимая его во времени и разлагая на части, чтобы понять его.

Как видим, мы движемся по кругу. Но по такому кругу, который ведет *нас*, а не вещь. Ибо сначала мы имеем ее как сущее, а затем рассматриваем и постигаем ее как возникшее. Тем самым у нас двойная формула того, как мы видим и понимаем вещь; не вещь, а наше понимание вещи углубляем мы и контролируем, рассматривая ее с двух сторон или вернее с двух точек зрения, как бы стереоскопически.

Это необходимо знать, чтобы уяснить себе, до какого предела может и хочет пойти наша наука. Наша наука является эмпирической в том смысле, что материалом ее исследования является сущее и данное; она точная наука потому, что получает свои результаты из этого материала, строя правильные силлогизмы, а не выводит их из гипотетических начал, что она не пытается объяс-

нить то, что у нее есть налицо, из самого первого зародыша или первоисточников, которых у нее *нет* в наличии.

Ибо если бы мы согласились с тем, что наша наука должна объяснять то, что есть, из того, что было, т. е. делать заключения, то нам пришлось бы признать, что в более раннем имеются налицо все условия для возникновения более позднего, независимо от того, познали ли мы их или нет; наша наука исключила бы самую сущность исторического, т. е. нравственного мира, свободу воли, ответственность действующих лиц, право каждого быть самому себе новым началом и целым миром в себе; для нравственного мира она превратилась бы в скучное подобие вечности мира материи и механики атомов. Ибо все будущее должно было бы уже быть сформировано в прошедшем, должно было бы в зародыше содержаться в началах и первом начале; и вещам оставалось бы только самораскрыться и перестроиться, чтобы дать последующему с неизбежностью развиваться из более раннего. Механизм, в каком-то не нуждается даже растение, которое поистине не содержит его в своем зародыше даже в микроскопическом виде, а нуждается в пище из земли, воздуха и света и т. д., и вбирая в себя пищу, поднимаясь, становится тем, чем оно еще не было в зародыше.

Достаточно этих соображений, чтобы отклонить лживую доктрину первозданности, доктрину так называемого органического развития в истории. То, что обычно превозносят как первозданное, является, однако, фактором, одним из условий исторической жизни, но оно менее всего историческое условие и, если хотите, всего лишь тварный субстрат; и одно только органическое развитие, если принимать его всерьез, исключало бы прогресс, ἐπίδοσις εἰς αὐτό.

Эти замечания необходимо было предпослать нашему рассмотрению во избежание того, чтобы обсуждаемую нами интерпретацию не истолковывали неверно. Мы интерпретируем не так называемый исторический факт, например революцию 1789 г. или битву под Лейпцигом,<sup>202</sup> для того чтобы вывести из него обстоя-

тельства и условия, которые с *неизбежностью* привели бы, как мы бы установили, к данному факту. А интерпретируем имеющиеся у нас еще в наличии материалы, чтобы из их комментария и толкования, из их по возможности детального понимания исследовать то, что еще можно распознать в них о фактах, свидетельства которых они дают. Наша интерпретация представляет собой распутывание и раскладывание как бы засушенных в гербарии, съезжившихся и увянувших материалов, и благодаря искусству интерпретации мы хотим их снова оживить и заставить заговорить.

### Формы интерпретации § 38

Я понимаю говорящего, если я, стоя напротив него, слышу его слова, воспринимаю интонацию и акценты его речи, выражение его глаз, мимику лица, его жесты. Ибо полное выражение его самой внутренней сущности, в данный момент взволнованной или расстроенной, прорывается здесь наружу, и это его внутреннее состояние я воспринимаю по его внешним проявлениям, чувствуя, что он чем-то взволнован, его взволнованность заставляет меня сопереживать тому, что происходит в его душе. Таким образом, он стал для меня понятным.

Иначе будет, ежели он в такой момент пишет, поскольку я далеко от него; при чтении его письма я, насколько его знаю, буду непроизвольно дополнять звук его голоса, выражение его лица, мне будет казаться, что я его вижу и слышу.

Если я не знаю автора письма лично, то впечатление от его письма будем намного более спокойным; если же тон письма не очень выразительный или оно написано не очень искусно, мне будет стоить некоторого усилия домыслить личность писавшего.

Поэтому, если кто-либо рассказывает мне о беседе, письме одного из моих друзей, то я, зная в общем личность друга, буду иметь контроль и могу корректировать

изображение рассказчика. Возможно, я также знаю рассказчика, его характер, его цели, его отношение к моему другу. И по этим моментам я буду дополнять его сообщение, зная, насколько я ему могу верить; по крайней мере зная моего друга и имея свое мнение о нем, я, вероятно, подумаю: «Так он не мог сказать», или «Он не это имел в виду»; таким образом, я сначала подправлю данные, а затем составлю свое мнение или приму решение.

А ежели я узнаю через третьи, четвертые руки то, что сказал мой друг или написал в письме, я буду тем осторожнее в своем суждении. И тем более буду осторожным, если я узнаю из третьих, четвертых рук то, что сказал кто-то, кого я не знаю, и тогда-то я уже обязательно постараюсь разузнать побольше о нем, чтобы получить представление о нем и его характере.

Вот примерно те различные ситуации, в которых нам придется столкнуться с историческими материалами, и те операции, которые мы должны с ними проделать. Критика устранила всевозможные примеси и неточности, имевшиеся поначалу в наших материалах; она не только очистила и верифицировала их, но и упорядочила так, что они теперь в полном порядке лежат перед нами.

И теперь совершенно ясно, что нам дальше делать. Теперь речь пойдет о том, чтобы понять эти данные вещи, т. е. постичь их как выражение того, что в них хотели выразить.

Если бы мы поступали по схеме, то мы должны были бы вернуться к ранее высказанному, напомним себе еще раз: то, что у нас имеется в качестве исторического материала, является выражением и отпечатком волевых актов, и их-то мы и должны попытаться понять в этих их выражениях.

Но не все обстоит так просто. Для нас речь идет не об отдельных волевых актах тех, кто здесь действовал, а мы хотим получить представление и понимание реализовавшихся благодаря этим волевым актам событий и условий, следовательно, так называемых фактов, и любой такой факт, как правило, возник из взаимодействия нескольких, многих волевых актов, частично вра-



ждебно противостоящих друг другу и противоборствующих. А как нам поступать в случае фактов, т. е. свидетельств или остатков фактов, в которых, например в развалинах древних городских стен Рима или *leges barbarorum* или в учреждении рыцарских орденов в Иерусалиме, уже нельзя распознать личную волю, и к нам вызывает что-то всеобщее, гений народа, прозорливость эпохи, одна и та же особенность духовного склада, присущего огромному числу верующих.

Следовательно, задача исторической интерпретации не совсем уже такая простая, как в случае понимания говорящего с нами собеседника.

Но главное, основу мы получаем таким образом. Прежде всего дело заключается в том, чтобы найти те аспекты, на которые мы можем направить наше историческое понимание, нашу интерпретацию, выделить такие, в которых заключалось все то, что можно понять.

1. Естественно, сначала мы должны обзреть простое наличие исторического материала, упорядоченного критикой, который в таком порядке представляет собой, можно сказать, набросок общего смысла и хода дела. Этот набросок положения дела мы дополняем путем прагматической интерпретации.

2. Факты, свидетельством которых являются наши материалы, имели место в такое-то время в такой-то стране; они в своем тогдашнем настоящем подвергались влиянию всех присущих этому времени факторов и условий. Все они вместе, более близкие или дальние, благоприятные или неблагоприятные, воздействовали на отношения, составляющие то настоящее. И не только эти общие отношения, каждое в отдельности, находились в локальных, экономических, религиозных, технических условиях, от которых они зависели в своем становлении и действии. Следы этих воздействий нужно искать и воспринимать исходя из данного нам материала, и они должны быть вновь распознаны во всей их силе и объеме. Это и есть интерпретация условий.

3. Не всегда наш материал таков, что мы по нему можем еще определить действия и волю участвовавших

индивидов; и даже там, где мы узнаем отдельных ведущих, творческих деятелей, масса ведомых, зрителей и т. д. ускользает из поля нашего зрения. Но даже если эти массы и кажутся лишь рецептивными, пассивными зрителями, незначительными и ни на что не влияющими, все же они находятся в орбите этого великого движения, этого значительного факта; они не только ведомы и управляемые предводителями, но и представляемы ими. И нам придется попытаться понять мнения и воззрения этих ведущих, их тенденции, образ действий и цели, как бы проникнуть в их душу, чтобы, исходя из воли и страстей всех участников, познать засвидетельствованный в материалах факт как по его прагматическому ходу развития и условиям, в которых он имел место, так и процесс его становления. Это и есть психологическая интерпретация.

4. Тем самым мы еще не замкнули круг понимания. Мы видим, что здесь все еще остается нечто не подпадающее ни под одну из трех рубрик, нечто совершенно по-особому значительное, всегда, хотя и не заметно, движущее весь процесс и проявляющееся часто внезапным извержением мощной энергии. Над всеми интересами, талантами и личными взглядами индивидов стоит что-то общее, мощно проявляющееся в каждом, господствующее над всем. Условия только тогда становятся оживленными и концентрируются под воздействием этого фактора, весь прагматический ход событий оказывается под его властью и направляется им. Именно в этих общностях нравственное бытие людей находит свое выражение, свое единение и силу; именно эти великие нравственные силы, живущие в чувствах и совести любого человека, приподнимают его над самим собой и его малым Я, чтобы он, будучи современником великих свершений этих общностей, нашел в них более чем простое индивидуальное и эфемерное бытие. Это то, что подразумевается под выражением интерпретация по нравственным силам.

Здесь, во вступлении, придется сделать еще одно замечание. Бёмер, как мы уже упоминали, придерживал-

ся мнения, что единственно надежным методом историка является простое упорядочение материалов, которые он разыскал. И в филологических кругах часто высказывалось мнение, что любой шаг дальше есть произвол и фантазия.

Но как раз произвол и фантазия тотчас принимается за создание картины прошлого из того, что из прошлых вещей имеется, все равно, много или мало, и сказание показывает, как потребность в своей истории вынуждена поступать так же, как и дилетантство наших дней. Дело заключается как раз в том, чтобы найти нормы, которые бы поставили на место произвола и фантазии прагматический метод, основанный на твердых критериях, дающих достоверные результаты.

Ибо — и это второе — величайшей опасностью и трудностью для исторического восприятия всегда является то, что мы непроизвольно подгоняем взгляды и условия прошлого к нашему собственному настоящему и передаем таким образом наше понимание прошлого, например, Шекспир в «Троиле и Крессиде» и в «Сне в летнюю ночь» представил греческий героический народ по образу и подобию придворных дам и кавалеров своего времени, как об этом говорилось в главе о критике при определении верного. Только путем тщательной методической интерпретации возможно получить надежные и достоверные результаты, которые откорректируют наши представления о прошлом и дадут нам возможность измерять его по его собственному масштабу.

## а) Прагматическая интерпретация

### § 39

Критическое упорядочение материала расставило осатки и предания, интересующие нас в нашем конкретном исследовании, так, как они связаны и соотнесены друг с другом во времени, в пространстве, по своему виду и т. д.

И вот мы приступаем к прагматической интерпретации. Ее метод состоит в том, что она, распознав в своих материалах следы внутренних связей и совместимостей, дополняет их по этим следам, продолжая намеченные в них мотивы, переводя их из абстрактного в конкретное.

Этот метод подобен тому, как скульптор, реставрируя искаленную статую, прагматически интерпретирует то, что еще имеется в наличии: предплечье, направление бедер и т. д. По мускулам спины, живота, по аналогии с живым человеческим телом он узнает, что отсутствующая рука была приподнята именно так, обломанная голова повернута в сторону именно таким образом.

Если наш материал говорит, что битва произошла в таком-то месте, что город был основан на таком-то месте, то эти суммарные обозначения содержат массу конкретных моментов, которые относятся к названному факту. Битве предшествовали передвижения армий с обеих сторон, стратегические рокировки в направлении места сражения, где затем и было принято тактическое решение, марш войск к полю сражения, условия обеспечения продовольствием людей и фуражом лошадей, целый обоз повозок, военных орудий, соответственно пушек и т. д. При одном слове «битва» перед мысленным взором знатока возникает масса конкретных деталей. Александр, как показывает наш материал, после победы у Граника распустил свой флот; следовательно, он хотел на суше одержать победу над персидской морской державой, господствующей на море у него в тылу. Следующей битвой, в которой он участвовал, была битва при Иссе, следовательно, он пытался разбить врага как можно ближе к финикийскому побережью. Известное нам расстояние до Иссских перевалов требовало столько-то дневных переходов; значит, ему надо было вычислить, сможет ли он удержать в повиновении эллинов на то время, пока его не будет в Афинах и Элладе, которые были склонны к отпадению от него. Затем он с огромным напряжением сил захватил Тир;

тем самым был уничтожен персидский флот. Можно понять, почему он поставил все на карту, чтобы покорить этот город, ибо теперь ему досталось без дальнейшей борьбы все остальное побережье; он основал Александрию, ибо само место, ближайшее со стороны Красного моря, где можно было основать гавань, показывает, что он тем самым одновременно хотел вовлечь в свою орбиту морскую торговлю с Аравией и Индией и иметь в своих руках все ближневосточное побережье, бывшее до сих пор персидским. Только простое перечисление друг за другом этих фактов, каковое дала нам критика, ничего нам не говорило, но само собой разумеется, оно включало имплицитно прагматическую связь. Ее я ищу и нахожу путем интерпретации, конкретно воспринимая в качестве подлинного хода событий моменты, заключающиеся в этой внешней последовательности. Имеются ли в наших источниках эта каузальная связь, эти прагматические мотивы или нет, они вытекают из природы вещей.

В источниках по нашей истории XV в. упоминаются иногда рейхстаги (сеймы) и отдельные переговоры на них, но ни один из этих источников не видит в этом факте никакой исторической связи с государственным устройством империи, с непрерывностью попыток реформы империи, которая, очевидно, была все же весьма настоятельной, раз попытки ее повторялись в течение почти ста лет. Если хотят понять историю этой реформы империи и для этой цели выписали для себя отдельные заметки из источников, сопоставив их с соответствующими проектами и архивными документами, критически упорядочив их, то это будет только голая схема, имеющая большие пробелы и неясную последовательность, и нужно будет попытаться углубить и оживить ее путем интерпретации. Почему императоры так упорно сопротивлялись установлению постоянного имперского верховного суда вместо имперского придворного совета?<sup>203</sup> Почему сословия дали согласие на всеобщий пфенниг, а именно чтобы его собирали не по территориальному принципу, а по приходам? И почему князья, прежде

всего курфюрсты, сами настаивали на том, чтобы города получили в рейхстаге место и голос? Эти и другие вопросы, поставить которые побуждает нас упорядоченный материал, составляют моменты прагматической интерпретации, результатом которой будет понимание, постижение внутренней логики движения реформ, о котором лучшие источники эпохи не дают ни малейшего представления.

Ясно, если материал позволяет нам до некоторой степени обозреть внешний ход событий целиком, то можно обойтись простым демонстративным методом. При известной хронологической последовательности произведений Лютера не так трудно доказать прагматический ход формирования его взглядов, хотя тем самым еще нельзя объяснить мотивы и поводы отдельных духовных перемен. Если каждодневно меняющаяся история поставляет нам все новые материалы, то публицистическая дискуссия по большей части стремится к тому, чтобы интерпретировать новое согласно его прагматической внутренней связи, хотя довольно часто тенденциозно. Гвиччардини<sup>204</sup> в своей истории Флоренции прибегает в этом случае к форме дискурсов, которые он особо выстраивает: в них он интерпретирует значительные моменты по их прагматической связи; с огромным талантом, свойственным ему, он следует этой публицистической потребности, и его виртуозное мастерство заключается в том, чтобы в ходе дискурса проанализировать и объяснить отдельные моменты происшествия. Простое и убедительное обнаружение связи есть ее доказательство; ибо важно лишь увидеть и высказать то, что как бы на самом деле и само собой рождается из материала. Здесь главное — иметь пристальный взгляд и отточенное на практике суждение. Ибо вещи всегда говорят ровно столько, сколько сумели у них выпросить.

Но не всегда у нас так легко и хорошо, как в только что приведенных случаях, когда относительно богатый материал дает нам возможность провести интерпретацию при помощи простой демонстрации. Если мы хотим исследовать историю государственного устройства

Англии за последние три столетия, то мы не раз натолкнемся на данные, что в Англии и Уэльсе в 1684 г. имелось 160 000 мелких земельных собственников, а в начале XIX в. их уже не было ни одного, а лишь владельцы крупных поместий и временные арендаторы. Английские авторы избегают говорить об этом факте, какой, однако, свидетельствует ни о чем ином, как о гибели крестьянского сословия. Как нам объяснить прагматическую связь этого факта? Или нам придется отказаться от объяснения, так как отсутствуют материалы об этих переменах, которые само собой совершались в полной тишине при полной законной свободе?

Допустим, что действительно не было материалов — что вызывает сильные сомнения, — то нам следовало бы посмотреть, не можем ли мы как-либо иначе выйти из этого положения. Если мы присмотримся повнимательнее, то наша интерпретация все же не свелась к тому, что мы как бы автоматически извлекли ее из данных материалов. То, что мы нашли в материалах как соответствующее положению дела, обозначает второй фактор, являющийся одним из составляющих нашего метода. То, что заложено в природе вещей, мы черпаем из нашего иного опыта и знания аналогичных отношений, как ваятель, который, реставрирует древний торс, имеет направляющую аналогию в сложении человеческого тела. Аналогии упадка крестьянского сословия в Англии нам, на континенте, хорошо знакомы. В Мекленбурге закрепление крестьян за рыцарскими поместьями привело к исчезновению крестьянского сословия, там остались лишь поденщики и арендаторы; в Мекленбурге, Бранденбурге, Померании, частично в Саксонии, помещичий крестьянин, хотя и выкуплен, но помещики так увеличили его повинности, что его свобода была низведена до наследственной, даже крепостной зависимости, и т. д. И на основании этих аналогий мы можем уяснить себе то, что происходило в Англии. Еще законы Генриха VII повелевали сохранять нетронутыми *firma et tenementa* крестьян, но по мере того, как в сословной системе Англии все бóльшую

власть получали семейства nobility и gentry, они расширяли свои поместья, а после «славной» революции 1689 г. они стали всемогущественными, от них зависели управительницы королевских прерогатив, королевская корона; они предоставляли крестьянам, а также рабочим в городах, простолюдинам полную свободу, но, выкупив крестьянина, они превратили его поле в помещичье поле, разбивали парки и охотничьи угодья, создавая мелких арендаторов, а крестьянину оставалось только идти в город на фабрики или эмигрировать в колонии. И, поняв таким образом аграрные отношения, мы увидим в истинном свете историю государственного устройства и хваленое парламентарское правление Англии.

В этом случае компаративный метод, с помощью которого мы уясняем данное во фрагментах неизвестное, лежит как на ладони, так что простое изложение аналогий достаточно для доказательства верности этого тождества. Но как же быть нам, если мы для этого X не найдем аналогии в нашем опыте?

Возьмем, например, недавно обнаруженный фрагмент Аристотеля «Ἀθηναίων πολιτεία». <sup>205</sup> В нем сообщается, в частности, что до определенного времени вместо более древних царей, власть которых передавалась по наследству, стали назначать архонта на десять лет; затем вместо него назначали девять архонтов: четверых от евпатридов, трех от демиургов и двух от ἄλοκοι (это слово употребляется вместо γεωμόροι; <sup>206</sup> а затем следующий фрагмент говорит, что Клисфен учредил вместо старых четырех фил десять и вместо 48 навкратий сто дем. Как можно объяснить прагматическую связь этих больших изменений строя, их мотивы и цель? Аналогии для этого у нас нет, но, может быть, надо вспомнить о Риме, где через два десятка лет стали избирать не только консулов на двухлетний срок, но и двух народных трибунов, через несколько десятилетий децемвиров, которые должны были составлять законы и были верховными правителями, после них, причудливо чередуя, избирали то двух консулов, то шесть tribuni



milium<sup>207</sup> с консульскими полномочиями, с другой стороны, в Риме сохранялся старый куриатский комиций патрициев наряду с центуриатским всего народа, но все большее значение приобретали трибутские комиции, не созываемые ни по родам, ни по цензу, а образованные из граждан, живущих не в своих домах в городах и сельской местности, но имеющих собственность. Как видим, преобразования в Афинах и Риме не параллельные явления, аналогия с римскими реформами не объясняет аттические. Но сравнение тех и других дает нам ряд импульсов, которые способствуют интерпретации аттических отношений.

Исследование народных сказаний, использовавшее компаративный метод, было более удачным. Когда Ф. А. Вольф путем диакритического метода доказал, что «Илиада», так же как и «Одиссея», не имеют единой композиции, не являются изливаниями поэтического гения, а составлены из различных песен, тогда весь мир был изумлен, и большинство выражали сомнения. Даже те, кто приняли вывод Вольфа, не находили объяснения этому уникальному явлению. Затем Лахман доказал тот же факт на примере «Песни о Нибелунгах». Вскоре тот же принцип был выявлен в великих народных сказаниях индийцев и персов. Как бы ни противоречили эти факты всем нашим представлениям о поэзии, а особенно об изумительной красоте тех великих поэм, постепенно приняли этот вывод, и прагматически интерпретируя многие подобные X, путем компаративного метода сделали заключение, что в поэтическом творчестве можно установить процессы, возможные только на определенной ступени развития народов, которую мы уже миновали, той ступени, когда сказания и мифы этих народов, их священная и народная история полностью срослись между собой, и сумма этих взглядов и историй, известная всякому и как бы никогда не исчезающая, передается из уст в уста, живет в отдельных песнях, например «Wie Zorn sich straft» или «Wie Liebe mit Leid sich belohnt», — до тех пор, пока какой-нибудь поэт на свой манер не сложит многие пре-

красные песни в малое целое! Когда госпожа Робинсон (Тальви) издала в немецком переводе сербские народные песни, когда обнаружили в «Эдде», вообще в скандинавской поэзии, отдельные сюжеты из Нибелунгов, например о Зигфриде и Брунхильде, то получили доказательство того, что компаративным путем правильно интерпретировали эти факты, правильно объяснили возникновение народных саг.

Тем же компаративным методом были освоены мифологемы индогерманских народов.

Но как же быть, если и этого подспорья нет? Если мы сталкиваемся с совершенно единичными явлениями, которые тоже желательно понять?

Вот перед нами пирамиды, малые и большие, построенные со строжайшим соблюдением правильности форм, сторон и углов, ориентированные с исключительной точностью по сторонам света. В какой прагматической связи они находятся с потребностями, воззрениями народа, который их построил? Являются ли они, как полагал Форхгаммер, цистернами, или это грандиозные гробницы? Или они ориентир для кочующих в пустыне? Почему они встречаются только на поле Мертвых на Западе от Мемфиса?

Интерпретация здесь попадает в безвыходное положение; ей не остается ничего другого, как прибегнуть к гипотезам, т. е. она предполагает связь, которая сама по себе возможна, и пытается подтвердить самоочевидностью вопрос, есть ли эта связь в общем в имеющемся еще у нас в наличии материале. Лишь со времени раскопок Шлимана и великих открытий в Ниневии и Вавилоне мы признали верным так часто высмеиваемое предание греков о финикийских влияниях и иммиграции. В самом начале этих открытий Иоганн Брандис написал сочинение о семи вратах Фив и их удивительных именах; для объяснения он выдвинул гипотезу, что эти семь врат и их названия происходят от финикийцев, что они повторяли то же число «семь», которое применялось для обозначения городских ворот Вавилона и его городских стен и обозначало определенное располо-

жение звезд на небосклоне, например расположение звезд в момент основания города и т. д., и что семь цветов, в которые были окрашены городские ворота, обозначали определенную констелляцию, и что семь имен богов служили той же цели. И, пожалуй, ныне уже никто не сомневается, что его гипотеза попала в самое яблочко (Hermes, 2, 1867).

Или другой пример, прагматическая интерпретация войны 1805 г. В 1803 г. Наполеон начал проводить по всему северному побережью Франции большие фортификационные работы, строить во всех своих и испанских гаванях флот. В начале 1805 г. все было готово к вторжению; в Англии волнения достигли своего апогея; французский флот, чтобы объединиться, проходит под парусами, частично в направлении Вест-Индии, частично вдоль испанских берегов; в конце июля не хватает только еще одной эскадры. От нее, казалось, зависит судьба мира. Назначенный день ее выхода истекает, но она не приходит. А через три дня вся армия выступает из Булони и походным маршем движется в сторону Рейна и Австрии. Сам Наполеон сделал все, чтобы заставить свое окружение и весь мир поверить, что он в действительности хотел высадиться в Англии; в его политической корреспонденции имеются доказательства этого. И нужно признать, лишь доказательства того, что он желал заставить весь мир поверить, что его план был против Англии. Критическое упорядочение материала ясно показывает, что такого намерения у него не было, с самого начала не было. Но чего же он тогда хотел? Это только гипотеза, но такая, из которой объясняется все, что с самого начала целью его кампании была Австрия, что он выдвигал свой ложный план только потому, что он хотел держать в сборе в лагерях на побережье всю свою армию в 150 000 человек, превосходно выученную длительной и суровой муштрой, чтобы нанести сокрушительный удар двум императорам.

Как видим, и эта гипотеза относится к компаративному методу, только несколько скрытого типа. Из общих наших представлений о политике Наполеона, его искусстве ведения войны, его образе действий вытекает

некая вероятность отдельных сомнительных случаев. Наполеон вряд ли бы сделал такую ошибку, как внезапное изменение объекта своих военных действий, и блестящий успех, который принесла ему война 1805 г., подтверждает нашу гипотезу о том, что эта война с самого начала, с момента подготовительных работ не могла иметь целью высадку в Англии.

## б) Интерпретация условий § 40

В прагматизме фактов заключается еще один момент.

В § 38 «Очерка» указаны четыре формы интерпретации процесса ходьбы. «Точно так же, как при ходьбе объединяются: а) механизм шагающих членов, б) напряжение мускулов, обусловленное ровностью или неровностью, гладкостью, твердостью и т. д. почвы, в) воля, движущая тело, г) цель идущего, ради которой он идет,— так и интерпретация осуществляется на основе этих четырех моментов».

Как при ходьбе напряжение мускулов направлено на почву, по которой идут, поднимаются, ползут, смело или осторожно шагают, так и всякое деяние является действием в данных условиях и обстоятельствах, благоприятных или неблагоприятных, и по ним — в том числе и по ним — определяется то, что свершено. Итак, они в том, что сделано, свершено, присутствуют повсюду.

Если мы собрали наш материал, критически очистив и упорядочив в нем то, что из прошлых фактов имеется налицо хотя бы во фрагментах и преданиях, то теперь мы говорим: условия и обстоятельства, при которых этот факт, этот процесс в свое время имел место, насколько у нас есть материала, присутствует в нем, и мы получим существенную частичку некогда состоявшегося процесса, если и насколько мы сможем еще доказать, исходя из этого материала, те условия, которые детерминировали этот процесс или были одним из факторов его детерминации.

Кто видел так называемого Боргезиева бойца, тому безусловно бросилась в глаза некрасивая сама по себе косая линия, образуемая головой, спиной и ногой фигуры. Она была бы странной и немислимой, если бы ее нельзя было объяснить внешним поводом, ибо эта косая линия указывает на треугольное поле фронтона, в котором только благодаря этой линии статуя соответствовала данному пространству. Пространственное условие, диктуемое полем фронтона, для которого скульптор предназначал эту статую, повторяемая в скульптуре, идеально в ней присутствуя. Оно одновременно указывает на другие фигуры, расположенные, очевидно, в этом же пространстве, например «умирающий боец»<sup>208</sup> и группа Аррии и Пета<sup>209</sup> и т. д.

Если рассмотреть это понятие «интерпретация условий» во всем его объеме, то сразу же представляешь, какую обширную область охватывает эта интерпретация. Чем четче прагматическая интерпретация очертила и объяснила процессы, внутреннюю связь, тем отчетливее мы ощущаем, как они всегда и везде были обусловлены и определены этим понятием «Здесь и Теперь», т. е. факторами, средствами. По мере того, как мы постепенно овладевали историческим мышлением, иными словами, как пробуждалось наше чувство реальности, начинавшее принимать участие в нашем исследовании, нам все больше хотелось понять эти многие моменты даже там, где источники немногословны или совсем безмолвствуют.

Сначала поговорим о *пространстве*. Это прежде всего то географическое место, к которому относится какой-либо процесс и в контекст которого он укладывается.

География является не только вспомогательной исторической дисциплиной. Объявляя своим предметом поверхность земли и совокупность ее, она объединяет в себе огромное число космических, физических, естественно-исторических связей. Но все, что исследует эта дисциплина, на каждом шагу вторгается в историческую жизнь. Жизнь и сущность любого государства, любого народа зависит до определенной степени от геогра-

фических факторов его территории. Полководец мысленно проецирует на большие географические пространства театра военных действий свои стратегические операции; и тактические передвижения перед решающей битвой обусловлены малыми особенностями поля битвы: там — ручей, здесь — холм, образуемое оврагом болото перед деревней и т. д. Система укреплений, например, Франции, почти как и сеть военных колоний древней Римской империи определена географическими условиями. Если нам прагматическая интерпретация объяснила тот факт, что в средние века Гамбург, Бремен были значительными торговыми центрами, расположенными так далеко от моря, чтобы тем самым по возможности приблизить вывоз товаров из лежащих далеко от моря земель, но в то же время и не слишком далеко, то география дает нам другие разъяснения, что, во-первых, прилив доходит до Гамбурга и Бремена с довольно большой силой и может на такие расстояния принести на своих волнах морские суда против течения; что, во-вторых, в верховьях местами мелководных Эльбы и Везера плоскодонные речные суда не могли рисковать спускаться вниз по течению до того места, где уже действует прилив; следовательно, в этом месте и должен быть естественный перевалочный пункт для товаров, доставляемых речным путем и заморских товаров.

Разумеется, что касается земледелия и его продукции интерпретация географических условий охватывает также климатические и почвенные условия, все те мощные естественные факторы, которые определяют материальную и духовную жизнь народов. Обратимся к природе страны Нила, сложившейся в стародавние времена, как бы неподвижно застывшей, где нет леса, где не идут дожди, только узкая вытянутая полоска долины реки с ее регулярными наводнениями, где пылающее солнце на безоблачном всегда небе делает тень величайшим блаженством, где падаль, моментально разлагаясь, заразила бы все, если бы не соблюдали величайшую и строжайшую чистоту — всеми этими естественными условиями Египта объясняются те грандиозные тенистые храмы, те

гробницы глубоко в скалах, то искусство бальзамирования, даже трупов животных и т. д.

Нет необходимости перечислять бесконечное многообразие условий, встречающихся здесь. Как видим, речь идет не только о топографической наглядности, локальном колорите и о местном характере исторической картины; и если в XV—XVI вв. авторы исторических описаний, особенно риторических, подражая «Запискам» Цезаря, любили примешивать географию, то они не понимали, что Цезарь приводил подобные описания — и ему было необходимо это делать — не для украшения, а просто в практических целях для интерпретации описываемых им событий.

Кроме географических, пространственных условий имеются условия *времени*, которые вытекают из того. Теперь, в котором имел место исторический процесс, т. е. из его бывшего некогда настоящего. Сначала тем, что данный процесс, данный факт возник именно в таком виде, а затем стал одним из одновременных событий, которые со всех сторон своим движением воздействовали на этот процесс, на этот факт.

Имеющиеся у нас для исследуемого нами факта материалы будут так или иначе обязательно отражать те состояния, в которые он переходил, и даже если они не дают непосредственных доказательств такого рода, то направление, вид, энергия наступающего нового высветят те моменты, которые так идеально содержатся в *нем*. Мы мало знаем о положении Англии эпохи нормандского завоевания, но каким же слабым и бессильным, по всей вероятности, было это политическое и социальное образование в конце англосаксонского периода, если герцог норманнов с несколькими тысячами авантюристов смог покорить и поработать густонаселенную и богатую страну и основать свое военное господство на долгие годы.

Факт, который на основе наших верифицированных материалов мы хотим реконструировать, по отношению к ситуации, в которую он вступает, является ее противо-

положностью, ее критикой и ее судом. К большому ряду всего до сих пор пережитого и оформленного — ибо это и есть сложившееся состояние — присоединяется этот новый факт, чтобы, подчиняя его себе, то усиливая, то понижая, изменить его и представить и определить его в таком измененном виде. В таких четких изменениях, в напряженности и неустойчивости, в столкновениях новых форм, их энергии, в том, как они стремятся утвердить себя, возникают возможности, для интерпретации этого ряда временных факторов, которые застало новое в том социальном порядке, с которым оно должно было считаться. В тех мерах (аграрные законы, передача судов в ведение всадников и т. д.), которые Тиберий и Гай Гракхи считали необходимыми для проведения своих реформ, можно увидеть целый ряд пришедших в упадок, пагубных социальных порядков Римской республики, с которыми Гракхи хотели покончить, а именно полное разложение старого крестьянского сословия, латифундии и пастбища, основанные на рабском труде, деградация судебной системы в руках оптиматов и т. д., исследователь поступил бы опрометчиво, если бы захотел проследить и рассказать о каждом из этих аспектов бесхозяйственности в отдельности, ему следовало бы со знанием дела, совершенно свободно прокомментировать каждую меру, предлагаемую реформами Гракхов, выявив ее повод, тенденцию и форму, он мог бы из имеющегося у него материала набросать очерки тех социальных порядков, которые хотели реформировать Гракхи; и, установив таким образом основные характерные черты, он бы имел отдельные заметки об исчезновении крестьянских усадеб, падении сельского благосостояния и аграрного производства, господстве ростовщического капитала, обескровлении провинции, деморализации и люмпенизации массы народа, о вопиющем противоречии между свободами граждан и государственными правами, об их глубоком упадке и произволе властей — такие заметки стали бы для нас свидетельствами, как бы этапами движения к тому состоянию общества, каковое во времена Гракхов находилось в стадии разложения.



Конечно, там, где подтверждающих заметок нет, можно будет на основании зарождающегося нового сделать достоверное обратное заключение о наличии таких обуславливающих факторов. Мы знаем мало или вообще ничего не знаем о социальных порядках иудейского и эллинистического мира приблизительно времени рождения Христа; но учения, тенденции зарождающегося христианства показывают в тогдашних отношениях моменты, благодаря которым стали возможными быстрые успехи нового. Интерпретация сможет понять нравственные и религиозные условия этой для нас неясной эпохи.

Естественно, в тогдашнем реальном мире имелись и уже давно вынашивались такие социальные условия. В них, в их размеренной, инертной повседневности из живших тогда никто не мог узреть, что такая жизнь не могла так дальше продолжаться, а она еще продолжалась, когда новое в ней уже было и начало действовать. Только при историческом рассмотрении, только с точки зрения нового факта, который уже наступил и начал действовать, эти вновь возникшие отношения, примененные для интерпретации этого факта, получают свою логику и значение. Детали таких состояний являются не сами по себе условиями, которые приводят и должны привести к таким преобразованиям, ибо иначе нужны были бы *только* эти условия, чтобы вызвать такое последствие; а новое становится возможным тогда, когда такие условия есть, и возникшее новое показывает исследователю, что они имелись. С точки зрения этого возникшего нового ему представляются эти состояния как предпосылки и условия.

Только обратной стороной того же фактора является одновременность многих действий. Одной из славных заслуг астрономии является то, что Леверрье<sup>210</sup> в 1845 г. на основании наблюдаемых отклонений в траектории Урана узнал наличие гипотетической планеты и вычислил ее место на звездном небе, затем в сентябре 1846 г. Галле<sup>211</sup> в Берлине нашел ее на вычисленном месте. В историческом мире, естественно, все протекает

под воздействием многих одновременных факторов, и крупные политики, церковные деятели, предприниматели и финансисты из практики очень хорошо знают, что часто очень далекие моменты оказывают на дела негативное влияние и умеют вычислить его причину. Как только торговля с Индией ушла со Средиземного моря, так как был открыт путь в Индию вокруг Африки, Фуггеры поспешили перенести из Аугсбурга в Брюгге свою банковскую контору, которая была основана на путях между Венецией и лежащими на Балтийском и Северном морях ганзейскими городами, и торговля, ставшая теперь океанской, была вынуждена перенести свой денежный рынок и главный перевалочный пункт товаров на Шельду и в устье Рейна. Нельзя было бы понять политику Фридриха Великого, которая привела к Первой Силезской войне, не учитывая того обстоятельства, что осенью 1739 г. Англия объявила войну Испании из-за английской торговли и контрабанды с испанской Америкой и что Франция вследствие династического договора Бурбонов намеревалась вступить в войну на стороне Испании; одновременность этих событий имела для Фридриха II значение, поскольку он и начал войну только в расчете на конфликт между Францией и Англией и следил внимательно за развитием противоборства этих двух крупнейших держав в Европе.

Именно в таких ситуациях интерпретация очень часто в состоянии найти намного больше, чем могут дать источники, особенно средневековые, да и вплоть до XVIII в.; они, как правило, учитывают лишь то, что ближе к ним, или свое местное. А наши немецкие историки по отдельным вопросам или истории отдельных земель слишком упорно придерживаются этой традиции, характеризующейся узостью кругозора, полагая, что нельзя найти уже ничего, кроме того, что есть в источниках. Написанная блестяще английская история Макколея и в этом отношении прямо-таки бедна; она рассказывает свою историю так, словно Англия в целом свете была одна-одинешенька, и английская история была монологом, разве только что время от времени случа-

лись в ней переговоры и войны с Голландией и Францией. И вообще, англичане продолжают воспринимать свою историю как островитяне.

К этим пространственным и временным условиям мы можем добавить третий разряд, так сказать, вспомогательных условий. Такие условия придают плоской картине предания полноту и глубину, как бы объемность.

Здесь речь пойдет об исключительно широком понятии *средств*, как материальных, так и моральных, благодаря которым констатируемый факт стал возможным.

Мы еще раз коснемся того, о чем говорили в связи с прагматической интерпретацией, когда, исследуя факты, исходили из их причинно-следственной связи, развитие которой хотели реконструировать. Здесь же, отталкиваясь от того, что еще осталось от факта, мы попытаемся реконструировать те средства, которые были нужны, чтобы установить эту взаимосвязь. Там мы говорим: для морского похода в Сицилию афинянам нужны были корабли, деньги, войска и т. д.; здесь же мы говорим: тот факт, что поход состоялся, показывает, что афиняне смогли построить столько-то кораблей, собрать столько-то денег и войска и т. д. Условия этого морского похода дают нам представления о средствах, каковыми мог располагать город.

Интерпретация средств необыкновенно плодотворна, хотя ее повсеместно игнорируют; при помощи ее можно получить и другие весьма поучительные результаты. Стоит лишь уяснить, что почти все, что относится к нашей сфере, требует для своей реализации либо материалов, либо инструментов, либо того и другого вместе, таким образом мы поймем, какой убедительностью обладает этот подраздел интерпретации.

Первым, насколько я знаю, вступил на этот путь Лесинг, когда он в «Антикварных письмах» исследовал как подлинный знаток, каким образом греки изготовляли резные камни с такой микроскопической точностью, какие инструменты у них были, чтобы врезать рисунок в твердый драгоценный камень, каким способом

они закаливали их, как ими пользовались, просверливая то плоские, то глубокие линии и поверхности.

Я думаю, что уже понятно, о каких вопросах пойдет речь. Хотя в собраниях доисторических древностей слегка касаются этих вопросов, говоря о всякой всячине, но стоит попробовать дать им технологическую интерпретацию, и результаты приведут нас в изумление. Если египтяне могли выдалбливать и полировать такой твердый сиенит — что сегодня делают паровые машины, — то у них, очевидно, были очень твердые стальные инструменты, какой-нибудь наждак, который они умели пульверизировать. Если они умели отделять огромные монолиты из скалы, конструировать повозки для их транспортировки, спускать их на эти повозки, затем сгружать на землю и устанавливать на цоколь, то им требовались знания механики и вычисления, средства, которых, к примеру, не было в Риме конца XV в. Ибо попытка вновь установить один из лежавших на земле обелисков императорской эпохи не удалась, упавший монолит разбился на три куска. Любая краска, любой амулет, стеклянный сплав, любая ткань на их мумиях является тем фактом, на основании которого путем технической интерпретации можно получить много интересных данных о культуре народа. И если в их гробницах можно найти большое количество дерева, но не сикоморы — единственная древесина, которая есть в Египте, где в окружающих горах нет леса и нет возможности доставлять его по воде, минуя пороги, — то у нас убедительное доказательство сношений с Кипром или с гаванями южнее Ливана.

Или другой пример. Способ ведения войны у древних обусловлен оружием. Из лука попадают в цель на расстоянии ста шагов, копьем — на расстоянии максимум 25 шагов. Таким образом, вся тактика рассчитана на ближний бой; и, конечно, чтобы линия фронта была растянута, как можно меньше. В походах Александра против балканских народов впервые упоминаются полевые орудия, т. е. баллисты и катапульты, радиус действия которых приблизительно 300 шагов. Значение

этих обстоятельств для античного военного искусства очевидно. Конница классической античности не знала ни подковы, ни седла, ни стремена; откуда они появились в раннем средневековье, я не знаю; но значение конницы с появлением подковы и стремена стало иным.

К сфере материальных средств относится все, что служит пропитанию. Минимум продуктов питания в зависимости от климатических условий стран есть довольно постоянный фактор, из которого вытекает большее число вариантов и последствий. Если войско Ксеркса, о численности которого приводят чудовищные цифры, смогло себя прокормить в период от прорыва через Фермопилы до битвы при Саламине, да к тому же еще половина войска могла продержаться в Беотии до следующего лета, то, очевидно, это было возможно благодаря большим поставкам по морю, о которых мы вообще ничего не знаем. Или другой пример. История Тридцатилетней войны, что касается хода военного и политического развития, нам довольно ясна, но необходимо рассматривать ее с точки зрения материальных средств, которые она поглощала и губила, при этом учитывать и такой аспект, как размещение солдат на постой, бывшее наихудшим бедствием, чтобы понять, как чудовищно разорена и опустошена была за время войны богатая Германия на огромных пространствах.

Станет понятным, как в такие моменты можно объяснить определенные особенности государственного устройства. Огромные пространства и бездорожье империи Карла Великого привели к тому, что чиновничеству предоставляли такую самостоятельность, которую могла держать в узде только такая сильная личность, как Карл. Слабость преемников великого императора объясняет быструю деградацию чиновничества, духовного и светского, выразившуюся в бесконечных иммунитетах и феодальных суверенитетах. Именно тогда наряду с прежней работой, выполняемой на дому свободными крестьянами, как то: прядение, ткачество, кузнечные и кожевенные работы, — начала складываться

своеобразная система ремесленнической деятельности уже несвободных в монастырях и при дворах королей и императоров; из этих несвободных ремесленников в течение двух столетий образовались сначала несвободные общины цехового ремесла, которые затем завоевали себе благодаря городскому и торговому праву право на свободную городскую жизнь.

Я удовлетворюсь этими замечаниями. Но хорошо бы, если бы в любом историческом исследовании стали интересоваться вопросом о средствах и путях реализации. Пожалуй, можно по-прежнему объяснять военные и политические успехи Фридриха Великого в обеих Силезских войнах его гением, но если изучить внутреннюю политику его отца, его финансовую систему, его организацию армии и таким образом сравнить состояние армий и административную систему других государств, то начинаешь понимать то, что произошло.

Наряду с материальными средствами мы должны назвать *моральные*. В некотором смысле к ним относится то, что говорилось о социальных отношениях; но эти отношения, если их используют исходя из морального содержания, как средство, как эффективное условие получают иное значение, как бы иной знаменатель, перестают быть только простой характеристикой социального положения. Та же ненависть третьего сословия во Франции к привилегированным, возвращенная их беззащитностью как господствующего класса, с созывом Национального собрания вместо Генеральных штатов тотчас превратилась в средство свержения дворянства, церкви и трона.

Но следует говорить не только о настроениях, страстях и вожделениях, которые были выпестованы обуславливающими их социальными отношениями. Чудовищная энергия, мощный удар, при помощи которых Наполеон в сражениях повергал своего противника, показывают не только его личный талант, но и боеспособность его армии, которая ни разу не подводила его, а также его совершенно железную военную организацию, которая любой отдельный отряд его армии превра-

щала в готовое орудие его духа и полководческого гения. В легионах Цезаря можно видеть подобное орудие, но несколько иного типа: боевой дух его армии составляла гордость быть солдатом и презрение к квиристам.

Исторический процесс нельзя было бы с достаточной достоверностью объяснить без такого углубленного постижения и проникновения в сферу воли, страсти, понимания тех, с кем нужно вместе действовать, на кого нужно оказывать воздействие. Полководец, государственный деятель, художник, всякий, кому надо воздействовать на других и многих, и кто должен в своих действиях рассчитывать на других, соизмеряет свои поступки и свой план, исходя из их прозорливости и их страсти. Он определен ими постольку, поскольку он желает определять их; и там, где наш материал позволяет нам увидеть или предположить действия или участие многих, наличествовал момент этой обусловленности, и его надо искать путем интерпретации. Если Иаков II хотел вновь обратить в католичество английский народ, ему надо было бы сначала удостовериться, что он нашел условие для этого в душах людей, и то, что он начал действовать без этой уверенности, поступая совершенно как доктринер, привело к его свержению. Точно так же по-доктринерски поступал Перикл, когда он начал войну с пелопоннесцами, будучи убежден, что они по-прежнему застряли в натуральном хозяйстве, в то время, как Афины со своей несметной казной были крупнейшей денежной державой Греции; и будучи уверен в том, что если удержать Афины и гавани, и тем самым море и союзников, то можно пожертвовать равнинными землями, отдав их на разорение. Опустошение равнинных земель вынудило крестьян податься в города, где они, праздно шатаясь, превращались в люмпенов; из комедий Аристофана видно, что гибель старого крестьянского сословия, т. е. гоплитов страны, стало началом гибели всего Афинского государства. С этой точки зрения, поведение аттической аристократии все же имеет иное значение, чем полагает Гроте, который в свое время принадлежал к радикальной партии в Англии.

Не спроецированы ли и любое художественное произведение, любое государственное устройство, любой уголовный закон на интеллектуальные и моральные условия, которые они хотят увидеть и одновременно определить в настроениях, вкусах, благоразумии многих? Когда римская церковь объявляет новых святых, новые догмы, новые «лета отпущения грехов», разве во всем этом нельзя распознать ту меру понимания и самоуважения, по которой она оценивает свою паству?

Здесь мы подходим к пункту, который доставляет нам значительные трудности. Если во времена Григория VII церковь ввела целибат, следовательно, она считала, что ее паства: клир и миряне — сочтут такую чрезвычайную меру необходимой и богоугодной; и если теперь наша интерпретация на основании этой меры делает вывод о настроениях и мнениях тогдашнего христианского мира, то исторические предания покажут, что, напротив, эта мера наткнулась на сильнейшее сопротивление. Или, если мы из простых, благочестивых картин Перуджино и юного Рафаэля, из строгого, идеального стиля великих опер Глюка сделаем вывод о вкусах и настроениях публики, для которой художники рисовали, а композитор сочинял музыку, то мы приходим к заведомо неверному выводу: в роскошной и сладострастной Италии в пору Александра VI, того самого Борджиа, процветало все, что угодно, только не благочестие, которое показывают картины Перуджино, а публикой Глюка был развращенный двор последних лет Людовика XV и первых лет Людовика XVI; его «Ифигению в Авлиде» публика освистала.

Была ли наша интерпретация неверной? Действительно, против Григория VII выступила мощная оппозиция священнослужителей, ради которой, казалось, эта энергичная мера была необходимой. Она показывает, как глубоко, очевидно, погряз клир в заботах о жене и чадах своих, в скарденности и своекорыстии, в чисто мирских интересах, если потребовалась такая насильственная мера, чтобы спасти и восстановить долг духовного служения. То, что задетые за живое этой мерой



поднимут шум, можно было предположить; но церковь рассчитывала на возвышенное настроение монастырей, прежде всего монастыря в Ключи, и на настроение мирян, у которых уже давно деградация священников и епископов вызывала сильное недовольство и неприязнь. И то, что эта насильственная мера прошла, является свидетельством того, что эти строгие настроения были мощнее оппозиции. Аналогично и с музыкой Глюка, о котором мы ведь знаем, что он хотел реформировать пришедшее в упадок музыкальное искусство.

Все это свидетельствует не о недостаточности интерпретации, а о том, что она нас выводит на противоборствующие и конкурирующие направления, и наша интерпретация является тем достовернее, чем четче она может выделить эти противоречия.

Интерпретация и не ожидает ничего иного, она знает, что всякий процесс проходит на фоне различных настроений, тенденций, страстей, борющихся друг с другом, что любой выявленный нами факт или деятель вызывает различные за и против, и что только в этой борьбе характеры добиваются своих успехов, поступки ведут к своим последствиям. Характеры, поступки — все они имеют свои условия, свою меру, силу, свой тормоз в этих антагонизмах и пристрастиях, они определяются ими, чтобы затем вновь оказывать определяющее воздействие на них и через них. Эта постоянная перестановка местами причины, которая становится последствием, и последствия, которые становятся причиной. И точно так же в отношении количества: одним из определяющих моральных факторов является не мертвое, застывшее однообразие, а пестрая, подвижная многоликость. Моральная интерпретация будет сомнительной и порочной не тогда, когда она выявляет противоположные моменты, а тогда, когда она не находит ничего, кроме простых условий, только *одно* настроение, *одно* равное течение.

## в) Психологическая интерпретация

### § 41

Поскольку мы определили исторический мир как нравственный мир, все в нем несет отпечаток духа и руки человека; конечно, отпечаток, частично очень выветрившийся и отшлифованный, часто едва заметный, по крайней мере уже не распознаваемый как произведение и воля определенных индивидов и как выражение их личности.

Но понятно, именно личность интересует всегда больше всего, и слишком часто бывало и в старое, и в новое время, что историки, повествуя, пытались дать по возможности живые образы действующих лиц и выводили из их одаренности, характера, страсти все, что произошло. Это начинается с Адама, Ноя, Авраама в Ветхом завете и продолжается по сегодняшней день, повсюду там, где наша наука ставит перед собой задачу стать популярной и влиять на народ; и для многих это и есть истинная цель исторических исследований.

Стоит труда и усилий разобраться в этом деле по-настоящему, так как с методической точки зрения оно имеет большое значение.

Если бы психологическая интерпретация была главной задачей историка, то Шекспир был бы величайшим историком. Как он поступает? Он выбирает для себя из Плутарха, Боккаччо, из английской хроники Холиншеда или еще откуда-либо подходящую историю и переделывает ее в драматическое действие. Его поэтический труд состоит в том, что он сочиняет характеры к происходящим событиям; и он невероятно точен и так глубокомыслен, чтобы распознать, что должно происходить в тайниках души человека, действующего и страдающего; он как бы читает судьбы людей в глубине их души, саму историю он выдумывает редко, а вернее, никогда.

Поэзия имеет право так поступать. Всякий романист так поступает. Сказание народов потому поэтично, что любому понятны события постольку, поскольку они объясняются характером, страстями, талантом дейст-

вующих героев, и миф очеловечивает божество и богов, потому что они становятся понятными человеку лишь тогда, когда он видит в них свое подобие.

Как же поступает исследование в таких случаях? Может ли историк со спокойной совестью показывать так живо, как поэт, людей, о которых он пишет в своем исследовании? Дизраэли совершенно справедливо сказал однажды о Маколее, что его история Англии есть исторический роман. Одобрение, которое повсюду нашла эта английская история, кажется, это подтверждает.

Материалы, имеющиеся у исследователя, редко или, вернее, никогда не дотягивают до того, чтобы он мог соперничать с поэтом. Даже в том случае нет, когда он в своих источниках, написанных современниками событий, в донесениях дипломатов находит характеристики, которые может позаимствовать. Если Фукидид характеризует Клеона, как он пишет, или Геродот называет второго законодателя аттического государства честолюбцем, то это их мнения. И точно так же описания характеров в венецианских *relazioni*,<sup>212</sup> или многочисленные портреты Марии Терезии, Фридриха Великого и т. д. в донесениях послов XVIII в. показывают только то, что в практических целях послы хотели дать своим принципалам представление о людях, на которых те могли рассчитывать в своей политике. Итак, может ли историк в своих исследованиях довольствоваться такими мнениями о характерах, а не должен ли сам составить собственное мнение на основании имеющегося еще у него материала об их деяниях и желаниях? И на эти вопросы так просто не ответить.

Моменты, которые должны насторожить историка и обозначить границы психологической интерпретации, являются следующими.

1. Действительно, в этом процессе, насколько у нас есть материал о нем, целеустремленный индивид и энергия его воли находят свое выражение; но все ли осуществилось, чего он хотел, весь ли его план, весь ли замысел? Не осталось ли нереализованным многое из его плана, а может быть, даже самое лучшее?

2. Быть может, у нас в руках этот, другой, третий набор его действий. Но полностью ли все его существо, его планы растворились в этих действиях? Был ли он, как нам кажется, только военным, только политиком? Можем ли мы сказать: вот он весь, как на ладони, вся его подлинная сущность, вся без остатка и неизменная, так, что все, что произошло, в чем он, как нам кажется, играл ведущую роль, можно вывести из его характера? Был ли Робеспьер только революционный демагог? Может быть, он был таковым в это время, а ранее был совсем другим, а его характер, вероятно, изменился вместе с обстоятельствами; но к его человеческой сущности относится и то, каким он был раньше; только в это время, при этих обстоятельствах, в этом отношении он был кровавым, хладнокровным, радикальным демагогом.

3. Процесс или процессы, о которых у нас есть материалы, однако, не так прозрачны, чтобы мы могли увидеть все одновременно действующие моменты и как бы вычестить их, сказав: все, что получается в остатке, следует записать на счет этого *одного* человека, его мотивов, его таланта, его характера, относится к спонтанному самоопределению. Даже люди, близкие обсуждаемому нами человеку, не знают его так хорошо, что с уверенностью могут судить о нем, они говорят, лишь основываясь на своем наблюдении, быть может, на его высказываниях. Но последние могут быть высказаны с каким-то намерением, объясняться настроением, взволнованностью, а у людей из всего этого складывается свое мнение. Они создают из существа, подвижного, колеблющегося в своих очертаниях, полного жизни в своей непрерывности абстрактный, зафиксированный, четко очерченный образ. Духовное нельзя исчерпать только оценками. Кто может нарисовать точку, подвижную и постоянно колеблющуюся? А Я человека есть бесконечно движущаяся, неустанно активная и фосфоресцирующая точка.

Одним словом, как бы целеустремленный человек и энергия его воли ни говорили нам о логике развития событий, о которых нам дают свидетельство наши мате-

риалы, в этом не отражается целиком, без остатка и в чистом виде его Я, познаваемое нами. Только до определенной степени, только в определенных направлениях историческое исследование может найти достоверные данные об этой личности. Но за оставшиеся непознанные белые пятна наше исследование вознаграждается чем-то иным, появившимся у него. Из рассматриваемых здесь двух пунктов я приведу главное.

Отношение личности к тому, что она делает, можно разложить на несколько моментов, которые, какими бы нераздельно едиными они ни были, все же в той или иной степени познаваемы.

1. Если действия суть волевые акты, то совершенное прежде всего есть произведение воли, какой бы повод ни возбудил ее; сила или слабость, твердость или тупость воли проявляются очень ясно и отчетливо. Подобная удару сила воли, возникающая из внезапного аффекта, будет разительно отличаться от спокойной энергии воли чего-то заранее продуманного и глубоко обоснованного убеждения.

2. Мы очень хорошо знаем, что сильная воля может служить как добру, так и злу, как преступлению, так и исполнению высшего долга, так что сила воли отнюдь еще не есть оправдание того, чего хотят. Но сила воли сама по себе есть высокое нравственное богатство, ибо оно приобретено, а не только даровано природой. Следовательно, в том, что совершено, можно будет вновь познать энергию воли, великий момент в сущности личности.

Тем более не должно ускользнуть от нашего наблюдения то, какими средствами действовали, как то: благоразумие, прозорливость, правильная и точная оценка обстоятельств. Впрочем, эти свойства частично можно выработать путем упражнения и труда, но, в своей основе, они прежде всего есть врожденная одаренность духа, данный природой талант, по которому можно оценивать нравственную значимость человека лишь постольку, поскольку он без устали развивал этот дар, не дав ему зачахнуть из-за лени и рассеянности.

Но от таких интеллектуальных средств человека необходимо отличать то, что он с их помощью пытается достичь, как бы он высоко или низко ни понимал свою цель. Как и сила воли, энергия интеллекта является лишь средством, с помощью которого должно осуществляться то, что в глубине души определяет их и движет ими.

Можем ли мы постичь и это, и с этой стороны познать человека? Если бы мы, как историки, могли это, то уж тем более могли бы в повседневной жизни, в живом общении людей. В быту мы можем наблюдать, как некто направляет свою волю, свой талант на цель, энергично и умно преследуя и достигая ее; мы можем увидеть, как он относится, скажем, к своей семье, ведет себя в официальной сфере, в других нравственных ситуациях, как высоко или низко он их понимает, что ему кажется важнее, самым важным, на что направлены все его помыслы и желания; мы можем так или иначе представить его умственный кругозор, определяющий его действия, как бы ближайшую и самую интимную сферу, в которой движется его Я. Но проникнуть глубже наше наблюдение, даже основанное на личном общении, не может.

Только здесь имеет место еще другое. Не поддается объяснению, как это происходит, что ты любишь как друга именно этого человека, завоевываешь как бы непосредственные чувства его души; веря в него. Не потому, что он такой высокоодаренный, такой умный, такой волевой, зачастую все наоборот. Но ты чувствуешь его душу, знаешь, что ее волнует, на что она надеется и чего боится. И узы дружбы, любви представляют собой непосредственное единение душ, которое все снова повторяется и обновляется. И тот образ друга, который я ношу в душе, есть представление и понимание его самой подлинной сущности. Для меня это чувство неизменно и неколебимо, даже если он колеблется или заблуждается; и на него оно оказывает благотворное, облагораживающее воздействие; оно говорит: такой ты есть настоящий, ибо такой ты должен быть всегда, ибо это твое лучшее, твое истинное Я. Именно в этом момен-

те и заключена сильнейшая власть человека над человеком, зиждется тайна воспитания.

Я привожу такие примеры, чтобы стало ясно, чего историческая интерпретация не может достичь. В «святая святых» человеческого сердца проникает лишь взор того, кто «испытывает сердца и утробы», и до некоторой степени взор взаимной любви и дружбы, но не судьи, не судьи-юриста, не судьи-историка. Но в «святая святых» любого человека есть тайна и животворный родник его желаний и помыслов, подлинная побудительная причина его действий, те моменты, которые его оправдывают или осуждают перед самим собой и перед Богом, и только они выносят приговор его нравственной ценности, т. е. дают ему оценку.

Итак, историческая интерпретация не может достичь той точки, из которой берет начало нравственное поведение человека и к которой оно возвращается как к своей совести, что всякий носит в себе самом. Ибо только его совесть является для него абсолютной совестью; она для него есть его истина и средоточие его вселенной.

Это лишь парафраз того, что мы говорим; личность как таковая имеет мерилу своей ценности не в истории, а во всем том, что она в ней делает, творит или терпит. Ей дано лишь собственное замкнутое пространство, в котором она, и только она — будь она бедна или богата духом и дарами, значительна или незначительна по своему воздействию и успехам, — общается сама с собой и своим Богом. Она есть не малая молекула всеобщего исторического мира, а мир в себе, совокупность всевозможных нравственных отношений, которые в нем взаимосвязаны, взаимообусловлены, взаимомотивированы, тем самым стоят над своим миром и своим настоящим. В этом настоящем она живет и действует, проделывая свою часть работы; она заботится не о том, будут ли когда-нибудь исследовать, оценивать, рассматривать эту часть как фрагмент истории. Индивидуум имеет в лице государства, народа и церкви свою сопричастную им жизнь, имеет жену и детей, собственность, свой труд, свою профессию, свою долю в заботах и уповани-

ях настоящего, во всем что справедливо, добро и прекрасно. Мы можем сказать: так или иначе он участвует во всех нравственных отношениях и связях, близких и опосредствованных; именно такие отношения и детерминируют всесторонне его личность. Он из всех нравственных сфер составляет для себя свой мир и в нем продолжает трудиться и творить. Для него и его совести все, что его волнует и чем он живет, должно соизмерять и поощрять то, что его лично связует и поддерживает в этой совместной жизни; это его право, его долг, его свобода. И очень важно всегда помнить об этом. В качестве только исторического или статистического материала, лишь физиологических соединений люди были бы чернью, а в силу своих талантов были бы зверьми, хуже зверей.

Выводы из вышеизложенного подводят ко второму соображению. Мы знаем, что все нравственные связи присущи лишь людям, имеют в них свою действенность свое Здесь и Теперь, свое настоящее. Но то, что государство, народ, наука, ремесло и т. д. стали таковыми, как они есть, это свершилось не только в этом индивиде и его личности. Все это пришло к нему и другим, минуя длинную цепь рук; так сложилось, стало таковым в бесконечной общности настоящего; все это перейдет в другие руки, продолжая развиваться, в то время, как этот индивидум состарится и умрет. Историческое исследование знает, что люди являются посредниками, и только посредниками, через руки которых проходят, вещи, события, что талант индивидов, их воля и желания, весь их внутренний мир есть лишь этапы, лишь звенья бесконечной цепи становления вещей, что вещи, говорится в нашем «Очерке», «идут своим путем несмотря на добрую и злую волю тех, благодаря которым они совершаются». Ибо эти нравственные сферы имеют свою собственную силу и течение, они творят и распоряжаются как нравственные силы, которые реализуются только благодаря труду людей.

И таким образом мы подошли ко второму пункту. Если мы говорили, что психологическая интерпрета-



ция все же относительно верна, то она относительно верна постольку, поскольку мы, познавая, должны признать, что ход исторических событий можно объяснить не только мотивами доброй или злой воли действующих лиц.

Ибо чтобы объяснить процесс какой-либо причиной, надо, чтобы она определяла его целиком и полностью. И это уже потому невозможно, что даже сильнейшая воля и самый гениальный ум, имеющие самые мощные рычаги власти, действуют не в одиночку, а зависят от людей, которые хотят того же или не хотят, помогают или тормозят процесс, зависят от бесчисленных индивидов, каждый из которых обладает своей частичкой прозорливости и совести. Их помощь или сопротивление обуславливают его деяние, ограничивая сферу его влияния, разрушая всевластие его воздействия. Даже самый могущественный правитель есть только момент в неудержимом потоке истории, лишь одно из средств, благодаря которым продолжаются и совершаются преобразования нравственного мира, однако на своем месте он особо действенный и характерный. Как такового, и только как такового мы его интерпретируем; не ради его личности, а ради его исторического значения.

Для меня, индивида, моей истиной является совесть, и история оставляет ее индивиду; она не может своими средствами найти и понять ее. Она рассматривает индивида, который ее интересует, не по его истине. Для нее в отношении индивида истинными являются его место и обязанности в больших нравственных общностях и в их поступательном движении вперед. Историческое исследование не намерено заниматься чем бы то ни было, касающимся его частных дел и отношений; оно выбирает лишь тех, кто имеет историческое значение, т. е. чья жизнь и деяния имели подобающее место в этом большом контексте исторических событий, и именно поэтому их надлежит исследовать в этом контексте.

В тех случаях, когда интерпретация с помощью психологии также оказывается бессильной и не может про-

двигаться вперед, она обращается к другому средству. И это четвертый раздел интерпретации.

г) Интерпретация по нравственным началам,  
или идеям  
§ 42, 43, 44

Мы можем оставить без внимания то, употребляем ли мы слово «идея» в общепринятом сегодня смысле. Аристотель по крайней мере употребляет слово *idéa* для обозначения различных образований и форм (*εἶδη*) в их совокупности. Мы же подразумеваем под этим понятием следующее.

Нет ни одного *условия* человеческого бытия и деяний, которое не было бы выражением и формой проявления чего-то хорошо продуманного, лежащего в основе его, в котором есть истина и сущность именно этого отдельного образования. Любое супружество является более или менее удачным осуществлением идеи брака, и супруги, вероятно, имеют представление об идеале, реализуемом в их отношении друг к другу, этот идеал живет в их совести. Труд, даже самый тяжелый и унижительный, облагораживается, поскольку работник, вкладывая в него свою волю, тем самым перестает быть рабочим автоматом. У него идея труда не от природы, ибо дети должны сначала научиться трудиться, т. е. получить понятие о цели приобретения ими трудовых навыков и применения сил, чтобы служить этой цели. Труд негра-раба потому и безнравственный и скотский, что в нем отсутствует этот человеческий момент. Любовь родителей к детям без осознания той задачи, которую задают им их дети, без идей родительского долга есть лишь инстинктивная, так называемая слепая любовь.

И так повсюду. Недостаточность отдельных реализаций мы по свойству человеческой природы восполняем в этих идеях: мы познаем и чувствуем, что в каждом отдельном явлении выражение этой идеи никогда не бывает адекватным и окончательным, а только приближи-

тельным, общим выражением, вытекающим из непрерывности стремления ко все новому ее осуществлению. Иными словами, стремление к совершенному, поступательное движение и есть то, что ближе всего к совершенству.

И любой индивидуум строит для себя свой мир, стремится реализовать свое Я в той мере, насколько он причастен к этим идеям, трудится вместе со всеми над своей частичкой работы в осуществлении нравственных сил. Ибо последние живут и действуют в нравственных устремлениях и деяниях людей, и любое Я имеет в них содержание своего внутреннего мира.

Как видим, каким бы неповторимо индивидуальным для всякого ни было его самое сокровенное, его совесть,— у любого другого, живущего в то же время и принадлежащего к тому же народу совесть в основном имеет одинаковую наполненность, точно так же, как эти люди по языку, вере, обычаям и представлениям схожи друг с другом. Именно поэтому и может существовать их социальное, правовое, политическое сообщество, поскольку они подчиняются одному и тому же праву, тем же государственным законам, исповедуют верность в супружестве, преданность отечеству, честность во всех повседневных делах и поступках и признают их хотя бы в качестве своего долга.

Итак, нравственные взгляды у них одни и те же. По ним всем можно увидеть, какую форму приобрело или, лучше сказать, какого уровня достигло в их среде развитие нравственных начал.

Ибо для человека важно, что эти нравственные начала существуют и что они действуют. Но они растут и раскрываются лишь благодаря людям, в поступательном движении истории; то обстоятельство, что они таким образом идут вперед и возвышаются, является сущностью истории и ее самым подлинным содержанием.

И в самых низших формациях — будь то в давно прошедшее время или в современности, — которые исследование обнаруживает у народов, стоящих на самой низшей ступени, имеются религия, семья, право, об-

щинный дух и т. д., пусть даже в самых примитивных формах, например, государство как разросшаяся семья, право, подчиненное религии и т. д. Только с прогрессивным развитием эти сферы обособляются и проясняются, и в зависимости от достигнутого уровня развития самосознание народа найдет свое спекулятивное выражение в познании этого, будь то в религиозной или философской форме.

Брак и семья, государство и право и прочие, как бы их ни называть, нравственные силы не определены раз и навсегда в качестве нормы этикой, преподаваемой ныне как наука, так чтобы можно было положить в их основу какую-либо систему, например Аристотеля или Св. Фомы, чтобы по ним регулировать суждение или историческое исследование. Аристотель мог еще оправдывать рабство как этически необходимое состояние, а Св. Фома рекомендовать в качестве долга истребление всех не верующих в Христа. Этическая система того или иного времени есть только спекулятивный вариант и обобщение достигнутого до сих пор познания нравственных сил; есть лишь средство, только попытка познать и высказать нечто ставшее и сущее по его этическому содержанию, в его единстве и истине, конечно, лишь относительной истине по мере достигнутого до сих пор.

Но это единство и истина присутствуют, насколько простирается взгляд исторического исследования, на любой ступени развития рода человеческого. Любая из этих ступеней, любой народ и любое время есть комплекс реализаций нравственных сил. Ибо только благодаря им люди являются людьми, и не ранее, чем они появлялись. Были ли они раньше и чем они были, совершенно беспочвенный вопрос, как бы над его решением ни корпела сбита с толку гордыня человеческого рассудка.

Позднее мы поговорим о различных формах и категориях, в которых представляются нам эти нравственные силы и которые следует искать путем интерпретации. Для начала достаточно выделить два общих пункта, являющихся для этой интерпретации главными.

Нам не надо бояться упрека в том, что мы с помощью этой интерпретации, проводя исследование на основе нравственных идей, искали то, что в определенное время было в сознании людей совсем иным. Во всяком случае не в такой абстрактной форме, как мы это сформулировали, а, вероятно, как обычай, закон, веру и т. д., а именно в той мере, что каждый индивид вращался в кругу идей своего настоящего, сверял и корректировал свои мысли и дела, исходя из него, имея норму в своей совести. Если мы найдем какой-нибудь метод, чтобы всякий раз, вычитая особое и индивидуальное, проецировать его на общее и всеобщее, соответствующее времени и народу, то удастся, может быть, познать ступень развития идей о государстве, семье, праве, церкви и т. д., как она выражается в еще имеющемся материале.

Здесь надо учесть еще и другое. То, что индивидуум хочет, делает и создает, является его частным делом и направлено на настоящее, оно не есть история, а лишь станет историей благодаря тому, что мы будем его рассматривать и воспринимать. Только для истории дела индивида есть момент в непрерывности становления и нравственных сил, и в этом контексте становления и непрерывности понимает их историческое исследование.

Таким образом, исследование получает перекрещивающиеся линии, твердые точки опоры. Если Георг Подебрад, король-утраквист Чехии, противился Риму, то он делал то, чего требовали от него его королевский сан и обстоятельства, как нам показала прагматическая интерпретация его правления и его личных мотивов. Но те же обстоятельства показывают нам, что он защищал — и делал это сознательно — право государства от посягательств церкви, защищал первое не католическое христианское государство, тем самым он одновременно основал национальную самостоятельность Чехии. Идея государства, церкви, нации благодаря ему обрела совершенно новую форму, поднялась на новую ступень развития, которая затем вместе с Лютером распространилась по всему западному миру. Лишь в этом контексте, в этой непрерывности мы понимаем цели-

ком и полностью, что означает в историческом плане правление короля Георга. В этих двух линиях, линии его времени и множества одновременных событий и линии дальнейшего развития государства, нации, церкви, на перекрещивании этих двух линий, мы находим историческую точку, определяющую значение этого короля. Конечно же, могут возразить: но всего этого нет в источниках, как можно приписывать Подебраду подобный ход мыслей? Он-де хотел лишь отразить нападки своих врагов, как того требовал текущий момент. Но то, что он воззвал к национальным гуситским настроениям Чехии, видя возможность воспользоваться ими в свою защиту, свидетельствует, что такие настроения и идеи в тот момент были и действовали; и историческое значение Подебрада заключается не в том, чем он занимался каждодневно, а как его деяния вторгались в великое течение. Мы не собираемся лично с ним знакомиться, а будем исследовать и разъяснять его историческое значение.

Таким образом, будет ясно, что мы ищем путем интерпретации идей и можем найти. В разнообразии нравственных сфер, в которых коренится и движется человеческая жизнь, у нас возникает ряд вопросов, с помощью которых мы можем и имеем право приступить к уже имеющемуся у нас материалу, поскольку мы знаем, что любое человеческое бытие и деятельность есть выражение и форма проявления этих нравственных сил. Мы в нашей повседневной жизни ведем себя по-простому, не особенно ломая голову над различными вопросами. Из какого-либо происшествия, случившегося между мужем и женой, наблюдателями которого мы являемся, мы делаем вывод об их отношении друг к другу, т. е. о высокой или низкой ступени нравственной идеи супружества, царящей в этом доме. Ежели мы к тому же наблюдаем, как в этой семье воспитывают детей, как содержат прислугу, как здесь зарабатывают на жизнь, экономят или транжируют, как ведут себя по отношению к религии и политике и т. д., то у нас будет ряд отдельных точек, которые, соединенные между со-

бой, дадут нам картину нравственного состояния этой семьи. А ежели мы, достигнув определенного возраста, увидим, живут ли состарившиеся супруги в мире или постоянных ссорах, что стало с их имуществом и делом, какими выросли их дети, то мы можем добавить к прежним линиям прежней картины новые линии последствий, пересекающие первые, и получить еще более твердую опору для нашего представления.

Точно так же обстоит дело с нашим историческим рассмотрением. Оно обращается к вопросам, на какой ступени развития находятся нравственные идеи у этого народа в это время, как они проявляются в этом событии, ибо становление и рост нравственной идеи есть движение и жизнь истории.

Мы сможем рассмотреть это в двух вариантах.

1. Или мы наблюдали в имеющихся у нас материалах состояние нравственных идей, каковые сложились в том настоящем и складывались до него, и тогда говорим: так были развиты и дошли до такого уровня развития нравственные идеи, хотя они были еще неясными и скрытыми. Тем самым мы получаем представление об этическом горизонте, в пределах которого вращалось все, что было и произошло у этого народа, в это время, и таким образом мы познаём меру любого отдельного события, происшедшего у этого народа, в это время.

2. Или мы ищем в наших материалах о тогдашнем состоянии моменты поступательного движения, проявляющиеся в нем, и обобщаем их, сопоставляя с тем, во что они вылились и что из них стало. Тем самым мы понимаем то, что означают движение, стремления и борьба людей того времени, их соперничество, их победы и поражения.

В этом движении попеременно вырывается вперед та или иная нравственная сила, как будто все заключается прежде всего в ней; тогда она господствует над умами и движет и воспаляет их, она передает всему состоянию свое напряжение и настроение, в ней концентрируются все надежды и помыслы. Идея церковной Реформации, высказанная Лютером, национальная

идея, впервые политически объединившая эллинов во время Фемистокла, идея государства, которую впервые во всей ее остроте и чистом виде пытался осуществить Ришелье,— все это в свое время были моторные моменты: Лютер делает шаг вперед в сфере церковной жизни, Фемистокл — в национальной сфере, Ришелье — в сфере государственной жизни. Несомненно, в таких случаях были задействованы все другие нравственные сферы, но эта *одна* идея определяет их, и в зависимости от их характера они постепенно вовлекаются в движение.

Такая идея, комплекс идей, которые прослеживает и постигает интерпретация, с точки зрения исторического исследования становится главной для характеристики человека, народа, времени. Историческая интерпретация видит в этой идее силу, движущую ход событий, его историческую истину. Эта идея оправдывает энтузиазм тех, кто выступили за нее, и это их облагораживает, поскольку они выступили за великую идею и осуществили ее, или помогли в ее осуществлении, как это показывает исследование хода этих событий.

Ход событий является претворением этой идеи; в этой идее мы понимаем ход событий, мы понимаем из него эту идею.

Психологическая интерпретация, как мы видели, не может проникнуть в совесть участников событий. Поэтому она оставляет белые пятна, но те результаты, которые мы получаем благодаря психологической интерпретации, вознаграждают нас за наши усилия.

Поэзия, как мы видели, может идти дальше; она может, исходя из самых глубин души изображаемого ею человека, объяснять его деяния и страдания. Почему же наша наука не имеет права поступать или, по крайней мере, пытаться поступать так же?

Будучи эмпирической, она должна стараться быть, как можно, точнее, и она точна настолько, насколько она получает свои результаты из критически верифицированного материала, делая при этом, насколько возможно, достоверные выводы.



И в исследуемых нашей наукой материалах предстает перед нами личность, Я тех людей, достижения и влияния которых история показывает лишь частично, в некоторых направлениях и сферах их устремлений и дел, но никогда не подводя итога непрерывности их бытия. Ни в одном из этих направлений, ни в одной из этих сфер они полностью не растворяются; они остаются со своей совестью наедине и даже будучи, как Лютер, Ришелье, Цезарь, носителями прогрессивной идеи; и коллизия долга, мучений совести, которые эта идея готовит тому, кого она затронула, есть доказательство того, что Я человека есть мир для себя и остается таковым.

Таким образом, мы завершили учение об интерпретации. Мы видели, как далеко она простирается и где ее границы. Ибо она представляется нам многократно взаимосвязанной, взаимообусловленной и далеко недостаточной, чтобы исчерпать бесконечное многообразие всего бывшего в течение столетий и тысячелетий истории человечества.

Многим поэтому кажется, что другой эмпирической науке в этом отношении выпала лучшая доля, что ее метод, казалось бы, можно применять безгранично, и поэтому она идет вперед, одерживая такие блестящие победы. Но обеим эмпирическим областям как истории так и природы положен один и тот же предел, который лежит в основе отношения исследующего ума к его сфере исследования.

И это соображение дает нам возможность перейти к нашему следующему разделу, к систематике того, что доступно исследованию с помощью исторического метода.

Если бы мы составили систематику того, что подвластно исследованию естественных наук, то мы должны были бы отнести к их домену все измеряемое, взвешиваемое, вычисляемое, все, что можно обобщить при помощи аналитической механики, т. е. механики атомов. Ибо то, что человеческий ум обобщает как сущее в пространстве, как природу, дает ему преимущество,

что оно присутствует во всем спектре своего существования и готово к восприятию органами чувств. Но ум как таковой для понимания этих вещей природы имеет лишь категории представлений и понятий, которые касаются пространства, материальной массы, ее правил и движения. Природа доступна и понятна лишь его понятиям величины, формы, количества и т. д. Значение этого метода заканчивается там, где начинается область индивидуальной жизни, личного бытия, свободы воли: для него закрыт весь нравственный мир, т. е. мир поступательного движения вперед, постоянного восхождения.

Эта область принадлежит историческому исследованию. Но и оно имеет свой предел, и не менее существенный.

У него нет преимущества иметь здесь и сейчас во всей полноте его существования то, что оно, как история, хочет обобщить. Историческое исследование, пожалуй, имеет полное понимание всего того, на что оно направлено, поскольку все это человечно и является выражением человеческой воли и мыслей. Но то, что надо понять, прошло и давным-давно минуло, кроме более или менее скудных остатков и воспоминаний, вошедших в настоящее. И из этих фрагментов оно должно попытаться мысленно реконструировать то, что было и произошло и чего уже нет в наличии. И эти представления, которые оно может получить путем сопоставления, гипотез, корректировки, выводов и т. д. и развить дальше, исправляя их, отнюдь не будут идентичны тем минувшим событиям, они всегда будут соответствовать им лишь относительно, лишь с некоторых точек зрения, лишь до определенной степени.

В этом недостаточность нашей науки, которая точно так же необъективна, как и наука о природе. Не былые времена суть история, а знание человеческого ума о них. И это знание является единственной формой, в которой былые времена непреходящи, в которой минувшее предстает как логически, внутренне связанное и значительное, как история.

Как мы видели, разделение на две большие сферы, на историю и природу, отнюдь не означает, что можно запросто включать то, что лежит за пределами одной, в область другой. Если аналитическая механика недостаточна для доказательства того, как возникает жизнь животных и растений и как она периодически протекает в отдельных представителях животного и растительного мира, то здесь наша наука не может дополнить ее. А если историческая наука имеет так мало опорных точек для исследования как начал исторической жизни, так и ее целей, то и наука о природе не даст ей для того и другого ни объяснений, ни уверенности, владея которыми она могла бы удовлетвориться.

Тем более для нашей науки необходимо уяснить, что относится к ее области и что она в этом может понять. И поэтому необходимо систематизировать то, что можно исследовать историческими средствами.

### Примечания

- 1 Чистосердечно, запросто (*лат.*).
- 2 Что дал тебе отец в наследное владенье,  
Прибрати, чтоб им владеть полно. *Гёте И. В.* Фауст. Трагедии. I ч. Ночь. (*Пер. Н. Холодковского*).
- 3 На основании авторитета, подчиняясь авторитету (*лат.*).
- 4 Дух законов (*франц.*).
- 5 Цит. по: *Монтескье Шарль Луи.* О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 9.
- 6 Изложение (*др.-греч.*).
- 7 Собрание монет (*лат.*).
- 8 Варварские законы (*лат.*).
- 9 Салическая Правда (*лат.*). Запись обычаев салических франков (507–511 гг.).
- 10 Капитулярный о поместьях (*лат.*).
- 11 По оси (*лат.*).
- 12 По десятичной системе (*лат.*).
- 13 Постоянные лагеря (*лат.*).
- 14 Водан, кого они, добавляя букву, называли Гводан (*лат.*).

- 15 Букв.: щелчок и падение (*нем.*).
- 16 Я не доверяю этому миру (*нем.*).
- 17 Чтобы наши ларцы содержали перечень документов (*лат.*).
- 18 «Книга Страшного суда» (*англ.*).
- 19 Послы с устными поручениями (*лат.*).
- 20 Дипломаты (*лат.*).
- 21 Школа хартий (*франц.*).
- 22 Главный архивариус королевства (*франц.*).
- 23 Письмо (*лат.*).
- 24 Что пожелала, чтобы было написано на стеле (*др.-греч.*).
- 25 Почетные списки (*лат.*).
- 26 Решения Сената (*лат.*).
- 27 Законы (*лат.*).
- 28 Так, чтобы ты увидел события правдоподобнее, чем на самом деле (*лат.*).
- 29 Библия для бедных (*лат.*).
- 30 Углубление четырехугольной формы (*лат.*).
- 31 По желанию (*лат.*).
- 32 Общепринятое толкование (*франц.*).
- 33 Государство это — я (*франц.*).
- 34 Элемент фантазии (*др.-греч.*).
- 35 Элемент разума (*др.-греч.*).
- 36 Саморождение.
- 37 Арминия донныне воспевают у варварских народов (*лат.*).
- 38 Торжественное шествие (*др.-греч.*).
- 39 Жития святых (*лат.*).
- 40 Разное (*лат.*).
- 41 Журнал постановлений Сената, а также ежедневных происшествий (*лат.*).
- 42 Городские ведомости (*лат.*).
- 43 Письмо одного дворянина (*франц.*).
- 44 Письмо одного голландца к другу (*франц.*).
- 45 Письмо прусского офицера одному из своих друзей (*франц.*).
- 46 Против Апиона (*лат.*).
- 47 Пишущие по годам содеянное (*др.-греч.*).
- 48 Верховный жрец (*лат.*).
- 49 О моей жизни (*лат.*).
- 50 Записки [о Галльской войне] (*лат.*).
- 51 История тех дел, в которых как предводитель участвовал тот, кто рассказывает (*лат.*).
- 52 О моей жизни (*лат.*).

- 53 История моего времени (фр.).
- 54 *Гортледер (Hortleder) Фридрих* (1579–1640), немецкий историограф.
- 55 *Хемниц (Chemnitz) Филипп Богислав* (1605–1678), немецкий историограф.
- 56 *Пуфендорф (Pufendorf) Самуил* (1632–1649), немецкий правовед и историк.
- 57 *Зекендорф (Seckendorf) Фейт Людвиг* (1626–696), немецкий историограф.
- 58 *Савиньи (Savigny) Фридрих Карл* (1779–1861), правовед, основатель «Исторической школы права».
- 59 *Баур (Baur) Фердинанд Кристиан* (1792–1860), немецкий теолог и историк.
- 60 *Перц (Pertz) Георг Генрих* (1795–1876), немецкий историк, издатель.
- 61 *Тритемий (Trithemius, Trithem) Иоганнес* (1462–1516), немецкий гуманист.
- 62 Хроника *Рихера* «*Richerii historiam libri IV*» была издана в 1839 г. в «*Monumenta Germaniae*», т. 3.
- 63 *Вольгемут (Wohlgemuth) Михаэль* (1433/34–1519), немецкий живописец и график.
- 64 «*Confessio Augustana*», «Аугсбургское исповедание веры, сочинение Филиппа Меланхтона», важнейший документ лютеранского вероисповедания; был вручен Карлу V на рейхстаге в Аугсбурге в 1530 г.
- 65 *Гизебрехт (Giesebrecht) Фридрих Вильгельм* (1814–1889), немецкий историк.
- 66 *Авентин (Aventinus, настоящее имя Turmair) Иоганнес* (1477–1534), немецкий гуманист.
- 67 Альтаих — местечко на юге Баварии.
- 68 Кампании короля (франц.).
- 69 *Глейм (Gleim) Иоган Вильгельм Людвиг* (1719–1803), немецкий поэт; в Хальберштадте дом поэта стал своеобразным центром общения литераторов его времени.
- 70 *Кирхгоф (Kirchhoff) Вильгельм Адольф* (1826–1908), немецкий филолог. Речь идет о книге «*Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets*». Berlin, 1863.
- 71 *Эрвин Штейнбах (Erwin von Steinbach)*, немецкий зодчий (1240–1318).
- 72 *Адлер (Adler) Фридрих* (1827–1908), немецкий архитектор и историк искусств.

<sup>73</sup> *Нибур (Niebuhr) Карстен* (1733–1815), немецкий путешественник, отец историка Бертольда Нибура.

<sup>74</sup> *Гротенфенд (Grotefend) Георг Фридрих* (1775–1853), немецкий филолог, первым расшифровал ассирийскую клинопись.

<sup>75</sup> *Лассен (Lassen) Кристиан* (1800–1876), ориенталист.

<sup>76</sup> *Бюрнуф (Burnuf) Эжен* (1801–1852), французский ориенталист.

<sup>77</sup> *Велькер (Welker) Фридрих Готтлиб* (1784–1868), немецкий историк; имеются в виду его книги: «*Der epische Zyklus*» (Bonn, 1835–1849) и «*Die griechischen Tragödien mit Rücksicht auf den epischen Zyklus geordnet*».

<sup>78</sup> *Инама-Стернегг (Inama-Sternegg) Карл Теодор* (1843–1908), австрийский экономист и статистик.

<sup>79</sup> *Лоренц (Lorenz) Оттокар* (1832–1903), австрийский историк.

<sup>80</sup> *Шлоссер (Schlosser) Фридрих Кристоф* (1776–1861), немецкий историк.

<sup>81</sup> *Валла (Valla) Лоренцо* (1407–1457), итальянский философ-гуманист.

<sup>82</sup> *Цумпф (Zumpt) Карл Готтлоб* (1792–1849), немецкий филолог.

<sup>83</sup> *Шмидт (Schmidt) Вильгельм Адольф* (1812–1887), немецкий историк, издавал журнал «*Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*».

<sup>84</sup> «*Лжеисидоровы декреталии*» — сборник поддельных документов, созданный в IX в. и приписываемый Исидору Севильскому. В состав сборника входят папские послания (декреталии), решения соборов, «Константинов дар» и др.

<sup>85</sup> *Флакиус (Flacius) Маттиас, Иллириец* (наст. имя *Франкович*), 1520–1575. Лютеранский теолог и историк. «*Ecclesiastica historia, secundum singulas centurias...*» («*История церкви по отдельным столетиям*»), называемая «*Магдебургские центурии*».

<sup>86</sup> *Казаубонус (Kasaubon, Casaubonus) Исаак* (1559–1614), филолог.

<sup>87</sup> *Скалигер (Scaliger, della Scala) Жюль Сезар* (1484–1558), отец; *Скалигер Жозеф Жюст* (1540–1609), сын, — выдающиеся историки и теоретики искусства.

<sup>88</sup> *Гроций (Grotius) Гуго* (1583–1645), юрист, государственный деятель.

<sup>89</sup> *Бейль (Bayl) Пьер* (1647–1706), французский философ, его словарь вышел в Роттердаме в 1695–1697 гг.

<sup>90</sup> *Эрнести (Ernesti) Иоганн Аугуст* (1707–1781), немецкий филолог и историк.

<sup>91</sup> О правильной оценке исторической достоверности (*лат.*).

<sup>92</sup> *Гризбах (Griesbach) Иоганн Якоб* (1745–1812), протестанский теолог.

<sup>93</sup> Об исторической достоверности, устанавливаемой из самой природы описываемых вещей (*лат.*).

<sup>94</sup> *Перезониус (Perezonius) Якоб* (1651–1715), нидерландский филолог-классик.

<sup>95</sup> *Вольф (Wolf) Фридрих Аугуст* (1759–1824), немецкий филолог.

<sup>96</sup> *Паулуc (Paulus) Генрих Эберхард Готтлоб* (1761–1851), глава школы теологического рационализма.

<sup>97</sup> *Бёмер (Böhmer) Иоганн Фридрих* (1795–1863), немецкий историк и издатель средневековых письменных памятников.

<sup>98</sup> *Зибель (Sybel) Генрих фон* (1817–1895), немецкий историк.

<sup>99</sup> *Мауренбрехер (Maurenbrecher) Вильгельм* (1838–1892), немецкий историк.

<sup>100</sup> *Ульманн (Ullmann) Карл* (1796–1865), немецкий теолог.

<sup>101</sup> *Дённигес (Dönniges) Вильгельм* (1814–1872), дипломат и историк. «*Kritik der Quellen. Acta Henrici VII*». Берлин, 1839.

<sup>102</sup> *Григорий VII (Hildebrandt)*, 163-й папа, (ок. 1020–1085), с 1073 — папа.

<sup>103</sup> *Боницо (Bonizo, Bonito)*, ум. 1091, епископ Сутри, затем епископ в Пьяченцо и Кремоне.

<sup>104</sup> О подлинном (*др.-греч.*).

<sup>105</sup> Благочестивые заблуждения (*лат.*).

<sup>106</sup> Мединет Абу, группа храмов в Верхнем Египте.

<sup>107</sup> Кириак, деревня на месте руин египетских Фив.

<sup>108</sup> Мемнон, в греческом сказании сын Эос (утренней зари) и Тифона, царя Эфиопии; один из колоссов, связываемых с именем Мемнона звучал при восходе солнца. Считают, что эти скульптуры восходят к фараону Аменхотепу (XVIII династия).

<sup>109</sup> «Мышиная башня» («*Mäuseturm*») была заложена ок. 1000 г. майнцским архиепископом Виллигесом.

<sup>110</sup> *Гатто I (Hatto)* (ок. 850–913) архиепископ Майнцкий, известный своей жестокостью; *Гатто II* (942–970), аббат в Фульде, большинство исследователей связывает эту легенду с последним.

<sup>111</sup> *Сервий Туллий*, согласно легенде шестой римский царь (578–534 до н. э.), ему приписывают строительство храмов, городских стен и т. д.

<sup>112</sup> Чернь (народ) хочет быть обманутой (*лат.*).

<sup>113</sup> *Гильдмейстер (Gildemeister) Иоханнес* (1812–1890), немецкий ориенталист.

<sup>114</sup> Древности, старинные предметы (*итал.*).

- 115 *Квандт (Quandt) Иоганн Готтлоб* (1787–1859), немецкий искусствовед.
- 116 *Голлар (Hollar) Венцеслаус* (1607–1677), чешский гравер.
- 117 Монеты из сплава, содержащего медь (лат.).
- 118 Империя Аршакидов (лат.).
- 119 *Шпангейм (Spanheim) Эзехиель* (1629–1710), нидерландский правовед и государственный деятель. Его книга «О использовании и превосходстве античных монет» впервые вышла в свет в Риме в 1664 г.
- 120 Бранденбургский тезаурус (лат.).
- 121 Анналы царей Сирии, иллюстрированные монетами.
- 122 *Кириакус из Арконы (Cyriacus di Pizzicole)* (1391–1455), собранные им надписи помещены в «Thesaurus inscriptionum», изданном Муратори.
- 123 *Франц (Franz) Иоганнес* (1804–1851), немецкий филолог.
- 124 *Рангабе (Rangabè, настоящее имя Rangours) Александр* (1810–189), греческий государственный деятель, писатель, переводчик, историк.
- 125 *Ваддингтон (Waddington) Вильям* (1826–1894), французский государственный деятель, археолог.
- 126 *Ленорман (Lenormant) Франсуа* (1837–1883, французский искусствовед.
- 127 Змеиная колонна, бронзовая колонна 5.5 м в высоту, состоящая из трех змей, первоначально опора для золотого треножника в храме Аполлона в Дельфах. На ее 11 изгибах имена греческих полисов, участников битвы при Платеях.
- 128 *Куртиус (Curtius) Эрнст* (1814–1896), немецкий археолог и историк.
- 129 О венке (лат.).
- 130 *Муратори (Muratori) Лодовико Антонио* (1672–1750), «Novus thesaurus inscriptionum». Милан, 1739–1742. 4 тома.
- 131 *Боргези (Borghesi) Бартоломео* (1781–1860), итальянский исследователь античности.
- 132 *Ян (Jahn) Отто* (1813–1869), немецкий филолог и историк.
- 133 Брокен, горная вершина в Гарце, на которой, согласно сказанию, собираются ведьмы на свой шабаш.
- 134 О бумагах, вступающих в силу и лишаемых ее (лат.).
- 135 Эдикт государя Константина (лат.).
- 136 *Сильвестр I*, 33-й папа, 335 г.
- 137 *Гинкмар (Hincmar)* (ум. 882), архиепископ Реймский, французский хронист.
- 138 *Минь (Migne) Жак Поль* (1800–1875), французский теолог.



- 139 *Адриан I (Hadrian)*, 98-й папа, 795 г.
- 140 История государственного и административного устройства Франции (*франц.*).
- 141 При каждом дворе имелся подделыватель документов (*франц.*). *Лейбер (Leuber) Бенжамин* (1601–1675), кн. «Abbildung des Chur — u fürstlichen Hauses Sachsen». 1645.
- 142 *Паперборх (Paperborch) Даниэль* (1628–1714), болландист, издатель средневековых рукописей.
- 143 *Мабильон (Mabillon) Жак* (1632–1707), бенедиктинец, исследователь и издатель средневековых рукописей.
- 144 *Фиккер (Ficker) Юлиус* (1826—?), австрийский историк, название его труда «Beiträge zur Urkundenlehre», Иннсбрук, 1877–1878.
- 145 Мы видели (*лат.*).
- 146 Не отмененной, ни в какой части не поддельной, а свободной от всяческого подозрения (*лат.*).
- 147 Книги вкладов (дарения).
- 148 Дарственные грамоты (*лат.*).
- 149 *Итнерарий* — под этим словом в медиевистике понимали таблицу, составленную по данным, полученным из грамот, о месте и времени пребывания средневековых государей.
- 150 *Нимфенбург*, деревня в Боварии. Якобы заключенный здесь 18.05.1741 Нимфенбургский договор между Боварией и Францией доказан как фальшивка. *И. Г. Дройзен*. Нимфенбургский договор 1741 года. (Abhandlungen zur neueren Geschichte. Лейпциг, 1876).
- 151 *Виллафранка* — итальянский город недалеко от Вероны, здесь 11.07.1859 было заключено перемирие между Австрией и Францией об окончании боевых действий.
- 152 О том, как объединить и реформировать церковь (*лат.*).
- 153 Великий Констанцкий собор (*лат.*).
- 154 *Хардт (Hardt) Герман фон дер* (1660–1727), протестантский теолог.
- 155 *Герзон (Gerson) Жан Шарль де* (1363–1423), французский теолог.
- 156 *Ним (Niem) Теодорих (Дитрих)* (1350–1418), теолог, историк.
- 157 *Август II Сильный*, курфюрст Саксонский, король Польши (1670–1733), король с 1697 г.
- 158 *Флемминг (Flemming) Якоб Генрих фон* (1667–1728).
- 159 *Фридрих III* (1415–1493), германский император с 1452 г.
- 160 «Реформация Фридриха III» 1523 г. — так прозвали летучий листок 1523 г. под названием «Бедствия немецкого народа».

161 Мемуары, извлеченные из бумаг одного государственного деятеля (*франц.*). Журнал Зибеля — «Historische Zeitschrift».

162 Мемуары, найденные в бумагах государственного деятеля (*франц.*).

163 *Гарденберг (Hardenberg) Карл Август, барон фон* (1750–1822), прусский государственный деятель, реформатор.

164 «Пророчество из Ленина». Ленин — небольшое местечко не далеко от Потсдама с живописными руинами старинных церкви и монастыря. «Пророчество» было якобы написано монахом Германном в 1300 г., а на самом деле Людвигом Андреасом Фроммом в 1690 г., впервые было напечатано в 1723 г. в Кёнигсберге; направлено против Гогенцоллернов, пророчествуя им гибель в 11 колене.

165 *Король Карл Анжуйский* (1220–1284, король с 1264).

166 *Шеффер-Войхорст (Scheffer-Boichorst) Пауль* (1843–1902), немецкий историк

167 *Маласпина Рикордано* (XIII в.), его «История Флоренции» доведена до 1282 г., его племянник Джакомо продолжил ее до 1284 г. Многие подвергают сомнению подлинность этого сочинения.

168 *Дино Компаньи (Dino Compagni)*, флорентиец, (ок. 1250–1323). Под его именем хроника «Cronaca delle cose occorrenti ne' tempi suoi», была издана в Флоренции в 1728 г. Некоторые исследователи по-прежнему ее считают подлинной.

169 *Гнейзенау (Gneisenau) Август Вильгельм Антон* (1760–1831), прусский генерал и немецкий патриот.

170 Немецкий союз — основанный на Венском конгрессе 1815 г. союз 39 немецких государств, к которому затем присоединились еще несколько, просуществовал до 1866 г.

171 «О, Инсбрук...», одна из самых популярных народных песен, возникших в XVI в. Автор музыки *Генри Изаак* (ок. 1450–1517).

172 Первая строка «Вечерней песни» немецкого поэта *Пауля Герхардта* (1607–1676), автора духовных песен и гимнов (см.: Немецкая поэзия XVII в. / Пер. Л. Гинзбурга. М.: Худ. литература, 1976. С. 61–62).

173 *Кирхер (Kircher) Атаназуис* (1601–1680), полигистор, теолог.

174 *Бопп (Ворр) Франц* (1791–1867), основатель сравнительного языкознания.

175 *Petitio principii*, предвосхищение основания, логическая ошибка в доказательстве.

176 *Мюллер (Müller) Карл Отфрид* (1797–1840), немецкий историк.

177 *Штраус (Straus) Давид Фридрих* (1808–1874).

178 Крысолов из Гамельна. Гамельн — городок недалеко от Ганновера. Сказание повествует, что в июне 1284 г. в город пришел музыкант, который за определенную сумму денег обещал изгнать всех крыс из города, что он и сделал: под звуки его дудки все крысы и мыши убежали из города; но скупые горожане не захотели заплатить ему всю сумму, тогда на следующее утро крысолов явился снова, и за звуками его дудки из города убежали все дети.

179 *Гнейст (Gneist) Генрих Рудольф Германн Фридрих (1816–1895)*, правовед и политик. Его книга: История государственных учреждений Англии / Пер. под ред. С. А. Венгерова. М, 1885.

180 Папа — царь, император, владыка (*итал.*).

181 *Папа Сикст IV*, 220-й папа (1471–1484).

182 Наместник Бога (*лат.*).

183 *Vitae* — жития (*лат.*).

184 Германский, Британский, Парфянский (*лат.*).

185 *Кетле (Quetelet) Ламбер Адольф Жан (1796–1874)*, бельгийский естествоиспытатель и статистик.

186 История жиронды (*франц.*).

187 *Эйнхардт* (ок. 770–840), французский хронист.

188 *Рагевин (Ragewin, Radewin)* ум. между 1170 и 1171 гг., каплан и нотариус, продолжил «Gesta Friderici» до 1160 г.

189 *Руфин Иосиф* (ок. 345–410).

190 У Дройзена здесь описка «1860».

191 *Аделунг (Adelung) Иоганн Кристоф (1732–1806)*, «Pragmatische Staatsgeschichte Europens von dem Ableben Karls VI. an». Gotha, 1762–1769.

192 Век Людовика XV (*франц.*).

193 Пересказывать сказанное (*др.-греч.*).

194 Когда еще было важно каждое слово,

Потому что это было произнесенное слово (*нем.*).

195 *Сепульведа (Sepulveda) (1490–1574)*, испанский историк. «Historiae Caroli imperatoris libri XXX». Madrid, 1780.

196 Исторический и апологетический комментарий об учении Лютера, или Реформации (*лат.*).

197 *Мэмбург (Maimbourg) Луи (1620–1686)*, французский историк церкви.

198 Der deutsch-französische Krieg 1870/71, redigiert von der kriegsgeschichtlichen Abteilung des Großen Generalstabs. Berlin, 1872–1882. 5 Bde.

199 *Швинд (Schwind) Мориц (1804–1871)*, исторический живописец.

200 *Mylius*. *Corpus constitutionum Marchicarum u. Novum corpus etc.* Berlin u. Halle. 1737–1806. 21 Bde.

201 Кстати (*лат.*).

202 Битва под Лейпцигом, так называемая «битва народов», произошла 16–19 октября 1813 г., — решающее сражение союзнических армий в войне против Наполеона.

203 Имперский верховный суд (*Reichskammergericht*) был установлен в 1495 г. императором Максимилианом I, наряду с Имперским придворным советом (тоже в функции суда) находился во Франкфурте-на-Майне; в 1693 г. был перенесен в Вецлар.

204 *Гвиччардини (Guicciardini) Франческо* (1482–1540), итальянский историограф, гуманист. «*Istoria d'Italia*» (1494–1535 гг.). Флоренция, 1561.

205 «Афинская полития» (*греч.*).

206 Земледельцы (*греч.*).

207 Военные трибуны (*лат.*).

208 Как гнев наказывает сам себя, Как любовь вознаграждается страданием (любовь и страдания неразлучны).

209 Эти скульптуры теперь, обычно называют «Умиравший Галл» и «галл и его жена».

210 *Левеэррье (Leverrier) Жан-Жозеф* (1811–1877), французский астроном.

211 *Галле (Galle) Иоганн Готфрид* (1812–1910), немецкий астроном.

212 Реляции (*итал.*).

## СИСТЕМАТИКА

### Область применения исторического метода § 45 (49)

Если в разделе «Систематика» мы должны дать систематический обзор области нашей науки, то здесь возможны всяческие недоразумения, которые нам нужно предвосхитить.

Гёттингенская школа, от Гаттерера<sup>1</sup> до Шлёцера,<sup>2</sup> много занималась этим вопросом, который затем был доведен до некоторого завершения Ремом и Ваксмутом.<sup>3</sup>

В своей исторической пропедевтике, которая была переиздана в 1850 г. Генрихом фон Зибелем, Рем добавил к первой методической части в качестве второй краткий очерк всеобщей истории, полагая, что такой очерк, в основном истории народов и государств, будет самым простым обзором всей области истории. Это все равно, как если бы вместо ответа на вопрос, что такое рыба, нарисовали бы рыбу; но на таком рисунке было бы невозможно увидеть, что у рыбы имеются рыбья кость, холодная кровь, жабры вместо легких.

В 1820 г. Ваксмут в своем наброске теории истории<sup>4</sup> развил старое учение гёттингенцев об исторических элементарных дисциплинах и подлинной исторической науке и т. д. в единую систему дисциплин, которые следуют — как он выражается — «из государства как родового понятия», которому принадлежит человек, и «из свободных действий человека в государстве»: он называет всеобщую и специальную историю, исто-

рию человечества или историю культуры, наконец, философию истории — все с непременными рубриками и ссылками на вспомогательные дисциплины и т. д. Но область исторического исследования и тем самым применимость ее метода определяется не перечнем таких-то и таких дисциплин, да и приведенный у Ваксмута список отнюдь не исчерпывает ни всевозможных и мыслимых исторических дисциплин, ни является чисто исторической природы, как, например, хронология прежде всего относится к сфере астрономии, а география — в основном к естественным наукам.

Здесь необходимо высказать еще одно сомнение.

Мы пришли к выводу, что к нашей науке относится вся огромная область человеческого мира, что сфера применения исторического метода есть космос нравственного мира.

Но этот нравственный мир в своем неустанном движущемся настоящем есть клубок бесчисленных историй, социальных условий, интересов, конфликтов, страстей и т. д. Его можно рассматривать с разных точек зрения: технической, правовой, религиозной, экономической, политической и т. д. На основании таких подходов можно разрабатывать разнообразные науки: политику, юриспруденцию, статистику и т. д. Стало привычным говорить о нравственных науках в противоположность естественным; это название выбрали, чтобы обобщить под одним понятием такие дисциплины, как политика, юриспруденция, финансовая наука и т. д., те дисциплины, которые, хотя и исследуют свою задачу скорее дедуктивно и догматически в тех же областях, на которые претендует и историко-эмпирическое исследование, но пытаются понять в принципе сложившуюся форму этой сферы, каковая есть в настоящем и только в нем проявляет себя во всем своем многообразии и развитии, а затем стараются определить ее правило и систему, в то время как историческое исследование стремится узнать, как это многообразие и развитие возникли. В таком смысле и исторические науки подпадают под наименование нравственных и являются их частью.

Здесь нашим дальнейшим рассуждениям необходимо предпослать еще одно замечание.

То, что мы обсуждали в первой части наших лекций, методiku исторического исследования, полностью находится в рамках форм деятельности нашей науки. Там нужно было описать, каким методом или какими методами должно пользоваться наше исследование, какие задачи стоят перед ним. И хотя мы по разным поводам уже привлекали содержательные моменты, однако мы делали это, чтобы привести примеры и охарактеризовать разнообразие форм и методов, которые нам нужны в зависимости от обстоятельств.

Но такое разделение на формальное и содержательное на самом деле лишь доктринерской природы, лишь теоретическое разграничение, каковое проводит наш рассудок и должен проводить, чтобы овладеть многообразием действительного и изменчивого. Как только мы приступаем к самому труду истории, сразу же оказывается, что содержательное и формальное находятся в непрерывном содружестве и взаимодействии, и надо сказать, в большой мере. Исторический метод является способом рассмотрения вещей, касающихся человека. Один из многих других; но кто мнит, что можно прийти к цели только при помощи этого метода, возможно, путем критики или критики источников, что это единственное оружие историка, тот легко может попасть в сомнительное положение.

Если бы кто-либо взялся написать историю математики со времени Ньютона и Лейбница, как далеко бы он продвинулся со своей критикой и интерпретацией, если бы он не был на высоте сегодняшних математических исследований, чтобы понять, какого достойного изумления уровня достигла эта наука! И те, кто хотят проследить историю этой науки от ее истоков в лице Эвклида и Пифагора — ибо о математике у халдеев мы знаем, можно сказать, только то, что она была — не поймут те странные формулы, в которые греки зачастую облекали свои выводы, например Пифагор в своей теории чисел или Архимед в своей работе о спиральных,

где он рассматривает сфероиды и коноиды, — они не поняли бы их, если бы, не зная хорошо сегодняшние математические исследования, они не умели бы переводить их в понятия и ряды понятий, в которых они сразу же получают свое полное значение для исторического развития этой науки.

И так повсюду. Желаящим проследить военную историю греков и римлян нужно иметь изрядные знания военного дела и военного искусства нашего времени не только потому, чтобы на основе его дополнить то, о чем нет уже никаких сведений из античности, — например, сколько времени требуется, чтобы 10 000 человек перешли мост, или сколько овса, сена надо одной лошади, чтобы она оставалась пригодной для верховой езды, — но и потому, что высокоразвитое военное дело дает нам теперь в руки все те моменты, которые важны для войны и армий, так что у нас на основе наших технических знаний и знания дела как бы появляется возможность поставить такие вопросы, целый ряд вопросов, из которых мы можем сделать вывод, каким иным, каким неразвитым во многих отношениях и т. д. было военное дело в древности, и в то же время каким оно было своеобразным. Тогда кавалерия, как уже упоминалось (с. 256), была без седел, т. е. без стремян, так что всадник не имел упора для удара мечом или копьём, тогда вряд ли лошадей подковывали, следовательно, они быстрее выходили из строя, а так как ездили на лошади верхом только на попоне, тем легче было сломать ей хребет. Далее вопросы продовольствия, получали ли его со складов или путем реквизиции; вопросы о фуражнике, темпе маршей, дисциплине, командовании и т. д. Дошедшие до нас сведения и остатки античного военного снаряжения для нас лишь тогда оживут, когда мы сможем рассмотреть их воочию и подробно.

Даже те, кто настаивает на том, что для нас важна прежде всего политическая история, — не смогли бы исторически разобраться и понять самое интересное и важное в жизни государств, если бы у них не было таких же основательных знаний, как у опытного государ-



ственного деятеля, и они не умели бы оценить все те факторы, которые действуют в живой жизни народа и государства: финансы и экономику, налоговую систему и систему попечения о бедных и прочие тысячи вещей.

Это рискованная сторона наших занятий, которая может привести в отчаяние даже самого отважного, или вернее сказать: мы должны учиться скромности и, как историки, желать работать только в таких областях, где мы полностью компетентны; нам необходимо уяснить, что наша методическая работа получает свое содержание, свою энергию лишь при условии знания дела. И те, кто заявляют, что они изучают историю, пусть задумаются, какие огромные обязательства они накладывают на себя.

### **Что может исследовать история?**

§ 47 (52), 48 (53), 49 (54)

Обе большие сферы эмпирического мира: природа и история не противостояли друг другу как-либо объективно, исключая друг друга. И в мире звезд, в животном и растительном мире можно открывать и наблюдать, помимо периодически повторяющихся изменений, и такие, которые являются неповторимыми и длительного действия, например, гибель некоторых видов животных, которые можно только распознать еще в ископаемых остатках, или падение метеоров, которые тем самым перестают совершать движения во Вселенной по собственной орбите как самые малые небесные тела. И таким образом можно будет и здесь применить слово «история».

Только не в точном смысле, в котором мы его определили и сделали это с полным правом, чтобы из него развить наш метод, метод понимания, который в противоположность методу, объясняющему все механикой атомов, т. е. элементами, которые можно измерить, взвесить, вычислить, восходит к индивидуальному и качественному.

Для нашего метода место атомов занимают акты свободной воли, их действие и их понимание. Или как сказано в § 45 (49): «Областью исторического метода является космос нравственного мира»; наша задача заключается в исследовании этого нравственного мира в его движении, в его становлении и росте.

Согласно вышеизложенному, нам уже не представляется прыжком то, что мы сразу же переходим от актов свободной воли к нравственному миру.

Ибо, разумеется, волевые акты принадлежат свободной воле и решимости индивида, и всякий индивидуум в своем духовном бытии, в своей душе и совести есть замкнутый мир сам по себе, или, как сказано в § 47 (52): «сообразно своему божественному подобию» он должен быть «в конечном бесконечным субъектом, целостностью в себе, мерой и целью самого себя; но не так, как божество, которое есть и исток самого себя; он же должен стать тем, чем он должен быть».

Человек становится человеком только в нравственных общностях; нравственные силы формируют его; они живут в нем и он живет в них.

Он является на свет в уже готовый, ставший нравственным мир, индивидуум, выросший благодаря уходу и воспитанию родителей, осознающий самого себя, ответственный стать свободным, создает для себя «в нравственных общностях и из них в своей доле свой маленький мир, ячейку своего Я». Конечно, только для своего коротенького отрезка жизни; но эти нравственные общности, их задача и восхождение на более высокую ступень, в которые он внес лепту своим трудом, переживают его; эти общности являются великими непрерывностями исторической жизни.

«Каждая общность обусловлена и несомна соседними общностями, в свою очередь обуславливая и неся их; все они вместе — неустанно растущая конструкция, несомая и обусловленная бытием малых и самых малых частиц».

«Строя и формируя» таким образом в своих индивидах и через их волевые акты, «человечество создает кос-

мос нравственного мира». Становление и рост этой конструкции мы обобщаем понятием «история». Мы исследуем эти становление и рост из остатков и преданий, которые нам еще доступны, и при помощи полученного таким образом представления о минувших временах мы углубляем и обосновываем наше бытие в настоящем, познаем его как результат всех этих прожитых жизней. И познание этой непрерывности дает нам импульс, относящийся к сущности воли. Ибо воля ищет и созидает то, чего еще нет, выходит при этом за пределы настоящего момента, чтобы впервые осуществить то, что содержится в представлении, какую-либо цель, идеал, и таким образом осуществить ἐπίδοσις εἰς αὐτό, о котором мы говорили выше.

Исходя из этих моментов, мы можем подразделить нашу систематику на рубрики.

Сущностное содержание нашей науки есть труд человечества, который воздвиг нравственный мир. Этот труд следует рассмотреть по его сущностным моментам, описать их, излагая его аспекты на основании всего его объема.

В основу мы может положить старое Аристотелево деление на четыре, которое по крайней мере имеет то преимущество, что оно практически исчерпывает все возможные моменты.

Итак, мы рассматриваем историческую работу:

- 1) сообразно тем материалам, которым она придает форму,
- 2) сообразно формам, в которых она выражается,
- 3) сообразно тем, кто ее выполняет.
- 4) сообразно целям, которые осуществляются в ее продвижении.

О первых трех я буду говорить лишь суммарно, а четвертая рубрика позволит нам перейти к нашей последней части, к «Топике».

## І. Историческая работа сообразно ее материалам § 50 (55)

В природе человека заложено, что он, помимо своего внутреннего мира, мира мыслей, ничего не создает, а лишь придает чему-либо форму. И ему нужен некий уже данный материал, чтобы, моделируя и формируя из него и в нем, выразить свои мысли и представления, свое воление и возможности.

То, что дано природой и возникло исторически, является для человечества одновременно и средством, и материалом, условием и границей его труда. Чем выше поднимается уровень развития, тем больше становится масса материала, привлекаемая им к своему труду, и вместе с этой массой материала усиливается напряжение и бремя труда.

Данное природой можно рассматривать в двух аспектах.

Александр фон Гумбольдт хотел дать в своем «Космосе» не только энциклопедию естественных наук, как-то существовали в середине нашего столетия, но и попытался изложить человеческое познание и восприятие природы в его историческом развитии, и представить это познание не только в его научной форме, но и восприятие природы в эстетических и религиозных взглядах на природу, одним словом, отношение человеческого мыслящего духа к природе во всех теоретических формах.

Но к нашей задаче относится не только этот теоретический аспект, но прежде всего то, как человек, так сказать, практически относится к природе, т. е. как он изменял, определял и определяет ее, а она — его.

а) Природа  
§ 51 (56)

К первому разряду относятся не только открытия на поверхности земли, исследования ее верхнего слоя с его породами, металлами, залежами соли и угля, с его свайными постройками и погребениями и т. д. Но и одновременно наблюдения, как народы, распространяясь по земному шару, переселяясь и основывая поселения, выкорчевывая леса и осушая болота, изменяли растительность того или иного края, его животный мир и климат. Для нас Италия — страна пиний и каштанов, апельсиновых и фиговых деревьев, возделывания риса и маиса, шелководства. Однако обо всем этом римляне времен войны с Ганнибалом мало что знали или, скорее, ничего не знали. Древнеримская Италия была еще суровым лесистым краем, Ломбардская равнина, где со времени открытия Америки простираются на километры рисовые поля, была еще сплошь покрыта дубовыми и букowymi рощами, где водились кабаны; лишь при императорах в садах богачей появились апельсиновые и лимонные деревья, смоквы и персики; лишь ко времени Реформации стали выращивать настоящее тутовое дерево (*morus alba*, а ранее *morus nigra*) и разводить шелковичных червей, и если сегодня в Сицилии и Неаполе пейзаж характеризуют прежде всего кактус и алоэ, то это американские растения (Виктор Ген. Культурные растения и домашние животные. III изд., 1878).<sup>5</sup>

И так повсюду. Если бы мы могли обозреть те растения и животных, которыми Запад обязан походу Александра, то стало бы понятно, что это событие оказало не менее поразительное воздействие, чем открытие Америки, откуда пришли в Европу картофель и табак, не говоря уж о другом. В свою очередь европейская колонизация принесла в Америку сахарный тростник, хлопок, какао из Индии, кофе из Аравии, культуры, которые там произрастают лучше, чем на своей родине.

Так же дело обстоит и с укрощением и разведением животных, их употреблением в пищу человека и ис-

пользованием их в качестве рабочей силы. Еще во время Аристофана в Афинах петух и куры считались пришельцами из Мидии, а додонецкие голуби — это вовсе не белые голуби Киприды, выведенные в результате длительного разведения. Осел упоминается в «Илиаде» лишь в одном неясном отрывке, а мул часто называется в ней «происходящим из Пафлагонии». Следовательно, в семитских регионах уже знали гибридизацию животных и выведение новых пород путем неестественного смешения.

Такое вмешательство человека в жизнь природы и ее преобразование, несомненно, исторического рода.

Ссылки на этот абстрактный ряд будет достаточно, можно только еще сказать следующее, в каком огромном объеме по мере возрастания научного познания рука и ум человека преобразуют данную природу, как вместе со все новыми открытиями и изобретениями человек превращался в ее господина и мастера.

Какой прогресс от таинства добывания огня — огонь Весты в Риме еще долго сохранял все ритуальные церемонии, показывающие огромные трудности по добыванию огня, — до открытия плавки металлов, закалки мягкой глины в огне! Но к пониманию, что силу падающей воды можно использовать для приведения в движение колеса, сделав тем самым излишним труд раба в ручной мельнице, древний мир, по-видимому, пришел очень поздно. Какие же грандиозные изменения произошли в жизни человека и природы за последние столетия, с тех пор как нашли и применили силу пара, дальнейшее действие электричества, химический анализ и синтез веществ, с тех пор как построили рабочих гигантов из железа, механизмы по передвижению и обработке огромных масс!

Я могу не перечислять различные рассматриваемые в этой главе дисциплины, в которые мы, наша наука и наш метод, вторгаемся, нисколько не претендуя тем самым на что-либо из них. Напротив, география, зоология, ботаника, технология и т. д. признают, что хотя они и особого рода и обладают особым методом, у всех у

них есть один аспект, где они не могут обойтись без исторического исследования и его искусства.

## б) Тварный человек § 52 (57)

Второй разряд, который для нашего исторического рассмотрения представляет нам природа, это *genus homo*, как из него, минуя бесконечный ряд исторических жизней, человеческая природа поднялась до того уровня и многообразия, в каком она пребывает сейчас.

Пусть естественные науки ищут себе оправдания в том, что они, по их мнению, в своих изысканиях идут к началам, истоку рода человеческого, к тому состоянию, когда человек был лишь тварным, животным, а затем, скажем, согласно теории Дарвина о *natural selection*, естественном отборе, лишь стал человеком. В своем методе объяснения сущего, а именно объяснения его как естественного развития, они прибегают к таким гипотезам, которые, впрочем, менее всего согласуются с их похвальбой, что они являются точными науками. Ибо ни исследования природы, ни история не могут эмпирическим путем дойти до начал, не могут доказать ни протоплазмы, ни естественного отбора. Эмпирически мы знаем только, что любой человеческий эмбрион уже имеет специфический человеческий тип, он не есть никакое животное, не встречается ни у какого животного. Но точно так же верно, что в человеке, на какой бы высокой ступени культурного развития он ни был, остается что-то от животного: человек есть и остается чувственно-духовным существом, как бы высоко ни был развит в нем один из этих двух моментов, само это смешение обуславливает и определяет тип исторического развития, которое проживает род людской, и эти прожитые этапы все снова и снова видоизменяют смешение этих двух элементов его природы.

Здесь мы имеем дело с целым рядом дисциплин, которые касаются природы и образа человека и их много-

образия: прежде всего физиология и антропология, далее этнография, учение о различии рас, о распространении рода людского по земному шару. Здесь мы имеем длинный ряд ступеней культурных способностей и культурного развития, которые выступают не только во временной последовательности, но и сосуществуют друг с другом в пространстве, а именно вплоть до совершенно прозябающих и гибнущих племен. Да, кажется, что по мере того, как культуры выходят на более высокую ступень, у таких идущих вперед народов их низшие слои все больше и больше разлагаются, становясь декультивированными, шлаком, не для того, чтобы затем прекратить существование, а чтобы в полуразложившемся состоянии вступить в новые связи и смешения и, может быть, дать новую народную жизнь под новым именем и с новым языком. Так, к темнокожим туземным племенам Передней Азии пришли арийские народы и выработали удивительную санскритскую культуру, а под конец кастово разложившись в себе, подпали под власть сначала вторгшихся греков, затем вторгшихся скифов, ислама, монголов, европейцев; в изумительных философамах безнадежности и отчаяния, сложившихся в религию Будды, они распространили свое внутреннее разложение и безнадежный квиетизм по обширной территории Индостанского полуострова и Китая. А разве не так было с эллинами после Александра? Разве не Тацит нарисовал грандиозную картину начинающегося разложения Рима? Там славяне, здесь германцы привнесли новые элементы в древние культурные шлаки, возникли совершенно новые формации. Было бы нелепо говорить, что это все еще тот же народ индийцев, греков, римлян, хотя во вновь образовавшихся формациях можно распознать некоторые черты как из вновь пришедших элементов, так и из древних и древнейших основных материй. Так, некоторые черты описанных Цезарем кельтов приложимы к французам, но у них можно распознать и германские элементы, которые переплелись с первыми и породили свой новый язык.



Таким образом, мы — и это третье — сможем признать, что какими бы глубокими и прочными ни были характерные типы народов, сами народы как индивидуальные образования, чем выше есть или было их развитие, тем менее они вечны или даже постоянны. Но это значит, что они изменяются настолько, насколько у них есть история, и у них есть история настолько, насколько они претерпевают изменения. Кто хотел бы понять в этом смысле большую экономику народной жизни, перед тем бы встал вопрос: какие народы могут вступать в смешение, перекрещиваться, из каких скрещений возникло более благородное, в каких мулатское, вырождающееся? Какой народный элемент при скрещивании был порождающим, какой воспринимающим?

Как мы видим, во всех таких вопросах, как бы нам в их решении ни помогали естественные науки, по существу, все дело упирается в историческое исследование; историческое исследование важно и тогда, когда предания бросают нас на произвол судьбы, когда имеются только еще остатки, да, возможно, еще языки, происходящие из незапамятных времен, но сохранившиеся в живых языках. Естественные науки, пожалуй, при помощи своего метода не объяснили бы возникновение пестрой разноликости народов земли, которую нам излагают в естественнонаучном плане физиология, анатомия, краниология и т. д., а историческое исследование может доказать, как эти метаморфозы происходили, как они совпадают с Великим переселением народов, с изменением климата и питания, с повышением уровня культурного развития.

Ибо прежде всего важны эти моменты. На примере греческой, италийской античности можно еще, в частности, доказать, как изменялись этнографически суровые племена пастухов и землепашцев лесистых гор, как они вместе с появлением на своей земле чужих растений и животных сами приобретали новый тип. Только при соприкосновении с перенаселенным Египтом в греческий мир пришла чума, только после открытия Америки пришел в Европу сифилис. И лишь в наше столе-

тие англо-индийский импорт принес в китайский мир опиум и вместе с ним ужасное опустошение.

Приведенных примеров достаточно, чтобы показать, как изменяется данное природой *genus homo* и окружающая его природа в движении истории, т. е. в труде рода человеческого.

### в) Формы благоустройства человеческой жизни § 53 (58)

Следующим, что дано работающим людям на любой ступени их развития в качестве материала их труда, являются исторически возникшие формы благоустройства жизни, в которых любой индивидуум оказывается с момента рождения: социальные институты, порядки, хозяйственная и промышленная жизнь, одним словом, все живое наполнение настоящего, которое определяет всех и властвует над всеми и в котором любому предстоит работать над своей долей труда, формируя свой кусочек жизни.

Мы в нашем настоящем, изо дня в день и самым непосредственным образом ощущаем, как мы детерминированы и влекомы тысячью факторов, средств, условий, в гуще которых мы находимся, и благодаря ежедневной прессе, рынку крупного и малого оборота, деловой статистике и т. д. у нас есть много средств быть в курсе этих вещей и согласно этому откликаться на них и принимать меры. Но нам уже трудно представить, как это было 50, 100 лет назад; и все же любое минувшее настоящее вплоть до самых далеких, древнейших времен было аналогичным образом определено и влекомо факторами, каковые тогда имелись и действовали, и нам было бы не разобраться в борьбе Штауфенов, попытках реформы Гракхов, в Афинах эпохи Перикла, если бы мы не постарались понять их во всей их обусловленности деяний, в сложившихся в ту пору обстоятельствах, которые способствовали или препятствовали их историческому труду.

## г) Человеческие цели § 54 (59)

В этой связи речь идет не только о внешних средствах и состояниях. Ни один историк не понял бы крестовых походов, не учитывая мощного церковного движения, которое с момента основания ордена Клюни и великих реформ Григория VII охватило светские сословия. И созданная Кромвелем диктатура, донныне вызывающая изумление, основывалась на том, что он воспринял сильно возбужденный пуританский дух низов и организовал его в демократическую гражданскую и военную структуру.

Великие доминирующие в обществе страсти, дух нации, религиозный фанатизм, вырвавшаяся на свободу ярость угнетенных низов против привилегий и власти капитала, вдруг вспыхнувшие подземные языки пламени, исподволь возникшего и подогреваемого, гарантируют огромный успех тому, кто выступает вперед, произнеся нужное слово и совершая настоящий поступок. Такой исполинский ум, как Наполеон, мог похвалиться тем, что он овладел революцией, и он овладел ею, поняв возбужденные и доведенные до крайности чувства демократических масс, предложив французской нации взамен анархической свободы, которую он у нее похитил, славу, добычу (в покорении пол-Европы) и господство над ней.

Как мы видим, указанные в § 54 (59) моменты можно было бы назвать в качестве исторически возникшего материала для дальнейшего труда истории, и всякий новый значительный шаг в ее поступательном движении по-настоящему способствует пониманию материальных и духовных средств и условий, благодаря которым этот шаг становится возможным. У нас нет особого названия для этого исторического подхода. Ни история нравов, ни история культуры, ни употребляемое Гизо выражение «*histoire de la civilisation*»<sup>6</sup> не включают полностью того, что здесь подразумевается. Но всякий раз, когда пытаются исследовать такой исторический

процесс, как Первый крестовый поход, революция Гракхов или Кромвеля, Наполеона, хотят постичь эти моменты данной исторической институциональности.

Конечно, это и для новых столетий весьма трудно, а для более отдаленных, например раннего средневековья, для большей части истории Древнего мира, уже едва ли возможно.

Было бы также ошибочным, если бы мы, подобно поэту или простому человеку, представляли себе далекое и самое дальнее по аналогии с нашим привычным настоящим, даже точно таким же; но было бы также ошибочным, если бы мы заявили: чего нет в источниках или нельзя установить из остатков, того и не было. Если, как было уже замечено (с. 153), предания, сложившиеся через полвека после Александра, ничего нам не сообщают, кроме истории войн, то не следует думать, что ничего иного в то время и не было и не происходило; можно с уверенностью предположить, что тогда присутствовал весь спектр частной и государственной жизни, и несколько эпитафий показывают нам, как наряду с могучими преобразованиями всех отношений действовало нечто, подобное социально ориентированному и энергично созидательному *despotisme éclairé*<sup>7</sup> XVIII в. И если нам ни одно предание не говорит, что означают нураги в Сардинии,<sup>8</sup> свайные постройки у реки По, в Швейцарии и во многих других местностях, то нам все же понятно, что это были жилища людей, которые защищали себя от непогоды, ветра и врага, которые должны были одеваться и питаться; и какими бы скудными ни были остатки материалов, пищи, утвари, каменных орудий в этих постройках, по крайней мере можно до некоторой степени понять условия, в которых жили тогда люди, и сделать с исторической достоверностью вывод, что здесь речь отнюдь не идет о доисторическом существовании и о доисторических стадиях.

## II. Историческая работа сообразно ее формам

### Нравственные начала § 55 (60), 56 (61)

Мы исходили из того, что историческое исследование и восприятие вещей, относящихся к человеку, есть только *один* особый вид наряду с другими возможностями научного рассмотрения, причем его наипервейшее и непосредственное значение полностью принадлежит настоящему, его интересам и мотивам, заключается в подлинном знании этих вещей, познание и изучение которых определены как раз этими разными подходами, поскольку эти вещи по их сущностному содержанию суть здесь и идут своим путем, независимо от того, воспринимают ли их и исследуют в историческом плане или нет. Но историческое исследование на каждом шагу зависит от их сущностного содержания. Ибо как раз содержание, каковое мы непосредственно имеем в наличии в настоящем, историческое исследование хочет вновь познать и доказать в минувших временах, а именно из преданий, остатков и следов, оставшихся еще в настоящем; и его задача целиком заключается в том, чтобы передать, насколько возможно, эти представления о прошлых временах и одновременно углубить наши знания о настоящем на основе его содержания путем понимания его становления и бытия.

У нашего исследования нет иного пути, чем наблюдать все формы, в которых движется настоящее мира людей, пытаясь неустанно продолжать самоусовершенствоваться, стараясь понять, как они стали таковыми, предполагая, что люди по свойству своей природы всегда двигались в таких формах, хотя и реализуемых всякий раз иначе. В этих формах перед нашим исследова-

нием стоит целый ряд вопросов, по которым оно должно определять свои изыскания, и этот ряд включает все вопросы, поскольку все нравственные отношения занимаются ими.

Мы не раз замечали, что элементы, из которых строится нравственный мир, суть отдельные люди и их волевые акты, но что эти элементы далеко не являются индивидуалистическими в своем роде, абсолютными и абстрактного самоопределения, как это утверждают многие, начиная от Гоббса и Ж.-Ж. Руссо и до сегодняшнего нигилизма, а скорее, напротив, путем многообразного взаимовлияния получают свое содержание.

Сущность нравственных общностей, как κοινῶν впервые с глубокой пронизательностью развил Аристотель; между прочим в первой главе его «Политики» говорится: «А тот, кто не способен вступить в общение или, считая себя существом самодовлеющим, не чувствует потребности ни в чем, уже не составляет элемента государства, становясь либо животным, либо божеством».<sup>9</sup>

Человек нуждается в нравственных общностях с первого момента своего наличного бытия, чтобы защититься, восполнить и преодолеть слабость и беспомощность своего естественного бытия. Только в нравственных общностях он станет тем, чем он становится и должен быть. Он результат этих общностей, стереотипы которых затем наполняют его сердце и совесть, и, будучи нравственными силами, поднимают его над его убогим одиноким «Я».

Эти общности властвуют над нами как нравственные силы, мы чувствуем их власть над нами, примиряя их с нашим чувством самоопределения, познавая их как нравственный долг. Благодаря этому мы пожинаем обильные плоды, познавая и владея в них нравственными дарами, в которых мы видим залог самого благородного, что у нас есть, возможность постоянного восхождения вперед и выше.

Любая из нравственных сил создает себе свою своеобразную сферу, свое собственное движение и форму, замкнутые в себе и неустанно увеличивающиеся, с пол-

ным правом претендует быть живой и действенной во всяком индивидуе, определять и выражать его нравственное бытие в ее сфере. И любая из этих сил предъявляет каждому одну и ту же претензию: он принадлежит своей семье, своему народу, своему государству, своей вере; он может и должен принадлежать одновременно всем и полностью. Ибо ни одна сила не исключает другую, как звуковые волны и световые волны идут параллельно, не мешая друг другу. Он, индивидуум, есть не молекула человечества в том смысле, будто эти атомы, наметанные друг на друга в бесконечную кучу, подобно песчинкам дюн, составляют человечество, а оно является только суммой, обобщением всех этих нравственных сил и форм, и индивидуум есть только в непрерывности и общности этих нравственных сил, только как их соответствующий носитель и работник, только живой член в них, как «рука, отделенная от тела, уже не рука».

Эти общности вследствие чувственно-духовной природы человека возникают либо из его естественных, либо из его идеальных потребностей, либо они представляют собой нечто среднее между ними, либо они родились из тех и других одновременно.

Естественные общности в основном обязаны своим возникновением моменту размножения, т. е. обновления рода в индивидах. Идеальные, духовные общности представляют контраст: они должны как бы определить индивидов по роду и наполнить их тем, что есть у рода общего и обретенного (процесс воспитания и образования). Между теми и другими общностями находятся сферы самосохранения, т. е. постоянное выравнивание духовного и плотского начал.

Не потребность в пропитании, размножении, самосохранении, — таковая есть и у животного, — а то, что эта потребность сразу же претворяется в нравственные формы семьи, труда, права и государства, учреждает эти отношения, превращая их в нравственные силы.

Не потребность издавать звуки, передающие ощущения, придумывать себе в своем бессилии абсолютную власть божества и т. д. вызывает к жизни языки, рели-

гии, а то обстоятельство, что эта потребность превращается в чувственную восприимчивость и общительность, претворяется в общности, образуя идеальные силы. Как видим, одни общности только относительно естественные, другие — относительно идеальные; оба фактора находятся в определенном равновесии или все снова пытаются его восстановить.

## А. Первый разряд: природные общности § 57 (62)

Природными общностями мы называем те, которые определяют человека естественным и, как было хорошо сказано, субстанциональным образом. Ибо внутри этих общностей человек получает, можно сказать, свою predeterminedness, тип своей телесности, точно так же, как и тип своей духовности. В этих общностях он завершается в своей естественности.

Природные общности отличаются от более поздних тем, что только здесь личность приобретает такие определения, которые лежат за пределами их нравственной ответственности.

Рациональное рассмотрение выдвинуло гипотезу, что имелись так или иначе заложенные первичные состояния человечества, что те воздействия, которые оказывают на него климат, пища, ландшафт и т. д., развили одних людей так, других иначе. Более глубокая спекуляция, пожалуй, углубила, устраняя непостижимость начал, прекрасное повествование Ветхого завета в том смысле, что человеческий род выпал из первобытного состояния божественного промысла и что его историческая жизнь теперь — собирание потерянного из его разорванных фрагментов.

Историческое исследование отказывается участвовать в решении поставленной альтернативы. Оно не может ни открывать какой-либо божественный Промысел, ни признать, что климат, питание, ландшафт и т. д. вылепили, как из куска глины, так или иначе



природу человека. Не потому, что наши исследования решили доказать, что нет никакого божественного Промысла; но насколько мы знаем природу человека, он был бы полезен человеку только постольку, поскольку он сумел бы что-либо от него усвоить и переработать. Ибо не божественная мудрость, а труд ради мудрости составляет ценность и призвание человека.

И то же самое говорит наша наука относительно второго предложения. Не потому, что она не понимает значительности таких моментов, оказывающих физическое и физиологическое воздействие, но их влияние имеется налицо лишь благодаря тому, что они воспринимаются, усваиваются, уподобляются человеком, они являются лишь стимулами, раздражителями, условиями, в которых изобретательный человек должен противодействовать им при помощи своего ума, должен упражнять свое тело; упражняясь, он развивает умственные и физические органы, которые ему особенно нужны в таких условиях, как, например, матрос привыкает к такой походке, как он ходит на постоянно качающейся палубе. Не американский девственный лес превратил индейца в охотника, а потому что тот больше всего любил охотиться, он не прорубал просеки в лесу, не учился обрабатывать землю. Как бы иначе появилась наряду с культурой индейцев-охотников культура ацтеков, великие фрагменты архитектурных сооружений которой в Мексике еще и сегодня вызывают восхищение?

Но кто задаст вопрос, почему ацтеки отличаются от индейцев-охотников, негры от белых, древнейшие культурные народы от многих других, еще не достигнувших культуры, от тех, кто начал совершенно иную культуру, то на этот вопрос историческое исследование ему ничего не найдет ответить, только подтвердит, что это так. Пусть другие исследования попытаются объяснить это, но при этом пусть они поберегутся давать такие объяснения, которые могли бы равным образом относиться как к животному, так и к человеку.

В сущности естественных общностей заключается то, что всякое молодое поколение наследовало, вновь

используя, от своих старших их знание, опыт, трудовые навыки, которые те в свое время приобрели путем учебы и опыта. Конечно, не все в равной степени, а среди них были и такие, кто был более внимательным и изобретательным, чем другие, кто, учась, добавлял к старому новое и в свою очередь, передавая по наследству свой опыт детям, мог стать свидетелем, как более умные, сильные, смелые шли дальше него. Невероятно малыми шагами новое присоединялось к новому; постепенно, бесконечно повторяясь, это дало плодотворную почву, на которой произросла более высокая человечность, которая, процветая, создавала все более богатую и плодородную почву. Ибо «давайте и дамся вам» (Лука, 6, 38). Куда только проникает взор историка, там уже давно произошло разделение народов, определены типы их внешности, их языков, их веры, их культурных способностей.

Тем самым мы не объясняем истории человечества, но мы понимаем возможность явлений, которые она представляет. Мы доказываем не то, как могла начаться история вообще, а то, что если она некогда началась, то в ней одновременно с начальным толчком было заложено средство дальнейшего развития. Ибо, раз начавшись, она должна была сразу же в любом последующем настоящем обосновать унаследованное прошлое, а в языке, воспоминании учреждать свое наличное бытие, стоящее выше неустанного потока мгновения, свой душевный, внутренний мир, стоящий над переменчивым внешним миром. Как бы глубоко ни был сокрыт избыток благодати человеческой одаренности, уже в естественных общностях наличествовала некая форма, чтобы в противовес обмену веществ и бегу быстро сменяющихся настоящих моментов создать человечество и удержать его, создать в творении Бога и из него иной мир, который древние мистики называют возвращением творения к Богу.

Старое высказывание, что человек — венец Творения, означает не что иное, как мысль, что нравственный мир должен пронизать и преобразить естествен-

ный мир, что как человек создан по образу и подобию Бога, так и природа отражает образ человека.

Естественные общности являются первой ступенью к этому. Ибо в них только тварное, к которому причастен человек вследствие своей чувственной стороны натуры, возводится в нравственную сферу благодаря серьезному волеию, любви, долгу, верности. Естественные общности превратятся в многочисленные формы нравственного наличного бытия.

### а) Семья § 58 (63)

Если мы начинаем с семьи, т. е. претендуем на то, чтобы она рассматривалась как объект истории, то может сложиться представление, будто это происходит в угоду лишь той схеме, которую мы некогда выбрали. Ибо что общего у семьи с историей? Уже то, что в семье миллионы раз повторяется одно и то же, говорит о том, где ее место.

Легко доказать, что эти соображения ложны. Повторение имеет место даже в отношении государства, но что можно рассказать о государстве готтентотов или эскимосов? В таком случае семья как нравственная единица, как мы ее понимаем, является сама результатом длительного исторического опыта и развития. Идея семьи имеет свою долгую историю.

Впрочем, в истоках семьи заложено естественное стремление полов объединиться для рождения детей. Но с этого первого и самого низкого начального момента она проходит целый ряд преобразований, в результате которых она в конце концов становится самым внутренним выражением нравственной сущности. Ибо мера нравственности выражается в способности самопожертвования личности, в полном растворении ее в общности, членом которой человек себя ощущает и хочет быть таковым. И это чувство сильнее всего и проще всего выражается в семье. Ибо ее члены отказались либо взаимно

от своей личности (родители), либо они еще не стали личностью и должны еще стать ею в процессе долгого труда (дети), либо, хотя они и достигли совершеннолетия, но все же помнят, что они — дети этих родителей, следовательно, чувствуют свою неотделимость от этого тесного сообщества и единства семьи. В этом тесном кругу каждый отдельный член осознает себя через сознание другого и других, он имеет себя лишь полностью в другом, и в этой неисчерпаемой взаимности, любви, доверии, в этой полноте взаимовлияния и душевного движения заключается единство семьи, дух семьи. Конечно, в природе этой первой нравственной общности заложено, что она все время выходит за пределы себя, что дети и внуки основывают сами в свою очередь семьи, и что родственные круги, чем дальше они от центра, тем чаще живут врозь. Но в каждом вновь образованном круге повторяется тот же глубоко значительный круговорот, каждый круг обогатился наследием и благословением родительского дома, у каждого та же новая задача основать замкнутый в себе нравственный мир самопожертвования, самоотречения и верности.

Таким образом, семья является одновременно и самой простой человеческой общностью, и самой совершенной, совершенной настолько, что все иное может быть заключено в ней. Каждый проживает свой маленький неприметный кусочек истории, основывая свою семью. Это — главная, подлинная история его жизни, и такой она остается у него в воспоминаниях. Тысячу раз повторяется одно и то же, и все же для каждого совершенно по-своему и индивидуально, и людям никогда не придется рассказывать о себе во все новых книгах, как выдуманные люди прожили такой кусочек истории. В связи с нашими рассуждениями важно подчеркнуть, как наипростейшая естественная общность, та, которая, кажется, целиком и полностью вырастает из потребности продолжения рода, напротив, возникает и протекает исторически.

Для многих, для большинства людей, вся их нравственная, т. е. историческая жизнь движется в сфере

семьи. В ней сосредоточены их труд, их заботы и радости, все их интересы. Семья для них — их мир, и в то время, как ощущают великие судьбы как нечто далекое и чужое, бытие с женой, детьми и внуками для них все: в рамках семьи, в этом семейном зеркале они видят и ощущают свою жизнь. Это не разрыв с более высокими нравственными общностями. Ибо все общности покоятся на самопожертвовании, верности, воспитании, которые проще и сильнее всего соблюдают в семье. Не для того, чтобы стало и развивалось нравственное бытие, существует семья. Она сама есть произведение прогрессивного нравственного наличного бытия, которое в свою очередь лелеет и возвышает ее самое. Там, где семья здоровая, здоровы и государство, и религия, и все человечество.

Если история путем исследования хочет понять эпоху, государство, религиозную общность, то она должна прежде всего постараться увидеть, какой тип семьи там. Как может быть в многоженстве верность жены, почтение детей? Как может нравственно выражаться сила взаимности там, где значение женщины видят только в рождении детей, например в Израиле, где бесплодную отправляют в дом родителей? Чем выше нравственное развитие, тем интимнее становится моногамный брак, тем заботливее воспитание детей, тем свободнее отношения всех членов семьи в воспитании и любви. Древнеримская добродетель существовала, пока семья была строгой и простой. И в наши дни критерий тот же.

### б), в) Род и племя § 59 (64), 60 (65)

Сама собой напрашивается мысль, что семья, расширяясь, становится затем родом, племенем, народом; и не только рациональная историография прошлого века любила проводить эту мысль, но и во многих сказаниях народов она много раз повторяется.

Естественно, такие сказания ничего не доказывают; если и можно предположить, что род людской произо-

шел от одной пары, а ее потомство через семьи расширилось до родов и племен, то обсуждение такого вопроса выходило бы за пределы любых возможностей исторического исследования.

Но откуда же идут такие племенные сказания древних евреев, греков, германцев и т. д.?

Такие сказания являются просто попытками, если можно так сказать, понять себя и мир. Тот непреложный факт, что род в определенной совокупности и идентичности здесь налицо, отличается от других, ощущает себя иным по сравнению с ними, тот факт, который имеют перед глазами, объясняют по аналогии с разрастающейся семьей, что этот род, это племя были основаны одним предком, одним героем племени, в котором затем видят и почитают тип своей общности. Он — воплощенная идея этого единства, и то, что помнят об истории своей общности, как представляют ее деяния и надежды, переносят запросто в историю героя племени. Он — общее имя, на которое переносится все, что касается тех, кто называет себя по нему, или полагают, что они так называются. Ибо и имя точно так же перенесено на героя. Если в странствиях древних эллинов складывается пестрое скопление из разных народов, называющих себя эолийцами, памфилами, то герой племени называется Эол и т. д. Как видим, это логическое своеобразие процесса. Он обозначает историческое начало. Как это единство, будучи результатом процесса становления, имеется несомненно налицо, так и оно перемещается из конца ряда развития в его начало, а конечный результат становится начальной целью.

Я могу также употребить выражение: понять самого себя. Пониманию мира служит та же самая формула в следующем эпизоде. Люди окружены другими враждебными им племенами, быть может, они покорили или поработили одних, других предстоит еще покорить.

Как и свое собственное, чужое рассматривают также в таких персонификациях, переносят на героев чужих племен ненависть против тех, кого они олицетворяют. Ненависть детей Израиля против Ханаана сводят к

Хаму и его дурному отношению к подвыпившему отцу Ною; не отрицают своего близкого родства с исмалитянами в пустыне, но говорят, что Исмаил, насмешник Авраама, был рожден от египетской служанки и со своей матерью Агарью был изгнан в пустыню, как говорит ангел: «Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него».<sup>10</sup>

Эта тема племен и народов представляет особый интерес, поскольку они явились одной из первых, начальных форм государственного развития и особенно там, где появляются элементы более высокой исторической культуры. Я говорю о так называемом родовом строе (Зибель. Возникновение германской королевской власти. 1844).

Мы знаем много таких форм родового строя. Вероятно, ни в одном случае нельзя подтвердить ни одной действительно родственной общности, но часто можно доказать, что родство лишь контур, лишь схема организации. Там, где она появлялась, был налицо факт большой общности людей, которые, переходя с места на место, завоеывая территорию и поселяясь на ней, чувствовали себя и держались как общность, и именно в этом общежитии образовывали общность, связующую всех. Имеются примеры, показывающие, что такие общности даже не были одноязычными, не имели общего культа, например, среди 12 племен Израиля явно отличались друг от друга настоящие евреи и кочующие с ними вместе египтяне, или дорийцы, завоевавшие Пелопоннес, считали своими родственниками в Гераклидах ахейцев, как об этом было еще известно во времена Персидских войн, а в Элиде — беотийцев, т. е. эолийцев. Вся история германских племен от Цезаря до конца Великого переселения народов понимается в непрерывном движении: все новое беспорядочное смешение выкристаллизовывается во все новых формах родового государства, пока, наконец, королевская власть и церковь, сотрудничая друг с другом, не создают новые формы.

Если в немецких землях встречаются такие патронимические топонимы, как Рейтлинген, Тюбинген, Мей-

нинген; в Аттике — такие, как Бутадаи, Лакиадаи, Холледаи, то понятно, что в этих местах селились родовые сообщества, как и вообще структура деревенских общин сохранилась вплоть до наших дней. Напротив, в земле Дитмаршен рода<sup>11</sup> одного герба были по всей земле, и вся социальная структура основывалась на родах и его ветвях, однако это самый поздний пример древнейшего признака родового поселения у одного племени, о котором точно известно, что оно сложилось не из родственного единства, а из очень разных народов. Если шотландские горцы до 1746 г. вели борьбу, организованные в кланы, то здесь имеет место тот же строй, который описывает Тацит, говоря о германцах (*nec fortuita, conglobatio turmam aut cuneum facit, sed familiae et propinquitates*, Tacitus. Germ. 7),<sup>12</sup> тот же строй, который Цезарь обозначает словами: «*Germani suas copias castris aduxerunt generatimque constituerunt*» (De bell. G. I, 51),<sup>13</sup> где правильно переведена греческая трактовка *κατὰ φυλάς*, точно так же, как боевой порядок у Гомера организован *κατὰ φυλάς καὶ κατὰ φρήτρας*.<sup>14</sup>

Я не буду больше говорить о формах этого древнего родового государства. Мне было важно показать на примерах, что значат племя и род для истории, каковой следовало бы доказать, что в этой второй форме естественных общностей содержится самая большая часть того, что обычно называют естественным государством, понятие, которое всесторонне рассмотрено в содержащей много интересных мыслей книге Штура<sup>15</sup> «Гибель естественных государств», 1812.

Теперь мы продвинемся еще на один шаг вперед. Мы должны были признать, что эти рода и племена отнюдь не обязательно были в естественном, кровном родстве, это родственники не *φύσει*, а *θέσει*.<sup>16</sup> Те среди эллинов, кто похвалялись, что они автохтонные жители Аттики, свидетельствовали категорически, что в их родовое государство были приняты многие чужие рода; мы еще знаем некоторые из них, отчасти это самые именитые. Следовательно, не в роде и племени заложен существенный момент, т. е. разросшаяся семья. Ее сущност-



ная общность возникла в результате сосуществования и взаимоподдержки, т. е. историческим путем. Но эта общность выражается и продолжается в форме родства, т. е. историческое становится естественным, ему верят, и оно продолжает действовать как таковое. Как в естественной общности семьи, так и здесь историческое становление есть подлинно учредительный момент.

Тот, кому человеческое кажется в высшей степени совершенным, только если оно происходит естественным образом, следовательно, кто ставит естественное выше нравственного, может убедиться на этом примере, как он ошибается. Даже племя и род, даже семья не рождаются из пресловутой первозданности: человеческая природа, в любой момент настроенная на нравственное, приходит к естественным общностям только путем какого-либо исторического развития, которое каким бы великим или малым ни было, показывает всегда естественное одухотворенным. Только вырождение, последняя стадия исторического загнивания, производит на свет голую естественность, чистую первозданную природу, пресловутые органические членения и т. п., это явления конца, похотливого старчества.

Мы видели, как семья основывалась на том, что две индивидуальности в своем половом отличии каждая сама по себе недостаточная, отказывались от своей самостоятельности, своего особого бытия и становились взаимообуславливающими сторонами одного нравственного отношения: лишь в этом преодолении естественного эгоистического существования исполнилась цель полов, чтобы тотчас обрести более высокую цель: кормление и воспитание новорожденных. Вот в каких моментах развились единство семьи, общность умонастроения и общие заботы. Домашний очаг, домашние пенаты являются надежным святилищем, которое объединяет всех членов семьи. Но если семья расширяется за счет внуков и правнуков и их семей, хотя всех по-прежнему связывает господствующий авторитет главы семейства, и если бы при этом дети оставались детьми дома, то наступила бы стагнация, при которой нравственные связи сами собой

отмерли бы. Ибо дети должны взрослеть, а не оставаться детьми, и сами когда-нибудь стать отцами и матерями. Подлинно патриархальное состояние было бы исторически самым плодотворным; но оно, продолжаясь, привело бы лишь к расширению отцовской власти, каковое учреждает деспотизм.

Как мы уже упоминали, народы, призванные к более высоким делам, прошли, по-видимому, все без исключения родовой строй, т. е. они не остановились на том, чтобы придать семье абсолютную ценность; а семья, которую обошли более надежные родовые и племенные институты, находит подобающее ей относительно значительное место; она становится элементом целого, которое, объединяя многие живущие по соседству равноправные семьи и их постоянно упорядоченное отношение, является более свободным в своих узлах, но одновременно более надежным в своих формах, дает нравственному движению широкое пространство и иную цель. Так объединяются не принадлежащие по естественному принципу рода, а отдельные рода для совместных целей, как и в случае основания семьи сначала следует обуздать и отбросить резкость индивидуальности, так и они устанавливают свой порядок, довольно часто после взаимной борьбы, которая завершает такое объединение и делает объединенных формально кровными родичами. Следовательно, на место только семейного пиетета, отцовской и патриархальной власти, естественной зависимости и безволия всех других вступает здесь новый момент, право между равными и объединенными, правовое и правомерное участие семей в общих целях и интересах, возможность различий, которые необходимо сглаживать ради высшей цели общности. Здесь уже в полном движении идея права, которая в семье и семейной общности оставалась еще совершенно скрытой и была противна духу семьи. Можно сказать, что подлинно движущим и плодотворным моментом здесь является то, что объединяются чуждые элементы, как, например, в дорийской общине настоящие дорийцы, ахейцы и эолийцы, или в родовом государст-

ве, которое основали германцы в кельтской Британии, где объединились саксы, англ, юты и фризы.

И так дело обстоит повсюду в отношении движения и переселения народов, каковое мы можем обозреть с большой достоверностью. Такие смешения являются в истории живительным и плодотворным моментом, в них складываются новые, прогрессивные нормы.

В историческом развитии форма родового строя оказывается обойденной более высокими. Родовые объединения все больше локализуются, становятся соседствами, появляются общины, центром которых являются место обитания, общинный луг, выпас и т. д. Но тип племенного объединения остается, и имеются многие народы высокой культуры, которые лишь поздно вышли из такого племенного объединения, или никогда не выходили за его пределы, вся историческая жизнь которых движется в нем. Я напому о Древней Греции; здесь живая история продолжается, пока сохраняется эта племенная общность, она отмирает по мере того, как формируется идея национального единства, национального государства и приобретает четкую форму.

Проследить историческое значение родов и племен при помощи намеченных нами прежде подходов было бы одной из самых трудных, но и самых поучительных задач. Это был бы, как я полагаю, метод исторического понимания большого числа явлений, которые Клемм<sup>17</sup> в своей «Истории культуры» (1843) обобщает под понятием «пассивные народы», метод определения исторического места этих народов. Быть может, в этой связи можно было бы решить вопрос, является ли дикость племен галла, тупость австралийских негрито и т. п. состоянием вырождения или естественным состоянием. Я делаю это замечание, чтобы обратить внимание на то, какие важные исследования и решения лежат на этом пути.

## г) Народ § 61 (66)

Уже из вышесказанного проясняется, что сущность народа состоит не в том, что он, как он есть, является произведением природы, а в том, что еще в большей степени он в виде семьи, рода и племени есть продукт исторической непрерывной традиции, однако такой продукт, который, раз возникнув, энергией естественной общности, субстанциональной нравственности охватывает и сохраняет всех объединенных в нем. В народе, как и в других формах естественных общностей, исторически возникнувшее становится врожденной природой людей.

Но как же это происходит? Что вообще кроется за этим понятием «народ», разве не понятие естественного родства тех, кого объединяет это имя — «народ»? Впрочем, в формах, в которых выражается единство народа: язык, миф, телосложение — мы распознаем особый склад общности, который до некоторой степени исключителен. Мы назовем его относительно первоначальным, поскольку мы уже не можем доказать, как он сложился из различных сосуществующих элементов. И если окажется, что несколько народов, теперь далеких друг от друга, объединены некоторой похожестью языка и т. д., то некогда, на ступени их общности, они, вероятно, были единством. То, что есть общего во всех индогерманских языках как в корнях слов, так и в окончаниях, является доказательством первоначальной общности тех народов, которые по языку похожи друг на друга.

Но образовавшееся на этой общей основе различие является также доказательством того, что они ушли от начальной общности и развились в самостоятельные народные формы, как и дети в семье в конце концов основывают свои семьи, но в которых все еще сохраняется тип их семьи, хотя и с примесью новых чуждых элементов, появившихся в результате брака. Как только представители одного народа, отделившись пространственно, перейдя в иную климатическую и ландшафтную

среду, в иные условия естественной и исторической жизни, выделились из прежнего единства, они положили начало новой жизни. И в такой отъединившейся ветви общего племени повторяется тот же процесс.

Чем легче и подвижнее была историческая жизнь этого объединения, тем скорее оно распадалось, становясь новой единицей. Например, в Греции такой раскол дошел до крайности, жители чуть ли не любой долины, любого горного склона чувствовали себя резко отгороженными от ближайшего соседа по диалекту, по религиозному культу, по обычаю и строю.

Где же тогда понятие «народ»? Можно ли назвать индогерманцев, греколатинян, греков, жителей Афин народом?

То, что первоначально было *одним* народом, разделяется на все большее число народов, хотя и с общим основным типом, каковой происходит с незапамятных времен.

Мы узнаем такой тип в расах, в родстве языков, в общности мифологии. Но одновременно нам придется признать, что этот тип *кажется* только естественным и данным, кажется лишь потому, что ни одно исследование уже не может проникнуть в ход его исторических преобразований. Но то, что сам этот тип возник лишь исторически, мы можем заключить из того, что в области истории сам тип, например в его религиозном моменте, можно было изменить и даже вытравить, так что он проявляется только еще в самых слабых отзвуках.

Если мы зададимся вопросом, в чем заключается, по сути, понятие «народ», то мы должны будет ответить, что, хотя в нем проявляется и то и другое, т. е. общий тип и различия, но ни то, ни другое, ни вместе, ни по отдельности не решат этого вопроса.

То, что общее происхождение, первоначально связующее народ, само по себе недостаточно, чтобы воспрепятствовать дивергенции жизни объединившихся естественным путем людей или задержать этот процесс, уже было сказано. И гипотетическое родство само по себе отнюдь не обязательно свяжет снова и без труда

всех принадлежавших друг другу по происхождению, по крови и языку; например, иудейский родовой строй исключил из числа детей Авраама многих — что проделал даже Эберс.<sup>18</sup> Да, именно родовой строй может с равным успехом принимать в себя чуждое, как, например, 12 еврейских племен приняли в себя много «простонародья» из Мицраима. Только путем обрезания у горы Синай согласно закону они становились иудеями.

И вот именно в этом пункте, сдается мне, заключено главное. Именно в законе, в уверенности быть богоизбранным народом объединились и сплотились в народ дети Израиля. Они не являются, а становятся чем-то органически единым, они становятся таковым, поскольку нечто, поначалу исторически смутно присутствующее, в ходе истории претворилось в естественную привычку. Как здесь, так и повсюду сущность народа состоит в сознании, воле единства, какими бы они ни были и в какой бы форме ни представлялись. Это сознание, эта воля единства есть исторический результат, и будучи историческим результатом, народ постигает и охватывает всех членов со всей энергией естественной, врожденной определенности. Естественной, поскольку каждый, являясь на свет, застаёт уже этот результат, получает от него свое субстанциональное наследство. Но, получив такое наследство, он сам в свою очередь становится живым куском и членом в этом теле, в этой корпорации, и нельзя сказать, что он лишь материя и не свободен. Здесь также имеет место соотношение духа и плоти: не плоть порождает дух, не естественный момент — идею народа, народный дух. Эта идея есть исторический результат, и она создает себе форму своего наличного бытия, строит себе национальное тело из людей, которые представляют народ как единое целое только в этом духе, без него они лишились бы сущностной определенности, человеческого существования. Этот народный дух является постоянным, объединяющим, формообразующим. Но он не первоначален, а возник в историческом процессе; он не остается таким, каким он был, а включен в поток истории.

Так сформулированный постулат кажется довольно тривиальным; но он в своем историческом применении в одинаковой степени точен и плодотворен.

Прежде всего форма, в которой складывается и укрепляется сознание единства, является отнюдь не везде одна и та же. История Италии показывает, как медленный рост воинственной городской общины в конечном итоге смог спаять в единый народ и италиков, и греков, и кельтов, затем за пределами Orbis Romanus основать римский народ. Еще один пример, скульптурные произведения Египта совершенно ясно показывают, что в стране Нила жили люди различного цвета кожи и расы — мумии это подтверждают, но все они были переплавлены в один народ благодаря религиозному культу и политической власти фараона. Далее, у многих греческих племен, начиная от времени гомеровских поэм, развилось сознание духовного единства, которое наконец в период аттицизма и в системе образования демократической эпохи вылилось в сильное, напряженное национальное чувство, которое сначала укреплялось в антагонизме по отношению варварского мира.

Такой феномен, что народ сплачивается только вокруг объединяющей идеи, какого бы вида она ни была, делает понятным то обстоятельство, что какими бы смелыми и отважными ни были племена — я думаю о германцах времен переселения народов — они, не способные подчиниться культу единой идеи, могли спокойно жить в историческом движении врозь и развиваться в ряд народов, которые затем не смогли сохранить естественную общность языка.

Но то же обстоятельство объясняет и другое явление, что возникший народ силой новой идеи, появилась ли она вследствие соблазна или насилия, может быть взорван и целиком или частично увлечен в новые общности. Галлы под властью римской идеи стали римлянами; покоренные отрядом романизированных норманнов англосаксы утратили центр своей национальной сущности и т. д. И такой процесс идет в истории неустанно. История без такого неустанного порождения но-

вых народов превратилась бы в болото. Только одного естественного момента национальности недостаточно, он не срабатывает, если у него нет силы, животворной энергии воспроизводить собственные идеи.

Но новая идея, завоевание ли, обращение в свою веру, колонизация или еще что-либо иное, будет тотчас применена для претворения ее во все формы субстанциональности, чтобы стать естественной обусловленностью тех, кто от рождения имеют ее, чтобы связать их со всей энергией прирожденной естественности. Если в старой народности есть еще какая-то жизнь и энергия, то она сопротивляется энергично и плодотворно, и новая идея не всегда побеждает. Идея эллинизма пала перед тупой энергией старых национальностей Западной Азии; язык и право Рима проникли в Галлию, но не смогли перейти Рейн и Дунай, и т. д.

Чтобы оценить этот ход вещей, следует понимать историю в ее всеобщих контекстах. В каждом отдельном случае всякий чувствует, что он имеет в своем народе свое самое святое, свою естественную нравственность, и он имеет право и обязанность всеми силами сохранять его единство и защищать его.

Вышеизложенного достаточно, чтобы показать, с каких точек зрения следовало бы изучать историю народа, я подразумеваю историю этой идеи во всех ее разнообразных формах проявления. Только еще замечу, что здесь каждый отдельный случай бесконечно важнее общей схемы. Эти случаи, обобщенные как история народов, дали бы совершенно иной результат, чем история государств. Ибо только в исключительно редких случаях и та и другая история совпадают, а часть живого движения в истории обоснована в том, что та и другая история постоянно не совпадают, что народ, сознавая свою общность в других категориях: языке, обычае, потребностях — хочет получить также свое государство, т. е. свою власть, а в свою очередь государство, идея власти стремится сформировать принадлежащих ему людей в *один* народ, т. е. в субстанциональную общность.



Мы могли сказать, что только призванные к более высокому народы нашли путь к родовому строю. Его сущностью было до некоторой степени признание имеющегося различия и закрепление его; они всегда завершались движением к действительному полисному государству; так что из некоторых в отдельности равноправных племен возникал один народ, часто в монархической форме, часто в такой форме, что одно племя становилось господствующим над другими, часто в форме военной власти. Племенные различия при этом полностью не исчезали, но они низводились до второстепенных моментов. Разве понятие «народ» не такого вида? Разве это понятие существует не для того, чтобы стать моментом в более высоких общностях?

Время, когда эта идея появилась впервые, хотя и в чужих формах, представляет собой одну из достопамятных эпох мировой истории. Именно в этой области истории вообще начинается наше более или менее определенное знание о ней. В течение четырех-пяти веков та же самая идея утвердилась в буддизме, в греческом образовании, в мессианских упованиях. Эта идея человечества, т. е. познания, что выше естественных особенностей, согласно которым дифференцирован мир людей, стоит единство их духовной природы: эта идея единства, которую принесли в мир буддизм — как отрицание всякой человеческой и естественной особенности, эллинский мир — в форме интеллектуальности и, наконец, христианство, исполняя мессианскую идею, выразило ее во всей полноте положительной энергии, в представлении единства в «царстве не от мира сего».

Идея человечности в учении Будды стала объединяющей для большей половины рода человеческого, но она не ведет жизнь народов вперед, поскольку она была только отрицанием одного из двух факторов, на которых основывается нравственная жизнь согласно духовно-чувственной природе человека. Из единения эллинистического и иудаистского мира родилась положительная и прогрессивная идея человечества.

Эта христианская идея затем подверглась искажениям в двух отношениях. С одной стороны, отталкиваясь от интеллектуализма греческого мира, признали, что царство Божие в основном заключается в теологических понятиях, является как бы казуистикой трудных научных проблем. Это направление вылилось в риторические красоты, засушило Евангелие до такой степени, что народам могло показаться спасением, началом новой жизни возвращение к простому монотеизму и теизму ислама.

Затем на Западе христианская идея «Царства не от мира сего» выродилась в том смысле, что стали рассматривать посюсторонний мир как никчемный, пагубный, злой, бежать которого, по крайней мере отделиться от него, рассматривалось как наивысшее благочестие, следовательно, посюсторонний мир и его царство приписывали дьяволу, как бы другому божеству. Обосновывали дуализм церкви и действительности и, отбрасывая любую внутреннюю связь той и другой, разрушали всякую нравственность. Ибо ее сущность состоит во взаимопроникновении духовного и телесного, в реализации идеального и одухотворении действительного.

Мне не надо говорить, что лишь Реформация преодолела этот безнадежный дуализм или по крайней мере увидела его, чтобы проложить новые пути для глубокой христианской идеи человечества.

Мы увидим, как эта идея положительно работает в высших нравственных сферах. Не в ее природе уничтожать различия народов, но, пожалуй, надстроить над ними общности большего формата, как в народе заключены семьи, чтобы только в таком истинном положении они получили свои полные права.

## Б. Второй разряд: идеальные общности § 62 (67)

Идеальные общности отличает от естественных очень значительное явление. Дело в том, что естественные общности, каковы зависимы от телесности, огра-

ничены ее условностью и пределом, становятся тем свободнее, чем шире пространство они охватывают. Их высшая энергия заключена в самой телесной, чтобы не сказать, в самой низшей и тем самым исключительно тесной оболочке, в то время как идеальные общности, коренящиеся в бесконечной деятельности духа, становятся по мере роста богаче и жизненнее, и их рост убыстряется, когда у них в качестве τέλος<sup>19</sup> их общности появляется нечто более высокое и, наконец, наивысшее, абсолютная целостность.

Отсюда могло бы создаться впечатление, что я — отталкиваясь от последнего выражения — подразумеваю как наивысшую идеальную общность церковь. Это утверждение содержало бы предпосылку, что любая из упоминаемых здесь идеальных общностей вообще должна быть доказанной в форме какого-либо института; что, следовательно, в отношении науки можно говорить лишь о школах и университетах, относительно сферы прекрасного — о художественных академиях и школах и т. д. Однако это не так: институты, каковые, впрочем, могут быть связаны с идеальными общностями, относятся к другому разряду. Но как для семьи главным было не имущественное состояние, так и институциональность не является реальной основой идеальных общностей. Касательно последних речь идет лишь о духовной общности и ее неприметном творчестве. Именно общее дело, за которое берется каждый, чтобы внести в него свою долю труда, далее общее пользование, в котором участвует каждый, чтобы самозабвенно и самоотверженно достичь своего самого лучшего и подлинного, это есть бесконечное в конечном, непреходящее в преходящем, вечная цель, λόγος, Бог в человеке, непрерывное творение согласно принципу «давайте и дастся вам». В идеальных, духовных в своей основе общностях прекрасного, истинного, святого душа человека, отдавая и получая наискровеннейшее, становится свободной от своей границы и малости, и внутренний свет озаряет ее.

Уже было сказано, что творение Создателя — все, что мы видим на земле — завершено, у всего земного теперь

есть свой порядок и свой закон, оно продолжает свое движение согласно механическим и физическим законам, сохраняясь благодаря установленному Творцом порядку. Но понимание и осмысление этого творения и его порядка, высказывание и выражение этого чувствования и мышления есть дальнейшее созидание, но не материи, а форм, и оно не враждебно первому. Ибо творение Бога приняло здесь иную, более высокую форму, Бог создал человека по своему образу и подобию так, что человек продолжает творить, моделируя новые формы. И человек продолжает творить себя через λόγος, всякий раз создавая в любой личности мир мыслей, нравственный мир и свое повторение, свое новое начало.

Эта творческая энергия человека заключена в λόγος; она возникла и возникает в идеальных общностях, продолжая через них повседневно оказывать воздействия на другие сферы: в них есть история истории.

Ради такого их значения идеальным общностям надо было бы отвести в нашей систематике место после общностей практического мира, каковые являются их исполнением. Но одновременно они и их предпосылки, и условия. Вообще следует заметить, что наша систематика не собирается признавать своей хронологическую последовательность формообразований, которые она обсуждает, а считает, что все они в любой момент действуют одновременно, и одновременно каждое из них обусловлено всеми другими.

#### а) Язык и языки § 63 (68)

Первой и самой непосредственной из идеальных общностей мы считаем язык. Бесспорно, прочие создания не говорят потому, что им нечего сказать. Язык есть выражение Я-бытия, которое подобает только человеку. Ибо он есть не абсолютная, а лишь относительная целостность, которая понимает самое себя как Я, которая движется в себе, т. е. думает, сравнивая и раз-

личая, высказывая суждения и делая заключения. Язык есть не мышление, а чувственное выражение мысли, но мышлению он необходим так же, как тело духу. Ибо конечный дух есть только в своем органе, имеет себя как Я, лишь выражая себя в этом органе и при помощи его. Таким образом, язык существует и необходим мысли. Он есть тонкое самосотворенное тело мыслящего Я; только в языке мы думаем.

Как же мыслящий дух создает себе язык? Душа воспринимает через органы чувств из внешнего мира впечатления и, создавая эти впечатления, она в свою очередь выражает их чувственным образом. Душа, по прекрасному образу Платона, есть роженица, мысль, которая в ней зачата, должна появиться на свет, и, вырываясь из материнского чрева души в виде слова, разрешает душу от бремени и освобождает ее от родовых мук.

Во-вторых, следует задаться вопросом, почему эти звуки обозначают именно это представление. Теория простого звукоподражания ничего здесь не объяснит. Напротив, здесь имеет место более изощренный мимесис, сущность которого заключается в переводе одного чувства в другое. Полученное от луча света впечатление отдается звуком, произносимым устами; таким движением воздуха, словно дуновение ветерка, душа повторяет движение полученного ощущения. Аналогичным образом любое ощущение, любое полученное впечатление переводится в комплексы звуков, т. е. совершается мимесис, который сам по себе может быть весьма субъективным, притом до такой степени, что, например, танцовщица исполняла перед Александром танец разрушения Трои, или баядера — танец весны, т. е. как она ощущала весну. Эти ощущения она перевела в телодвижения, она танцевала ее, и кто понимает, знает своеобразный язык танца, тот хорошо поймет, почему она именно так танцует весну, тот угадает ощущения весны, выражаемые в движениях тела. Таким мимическим, по моему мнению, является язык.

Но язык должен выразить не только отдельные представления. Речь есть отзвук впечатления, если наше Я об-

ладает потенцией, т. е. той энергией, которая принимает единичное в эту относительную целостность, разлагая его, комбинируя, накладывая на него отпечаток этой относительной целостности. Следовательно, душа, когда она говорит, не только отзывается эхом на полученное впечатление, но и одновременно дает свою редакцию и трактовку его. Речь души заключается в том, что она отмечает как объект впечатления его разнообразные отношения, как отдельные представления категории внутренней связи, в которой наше Я их облакает; и выражение этих отношений и категорий она находит вновь таким же миметическим образом, как и выражение понятий.

Каким бы большим ни было различие между языками относительно их гибкости и развития, любой язык обоснован в этом своеобразном миметическом процессе, который, если даже он сформировал только скудный начальный набор звуковых комплексов, затем продолжает развиваться в аналогиях, метафорах, комбинациях, во все новых поворотах ума. И в любой дальнейшей форме душа чувствует выражение соответствующей мысли. Весь мир идей излагается в языке. Любой язык, богатый или бедный, есть полное и совершенное в себе мировоззрение. Никто не может выйти за пределы, поставленные ему языком, и думать иначе, чем заставляет его думать его язык, и его язык может высказать все, что он думает. Общность языка есть общность мышления, язык есть дух народа.

И вот в этом мы видим глубокую предоснову, которая заложена в исторической природе языка.

Вероятно, любой язык предоставляет возможности совершенного выражения мыслей, для которого и которым он сформулирован. Но что касается гибкости, подвижности, живости, между языками существует огромная разница, и раз сложившийся язык для того, кто принадлежит к этой языковой общности, есть граница, которая, хотя и становится менее четкой, но никогда не будет стерта.

На форму, в которой это проявляется, мы должны обратить особое внимание.

Если представления и их отношения нужно озвучивать в языке, то для этого имеется ряд всевозможных систем (Шлейхер.<sup>20</sup> К вопросу морфологии языка, 1859). Я не буду перечислять разнообразные, сложившиеся таким образом языковые формы. Историческое исследование не может показать, как произошло, что одним народам досталась именно эта форма языка, а другим — иная. Но если еще можно распознать, что и флексии индогерманских языков являются всего лишь слиянием первоначальной агглютинации, так что представления и категории здесь некогда существовали как самостоятельные слова и только постепенно развились в живую флексию, то мы будем вынуждены допустить, что праязыку этого племени, каковой еще можно распознать, уже предшествовал ряд связующих звеньев.

Если это наблюдение верно, то, по-видимому, этот цикл языков проделал сначала развитие, которое от агглютинации, даже, может быть, от односложных корней поднималось к высшему и живому взаимопроникновению и слиянию, к тому исключительному богатству форм, которое дает возможность комбинировать представления и их отношения и которое почти полностью представлено в санскрите, старшей дочери<sup>21</sup> праязыка. С него начинается шлифовка и разложение языка, с каждой новой языковой ветвью он все больше изменяется. Каждое новое поколение удаляется все дальше от богатства и красоты этой матери, становясь беднее формами, менее глубоким, обыкновеннее.

Сравнительное языкознание познало законы этих изменений. Оно по праву сравнивает себя с естественными науками, ибо его наблюдения связаны с изменениями, которые относятся к физиологии произношения звуков. Но оно поступило бы весьма неправильно, если бы оно стало искать в физиологических мотивах основу этих изменений и их законы. Нельзя объяснить физиологическим путем ни движения от агглютинации к флексии, ни нисхождение с достигнутого совершенства, ни перехода от сильного к слабому спряжению, ни даже постепенной деструктуриализации языка, воз-

вращения к новому разложению понятий и отношений. Этот упадок языка относительно его только языковой — я бы сказал телесной — стороны является, с другой стороны, прогрессом: с продвижением вперед идейного наполнения чувственно жизненная энергия и самозначимость выражения должны отступить на задний план; язык уже не может как бы сам по себе продолжать сочинять и думать, его следует обуздать, сделать точным, он должен стать общепринятым.

В таком смысле самый совершенный язык есть тот, на котором говорит математика; разве только что став таким полностью нейтральным, он, так сказать, в этой идеальности отмирает.

Шлейхер признает, что органическая деятельность языка, т. е. его полный расцвет, начинает отмирать там, где начинается историческая жизнь, что они относятся друг к другу антагонистически. В это положение следует, пожалуй, внести значительные оговорки: антагонизм природы и истории здесь неверно понят, ибо язык и до того высокого расцвета уже есть историческое явление. Чем богаче он становится в выражении мыслей, тем сильнее у него потребность умерить бьющее через край формальное богатство, упроститься, стать прозрачнее. За то, что он теряет в формах, он получает богатую компенсацию со стороны развития синтаксиса и усовершенствования его, в котором он учится обозначать категории точнее и логичнее. И в этом прогрессивном развитии он получает совершенно новые сферы, которые, так сказать, мыслящий дух только теперь открывает, создавая себе выражения, которые сами становятся живой историей языка: лексика, а не грамматика теперь показатель движения языка. Два столетия назад в сфере нашего языка еще совсем не было понятия цели. Язык искал его в таких синтаксических формах, как союзы «damit, auf daß, um... zu».<sup>22</sup> До тех пор, пока, сдаётся мне, Якоб Бёме<sup>23</sup> не употребил гвоздь в центре мишени «Zwick» или «Zweck» как образ того, куда целились. Подобное было и в греческом языке. Лишь Аристотель точно сформулировал понятие



цели, рассмотрев его как τέλος, λόγος, τὸ οὐ ἔνεκα<sup>24</sup> и т. д. Это понятие встречается уже у Платона, но он знает его лишь в форме τὸ καλόν, τὸ ἀγαθόν<sup>25</sup> у него еще это понятие как бы имеет прямое значение, еще не содержит момента назначения движения, т. е. понятие цели заключено в нем еще не полностью. И если мы теперь, читая Платона, дополняем его выражение привычным понятием цели, то мы добавляем кое-что, чего еще не было в его языке и мыслях.

Между прочим, я привожу эти примеры и потому, чтобы стало понятным, что история языка не может завершиться, скажем, развитием и разложением форм, что она от них должна идти дальше к синтаксису и развитию словарного запаса, что лишь в этом продолжении можно увидеть, как мнимое отмирание языка относительно развития форм компенсируется путем нового, более богатого образования выраженных синтаксически отношений и расширения запаса слов.

Но на этом пути языки приходят к своеобразному пункту. Некогда их общим выражением были живо воспринимаемые отзвуки впечатлений, и простые корни с понятной внутренней формой развивались, объединяясь и взаимопроникая друг в друга, по мере увеличения и развития впечатлений. Язык продолжал складываться, как говорится, органически, пока его воспринимали только на основе корней. Он состязался с подвижным миром новых впечатлений, создавая все новые, часто удивительно замысловатые и наивные комбинации корней; образуя все новые выражения, он развивался как свободный мимесис реальностей; он следовал за ними как бы благодаря своей собственной жизненной энергии. Но именно в таком развитии новые образования постепенно заглушали старые корни, внутренняя форма корня блекла. Если еще к тому же язык подвергался внешним потрясениям, — например, такие потрясения положили начало романским языкам, — то как бы произвольно удерживалось выражение, изменившееся до неузнаваемости, только еще совершенно внешне обозначающее ту или иную вещь. Мы

еще понимаем, что слово «Brache» происходит от «brechen»<sup>26</sup> и обозначает «пар», т. е. еще не полностью вспаханную, а лишь перепаханную для отдыха землю. Француз же не воспринимает в словосочетании «terre friche»<sup>27</sup> что это стяжение выражения «terra fractivia»<sup>28</sup> и уж тем более не понимает, что «friche» связано с «fragile»<sup>29</sup> «fraction», и ему не приходит на ум, что «frange, fregi»<sup>30</sup> как бы одно и то же слово; для него его «terre friche» как бы само по себе, без всякой связи в мире; оно могло бы точно так же звучать, как «абракадабра», так мало внутренней связи он ощущает при этом слове. Он ежедневно читает свой «journal»<sup>31</sup> и знает, что это слово связано со словом «jour»,<sup>32</sup> но что слова «lundi, mardi» содержат то же слово «dies»,<sup>33</sup> как и «diurnus», «diurne», он не осознает. И, таким образом, для француза весь его язык привычный, он имеет его в наличии по большей части как бы в мертвых кусках, которые уже не пускают корней и побегов. Если он сочиняет и думает, то он составляет эти куски подобно мозаике; самое большее, что он может создать красоту и блеск внешнего звука и соли каламбура. Сам же язык уже не сочиняет и не мыслит. Но мы бы весьма погрешили против истины, сочтя его по этой причине отжившим свое время старцем. Напротив, французский язык, принеся в жертву корневую эластичность и цветущую красоту, получил взамен остроту, определенность и синтаксическое изящество, которые в иных отношениях дают ему исключительные преимущества. Его легче выучить, он более объективен, прежде всего свободен от всяческой произвольной чувственности, от всякой не зависимой от желания говорящего значительности.

Я говорил, что язык приближается к голой формуле. Разве не является в конце концов математическая формула для некоторого круга мыслей языком самой совершенной точности? Конечно, язык математики есть такой язык, который, будучи совершенно нейтральным, не имеет ничего общего с цельностью нашего Я, а воспринимается им лишь как сугубо профессиональ-

ный язык математического мышления, подобно тому как при разделении труда индивидуум становится механизмом своего профессионального занятия.

Я не буду продолжать эти рассуждения, ибо наша задача не в том, чтобы обсуждать историю языка и языков, а только обозначить, каким образом идеальные языковые общности приходят к своей истории.

## б) Прекрасное и искусства § 64 (69)

Уже Аристотель замечает относительно поэзии, что она основывается на понятии  $\mu\acute{\iota}\mu\eta\sigma\iota\varsigma$ . Это относится в одинаковой степени как к любому искусству, так и языку.

Только не следует понимать так, как будто греческое здание с колоннами потому художественно, что оно  $\mu\acute{\iota}\mu\eta\sigma\iota\varsigma$  деревянного строения, или готический собор потому, что он имитирует высокоствольный буковый лес, и т. д. Такое объяснение было бы не лучше, чем если бы свели язык к звукоподражанию.

Всякое искусство хочет показать прочувственное идеальное содержание максимально соответственным образом, и его изображение есть  $\mu\acute{\iota}\mu\eta\sigma\iota\varsigma$  того, что оно хочет выразить. Искусство есть наполненность души, а мимесис есть техническое, т. е. «как», способ выражения.

Готический собор есть мимесис, имитирующее выражение глубоко прочувствованной цели, присущей этому строению. Все глубоко прочувствованные великие моменты, как то, что в этом храме вместилище святого, что в нем возносятся к небесам благочестивые молитвы и т. д., создают то настроение души, которое находит свое миметическое выражение в торжественности и великолепии храма, где все конструкции устремлены ввысь и остроконечные шпили теряются в облаках. Материальное и материя полностью растворяются в этом движении души, как будто они уже не имеют ни тяже-

сти, ни телесности. И любое музыкальное произведение есть точно так же мимесис того, что волнует душу: самое сокровенное, совершенно идеальное движение ищет какую-либо форму ощутимости, чтобы выразиться, и оно находит ее в причудливом движении звукового ряда. Таков и танец, который танцевали греки; когда Таис танцевала разрушение Трои, а баядера весну (ср. выше, с. 328), то движения ее тела являлись имитирующим выражением того, что чувствует взволнованная душа. Что значит танец в чередѣ движений, тем одномоментно является статуя, и т. д.

Как мы видим, искусство есть речь людей, но речь не мыслей, а чувств; перевод воспринятых возбуждений не мыслящему, а чувствующему Я другого и других; выражение того, что волнует душу, в которой в полную силу заявляет о себе то, чего нельзя понять в рациональных формах мыслимых представлений и категорий. В художественном мышлении отсутствует логика, оно полностью принадлежит чувству и фантазии. И если художник использует в качестве материала своего мимеса сам язык, то ему нужны слово и мысль как средство выражения сокровенного чувства, которое волновало его душу, чтобы высказать невысказуемое. Поэтому в поэтических произведениях не мысль, не рассудочное содержание приводит нас в восторг, а дыхание красоты, чувства, идущего из глубины души; нечто, каковое мы ощущаем, но не можем выразить словами. В «Гамлете» Шекспира нас восхищает не мораль, которую, по мнению Гервинуса, преследовал поэт, а то, что, наблюдая за всеми действующими лицами пьесы, мы ощущаем ту глубокую серьезность, ту меланхоличность мысли, каковой объята душа поэта. Можно сказать, Шекспир создал фрагмент мировой истории, чтобы высказать то, что его волновало. И Бог дал ему сказать то, что он чувствовал.

Но что бы ни волновало художника, высказывая свои чувства и давая им выход, он возбуждает также и слушателей и зрителей, как бы его чувства ни были далеки нам — что нам Гекуба.

Благодаря тому, что все донесено до нас так прочувствованно, оно нас по-человечески трогает. Не абстрактное слово, не внешний факт, а человечески прочувствованный образ захватывает нас, потрясает нас. Ибо он будит и волнует нашу фантазию, тот бередящий душу хаос идеальности, который, подобно вулканическому пламени в недрах земли, связан и окутан жесткой, застывшей корой привычки и рассудочности. Но разбуженная фантазия, вызывая бурю чувств, освобождая все страсти, укрепляет все силы души, снимает все преграды на пути воспламенившейся творческой энергии. Из такого душевного волнения у художника родилось его произведение, и оно вызывает то же волнение у зрителя и слушателя. Когда Таис прекрасно исполняла свой танец, Александр схватил горящий факел с алтаря и швырнул его в кедровые панели обшивки дворца Персеполя.

Таким образом, в сфере искусства складывается общность подобно той, каковую народ имеет в языке. Художники показывают своему народу его самые подлинные чувства, придают им типическое выражение; как говорит Геродот о Гомере и Гесиоде: они создали для греков их богов.

Искусство должно передавать не только то, что чувствуют, но прежде всего, как чувствуют. В искусстве с самого начала складывается общность стиля. Стиль есть определенный способ мышления, как бы определенный вид художественного мышления, который затем охватывает все формы художественного творчества вплоть до ремесла. Этот вид художественного мышления связан с самым глубоким мировосприятием народов, эпох, есть их самый точный отзвук, их идеальное выражение. Необычным индийским скульптурным и архитектурным произведениям можно найти соответствия в образах их великих поэм, в немереных и переизбыточных системах их философов. Пластический тип с его статичностью и четко очерченной живой мускулатурой пронизывает все образы эллинского духа. Стиль немецкой архитектуры повторяется в других жанрах искус-

ства вплоть до мельчайших орнаментальных деталей: причудливый, многозначительный гротеск, стремление в нетерпеливом движении как бы вырваться из художественной плоскости и т. д.

Победа новых художественных стилей знаменует великие глубокие перевероты в мировоззрении. Такие великие духовные революции приводят народ к новой стилевой манере, в этих революциях со всей очевидностью возвещали о себе совершенно новые элементы жизни, выступали на арену истории совершенно новые слои народа. Например, в движении крестовых походов, вовлекавшем в себя все новые слои, германский стиль победил романский; или в преддверии Реформации возвращение к классическому, так называемому стилю Ренессанс положило конец так называемому готическому стилю. Если такое происходит, то это означает, что созрело совершенно новое мироощущение, которое, стремясь выразить себя, ищет новый стиль художественного мышления, новый вид мимесиса. Таким образом, когда стиль Ренессанс вступил в процесс быстрого одичания, обозначившийся уже в творчестве Микеланджело, духовное содержание, глубоко преобразившееся в ходе Реформации, развило совершенно новый музыкальный тип, являющийся с тех пор доминирующим стилем Нового времени.

Так и идея красоты пережила много этапов развития, становясь свободнее, духовнее; и, при всем восхищении пластической красотой греческого мира никто не станет отрицать, что путь от нее к несравненно более душевной красоте живописи, еще более сокровенной красоте музыки является огромным прогрессом; прогресс, который поистине можно проследить и в сферах искусства, материалом которого являются слово и мысль.

Я не буду вдаваться в различные специфические особенности истории искусства. История искусств делает еще первые шаги; она все еще исследует только специфику отдельных видов искусства, как, например, Куглер, обобщая историю архитектуры всех времен, не находит никакого иного момента, связующего архитек-

турные сооружения мексиканцев и греков, индийцев и европейских народов средневековья, кроме развития архитектурных форм и конструкций. Мнение Винкельмана было несравненно более глубоким, когда он обобщил все античное искусство с точки зрения пластического идеала, что побудило филологов, прежде всего немецких, пересмотреть всю греческую античность вообще и исключительно — что, пожалуй, было уж слишком — под углом зрения этого пластического идеала; это направление достигло своей вершины в лице О. Мюллера, особенно в его археологических изысканиях.

История искусств находится еще в начале своего пути. Чем дальше она проникает в суть искусства, развивая все больше новых моментов, новых подходов, тем скорее она подойдет к тому, чтобы изучать идею прекрасного не только в изобразительных искусствах, поэзии или музыке и т. д., а познавать их единовременное движение; и она будет познавать это движение лишь по мере того, как она будет учитывать и прослеживать его внутреннюю связь со всеми другими движущимися идеями. Идея красоты в равной мере будет продвигаться вперед как познанная красота идей.

## в) Истинное и науки § 65 (70)

Может показаться большой дерзостью обобщать в одной главе те бесконечно обширные области, которые мы по праву и с гордостью именуем областями науки. Но название этой главы, как я полагаю, содержит самую сердцевину научной жизни, великого нравственного сообщества, которое, хотя и не все в нем заняты, становится для всех благодатным и которому все причастны зачастую самым удивительным образом.

Что Бог есть истина, является глубоким *догматом* нашей религии. Человек не есть истина, а отпечаток ее; у него есть идея истины, и в его поисках истины эта идея развертывается во все новых и более смелых от-

крытиях. Но эти поиски имманентны человеку и заложены в сущности духа, который должен замыкаться в себе, быть Я, иметь себя как целостность.

По отношению ко всем реальностям, внешнему миру, существам одного с ним вида, своему собственному наличному бытию в пространстве и времени наше Я имеет покой бытия *с самим собой* только тогда, когда оно понимает все те меняющиеся и колеблющиеся явления как лежащие на периферии и соотнесенные с собой, определенные из себя, как явления некоего содержания, важного для него. И понимая их таким образом, конечное Я становится выше своей брэнности, а именно чувством, подлинностью некой целостности, которая есть истина.

История идеи истины начинается в незапамятные времена, можно было бы сказать, с первого произнесенного слова. Ибо, произнеся это первое слово, человеческая природа показала, что она не обречена, как животное, выражать себя в слепом крике, междометии, а различает, познает и, как говорится в книге Бытия, дает свое имя вещам: «Ибо как человек их назовет, так они и должны называться» (Бытие, I, 19). Бог их создал, а человек назвал. В языке человек приступает к делу *своего* творения; из имен, т. е. понятий вещей, человек строил свое творение.

Группе («Антей», 1831),<sup>34</sup> выступая против спекулятивной философии, пытался доказать, что она ошибается и не может не ошибаться, не учитывая того, что понятия, каковые дает язык, не идентичны тому, что они обозначают, следовательно, что развитая в словах и идеях система не совпадает с реальностями. Мнение, подобное материализму, само себя бьет, ибо по крайней мере слова и мысли Группе имеют то свойство, что они ничего не говорят и не соответствуют тому, о чем он говорит. Здесь можно было бы возразить, как и Карлу Фогту<sup>35</sup> и Мошотту,<sup>36</sup> что их мнение о том, что ум, мысль есть-де лишь функция секреции головного мозга, само является потением мозга, притом болезненного.

Конечно, не вещи, каковые вне нас, суть истина, и не те, каковые мы ощущаем чувственно. Ибо сами чувст-



венные впечатления совершаются в той части нашей природы, которая живет в хаосе обмена веществ. Лишь благодаря тому, что наше Я выделяется из этого периферийного обмена и коловращения и, мысля и познавая, утверждает себя как новое начало, выкристаллизовывается истина, т. е. сознание того, что есть в обмене вещей долговечное, определяющее, не внешнее.

Я говорю это, чтобы показать и в этой сфере становление идеи, о которой идет речь, тем самым и ее исторический момент. Одновременно мы познаем, что, следовательно, постоянная непрерывность труда здесь есть и продолжается, что любое раз полученное познание фиксируется и откладывается в сознании человечества, что община сведущих и стремящихся, в которой каждый должен добавить пусть даже одну песчинку в великое строительство и, чувствуя себя в общности, сохраняет добытое, чтобы продолжить строительство.

Эта общность истины связует не только сведущих и стремящихся. Она одновременно есть потребность в постоянной и живой пропаганде, и она старается бескорыстно оделять других своим богатством и расширять его. Кажется, это богатство становится тем драгоценнее, чем больше она отдает другим. Наука, великая или малая, складывается в учение и учебно-наставление, в те общности и институты, которые, служа этой идеальной цели, пытаются развить из нее свою форму и порядок.

И далее: этим общностям недостаточно только удерживать это абстрактно познанное и одаривать им других. Они одновременно стремятся установить связь с непосредственными реальностями, со всеми отношениями человеческого наличного бытия, направить на них всю мощь своего идеального влияния, возвести их, насколько возможно, в сферу познанной истины. И чем живее эта связь, тем более глубокое и широкое воздействие она оказывает, чем полнее реальности и сумма познанной истины взаимопроникают друг в друга, тем свободнее и мощнее становится свободное сообщество в деле образования.

Я полагаю, что таким образом наметил подходы, которые важны для исторического исследования в этой

сфере. Я должен остановиться еще на одном пункте, чтобы перейти к следующему.

Напомню высказанные ранее соображения (§ 14 «Очерка») относительно трех возможных научных методов. Мы признали, что место исторического метода между чисто идеалистическим и чисто материальным; но любой из этих методов нуждается в других, обуславливает и предполагает их.

Ибо вселенная, которая возбуждает нашу жажду истины, тем сильнее, чем больше мы ее утоляем, находится как во внешнем бытии вещей, так и в неустанно парящих сферах нравственного мира, который, будучи телесным, принадлежит одновременно этому внешнему бытию вещей, а будучи духовным — трансцендентному порядку. Но о нем, о сверхчувственном мире, мы ничего не знаем по опыту, кроме того, что из него открылось нам в сферах нравственного, т. е. исторического мира, что было познано, разработано историческим методом.

И все же этот вопрос, вопрос об абсолютном и божестве, есть то, что сильнее всего постоянно волнует род человеческий. Тело не так страстно жаждет и ищет пищи и питья, как мыслящий дух ответа на этот вопрос, скрывающий для него тайну о самом себе. Впрочем, можно сказать, всякое человеческое стремление к истине, как бы оно ни углублялось в природу, в историю, всегда нацелено на эту последнюю и глубочайшую мысль, сводится ли оно к фатализму или материализму, или доходит до отрицания Бога; само это отрицание есть лишь иная форма решения этого вопроса и признание его содержания.

Как мы видели, спекуляция движется в той же сфере абсолютной цельности; что она, все равно — теософической или философской природы, пытается понять и развить абсолютное как истину и лишь в методическом плане есть разница, когда теология, исходя из эмпирической точки, отрицает, что она есть только теософия.

Св. Августин<sup>37</sup> употребил образ мальчика, который, сидя на берегу моря, черпает чашей морскую воду и льет ее в выкопанную им ямку. Как грек не смог выду-

мать божество в образе красоты, так и нельзя его исчерпать ни в какой форме, даже самой изощренной. Бог есть истина, истина всего, но Бог есть нечто бесконечно большее, чем только идея истины, точно так же, как в душе человека живет и действует нечто еще бесконечно большее, чем только идея истины. Точно так же идея абсолютного есть постулат человеческого разума, и он требует, чтобы в абсолютном было завершено все то, что таится в человеческой душе лишь как томление и предчувствие. И как бы сильно нравственное наличное бытие человека ни служило истине, многие другие нравственные идеи одновременно и с равной силой волнуют его, так и в божестве заключено бесконечно большее, чем только логос, хотя логос предназначен с начала дней в носители откровения и спасения.

Но потому, что не познание, не Бог как истина насыщает и наполняет человеческую душу, а потому, что душа, чтобы иметь мир в себе, нуждается в бесконечной любви, бесконечном оправдании и прощении, а также в бесконечной вере в то, чего она не видит, что она, полностью отказавшись от себя и уйдя в себя, должна совсем перестать быть только таким конечным Я, что она только в этом освящении, все повторяющемся новом освящении, уверена в том, чего она не имеет в себе и через себя — вот именно поэтому религия есть нечто иное, а не только теология и спекуляция. И лишь в этой сфере святого исполняется сумма идеальных идей.

### г) Святое и религии § 66 (71)

Если в связи с нашими размышлениями я говорю о сфере религии как о сфере наиглубочайших нравственных общностей, то это только потому, чтобы обозначить подходы, которые для решения нашей задачи следует здесь рассмотреть.

Мы ранее говорили, что язык делает человека человеком. Точно так же ему присуща и свойственна рели-

гия, в какой бы форме она ни проявлялась. И язык есть не мысль, а лишь чувственное выражение мысли, но он совершенно необходим мышлению, как тело духу. В отношении религии мы можем сказать то же самое.

Ибо и то и другое, и язык и религия, точнее, мышление и вера являются только первичными формами.

Язык, как мы видели, содержит только один аспект глубочайшей душевной жизни, отзвук всего того, что проникает в наше Я благодаря впечатлениям, и даже если это те впечатления, которые у него возникают, когда оно думает, т. е. в форме слов, произнесенных громко или про себя, воспринимает свое собственное содержание. Наше Я всегда имеет себя в противоположности к другому, даже если оно постоянно обращается к самому себе. Но точно так же, как чувство этой его пунктуальности есть в Я потребность в самопознании и самовосприятии в целом, в саморасширении из себя вовне и до бесконечности, потребность иметь это бесконечное как свою истину и свершение, как абсолютное, знать его в себе и себя в нем. Таким образом душа чувствует религиозно. Но как же она выражает это? Ибо для этого ей нужно какое-либо выражение, если она хочет обладать этим чувством, т. е. сознавать его.

Мы видели, что язык дает имена вещам. Под этими именами они теперь мыслятся, и нераздельно с этими именами протекает их внешнее бытие и жизнь, как нечто внутренне связанное в себе.

В языке, можно сказать, мыслящий дух субъективирует, очеловечивает мир. Он нуждается также в форме, чтобы самому стать объектом этого мира. Совершенно понятно, что он прежде всего использует для этой цели грандиозные явления, которые он может воспринимать чувственно, чтобы выразить их, показать в них, как в зеркале, то, что наполняет его душу, как бы употребить мир в качестве языка своего религиозного чувства. Это бесконечное в нем, в котором он чувствует себя как в целом и как целое, тогда может ему представиться как высокое, безмолвное звездное ночное небо, безбрежное волнующееся море и т. д. И тотчас разыгравшееся вооб-

ражение будит мысль, ибо все, что происходит на звездном небе, в волнуемом море, так много говорит о том, что происходит в душе! Но по мере того как в образах грандиозных явлений развертывается то, что волнует душу человека, становится все очевиднее, как недостаточны те формы, в которых может выражаться самое сокровенное. Они все чаще будут отбрасывать внутреннюю связь с внешним миром, становясь более одухотворенными. Внутренний мир духа, мир идей все больше будет оттеснять те грандиозные явления. Здесь появится выражение божества, понимание, что Бог есть дух, что человек создан по его подобию. Все больше будут научаться поклоняться Богу в духе и истине. В конце концов будет найдена наивысшая форма, что Бог есть личность, что он есть слово, что он есть наивысшее нравственное завершение, а мышление человека есть лишь некая работа в направлении понимания Бога.

Мы начали наш ряд религиозных выражений с тех великих явлений чувственного мира, в которых выразилось богопочитание. Не все религии обращаются к таким значительным явлениям природы, чтобы выразить себя. Существуют религии, которые выбирают для этого случайные предметы: дерево, кусок дерева, кость или камень и т. д. Но в них нет, как и в языке, ни малейшего выражения религиозного чувства, которое было бы именно религией, которое излагало бы все представление о божестве тех, кто так верил, и удовлетворяло бы их сердце. Ибо они испытывают религиозное чувство только в этой форме, и только одна эта форма есть выражение их религиозного чувства. В этой вере заключена вся религиозная субстанция их сущности, как в языке вся интеллектуальная. Вера есть лишь другой аспект духа народа.

Так рассуждая, мы вступили на путь понимания особо важной и трудной области, я имею в виду область мифологии. Разве только мы должны будем теперь сформулировать это понятие по-другому и более четко, чем это сделано в ученых трудах, основанных на греческой мифологии.

Мы знаем, что вера есть некая уверенность в том, на что надеяться, и отсутствие сомнений в том, чего не видят. Уверенность, что ты есть не только это случайное единичное, а находишься в целом и чувствуешь себя в безопасности, следовательно, это наивысшая уверенность в самом себе и ее условие есть вера. Она высказывает то, как я ощущаю себя по отношению к целому и как целое. Выражение этой веры будет зависеть от того, насколько глубоко и широко воспринимается эта целостность. Ибо это выражение есть форма объяснения этой целостности. И как это выражение, эта форма веры относится к самой вере, так и язык относится к мысли; а именно, хотя форма выражает веру не всю целиком, однако вера движется лишь в этой форме.

Каким же малым и потерянным должно казаться наше Я, цельность которого находит достаточное выражение в случайно найденном камне или кости! Не этот фетиш есть божество, а вера делает его таинством, и только в такой форме наличествует божественная власть в сознании, и только в такой форме видна ее сила, ее милость и немилость. Нравственное наличное бытие здесь есть только в форме случайности и произвола, т. е. в форме, самой близкой тварному.

Большим прогрессом является уже то, что взаимосвязанное одинаковое воление выражается как высший атрибут божественной силы, объективируя себя, оно представляет ее в созерцании вечно и равномерно чередующегося порядка, заведенного в природе, например солнце и луна, бег планет. Известно, какое большое значение имел культ звезд и как он был распространен.

Двумя путями выходят за пределы этих верований. Во-первых, упрямство и лукавство человеческого ума, допуская, что власть Бога, как и все иное природное, присутствует лишь вовне, пытается объяснить ее точно так же, как природное. Тогда следует просьбами, принося жертвы, творя чудеса, видоизменить волю вечного порядка, тайными, колдовскими заклинаниями смутить и обуздать ее. Дело доходит до тех вавилонских

форм, когда, высчитывая весь порядок звездного мира и составляя искусственные схемы и системы, полагали, что одновременно постигали искусство колдовства и предсказаний.

Во-вторых, казалось, что тот строгий, неумолимый порядок является прикованным к одной звезде, к одному камню, одной точке, которую среди всех точек избрало себе это племя, этот род. Все другие, хотя и существуют, но принадлежат другим, враждебным племенам. Так, вокруг древней Каабы<sup>38</sup> в Мекке сложился единый культ многих арабских племен. Этот камень есть знак союза с одним среди многих, которому они прежде всего хотели служить. Из такого источника происходит культ одного из родственных племен, которое затем, пройдя через неслыханные испытания и обретая не раз спасение, переживает то, что перед этой властью Бога есть другие Elohim,<sup>39</sup> Elelim, и что этого одного следует называть: «Я есмь Сущий» (Иегова, Яхве) (Исх. 3, 14). Здесь впервые познано божество, как неизменное, но и Единое, стоящее над всем историческим движением, над всей природой, как творец мира и властитель всех судеб, вечный и неизменный, как дух.

Тот момент, когда душа восприняла как свое целое и всю живую подвижность и восприимчивость, в которой она чувствовала себя становящейся и растущей, знаменовал совершенно иное начало. Тогда она увидела в звездном небе не строгое тождество порядка, а движение и перемену; она стала видеть в природе вокруг себя все новую жизнь и перемену вещей. Они казались ей живыми, одушевленными, по-человечески чувствующими и волящими, их дела и страдания были совсем подобны делам человека, только более великими, более глубокими, божественными. В их делах и страданиях она полагала узнавать свою собственную историю. Только теперь возникает подлинный мир, религиозное воззрение в форме священной истории. И тем самым и непосредственно было дано, что эти события, подобно человеку, все более и более теряют свою природную основу и фиксируют только антропоморфизм, этический

вид; в нем находят форму выражения развивающегося подлинного жизненного содержания.

Именно это развитие прошли все индо-германские племена и, проходя его, индийцы перешли к своему великому учению Будды, греки — к глубоко человеческому познанию, которое достигает апогея в их философии; в той форме, которая затем слилась с мессианской идеей еврейского народа, чтобы подготовить почву христианству.

Я не буду излагать, как здесь место мифа заступила совсем иная форма, действительная история, факт жизни Иисуса. Этот факт ознаменовал начало нового мира. Было открыто и познано единственное, что необходимо, единственное, в котором отныне движется весь христианский мир идей, или все же должен бы двигаться. Ибо то, что в действительности весь ряд уже преодоленных ступеней: фетишизация реликвий, магическое действие освященной руки, — все снова и снова вторгается в мифологию священной истории, даже церковь считает их важным; есть знак, как глубоко укоренено в природе человека язычество, как для нее трудно держаться на высоте своей свободы и призвания.

Следовательно, в таких формах движется идея святого в религиях, которые представляют собой как бы речь веры; и как языки, так и они объединяют всех тех, кто в таких формах находит выражение своему религиозному чувству.

Но здесь важна не только общность этих выражений веры. Такие выражения, как бы ни казалась сама вера заключенной в них и обусловленной ими, всё же следует отмечать по существу от веры, как мысль от языка. Они являются лишь поиском правильного выражения. Глубоко внутреннее чувство растет и становится все богаче и мощнее, и выражение не может его охватить. И чем богаче и мощнее выражение, тем глубже и богаче становится само содержание, и сознание его глубины растет вместе с ним. Поэтому эти религиозные выражения, подобно языкам, имеют свою историю, свои глубоко значимые изменения. И в истории этих выражений



веры сама вера становится чище, выше, сознательнее; и она имеет свою историю.

Но сама вера, чем она искреннее, тем сильнее хочет проявиться в целостности нравственных сил. Если можно так сказать, насколько она понимает их всех как атрибуты божества, настолько она стремится вложить, вживить в них идею божества, она хочет их освятить: «Святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш» (Лев., 192). Отсюда все познанные нравственные сферы являются сформулированными в зависимости от меры веры, насколько они в ней обоснованы, соотнесены с ней. В них познают, какова вера, в них она доказывает, подтверждает себя на деле более четко и действенно, чем в одних догматах веры. Вся нравственная жизнь коренится в религиях, является наряду с религиозными представлениями вторым, более точным их выражением. Глубокое чувство, которое не выразилось в мифах, легендах и т. д., а также в догматической спекуляции, находит в освящении жизни все новый повод для своей реализации.

Таким образом, складывается содружество тех, которые хотят обобщить идеей святого все то, во что они верят, чем живут, образуется товарищество, которое направлено главным образом на то, чтобы знать и сохранять как тело, цель, как энергию и истину их союза самое лучшее всех идеальных сил, а именно идею святого, каковая целиком и полностью не выражается ни в одном индивидуе. Они образуют общину.

Так же люди, объединенные в Элевсинских мистериях, дионисийских праздниках, панафинейях образуют общины. Но эти общины лишь преходящи, образованы только для этих обрядов, только для этого ряда религиозных вопросов. Люди, так объединенные, будучи полисной общиной Афин, имеют праздник Афины, как семьи они отмечают апатурии, нечто вроде 'Ομοπλατῶρια; как виноградари, они празднуют в своих демах сельские дионисии; будучи земледельцами, они собираются в Элевсинском храме также и потому, что позднее стали задумываться, что ждет их после смерти. Создается впечатление, как будто житель Аттики в за-

висимости от его многочисленных человеческих, нравственных интересов принадлежит всякий раз к особому объединению; индивидуум в своей свободе и индивидуальности является все еще глубочайшим и самым верным, что познал дух.

Это никак не первое, органическое образование, а результат уже высокоразвитого способа познания природы духа и свободы. По сравнению с ним есть одна форма, глубоко связанная и связующая. Ибо идея божества есть нечто, во что все верят, есть сила, от которой зависят благо и горе любого индивида, сила, которой покоряются, которой нужно служить, чтобы не потерять ее милость и не навлечь на себя ее гнев. Но как ей служить? Кто ведаёт, что ей угодно? Кто владеет тайной ублажать ее, ежели она гневается, и завоевывать ее, ежели она от тебя отвернулась? Тот, кто держит в своих руках тайну, будет властвовать над общиной верующих, будет устанавливать свою власть и обосновывать на века.

В такой форме иерархии и богослужения идея святого появляется очень рано. В Индии мы можем проследить ее становление. Там, как и в Египте и Вавилоне, жречество представляет собой замкнутую касту. Там над жизнью и развитием народа с ранних пор господствует альтернатива духовной и светской власти: в борьбе между жречеством и государством движется, развивается их внутренняя история.

Поэтому понятно, каким было прогрессом то обстоятельство, что у народа Эллады этот шаг к образованию иерархии произошел не так, как в Индии, что любой эллин в своем кругу во время праздников мог быть священнослужителем, что антагонизм между государством и духовной иерархией не имел места, а община была просто заключена внутри государства и в его законе. Поэтому Эллада не пришла к систематике своей мифологии, своего учения о богах, поэтому она завершилась не теологической, а философской спекуляцией. И эта спекуляция не была отрицанием свободы и индивидуальности, окончательным отрицанием Бога и мира (Нирвана), как в современной Индии, а она была преображени-

ем и исполнением того, что религиозная жизнь Древнего мира несла в себе в зародыше и что она развивала.

С одной стороны, народ Эллады, а с другой — иудейский народ завершили религиозное формирование Древнего мира. Здесь благодаря великим учреждениям, которые носят имя Моисея, была образована община во имя Бога и служения ему, который заявит о себе как Спаситель; там он был узнан как Единый, Всемогущий, Святой; здесь было понято государство и право, весь нравственный порядок и любое познание как исходящее от него и возвращающееся к нему. Но как часто народ отходил от Бога, как часто царская власть отрицала, что она лишь в нем; и когда, наконец, народ, государство и храм порвали с чуждой властью, единственной надеждой было то, что помазанник Божий возобновит жречески национальную власть царя! Пока не пришли к пониманию, что значит основание «царства, которое не от мира сего», царства, в котором все люди являются детьми Божьими, в котором **все** народы, все человечество должно быть единым как жреческий народ, и каждый в нем священнослужитель.

Я не буду далее объяснять, как в этом христианском мире возобновился антагонизм государства и церкви, как они боролись за власть, как в этой борьбе возникло бесконечное число направлений, которые, сменяя друг друга, определили образ бытия рода человеческого; как в средние века эта борьба увенчалась полной победой церкви над государством, ибо в этом похожи христианская церковь и ислам. То обстоятельство, что на христианском Западе государство освободилось от такого ига, послужило началом Реформации. И это весьма знаменательно, что она совпадает с возрождением классических штудий, что жречество всех христиан, т. е. оправдание одной только верой, является ее ядром. И сразу же прибавляется новая потребность: идти на основе этого познания вперед, к общине, ибо именно это в большей степени, чем учение о таинстве причастия, составило и еще сегодня составляет противоположность между лютеранством и реформатским вероисповеданием.

Для меня было важно только обозначить по-порядку главные мотивы, о которых идет речь в этой сфере идеи святого, и доказать, какое множество различных исторических развитий наличествует здесь, развитий, по отношению к которым мы совершили бы большую несправедливость, если бы не признали их непрерывность, идущую из древности в христианское время, т. е. религиозное единство человеческой истории.

Но еще более внимательны мы должны быть относительно другого аспекта. Здесь имеет место то же самое, что и в любой сфере идей: каждая из них, каковая волнуется и наполняет личность, претендует слыть по-своему всеохватывающей и все определяющей, определять и наполнять единолично душу человека. Как многие считают, что пиетет по отношению к семье является абсолютно нравственным, выше любого другого долга, в нем заключено и обосновано все прочее. Затем национальная идея, воспламеняющая сердца, хочет быть мерой и нормой всего. Далее государство претендует быть абсолютно нравственным, не только осуществлять контроль за всеми другими нравственными сферами, но и основывать их и оснащать. Наконец, то же мы видели в идеальных сферах; идея святого, кажется, в своей власти и экспансивной энергии заглушает и поглощает все другие нравственные силы, движущие жизнь, даже идею власти.

Тем, кто видит дальше сиюминутного момента, может, пожалуй, показаться странным, как будто огромная сфера нравственного наличного бытия в опасности, что ее поглотит мертвящая односторонность. Но мы знаем, что все нравственные силы имманентны природе человека и что они в неутомимой и бесконечно меняющейся подвижности, борясь друг с другом и пересекаясь, критикуют друг друга и с каждой новой фазой своего движения повышают горизонт нравственного мира, увеличивают созидательную силу нравственного наличного бытия.

## В. Третий разряд: Практические общности § 67 (72), 75 (80), 76 (81), 77 (82)

В двух рассмотренных нами рядах мы все время на-  
талкивались на некую двойственность. Естественные  
общности являлись не только естественными, но и име-  
ли тенденцию развиваться в исторические образова-  
ния. И идеальные общности представляли собой не  
только рафинированный результат исторических пре-  
образований, но и стремились как бы обрести плоть в  
практических институциональных формах.

Впрочем, человек как индивидуум имеет корни пре-  
жде всего в естественных сферах. Ибо человек в абстрак-  
ции есть никто, он есть нечто только как дитя этих роди-  
телей, член этого племени и народа, с определенным те-  
лосложением и т. д., одним словом, он есть этот человек,  
определен как-либо природой, и только в таком свойст-  
ве он содержит в себе понятие «человек». В таких есте-  
ственных определенностях заключается для него его са-  
мая подлинная сущность, и он чувствует ее, и если вооб-  
ще с ним все в порядке, то ему не приходит в голову, что  
он мог бы или хотел быть не таким, как он есть. То, что  
он принадлежит этим родителям, этому народу, состав-  
ляет его чувство собственного достоинства и гордости  
и т. д. В этих общностях он ощущает свою целостность, в  
ней он имеет, по словам Аристотеля, свою αὐτάρκεια.<sup>40</sup>

В идеальном разряде мера и цель суть иные. И здесь  
индивидуум не как таковой имеет свою αὐτάρκεια. Но  
он ищет и находит ее в том, что он незаметно вносит  
свою долю в дело великих умов. Здесь им владеет не  
внешний мир, а он свободен от него в той мере, как его  
душа, парящая и рвущаяся ввысь, едва касается земно-  
го кончиками пальцев ног: она парит в ореоле над веща-  
ми, чтобы жить и быть причастной тому миру идей, в  
котором она чувствует себя на своем месте.

Между обоими разрядами лежит разряд практиче-  
ских реальностей; подлинная арена исторической борь-  
бы, где в любой момент проявляется и уместна суро-  
вость себялюбия, страстей, интересов.

Нельзя сказать, чтобы в тех естественных сферах царил непрерывная мирная тишина. Но зачастую насильственные движения являются скорее только происшествиями, которые там протекают, и если вторгается что-то нарушающее, грозящее, то ему сопротивляются не рассуждая и чувствуя, что это происходит с полным правом. Но главное здесь есть непрерывность, покой, субстанциональная определенность, уверенность, что это верно и так будет всегда. Отличительным признаком здесь является распорядительность. Аналогичную картину мы видим в идеальных сферах: и там есть постоянное движение и соревновательность, но нет ненависти и взаимной угрозы; соревнуясь в добром, прекрасном и истинном, осознают, что стремятся к одним и тем же целям, и если зависть и высокомерие разводят художников, мыслителей, даже теологов, что бывает частенько, в разные стороны, все же их лучшая часть, т. е. то, что они создают, стоит выше этого раздора, а такими чванливыми выходками они отдают дань убогой тленности. Важным здесь является непрерывность, подвижность и изящество духовного; удовольствие непрерывного стремления, блаженство все новых вопросов, задач и целей. Отличительным признаком такого идеального мира является непрерывное стремление вперед.

И по этим причинам срединное положение практического мира весьма примечательно. Ведь в нем есть постоянная борьба между свободным движением личностей и определяющей энергии того, что уже возникло, что для него есть твердая граница, субстанциональная непрерывность. Во всех сферах, о которых здесь идет речь: государство, право и т. д., — есть неустанное стремление к институциональности, т. е. к тому, чтобы претвориться в максимально твердые, связующие формы, чтобы дать им, насколько возможно, образ естественной субстанциональной нравственности. Сообщество труда, в котором коренятся сословия, приходит к пониманию благородства и неблагородства как расовому различию; так что между ними не может иметь место

даже бракосочетание; государственное сообщество сразу же старается сформулировать национальность, исходя из понятия государства, таким образом натурализоваться. Но любая из сфер, едва достигнув институциональности, переходит в стагнацию. Ибо ее истина есть не покой постоянства, а непрерывность движения, не непрерывное развертывание установленного природой, которое, сохраняя себя, меняется, а диалектика противоположного в себе, которое сохраняется, неустанно меняясь, т. е. которое чувствует противоречие в себе, примиряясь с ним и в своем примирении обновляет его, чтобы затем его снова сгладить.

Ибо — и это другая сторона — таким же мощным, как и стремление к институциональности, является здесь и стремление к идеальности. Идеи истинного, доброго, прекрасного всегда претендуют на то, чтобы быть настоящим содержанием этого реального мира, стать в нем осуществленными и признанными. И в той мере, как развивается тяга к институциональности, высвобождаются идеальные факторы, выступая против уже возникшего, увещевая, требуя, не давая покоя; они не успокоятся до тех пор, пока не проникнут снова в порядки, не пройдут их насквозь и не изменят их.

Это трудное, но бесконечно важное понимание того обстоятельства, что в тех сферах, о которых мы говорим, здоровое начало не допускает чрезмерности ни того, ни другого, напротив, идеальное находит смысл только в реальном бытии, реальность же только в идеальном содержании. Как отдельный человек имеет нравственную задачу своего существования не в эмансипации плоти, не в аскетизме и самоистязании, а в том, чтобы быть свежим, здоровым и сильным душой и телом, и готовым творить всяческое добро. Кто же сетует на весьма сильные трения действительности, кто не понимает, что борьба и шум действительного мира есть бесконечно содержательнее и оказывает более освежающее воздействие, чем любая тихая институциональность или скучные китайские тени идеалов, тот либо слишком молод, либо слишком стар для исторического мира.

Я должен сделать еще одно предварительное замечание. Я до сих пор намеренно редко употреблял — или вообще не употреблял — слово «свобода». Не потому, что я не знаю или не признаю, что свобода представляет собой одновременно и семечко, и плод нравственной истории. Ибо свобода есть самоопределение духа в себе, саморазвертывание его сущности в волеии. В первой сфере естественных общностей свобода еще была связана, спрятана под субстанциональной природой нравственных отношений, которые сложились в этой сфере. В естественных общностях индивидуум был лишь их членом, как рука, нога, лишь при *этом* теле являются рукой, ногой. Но целое было единством, имманентным всем единичным моментам: духу семьи, народа и т. д. В свою очередь в идеальных сферах было, конечно, полнейшее самоопределение духа. В священные моменты, когда индивидуум жил целиком во власти этих идей истинного, святого, он чувствовал себя бесконечно свободным в себе. Но сущность свободы требовала большего, а не только прекраснотушия бесконечных чувств и тихого пожатия руки единокдушной восторженности. И точно так же, как в этих идеальных сферах идут вперед к созданию произведений, к институализации и т. п., точно так же становится очевидным, что лишь с границы начинается проверка и испытание на прочность свободы.

Эта граница встречается в реальных сферах на каждом шагу. Она заключается в равной свободе других, которую приходится признавать, в общности всех, которой вынуждены подчиняться, желают они того или нет. Здесь имеет место не так, как в естественных сферах, любовь и одинаковое чувство целого, не так, как в идеальных сферах упоение равным стремлением, преумножением и притоком сил в соревновании воодушевленных одной идеей, а прежде всего торможение и докучная необходимость, ибо того, что достается одному, лишается другой; чего один пытается достичь, то вызывает одновременно зависть другого. Именно в этом пункте присутствует постоянная опасность, что власть, интерес, формальное право угрожают истинной свобо-



де, т. е. правам других нравственных сфер; и все же человек, чтобы быть ко всему причастным, не должен служить и следовать только одной нравственной сфере. Тогда бы началась *bellum omnium contra omnes*,<sup>41</sup> если бы в нравственной власти общностей не была заложена принудительная граница. И в этом подчинении самоопределения обществу состоит отличие свободы от произвола, возникает свободная воля, признающая одновременно свою меру и сущность во внешней границе, разумная воля, разумная постольку, поскольку она познает как таковые нормы нравственной идеи, которым она подчиняется, и признает их не потому, что они являются законом извне, а потому, что она признала их как справедливые и благие.

Таким образом, здесь под контролем реального мира возникает свобода, развертывая всю свою нравственную энергию. В ней вырабатывается конкретный тип самоопределения, т. е. личность, характер.

Теперь, переходя к обсуждению этих сфер в частности, мы должны вспомнить, что нам придется рассмотреть их с исторической точки зрения, т. е. они, как и все прочие нравственные сферы, в любой момент своей реализации менее всего думают об исторической значимости своих деяний. Напротив, они преследуют определенную, как мы бы сказали, техническую задачу, и только особое исследование понимает эти деяния в контексте их становления, с точки зрения их истории. Нет никакого правового отношения, никакого государства и т. д., которое не имело бы в себе существенного момента, способствовавшего его возникновению. Но частное правовое отношение касается технически лишь этого определенного субъекта и объекта. Производство определенных вещей кормит столько-то рабочих и предпринимателей. Государство имеет те или иные текущие дела, доходы, общественные организации. Одним словом, отдельные моменты, когда эти нравственные общности появляются и реализуются, представляют собой дела, каковые на первой ступени были порядками, на следующей — задачами. То, что эти дела, как малые,

так и великие, являются пульсом истории, как правило, не осознают те, кто их совершает. Ибо они совершают их не ради истории, а в интересах момента, в зависимости от условий и мотивов, являющихся именно сейчас определяющими. В текучке дел их обобщают в совершенно ином аспекте, и уж никак не с исторической точки зрения.

Исторический подход совсем иной. То, ради чего произошло любое частное событие, его цель в глазах действующих лиц кажется истории уже не целью, а средством, условием и т. д., благодаря чему реализовали этот момент, важный в контексте становления. Целью Александра, когда он завоевывал Азию, не была эллинизация Азии; быть может, она ему была нужна для его смелых и честолюбивых планов мирового господства. История же говорит с улыбкой: то, что было целью его тщеславия, в моих глазах представляется лишь историческим средством эллинизации Азии. Если г. Перэр изобрел *Crédit mobilier*,<sup>42</sup> и все богачи доверили ему свои жиры, то у них не было ничего иного в мыслях, кроме желания наживы, но при этом они совершили неслыханный переворот, сломав финансовую монополию Ротшильдов. Историческому рассмотрению мало дела до алчных целей этих банкиров. Оно познает, как готовилось крупное изменение в денежном обороте и как алчность некоторых умных финансистов вызвала катастрофу. И так повсюду.

- а) [Сфера общества],
- б) Сфера общественной пользы

В сфере общественной пользы мы имеем дело с бесконечным разнообразием общностей, основное свойство которых, в конечном итоге, всегда одно и то же. Ибо в сущности личности заключено прежде всего свойство соотносить себя и все с собой. Первым выражением свободы является эгоизм, стремление к обладанию и наслаждению. И поскольку в любом индивиду повторяет-

ся с равным основанием одно и то же стремление, поскольку любой в своем себялюбии все же ограничен в средствах, связан пространством и временем, поскольку он как раз в этой своей потребности обладания и наслаждения всегда зависим от целой бесконечности бытия вне его, развивается взаимность, конкуренция, бесконечное увеличение, с одной стороны, труда, чтобы наслаждаться, а с другой — своего бессилия, своей несостоятельности, чтобы иметь.

Прежде всего нам необходимо установить, в чем отличие сферы общественного блага и потребностей от сферы идеальных общностей. Ибо и в последних дают о себе знать потребности, благо.

Обе сферы отделены друг от друга, скажем, неопределенной межевой линией, отличаются часто отнюдь не только по форме их проявления.

В поступательном развитии сначала только плотские потребности доходят до изысканных духовных возбуждений, а духовные нисходят до самой низшей точки целиком земной сущности — отношение, которое следует учитывать и оценивать, чтобы не ошибиться в явлениях, с одной стороны, в материальной, а с другой — духовной и интеллектуальной жизни, и правильно толковать как те, так и другие в их конечных проявлениях.

Единственно достоверным критерием является их исходный пункт. Он есть, впрочем, совершенно противоположного вида. Ибо в одном разряде есть и остается определяющей особенностью стремление к наслаждению, хорошему самочувствию, эвдемонизму. В другом разряде основной идеей является идея одухотворенности и идеализма, которая, познавая, одушевляя, моделируя, стремится пронизывать все вплоть до самого низшего.

Из этого противопоставления становится ясно, почему мы можем обобщить одну из этих двух сторон в идее блага. Впрочем, исходным пунктом является прежде всего потребность индивида, мощный инстинкт эгоизма, стремление иметь и наслаждаться. Нравственным моментом в нем является, во-первых, то, что личность,

чтобы реализовать себя, должна создать и иметь сферу своей воли, в которой она царит безусловно, с которой она может обращаться как с вещью. Ибо, не имея такой сферы своей воли, она сама превратилась бы из субъекта в объект. Во-вторых, в том, что вследствие ограниченности отдельной личности эта сфера воли есть ограниченная, односторонняя и не соответствует бесконечной энергии экспансии свободы, нуждается для своего восполнения во многих других и поэтому вступает с ними в общность труда, общения, материальной жизни, в зависимость, в которой личности проходят испытание на прочность, но их сфера воли всегда используется для того, чтобы сгладить субъектное и объектное в их взаимном определении друг друга. Но цель этой общности есть благо, т. е. все обновляемое и восстанавливаемое чувство личности, определенной и удовлетворенной в своей сфере воли.

Как видим, моментами, которые здесь важны, являются труд — ибо он, физический или умственный, или и тот и другой вместе, приобретая, производя или получая, создает сферу воли,— затем взаимное желание идти друг другу навстречу, осуществляющееся в бесконечно разнообразных формах.

Любая нравственная сфера может быть понята в аспекте субъективных деятельностей, следовательно, труда и компенсации, или как объективная структура идеи блага, которая здесь складывается. Объективная структура идеи блага есть *гражданское* общество. Само собой разумеется, что оно имеет не один только аспект, в котором оно соприкасается с государством. Но оно не ограничено государством, оно не ограничивается им, его общности выходят далеко за пределы государства, и чем более развита материальная жизнь, тем больше; как гласит известное выражение: торговля — космополитична, а у денег нет отечества, и т. д.

Всего этого, наверное, достаточно, чтобы наметить подходы, в пределах которых должна двигаться наша наука в этой сфере. И она должна здесь решать задачи, которых может не видеть и игнорировать только слепое

упорство, утверждая, что только государство представляет интерес для истории. Хотя бы суммарно я должен их обозначить.

1. Прежде всего *труд*. Здесь важным является, с одной стороны, применение человеческой энергии, с другой — на что она употребляется.

Труд есть также нечто специфически человеческое, как мышление и вера. И животное прилагает усилия, чтобы удовлетворить свои потребности, свои инстинкты. Но все его усилия сводятся к удовлетворению, у него нет цели, которая выходила бы за пределы этого, нет продвижения к цели, нет истории. Для человека труд тем большее удовольствие, чем больше он развивает свою свободу, свое нравственное самоопределение, удовольствие в обуздании произвола своих движений, как духовных, так и физических, в определении их цели. Можно сказать, история труда есть история свободы и ее поступательного движения. Она охватывает все стадии, лежащие между бесконечным разделением труда в цивилизации и почти животноподобным самоудовольствием, инертностью и тупостью, каковые можно еще увидеть и сейчас у самых грубых народов. Она показывает бесконечный прогресс от нелепой привилегии, освобождающей от физического труда в античном мире, к нравственному признанию труда в христианском мире. И здесь потребовалась сначала глубокая Реформация, чтобы возвысить труд как дело чести, эмансипировать его. Свободный труд стал блестящим результатом великого движения Просвещения XVIII в.

В истории труда заключается сущность сословий. Ибо они возникают на основе противопоставления труда и праздности, различия умственного и физического, общественного и частного труда, на основе его общности. Сословная система установлена не государством, напротив, в этой форме общество имеет свою определяющую долю в формировании и преобразовании государства. Как в античности бытовало представление, что варвары рождены рабами, так и сословное рвение стремится к тому, чтобы вообще сословно зафиксировать различия

труда, рассматривая их как естественное предназначение. Известно, как широко распространено было это в Древнем Египте и Индии; и в наши дни претензия дворянской крови есть, в принципе, ничуть не лучше и глубже, чем те древние тупость и высокомерие, и она никак уж не согласуется с духом христианства.

Другой подход к пониманию трудовых сил должен ответить на вопрос, в какой мере они свободны или связаны. Они растут постольку, поскольку они свободны, и становятся тем свободнее, чем больше разделяется труд, т. е. чем теснее становится общность потребностей. Лишь на этом пути возникает тесная связь общества, в котором каждый необходим другому, каждый определяет другого и определяется им. Возникает тот спокойный уровень производства и потребления, предложения и спроса, который допускает лишь незначительные колебания цен, когда прежде были неизбежны голод и внезапное разорение. И чем свободнее становится труд и разделение труда, тем надежнее застраховано внешнее благополучие рода.

Другой аспект, как было сказано, есть то, на что употребляются силы. Труд должен удовлетворять бесконечный ряд потребностей, начиная от самых низких, материальных до самых высоких, духовных. И в процессе удовлетворения растет число и приумножается интенсивность и нравственная ценность труда. Древнее проклятие «В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Бытие, 3, 19) обернулось для человечества благословением. Любой ребенок ныне знает, что уровень труда лишь иное выражение уровня культуры.

Об умственном труде мы не будем здесь говорить; мы учитываем много видов труда, которые обращены на природу частично для того, чтобы направить представляемые ею материалы по их назначению. Это две крупные отрасли производства: изготовление и добыча сырья и его обработка.

Я не останавливаюсь на народном хозяйстве: земледелии, скотоводстве, лесном деле и т. д., на его технических условиях, на формах его производства с использо-

ванием свободного и несвободного труда и т. д. Все эти материи до сих пор рассматривались разве только с точки зрения народного богатства или технического совершенства. Вероятно, не за горами то время, когда почувствуют необходимость рассмотрения этих вещей с исторической точки зрения, и тем самым необходимость овладения ими в полном объеме. Тогда станет понятным то обстоятельство, что Италия со времени Пунических войн перешла от земледелия к скотоводству, от крестьянской усадьбы к латифундиям. Тогда станет понятным развитие Франции во время революции, разрушение аграрной, деревенской общины в России, начиная от царствования Петра Великого.

Я перехожу к производству. Оно создает из материалов либо продукты питания и поддержания жизни, либо орудия дополнения и преумножения человеческой энергии, продолжения и расширения возможностей человеческих органов. Чем дальше вперед продвигается культура, тем меньше доля производства, которое направлено на добычу сырья, на поддержание плоти. Во все времена, вероятно, знали, что органы тела можно дополнить и расширить с помощью инструментов, которые частично могут увеличить их силу, частично усовершенствовать ее применение. Удар дубины тем тяжелее, чем больше диаметр ее размаха, чем дальше кулак удален от плеча; и острота ножа придает руке энергию, которая позволяет разрезать глубже, чем забивая гвоздь. Каким несвободным был труд, пока он был связан только с силой и органами человека. С появлением любого нового инструмента, новой машины экономилась сила человека, и их можно было употребить для лучших целей, и человеческий ум, шагая вперед гигантскими шагами, научался вместо рабского труда древних времен строить для себя рабочих гигантов из дерева и металла, которым дает крылья ветер, сила воды или пламя. Паровые машины в тысячи миллионов лошадиных сил, работающие теперь в культурных странах, представляют собой масштаб великого исторического движения в этих областях, возведение в степень господства человека над природой.

Это не только свидетельство триумфа естествознания, в этом процессе одновременно участвует множество факторов: государственный строй, объединение сил на соответствующую цель, просвещенный взгляд на мир, который низложил тысячу оков глупости и инерции, предрассудка и привычки. И чем больше энергия таких побудительных причин, тем выше действия, которые в свою очередь сами становятся порождающими причинами, точно так же, как и повсюду нравственно действующий момент в каком-либо направлении сразу же оказывает всестороннее освобождающее и возвышающее воздействие. Книга Рошера<sup>43</sup> «Система народного хозяйства» (изд. II, 1857) особенно в этом аспекте является в высшей степени поучительной и богатой историческим материалом.

2. *Компенсация.* То, что труд производит и изготавливает, представляет собой экономические товары, они становятся подвижными и подлежащими обмену благодаря взаимной потребности, получая новую, обменную стоимость.

Из этих моментов развивается торговля в своем неограниченном разнообразии, развивается понятие денег как самой ходкой обменной стоимости, которая именно поэтому может выступать как всеобщий эквивалент и мерило цены. Таким образом, товарооборот выходит за пределы непосредственного обмена; в качестве обменной стоимости выступает также кредит, уверенность в будущей ответной услуге; появляется целый ряд новых комбинаций и форм, основанных на кредите: банки, государственные бумаги, акционерные предприятия.

Другой аспект всех этих образований есть аспект экономических общностей. Уже семья есть таковая и притом естественная. Дальнейший прогресс ведет к общинам, сельским и городским; далее объединения по интересам в цехах, городские союзы, акционерные общества и т. д. Уже в разряде этих отношений видно, что по мере развития экономический характер выступает во все более чистом виде.

Я не буду вдаваться в подробности, рассматривая эти широкие сферы народного хозяйства и материальной



жизни, как бы ни было привлекательным разработать систематику именно с этой точки зрения. Все же я добавлю здесь несколько замечаний, которые имеют значение для исследования таких вещей.

Прежде всего само собой разумеется, что все те образования имеют свою историю материальной жизни, обусловлены, собственно говоря, историческим ходом и его результатами. В этой сфере капиталы являются выражением прожитой истории. Ибо капиталы представляют собой прошлые времена, реализованные в настоящем, капиталы, выраженные не только в деньгах, но и в инструментах, материалах, опыте, связях и т. д., но, как я полагаю, к этим вещам можно приложить предикат «исторический» в более широком смысле слова. Как известно, имеется налицо сильная тенденция перевода этих вещей в сферу расчета физико-математического метода, причем обычно похваляются, что при помощи этого метода мы можем получить совершенно надежные результаты. Еще сегодня бельгийцы, англичане и французы идут исключительно в этом направлении: они проявляют истинное усердие в поисках, как они полагают, статистических законов, в стремлении составить математические формулы для всевозможных комбинаций; они надеются, что таким путем они достигнут, наконец, чтобы здесь исчез момент нравственной свободы, и тогда останется только провести расчеты. Первым последствием такого подхода будет то, что экономические отношения будут изолированы от всех других нравственных связей, и сторонники такого подхода будут иметь, как им кажется, перед собой только товары и стоимости, в то время как сами стоимости получают значение лишь благодаря своему отношению к личности, товары же суть всего лишь товары для людей. Другое последствие такого экономического подхода есть то, что он действует деморализующе, получая практический доступ, — деморализующе, поскольку он отрицает нравственную природу человека и трактует ее только как экономическое средство. Совершенно логично, что в контексте этих дисциплин дошли до ком-

мунизма, каковой развил сначала англичанин Оуэн<sup>44</sup> и который во Франции превратился в большую политическую партию.

Выступление немецкой школы против этого безобразия имело исключительно большое значение, сначала это сделал Г. Хансен,<sup>45</sup> который исходил с человеческой точки зрения, рассматривая, правда, не промышленность, а земледелие, затем к нему присоединились Рощер и Книс. Чем дальше, тем больше осознали, что речь в этих сферах идет об исключительно нравственных, т. е. исторических явлениях; что это сплошная иллюзия, когда выступает статистика, держа в руках цифры и отношения величин; что так называемые законы представляют собой только наблюдаемые и сформулированные аналогии, а не выводы, вытекающие из математических понятий. Разумеется, там, где постоянно имеют дело с вещественностями, которые, следовательно, нужно рассматривать с механической, химической, физической точек зрения, те же дисциплины играют самую значительную роль, и именно их участие принесло такие большие результаты в производстве и движении товаров. Но это относится к той, как мы ее назвали, технической стороне этих деятельностей. И само собой разумеется, что поскольку все экономические явления движутся в товарах, стоимостях, реальных условиях и т. д., их можно обозначить и рассчитывать как раз как величины. Но здесь определяющим являются пусть даже и скрытые, но интеллектуальные и моральные факторы, которые лишь приводят в движение и квалифицируют те вещественности, и здесь цифры и формулы служат только для того, чтобы наглядно представить и упростить комбинации. Впрочем, здесь продолжают вести расчеты, оперируя всегда названными цифрами, квалифицированными величинами, индивидуальными факторами. Я сошлюсь на книгу Книса<sup>46</sup> «Политическая экономия с точки зрения исторического метода» (1853).

Второй распад, на который я хочу указать, касается не менее распространенного заблуждения. Стало обще-

принятым относить все экономические вопросы к политике, рассматривая их как бы в зависимости от государства и государственной сферы; говорят о государственной экономике и народном хозяйстве, как будто ограничительный атрибут «государство», «народ» связан не чисто внешне и случайно с экономическими отношениями. Верно, что народ имеет тенденцию как в политическом, так и экономическом плане к объединению, но лишь тенденцию; ибо он был бы тем беднее, чем более он приближался к самодостаточности *αὐτάρκεια*. Движение товаров тем несовершеннее, чем оно более связано, оно имеет неодолимую тенденцию к космополитичности. Что касается производства и движения товаров, то здесь действуют совсем иные, а не национальные и политические границы. Выделить экономические зоны в различных частях света и на мировом океане есть одна из самых интересных, хотя еще и не решенных задач; точно так же, как смелым и энергичным предприятиям удастся выходить за пределы естественных границ, так и небрежность и неудача ведет к потере естественной зоны торговли и т. д. Кёльн до начала XVI в. имел огромную сферу торговли, затем для него наступил период упадка, и эта территория превратилась, можно сказать, в одну площадку торговли с окрестными равнинными землями; с 1815 г. Кёльн вернулся на круги своя и теперь является перевалочным пунктом всего рейнско-южнонемецкого товарооборота и почти полностью отобрал от Гамбурга всю торговлю с югом Германии и Швейцарией и т. д.

Сопоставительный подход состоит в том, что следят за движением товаров, изучая потоки этого движения, наблюдая за их влиянием, своеобразно будоражащем и вносящем оживление, которое, подобно электричеству, рождающемуся путем трения, постоянно возбуждает и продвигает вперед цивилизацию. Давайте пронаблюдаем переход от XV к XVI в.: как перемещался на просторы океана торговый поток с бассейнов Средиземного и Балтийского морей; далее, как с середины XVIII в., когда хлопок начал вытеснять шерсть и лен, формировался со-

вершенно новый торговый поток между Индией и Европой. И когда продукты и фабрикаты, подобно воде, потекли навстречу друг другу, имея постоянную тенденцию увеличиваться, то способ выражения стоимости, превратившийся в векселя и ценные бумаги, можно сравнить буквально с потоком воздуха, который огибает земной шар, подвижный, бесконечно летучий, все пронизывающий и обуславливающий, его можно понять только в его, я бы сказал, атмосферной общей жизни.

Именно в этих формах материальная жизнь простирается далеко за пределы отдельного государства и народа, и благодаря им она все больше объединяет христиан и язычников, дикие и цивилизованные народы и делает их зависимыми друг от друга.

Понятая в таком широком аспекте система экономической жизни, конечно, представляется нам значительно иной, чем когда ее рассматривают лишь по количеству произведенных товаров. Она оказывается тем, что она есть, одним из важных факторов в целом нравственного мира. Для любого индивида великим и возвышающим его моментом является сознание: что бы он ни создавал и чем бы он ни пользовался, имел или накопил, в этой всемирной экономике занимает свое, хотя и весьма скромное место, и все, что бы он ни делал, удовлетворяя сначала свою плотскую и эгоистическую потребность, значит — и должно значить — одновременно нечто бесконечно большее, чем то, что ему сулила судьба, что дало ему повод так поступать; подобно тому, как и в супружестве чисто тварный и чувственный момент должен облагородиться и одухотвориться благодаря познанной великой взаимосвязи расцветшей на нем нравственной сферы. Сетования по поводу грубого материализма касаются не материальной жизни как таковой и ее ускоренного роста, а тех, кто живет ею, не познавая ее в ее нравственном значении. Купеческое сословие, сословие фабрикантов, сельских хозяев являются обывательскими не из-за их занятия, а они становятся таковыми из-за умонастроения тех их представителей, кто не ценит благородства своего дела, кто унижает свою профессию, не понимает ее.

И в заключение еще одно замечание. Для всей этой сферы отношений требуется, как мы считаем, исторический метод, в том числе, конечно, историческое изложение. Нам можно было бы и не говорить этого, если бы мы придерживались традиционного взгляда, что единственный стиль исторического изложения — повествовательный. Конечно, такой стиль изложения мы будем редко употреблять без каких-либо оговорок; тем чаще мы будем пользоваться исследовательским и дискуссионным стилем изложения. Следовательно, можно было бы поставить вопрос, относится ли этот круг дисциплин к истории и только к ней. Мы не раз говорили, что историческое рассмотрение отличается от технического, практически делового. Ремесленник может не думать все время о том, на каких математико-механических и физических принципах основывается его мастерство, но добиваться путем проб и ошибок хороших результатов в деле усовершенствования приемов труда. Но только те дисциплины учат взаимосвязи технических средств и приемов. Так же обстоит дело с историческим рассмотрением. Без практических занятий оно может легко обойтись, конечно, при этом не понимая, чего оно тем самым лишается. Обучение техника пониманию математических и физических связей сводится к тому, чтобы он в своих практических занятиях стал умнее. Но только немногие ощущают, что становятся в своем ремесле тем искуснее, чем больше познают их нравственную, т. е. историческую связь.

#### в) Сфера права § 70 (75)

В этой сфере довольно распространен предрассудок, что право, как и материальная жизнь в родственных сферах и т. д., существует через государство, что правопорядок берет начало с возникновения государства, или — что одно и то же — что государство есть высоко-развитый результат правовой идеи, правовой филосо-

фии, следовательно, государство заключает в себе как моменты все формы правопорядка. Мнение, которое практически приводит к неслыханным беспорядкам, а теоретически к заблуждению, выражающемуся в том, что оно фиксирует один из факторов как исключительный принцип, как если бы физиолог свел все физиологические явления, например, к кровообращению. Государство, право, экономика и т. д. являются только функциями нравственного мира, который, будучи заключен в нравственной природе человека, есть большой макрокосмический организм.

Нравственный аспект в общностях, образуемых идеей права, заключается в том, что бесконечная экспансивная энергия личности, выражением которой является сфера воли, чувствует положенную ей границу и признает ее в равных себе личностях и сферах воли и, признавая ее, одновременно предохраняет самое себя. В естественных общностях это было субстанциональное единство любви, родства, народности, заключенными в которых чувствовали себя индивиды. В материальной жизни они чувствуют себя связанными взаимностью условий и личного интереса, в правовой жизни — посредством общей твердой границы. И в этом ограничении они остаются свободными благодаря тому, что терпят эту границу не как нечто навязанное извне, а принимают как собственное определение воли. Кто не признал бы и не чтит этой границы, тот поставил бы себя тем самым за пределы правового сообщества, и для него в его волевой сфере прекратили бы свое действие гарантии, даже личность его была бы вне закона; и поспранное право призвало бы власть принудить его включиться в правовую общность. Не право есть благодаря договору, а выражение права в отдельном случае, любое правовое отношение есть договор (*implicite*), и наоборот, фактически возникшее отношение между людьми в материальной и государственной жизни формируется только путем вступления в формальное право, его признают ставшим действительным. Тем более что даже государство в своем отношении к тем, кого оно охватыва-

ет, принимает форму права (государственного права), т. е. оно на время отказывается от того, чтобы быть только властью, и принимает границу права, чтобы быть через право тем более уверенной властью. То же самое в супружестве, в семье, правовая форма здесь, как и в государстве, не постигает глубины нравственных моментов, даже не компенсирует их.

Что касается права, то здесь речь идет о двух моментах личности и сферы ее воли, которой она свободно правит, чем бы эта сфера воли ни была: собственностью, землей, людьми и т. д., или всего лишь собственной рабочей силой, собственным телом.

По-видимому, ясно без дальнейших рассуждений, что личность может располагать только своей сферой воли, но не тем, вместе с чем ее способность распоряжаться прекратилась бы, т. е. своей личностью. Но во все времена имелось рабство, даже Аристотель считает, что его можно оправдать не по праву более сильного, а по праву лучшего: варвары, по его мнению, рождены рабами. Точно так же и супружеское сообщество сначала рассматривали как подчинение женщины; лишь медленно пробивала себе дорогу идея договора, сакраментального освящения. Как видим, понятие свободы, личности и тем самым основа всякого права есть результат более высокой культуры, истории.

Тот факт, что объединения лиц понимаются как правовые субъекты, т. е. как юридическое лицо, является только продолжением фундаментального понятия. Это не фикция, которую изобрели, чтобы перенести правовое понятие на такие отношения; а в самой сущности природы человеческих общностей заложено, что они соответственно их идее или их понятию цели имеют аналогию с тем, что строит личность. Ибо люди, находящиеся в общности, поскольку они в ней, являются частью или членами этого целого, которое организовано именно для этой цели или из этой идеи. Они объединены тем, что они *ad hoc* выразили свою волю и согласие считаться таковыми либо определенно на основании договора, либо безусловно, как, например, ребенок по

своему рождению включается в правовую сферу родителей. И государство в таком смысле есть правовой субъект со всеми вытекающими из этого последствиями; но, конечно, оно так же, как и семья, община и т. д. и даже как отдельный человек, есть, кроме того, еще нечто весьма иное.

Теперь понятно, что разговоры о вечном праве, естественном праве — совершенная бессмыслица. Ибо, вероятно, в природе человека заключено то, что он имеет права, или, точнее сказать, что он имеет свое место, это объясняется не абстрактно природой человека, а массой особых моментов, которые присущи именно этому человеку. И вечные права суть бессмыслица, ибо всякое право, как и любая нравственная сфера, находится в непрерывном движении, есть исключительно исторической природы. Но, вероятно, следует сказать, что исторические события, пережитые этим народом, этой эпохой, создают из того, что есть, право, общее убеждение, которое затем есть убеждение именно этого народа, этой эпохи, что из совокупности нравственных образований складывается норма того, какие граница и порядок *должны* быть налицо. Позитивное право ищет выражение этого, формирует закон, санкционирует власть в том смысле, что она одновременно за это будет оказывать покровительство. Но сущность правовой жизни и правопорядка, как и материальной жизни, есть не через государство, а благодаря истории и ее прогрессу.

Высказанного выше достаточно для общей ориентации. Понятно, как здесь, так и повсюду, историческое рассмотрение нормативно. Если Монтескье в «*Esprit des lois*» исследовал не только сущность законов, но и взаимосвязь законов, правовых условий со всеми другими нравственными отношениями народа или государственной жизни, то значение его работы состоит в том, что он впервые трактовал историю не только как сборник ученых заметок, но и как наставницу, которую нам необходимо учиться слушать и понимать. Собственно говоря, этим был проложен путь большому историческому исследованию правовой сферы. Если Ганс<sup>47</sup>



в своей книге «Наследное право во всемирно-историческом развитии» сделал попытку проследить выделенную им сферу правовой жизни во всех ее исторических формациях, то он исходил из совершенно верной исторической мысли, что идея права проделала большое логически последовательное развитие, в котором каждый последующий шаг вносит что-то новое в познание; он совершил только одну своеобразную ошибку, отнеся поставленную им задачу к философии права, каковая однако в полном смысле слова является исторической. Если Йеринг<sup>48</sup> в своем знаменитом исследовании «Дух римского права» делает попытку осмысления правовой жизни этого народа, прошедшего своеобразный путь развития, исходя из индивидуального гения римского народа, то его идея изложить в системе развития римского права периферию, центром которой является как раз этот народный дух, была исторически верной. Тем самым он выступает против привычной манеры изложения романистических исследователей, которые считают, что в качестве догмы следует принять и употреблять только римское право как образцовое и завершенное. Напротив, Йеринг указывает, почему некоторые фундаментальные определения получили более глубокое понимание и на все времена вначале в римском праве, точно так же, как, скажем, в Греции появились первые непреходящие откровения об искусстве.

Я не буду обсуждать отдельные аспекты правовой сферы. В ней более очевидно, чем в сфере материальной жизни, что и правовые условия, и правовые формы вообще, и любая правовая сделка, война законов — исторической природы и тем самым являются объектами исторического исследования. И, может быть, самым значительным достижением правоведения за последние полвека есть понимание того, что юридическое образование непрерывно, и оно все время идет вперед, оно исторической природы. Понимание, утверждению которого способствовала не только так называемая историческая школа.<sup>49</sup> Ибо ей было присуще строго романистическое, даже догматическое направление; она от-

вергала существование какого-либо иного сложившегося права, кроме римского, и отказывала в собственном законотворчестве прежде всего нашему времени (Савиньи). Исследования германистического направления, напротив, привели к более глубокому проникновению в суть права и в конечном итоге открыли путь к постижению римского права, не только в догматическом аспекте.

### г) Сфера власти § 71 (76)

Известно выражение Аристотеля, что человек есть ζῷον πολιτικόν, политическое животное. Этим понятием он обозначает присущий человеческой природе момент жизни в государственном сообществе. Это человеку органически необходимо, как говорить и мыслить.

Мы уже обсуждали, что эта имманентная потребность в государственности нашла далеко не с самого начала соответствующее выражение или, вернее: относительно подходящим выражением была и самая низшая форма, подобно тому, как и неразвитый язык все же является относительно достаточным. Ибо государство на этапах прогрессивного развития приходило к более высоким организациям, к самостоятельному разворачиванию моментов, которые заключены в нем, достигло своего содержания, притом настолько, что, наверное, мы только теперь постигли его.

Республика Платона, «Политика» Аристотеля пользуются заслуженной славой. Но и в той и другой понятие государства еще не выходит за пределы πόλις, городской общины. Понятия «государственное» и «коммунальное» в них еще совершенно слиты, и, исходя из представлений, почти невозможно себе вообразить какое-либо эллинское государство, в котором власть этой народности объединилась бы для защиты родины и отпора врага. У философов есть для этого лишь понятие συμμαχίβ, объединение многих коммунальных и локаль-

ных суверенитетов. Как менялся взгляд на государство, когда пошли от πόλις к царству, а затем к империи.

Я не буду рассматривать всю последовательность формообразований, через которые пробивалась идея государства. Такая история государственной идеи была бы одним из заслуживающих благодарности исследований, и оно бы стало историческим вступлением любой политики, т. е. той науки, в которой трактуется учение о формах, органах и функциях государства. Ибо политика есть та дисциплина, которой надлежит обсуждать вопросы о технической стороне, затрагиваемые в этом параграфе.

Я здесь лишь вкратце намечу, впрочем, весьма отклоняясь от привычной спекуляции, основные особенности, вытекающие из исторического рассмотрения.

Для государства существенным моментом является идея власти. Государство есть публичная власть для защиты людей и отпора врага. В каких бы общностях ни жили люди, для того чтобы обезопасить себе жизнь, они нуждаются в объединении власти. Даже можно сказать, эта защита есть *prius*<sup>50</sup> всех других общностей. За его существование держатся все частные существования в *нем*. Они поэтому ему повинны. Государство располагает ими настолько, насколько оно нуждается в этом для самосохранения. Ибо общий, наивысший интерес всех заключается в том, чтобы оно существовало и оставалось сильным, чтобы защищать и оборонять. И оно тем сильнее, чем незыблеее чувство его необходимости в душах тех, кого оно охватывает. Государство, в каких бы формах, в чьих руках бы оно ни было, господствует, поскольку у него власть. Оно есть суверен, обладающий властью. Это квинтэссенция всякой политики.

Не провозглашаем ли мы тем самым, скажем, господство грубого насилия? Впрочем, на низших ступенях развития государство, кроме атрибутов насилия и произвола, мало что имеет. Но то, что оно в конце концов учится понимать сущность власти глубже, истиннее, нравственнее, что оно в конечном итоге познает и учится организовывать истинную власть на основе свободной воли людей, их свободы, жертвенности и вооду-

шевления, на высшем развитии всего доброго, благородного, духовного знаменует его движение вперед. Понятие власти не является само по себе низким, грубым, безнравственным, оно, напротив, находит свою питательную почву и условие своего существования во всех истинно нравственных функциях. Ибо любая функция существования людей в конце концов защищена только властью, любая функция по-своему содержит элементы власти, которые объединяются в руках государства, и только в нем они благодатны и безопасны.

Понятая и развитая с этой точки зрения идея государства будет иметь ту энергию, которая ей необходима, чтобы соответствовать своей задаче, но одновременно она должна найти и ту границу, которая ей необходима в других нравственных сферах и только благодаря которой можно спасти их относительное право и свободу.

Задача, заключенная в понятии государства, есть двойственная, она обращена как внутрь, так и вовне. Развитие государственной идеи состоит как раз в том, что в ней концентрируются, организуются и формируются все функции власти. Ибо эти функции, оказавшись не в руках государства и не под покровительством его организации, превратились в средства узурпации и угрозы для целого.

Впрочем, идея государства обладала такой энергией, такой организацией не с самого начала, не во все времена; далее, всякая нравственная сфера стремится своевольно признавать лишь те моменты власти, которые заключены в ней. То власть церкви захватывала часть публичной власти, претендуя полностью владеть душами; то это были искусство и наука, власть идей, инициатива духовной жизни; то материальная жизнь порождала большое неравенство общества, сословные различия. Одним словом, внутренняя государственная жизнь по-прежнему приводится в движение всеми теми нравственными силами, каковые мы обсуждали и каковые, пожалуй, государство может своею сильной рукой поработить в одно мгновение, но оно не сможет постоянно властвовать над ними. Конечно, власть мо-

жет до некоторой степени оказывать определяющее влияние на другие нравственные сферы, но только до определенной степени, до определенной границы, переступить которую безнаказанно она не смеет.

Но теперь понятно, в чем заключается здесь дело. Совершенно нелепым представлением является мнение, что государство *ad libitum*<sup>51</sup> издает тот или иной закон о правосудии, распоряжение в системе налогов и т. д. То, что оно может распоряжаться самовластно, заключается в сущности власти. Но государство станет самым грубым, т. е. самым слабым, если оно будет делать такие распоряжения. Чем свободнее и более жизнестойкая государственная идея, тем очевиднее проявляется то обстоятельство, что государство есть всеобщий примиритель нравственных сфер, ведя с ними неустанно переговоры, полемизируя и заставляя их вести полемику между собой. На это способна и годится только идея власти. Ибо только она по своей сути равнодушна к материальной стороне любой особой сферы, если при этом не затрагивается власть. Только государство может быть терпимым в делах религии, может быть одинаково справедливым к бедным и богатым в суде, может быть спокойным в конкурентной борьбе материальной жизни.

Я полагаю, что в таком взгляде заключена формула, подлинный жизненный нерв конституционной жизни. Ведь не в том же дело, имеют или нет созданные любым путем сословия право высказывать свое мнение. Напротив, такое вмешательство, будь то сословное или представительное, имеет несравненно меньшее значение, чем полагают. А суть конституции заключается в том, осознает ли государство и насколько задачу возвышения своей власти, если оно поступает не самодержавно, а согласно основным реальным интересам, все равно: были ли признаны эти интересы путем публичной дискуссии или представительства, или осмотрительного администрирования.

Я упоминаю в том числе и администрирование. Одним из самых вредных представлений, впрочем, весьма расхожих, является то, что-де по мере усиления ор-

ганизации власти дела со свободой становятся тем хуже. Не учреждения Карла Великого положили конец немецкой общинной свободе, а то обстоятельство, что государственная идея была парализована и должностные лица на службе церкви, войска, государства стали при отсутствии государственного контроля злоупотреблять и должностью, и службой ради своей личной корысти. От таких явлений деградации, каковые нам демонстрируют немецкая сословная система XVII в., английская знать XV в., иерархия, городская автономия средневековья, нет никакого иного спасения, чем концентрация, новая организация и победа государственной идеи. Где такое не удастся, как у польского, немецкого народа, там теряют то единственное, что нельзя терять, а именно национальное существование. Можно сказать это и так: государство в качестве публичной власти есть страхование всех нравственных сфер внутри государства, все они жертвуют столько от своей автономии и самоопределения, сколько требуется, чтобы власть была на месте, чтобы защищать и представлять их. Иными словами, власть есть самая высокая из всех нравственных сфер при полнейшем их здоровье, свободе и движении.

Другой аспект власти, аспект защиты от внешней опасности, есть более простой, ранее возникший, можно сказать, первичный. Это суверенитет, независимость и самоопределение государства, т. е. его свободная личность в ряду с другими государствами и народами, которые нужно утверждать. Каким бы большим ни было отличие держав в количественном выражении, качественно любое государство — и это заложено в его сущности — в таком же полном смысле слова есть власть, и оно суверенно, как любое иное государство.

Совершенно очевидно, что отношения равноправия государств тотчас умаляются потребностью соседства, общения и т. д.; что появляется потребность путем договора создать общее право, которому власть *ad hoc* подчиняется; что все сводится к тому, чтобы найти форму, которая будет согласно этому праву улаживать возник-

шие споры между державами, любую тяжбу, а ежели не по этому праву, то после переговоров и благодаря взаимопониманию. Такая поздняя стадия, где она наступает, свидетельствует о более высоком культурном развитии. Понятие государства должно быть понятным и сформированным как таковое, чтобы понятие международного права оказывало на него благоприятное, смягчающее воздействие.

Я не буду рассматривать бесчисленные формы, которые нашло международное право для укрепления международных связей. Важнее пронаблюдать, как повсюду по мере того, как развивается внутренний аспект понятия власти, слабеет глухая изолированность вовне, подлинное понятие суверенитета. Можно сказать, международное право имеет тенденцию становиться все строже, прочнее, превращается, наконец, в государственное право.

В прогрессивном международно-правовом развитии сама собой напрашивается мысль, что государства под определенным углом зрения, например торговли, образования, права и т. д., образуют даже своего рода большое сообщество, в котором строгое разделение на основе понятия власти, хотя полностью не отменено, но все же не применимо для самых важных и для обычного хода вещей. Именно эта идея со времени Императоров испробовалась во все новых формах и, наконец, победила в форме государственной системы. Такое благословение роду человеческому принесли не католичество и не политика министерских кабинетов различных альянсов и *contrepoids*,<sup>52</sup> каковую проводили со времени Тридцатилетней войны, а смогла дать мудрость, приобретенная в прогрессивном движении мысли, что великие нравственные общности, в которых живет человек, хотя и связаны с государством, его защитой и честью и ограничены его границей, но возникают отнюдь не только ради него и через него.

Впрочем, мы таким образом никак не разделяем экзальтированного понятия государства, каковое выдвинули доктрины последних четырех поколений и како-

вое еще в наши дни признает учения Штала<sup>53</sup> и практика Луи Наполеона.<sup>54</sup> Если движение 1848 г. дало урок и произвело на свет какую-либо теорию, то это учение, что понятие государства надо рассматривать более четко, чем до сих пор. Ужасные выводы, которые сделала Франция из необдуманного абсолютного понятия государства, показывают ту бездну, куда низвергаются самые благородные нравственные намерения. Вторгаться дальше в эту область является глубокой и серьезной задачей. Ибо только негация, каковую признает как церковь, так и старая сословная система, есть, конечно, не то, в чем заключается дело. Дело заключается в том, чтобы найти и развить форму, в которой государство является властью в истинном смысле слова, и не больше и не меньше.

Необходима особая, отдельная лекция о политике, а точнее, об искусстве государственного правления, задачей которой будет развитие всех внутренних и внешних организаций из понятия власти. Я не думаю, чтобы мы вывели при этом формулу, как должно быть организовано наилучшее государство; а просто бы сформулировали ряд значительных функций, исходя из задачи, из нравственной природы государства, а затем посмотрели, при помощи каких органов всякий раз совершаются эти функции, какие средства для них есть, при каких условиях они действуют.

Вот мы и ответили этой дисциплине ее место в системе.

Кроме общего обсуждения государства и его функций, надо обратить внимание на то, что любое государство, по крайней мере любое более развитое, имеет свой особый вид и организацию, свою особую историю, свою политику. В таком случае речь пойдет также о массе внешних связей любого отдельного государства, о войнах, переговорах, договорах и т. д. Подлинная историческая литература состоит ведь преимущественно из таких произведений, и любая страна и народ может привести необозримое число таких книг.

Этим обзором государства мы закончили разговор о нравственных общностях. Как мы видели, любая из



них имела свою историю, которая уходит корнями в незапамятные времена. И поскольку этот ряд продолжается до нынешнего момента, поскольку формация настоящего как бы включает в себя эти годовые кольца более ранних образований, мы, живущие в гуще этого настоящего, в состоянии понять прожитое.

Но какое бесконечное число образований в каждом из этих разрядов! Мы говорили о духе народов. Всякий народ, каковой здесь был и есть, имеет свой тип, свою историю; любое государство, любое право так же. Мы не можем отрицать, что любое формообразование в этих сферах исторической природы и тем самым может быть предметом исторического исследования.

Разве в задачу нашей науки входит говорить о каждом отдельном супружестве, о каждом негритянском племени и т. д.? Но где нам найти меру и формулу, чтобы всякий раз делать выбор?

Ответ на эти вопросы дает вторая часть систематики. Как мы видели, первая часть, которая говорит о формах нравственных сил, очерчивает целую систему специальных историй, только без специальной истории отдельных людей, методическое место которой должно быть где-либо в другом разделе.

Я считаю сформулированные здесь названия рубрик особо важными результатами нашего рассмотрения. В этой рубрикации всеобщей и специальной истории заключена возможность разрешить чрезвычайную путаницу в вопросе, что следует относить к домену истории. Мы можем теперь с уверенностью сказать: все нравственное бытие и деятельность людей есть исторической природы, и ему отведено место, где его можно рассмотреть с исторической точки зрения. Нам уже не надо с наивной беспечностью делать вид, как будто малое и даже совсем крошечное, что произошло, является такой же историей, как и большое и великое, а мы теперь знаем: это малое и крошечное имеет свое место и свое право в специальной истории. Мне может прийти в голову заняться исследованием истории моей семьи, которая немногим, кроме меня, будет интересна; но сама

по себе эта история точно так же исторической природы и ее надо трактовать при помощи того же исторического метода, как и историю дома Габсбургов<sup>55</sup> и рода Ховарда.<sup>56</sup> Кто будет отрицать, что и крошечная страна Вадуц<sup>57</sup> или маленькое государство Сан-Марино имеют свою историю; она вряд ли заинтересует других, кроме тех, кого она непосредственно касается: она не представляет более высокого, всеобщего интереса!

Теперь мы обратимся к вопросу, каков тот более высокий всеобщий интерес, или, иными словами, что отличает историю от множества историй.

### III. Историческая работа сообразно ее исполнителям § 72 (77), 72 (78), 74 (79), 79 (84)

Мы обсуждали ранее, что исторической интерпретации недостаточно, чтобы реконструировать целиком и полностью прошлые времена, что здесь всегда мы будем иметь остаток, в котором как раз и заключается самая подлинная и сокровенная сущность человека, его личная ценность.

И все же, если мы говорим, что все формы и перемены в нравственном мире происходят благодаря волевым актам, то, как нам кажется, как раз самое личное и самое сокровенное человека следует считать и самым важным для исторического рассмотрения.

Надо ли нам и здесь говорить, как пришлось сказать при обсуждении нравственных общностей, что знание всего того, что есть в настоящем, должно быть и здесь подспорьем; максимальное знание своих современников, их душ и характеров должно, так сказать, поставить перед нами ряд вопросов, с помощью которых мы попытаемся исследовать людей прошлых времен в их сущности?

Не только недостаточность исторических материалов и неудовлетворительность исторического метода не позволяли нам такого полного познания характеров прошлого. Ведь и тех людей, с которыми мы живем и общаемся, мы не в состоянии понять в определенный момент полностью, постичь самую сокровенную сущность их Я, а можем это сделать только неполно, только до некоторой степени. И тем более понять так, чтобы сказать: таким он будет и завтра, и завтра будет то же желать и так же действовать. Ибо мое Я, как и твое Я, есть нечто живое и подвижное, оно всякий раз по-иному возбуждается и определяется новыми действующими на нас впечатле-

ниями, условиями, раздражителями; чем деятельнее жизнь, выпадающая на его долю, тем меньше можно рассчитывать и предсказывать, как это Я будет меняться.

Для наших практических интересов в настоящем, для нашего воления и деяния имеет величайшее значение представлять себе четко, по возможности достоверно образ людей, с которыми мы имеем дело. Ибо в основном, исходя из этого, мы должны ориентироваться в нашей деятельности. С людьми прошлых времен мы не имеем такого общения и дел. Они, если мы хотим их изучать историческим методом, интересны нам лишь постольку, поскольку дают нам возможность увидеть, какую долю своего характера они внесли в то, что произошло; это станет нам понятно отчасти из их личности, ибо в их же присутствии их противники и друзья, сотрудники, соперники, завистники определялись в своих действиях, в своих планах в зависимости от того, как они верно или превратно воспринимали эту личность.

Такие мнения и суждения современников имеют, впрочем, большое значение для нашего исследования, так как эти люди в ходе событий оказывали определяющее влияние. Но для нашей оценки обсуждаемой личности их мнения не являются нормой.

Для нас на первый план выступают два других аспекта.

1. Если индивидуум во всех нравственных общностях, о которых мы говорили, живет вместе со всеми и сам принимает какое-либо участие, то, каким бы неповторимым и свободным само по себе ни было его Я, он все же в любой из этих сфер находится вместе со всеми и ведет себя соответственно этому. Если он живет среди этого народа, в этом государстве, то он разделяет как право, язык, так и предрассудки этой национальности, патриотизм этого государства; как должностное лицо он поступает в соответствии со своим служебным долгом, часто круто и строго, хотя по своим личным качествам он мягок и склонен к компромиссам; как солдат он, выполняя приказ, ранит и убивает людей, подвергает местность опустошениям и пожарам. Он действует не как индивидуум, согласно своему индивидуальному

мнению, а по одному из многих отношений, которые в совокупности наполняют его Я и запечатлеваются в его совести. Он действует как бы из более высокого Я, какое выражается в формах этой армии, этого чиновничества, этой конфессии, этого государства и народа, в котором тысячи и миллионы чувствуют себя едиными. В какой бы подчас суровой ситуации ни оказался индивидуум, когда его различные обязанности приходят в столкновение друг с другом и он должен решать, что делать, а что отбросить, оставив невыполненным; он полностью полагается на свою совесть, подчиняясь высшему долгу; он чувствует себя выше своего малого индивидуального Я, и высшее право как бы облагораживает его, если он действует со всей энергией и самоотверженностью, служа этому всеобщему интересу.

Миллионы индивидов не поддаются наблюдению нашего исторического исследования и остаются вне поля его зрения. Для нашего исследования они лишь участники в этих общностях, в этих нравственных сферах и их историческом движении; они являются только народом этого государства, солдатами этой армии, верующими этой церкви и т. д.

И более того, это государство, этот народ, эта церковь в непрерывной череде времен являются все же только преходящими. Государства, народы, религии *всех* времен представляют собой только полную, достигнутую к этому моменту форму нравственной сферы, выражением и ступенями которой они были. И все эти нравственные силы, каковые сложились до сих пор, образуют лишь предметное содержание истории, содержание жизни человечества.

В этом смысле в § 74 (79) сказано: «Как это супружество, это произведение искусства, это государство относится к идее семьи, прекрасного, власти, так и эмпирическое, эфемерное Я относится к тому Я, в котором мыслит философ, творит художник, судит судья, исследует историк. Это всеобщее Я, Я человечества, есть субъект истории. История есть  $\gamma\upsilon\omega\theta\iota$   $\sigma\alpha\upsilon\tau\acute{o}\nu$  человечества, его самосознание, его совесть».

2. Если для нашего исследования при таком подходе личное бытие бесчисленных индивидов прошлого полностью отступает на задний план, то другой подход ведет нас к иному результату.

Естественно, что всякий индивидуум, который мы можем еще распознать в нашем историческом материале, представляет для нас интерес, тем больший интерес, чем больше мы о нем можем узнать, или чем значительнее была его деятельность, в каком бы там ни было направлении.

Наш интерес возрастает до предела к тем личностям, которые ярче, более творчески проявили себя в своей сфере, о деяниях которых еще есть в наличии материал, по которому мы можем распознать волевые акты, дававшие истории новые импульсы.

Если попытаться определить понятие «историческое величие», то было бы уместно это сделать здесь. Оно бы заключалось в постижении, выражении новых идей, в движении нравственного мира, в претворении их в жизнь или, как говорит Шиллер, в том, чтобы «дать имена грохочущему времени».

Нам интересны эти люди не как индивиды в их зачастую безотрадной повседневности и с их пороками, а как представители великих интересов и формаций, в которых они занимали такое выдающееся место. И для истории, в истории от них останется лишь то, что они значили в этом ряду преобразований и последствий.

Ибо историческое рассмотрение воспринимает прошлое как безостановочное вплоть до наших дней движение, часто по спирали, как непрерывное движение во всех сферах нравственных сил, как большой труд, продолжить который и передать его будущему есть призвание настоящего.

Что движение повторяется все снова и снова по одной и той же формуле; при ощущении недостатков и давления возникших порядков формируется представление, что здесь есть много такого, что не должно быть таким, что оно должно стать иным, лучше, следовательно, складывается идеальный образ, идея, которая должна осу-

ществиться, согласно которой имеющееся должно быть реформировано, должно быть создано нечто новое, лучшее. И это вожаделенное новое волнует и движет сердца, повышает нетерпеливое желание увидеть его достигнутым, пока затем не появятся гениальные, исполненные этой идеей характеры, чтобы осуществить ее.

Та же схема, заимствованная сначала из практических сфер, повторяется *mutatis mutandis*<sup>58</sup> и в других сферах, как бы сама собой. «Идеи являются критикой того, что есть и чего нет, но должно быть», — говорится в «Очерке» §78 (83). Как только эти идеи претворяются в жизнь, они превращаются в новые порядки, затем входят в привычку и становятся инертными и неподвижными и тем самым снова требуют критики, таким образом процесс повторяется все снова и снова.

#### IV. Историческая работа сообразно ее целям § 80 (83), 81 (86), 82 (87), 83 (88), 84 (89), 85 (90), 86 (91)

Если для нас история есть безостановочное, поступательное движение человечества, продолжение нравственных сил, то теперь вопрос заключается в том, к каким целям и к какой конечной цели движется история? И еще один вопрос, дает ли нам наша наука на основании наблюдаемого движения вплоть до момента «здесь и теперь» ключ к этой цели, к познанию цели, во имя чего трудится человечество? Разве не есть задача нашей науки ответить на этот вопрос?

Как бы глубоко в потребности человеческого духа ни было заложено стремление разобраться с истоками, с целями человечества и как бы теологическая и философская спекуляция ни работала, приводя неустанно все новые аргументы, в этом направлении, исходя из самоуверенности конечного духа, — в природе эмпирических наук, которые располагают только данным моментом «здесь и теперь», не заложена возможность дойти до начала и конца всех дней. Если естественные науки, следуя своему методу, пришли к тому, чтобы воспринимать мир как *perpetuum mobile*,<sup>59</sup> который движется благодаря самому себе, то они придали своему методу такую значимость, каковая находится не в их власти. Последние основания, например движение эфира и протоплазма, к которым они пришли, носят ничуть не менее гипотетический характер, чем когда всемогущество божества, сотворившего вселенную, в их глазах есть только гипотеза. Разве только, что последняя имеет своей основой уверенность в себе Я-бытия, а первая, как они полагают, объективную уверенность эмпирических чувственных ощущений.



Историческое исследование довольствуется обозрением частицы тех немеренных времен, предшествующих нашему настоящему, и не знает о будущем, закончится ли оно завтра или после «царства духов». Мы, пожалуй, можем составить некоторое представление на основании приблизительно трех тысяч лет истории, о которых мы знаем, в каком направлении она двигалась до сих пор и, вероятно, будет двигаться и в дальнейшем. И если мы допускаем, что это движение нравственного мира ведет к все большему совершенству, то мы это делаем по убеждению, которое рождается из нашего самосознания и вытекающей из него природы нравственных сил. Если мы все же к доказательствам о наличном бытии Бога можем добавить еще и то, которое вытекает из исторического познания, то оно так же, как и все прочие, есть доказательство, выведенное не из познанной сущности доказуемого, а из уверенности в себе нашего мышления и познания и из его потребности.

Следовательно, конечных целей наша наука не достигает точно так же, как и не восходит к первым началам. И если наше исследование воспринимает и познает нравственный мир как неустанную непрерывность, в которой одна цель нанизывается на другую, образуя бесконечную цепь, то конечная цель, которая движет, охватывает, подгоняет все другие, высшая, безусловно обуславливающая цель на пути нашего эмпирического познания недостижима.

Мы можем высказать это соображение, иначе сформулировав его. Все снова и снова поднимается вопрос о законе истории. Под ним понимают такое определение, которое являлось бы для истории постоянным и определяющим, которое раз и навсегда неизменно определило бы ее, с самого начала и до конца вещей, подобно тому как естествознание нашло для небесного движения такое определение в законе тяготения Ньютона. Или как было уже сказано: как понятие обобщает какую-то группу сущих вещей, постоянных в тождестве некоторых моментов, так и закон есть выражение того же общества и постоянства происходящих событий.

Но сам Ньютон назвал свой закон тяготения проблемой (Optice III quest. 21). Он, вероятно, сознавал, что его закон не абсолютный, а только обобщение наблюдаемых до сих пор фактов, только теория и гипотеза, на основании которых проще всего и исчерпывающе объясняются эти факты, т. е. небесные тела, рассмотренные только с точки зрения их механического движения и при условии, что сотни астероидов не являются в результате взрыва какой-нибудь планеты, имевшей свою орбиту между Марсом и Юпитером, или что какую-либо планету, например Сатурн или Меркурий, вдруг не постигнет та же участь.

По аналогии можно было бы сказать, что этика есть закон истории, нравственный мировой порядок, господство и формирование нравственных сил. Однако можно сказать только с тем же ограничением, что мир людей, воспринятый под таким углом зрения, представляется нам таким, и при условии, что происшествие, воспринятое нами с этой же точки зрения, насколько оно нам известно благодаря исследованию, объясняется этой теорией проще всего и исчерпывающе; конечно, такая теория, которая складывается на основе неполной индукции, остается проблемой, которую нельзя решить эмпирическим путем и в сфере нашей эмпирической науки.

В основном это содержание того, что «Очерк» излагает в разделе «Исторический труд по его целям».

Теперь вернемся к тому, что мы до сих пор рассмотрели в нашей первой и второй частях: в первой части мы говорили о методе исторического исследования, во второй же — об объеме того, что можно исследовать при помощи исторического метода. В методологической части мы разбирали, как поступать с имеющимися у нас в наличии историческими материалами, чтобы исследовать вещи, которые в полном смысле слова минули и которые могут вновь воскреснуть и считаться настоящими только в нашем представлении, только еще до некоторой степени.

В систематической части мы сделали обзор вещей, о которых мы пытаемся составить представление и мо-

жем составить его, насколько имеются в наличии материалы для исследования. Но эти материалы, даже в самом благоприятном случае, являются неполными. И точно так же, как эти вещи, принадлежа прошлomu, т. е. некому ничто, в своем бывшем настоящем имели многообразное и разноликое, бесконечно сложное реальное бытие, точно так же мы, исследуя их, можем выработать представление о них и их бывшем бытии, но только некоторым образом, только с определенной точки зрения, только частично.

Еще мы полностью не уяснили, как нам высказать эти представления и тем самым сделать их пригодными для дальнейшего употребления. Но в какой бы форме мы это ни сделали, два момента уже ясны. 1. Что добытые путем исследования представления далеко не совпадают с богатством предметного содержания, каковое имели некогда вещи, когда они были настоящим, и 2. Что как бы мы ни излагали добытые путем исследования представления, наши разные манеры изложения, подача материала могут соответствовать бытию вещей, каковое было в их настоящем или как оно складывалось постепенно, только в определенном аспекте, только некоторым образом, по мере нашего исследования.

Задача изложения никак не заключается в том, чтобы развивать из закона исторической жизни последовательность ее процессов и показывать историю как систему вытекающих с необходимостью из ее закона образований и событий. Небольшой раздел, посвященный разным манерам изложения, который можно было более или менее объяснить в ходе исследования, не позволяет ему провозглашать закон, который должен был бы упорядочивать и господствовать над теми временами, которые еще только грядут. Историческое изложение должно ограничиваться тем, что уже было исследовано, и на основе происшествий и социальных порядков в течение всего нескольких тысяч лет, материалы которых имеются налицо, оно могло выработать лишь отрывочные, более или менее отчетливые представления.

Наконец, подача материала, изложение также не может удовлетвориться тем, чтобы просто подгонять полученные представления друг к другу. Ибо уже тем, что оно путем исследования получило множество представлений, которые будут дополнять, компенсировать друг друга, всякий раз по-иному освещать и даже, выстроив их только по порядку, оно займет какой-то ряд и определенную последовательность и тем самым точку зрения их общей взаимосвязи, в которой каждое из этих представлений найдет свое место и таким образом получит нечто большее, чем любое отдельное само по себе.

Вот и все, что касается характеристики и различия наших трех частей.

### Примечания

<sup>1</sup> *Гаттерер (Gatterer) Иоганн Кристоф* (1727–1799), немецкий историк.

<sup>2</sup> *Шлёцер (Schlözer) Август Людвиг* (1735–1809), немецкий историк, филолог, публицист.

<sup>3</sup> *Ваксмут (Wachsmuth) Эрнст Вильгельм* (1784–1866), немецкий историк.

<sup>4</sup> *Ваксмут Э. В.* Очерк всеобщей истории народов и государств. Лейпциг, 1826.

<sup>5</sup> *Ген (Hehn) Виктор* (1813–1890), историк культуры.

<sup>6</sup> История цивилизации (*франц.*).

<sup>7</sup> Просвещенный деспотизм (*франц.*).

<sup>8</sup> Нураги, массивные каменные башни эпохи неолита и бронзового века.

<sup>9</sup> *Аристотель*. Соч. В 4-х т. М.: Мысль, 1983. С. 379.

<sup>10</sup> Бытие, 16, 12.

<sup>11</sup> Дройзен здесь употребляет старое диалектное слово Schlachten.

<sup>12</sup> «Что конные отряды и боевые клинья... у них... не представляют собой случайных скопищ, но состоят из связанных семейными узами и кровным родством». Тацит Корнелий. Соч. Т. 1 / Пер. А. С. Бобовича. Л.: Наука, 1969. С. 356.

13 «...германцы... вывели из лагеря свои силы и поставили их по племенам...». Записки Юлия Цезаря / Пер. и коммент. М. М. Покровского. М.: Ладомир; Наука, 1993. С. 36.

14 По филам и по фратриям (*др.-греч.*).

15 *Штур* (*Stuhr*) *Петер Фёддерсен* (1787–1851), немецкий историк.

16 Не по природе, а по (человеческому) установлению (*др.-греч.*).

17 *Клемм* (*Klemm*) *Фридрих Густав* (1802–1867), немецкий историк культуры.

18 *Эберс* (*Ebers*) *Георг Мориц* (1837–1898), немецкий египтолог и автор исторических романов. Дройзен имеет ввиду его книгу: Египет и книги Моисея. Лейпциг, 1868.

19 Цель (*др.-греч.*).

20 *Шлейхер* (*Schleicher*) *Август* (1821–1868) — немецкий языковед.

21 В немецком языке слово «die Sprache» (язык) женского рода.

22 Немецкие союзы и синтаксические конструкции, выражающие цель.

23 *Бёме* (*Böhme*) *Якоб* (1575–1624), немецкий философ-мистик, пантеист.

24 Цель, логос, то, ради чего (*др.-греч.*).

25 Прекрасное, благое (*др.-греч.*).

26 Brechen (*нем.*) — ломать (ср.: *рус.* ломать пар).

27 Terre friche (*фр.*) — пар.

28 Terra fractivia (*лат.*) — то же самое значение.

29 Fragile (*лат.*) — ломкий, хрупкий.

30 Frange, fregi (*лат.*) — ломать, разламываться.

31 Journal (*франц.*) — журнал.

32 Jour (*франц.*) — день; lundi, mardi (*франц.*) — понедельник, вторник.

33 dies (*лат.*) — день; diurnus (*лат.*), diurne (*франц.*) — дневной, ежедневный.

34 *Группе* (*Gruppe*) *Отто Фридрих* (1804–1876), немецкий поэт, писатель, автор ряда теоретических работ по философии, эстетике, в том числе «Антей, письма о спекулятивной философии» (Берлин, 1831).

35 *Молешотт* (*Moleschott*) *Якоб* (1822–1893), немецкий физиолог, антрополог.

36 *Фогт* (*Vogt*) *Карл* (1817–1895), швейцарский естествоиспытатель.

37 *Августин Аврелий* (354–430), учитель церкви.

<sup>38</sup> Кааба (*араб.*: куб) — главная святыня ислама, «черный камень», якобы посланный Аллахом с неба.

<sup>39</sup> Eloah (*др.-евр.*) — «возбуждающий страх», в Библии имя Бога; мн. число Elohim обозначает Бога в его величии.

<sup>40</sup> Автаркия (*греч.*) — самодостаточность.

<sup>41</sup> Война всех, против всех (*лат.*).

<sup>42</sup> В действительности было два брата: *Перэр (Perier) Жак-Эмиль* (1800–1875) и *Исаак* (1806–1880), французские банкиры, в 1852 г. обосновали «Crédit mobilier», т. е. «кредит движимости».

<sup>43</sup> *Рошер (Roscher) Вильгельм* (1817–1894), немецкий экономист, его книга «System der Volkswirtschaft», Штутгарт, 1854–1856, многократно переиздавалась в XIX в.

<sup>44</sup> *Оуэн (Owen) Роберт* (1771–1858), английский представитель утопического социализма.

<sup>45</sup> *Хансен (Hanssen) Георг* (1809–1893), немецкий экономист.

<sup>46</sup> *Книс (Knies) Карл* (1821–1898), немецкий экономист.

<sup>47</sup> *Ганс (Gans) Эдуард* (1798–1839), представитель философской школы в правоведении.

<sup>48</sup> *Йеринг (Jhering) Рудольф*, немецкий правовед (1818–1888). «Дух римского права». Лейпциг, 1858–1866. 3 части.

<sup>49</sup> Историческая школа, или историческая школа права первой половины XIX в., возглавляемая К. Ф. Савиньи и Эйхгорном. В 1815–1850 гг. издавали «Журнал исторического правоведения».

<sup>50</sup> Самая ранняя (*лат.*).

<sup>51</sup> По желанию, как угодно (*лат.*).

<sup>52</sup> Противовес (*франц.*).

<sup>53</sup> *Шталь (Stahl) Фридрих Юлиус* (1802–1861), немецкий правовед и философ.

<sup>54</sup> См.: Предисловие издателя (с. 29).

<sup>55</sup> *Габсбурги*, древний германский род, ставший с 1273 г. королевским; затем (1437–1806) обладали короной Священной римской империи германской нации. С 1740–1918 гг. Габсбурги правили в Австро-Венгрии.

<sup>56</sup> *Говард* или *Карлейль (Howard/Carlisle)*, династия государственных деятелей Англии XVIII—XIX вв.

<sup>57</sup> Вадуц, теперь государство Лихтенштейн.

<sup>58</sup> Изменив то, что надо изменить; с соответствующими изменениями (*лат.*).

<sup>59</sup> Вечный двигатель (*лат.*).

## ТОПИКА

§ 87 (44), 88, 89

Дать в «Историке» теорию художественной трактовки истории, исследование о художественном характере историографии, как это сделал Гервинус,<sup>1</sup> никак не входит в мои намерения, и я не знаю ничего более далекого от них. Это было бы примерно так же, как если бы логика вознамерилась поучать искусство, как писать философские трактаты. И для нашей науки ничто не сыграло бы более роковой роли, чем обыкновение видеть в ней часть художественной литературы, а мерилом ее ценности считать одобрение так называемой образованной публики. И все не прекращающиеся разговоры об объективности изложения и о том, что надо предоставить слово самим фактам, что надо стремиться к максимальной наглядности и живости изложения, зашли так далеко, что публика уже не довольна, если книга по истории не читается как роман.

Когда под историческим изложением всегда понимают одно только повествовательное, мне это кажется сплошной рутинной. Многие результаты исторического исследования никак не подходят для того, чтобы их излагали в этой популярнейшей форме. Один александрийский ученый, когда царь Птолемей VII<sup>2</sup> пожелал выучить математику за короткое время, ответил ему: «К наукам нет царского пути». Но нет и народного пути к наукам, широкой столбовой дороги для всякого человека из народа. Любая наука по своей природе эзотерична и должна оставаться таковой. Ибо лучшая

часть всякого научного познания есть сам труд познания.

Разумеется, есть не один способ излагать полученные путем исторического исследования результаты. Разные манеры изложения вытекают из следующих соображений.

Результат нашего исторического исследования есть, как мы видели, не восстановление прошлого, а нечто, элементы которого, какими бы латентными и скрытыми они ни были, находятся в нашем настоящем. Исследуя, раскрывая и объясняя те или иные вещи в нашем настоящем, мы развиваем скрытые богатства нашего настоящего и показываем, насколько в нем больше интересного, чем то, что лежит на поверхности. Изучение этих вещей, как мы видели, исследовательского характера. Итак, исследование всегда и то и другое одновременно: и обогащение настоящего, и открытие, и объяснение прошлых времен.

Исследователь, излагая полученные им результаты, может занять ту или иную точку зрения: либо ту, что он мысленно, в представлении, насколько возможно, воскрешает вещи, которые некогда были, но минули, либо он глубже развивает и обосновывает настоящее, его сознание и его содержание. Таким образом мы получаем различные формы изложения.

Самая естественная форма заключается в том, что исследователь, копая глубоко и все глубже, находит такие-то и такие-то скрытые сокровища. Такое изложение исследования создает впечатление, как будто главное для него не найденное, а сам процесс нахождения. Здесь интерес изложения направлен только на то особое, что я, исследуя, искал и нашел. Здесь важно составить описание или, скорее, изложить проведенное разыскание так, чтобы результатом оказалось именно это особое, ответ на этот вопрос, причина действий, цель поступка и т. д. Следовательно, это изложение есть мимесис наших поисков и нахождения.

Понятно, что такая форма, которая представляет лишь исследование, имеет нечто узко очерченное, мик-



рологическое, даже что-то идущее более или менее от широкого контекста вещей и событий, высказывает, скорее, представление о нашей работе с вещами, чем о самих вещах. Поэтому нужна такая форма, в которой, наоборот, наш труд предельно отступает на задний план, а вещи, так сказать, получают слово. Это повествовательная форма.

Эта форма — как бы зеркальное отражение той, исследовательской. Она представляет результат исследования не как поиск и нахождение, а как процесс, моменты которого определились сами собой, своим видом, своей природой. И как нам разнообразие происшедших событий, по свойству, присущему человеку, является в форме становления, так и она выстраивает полученные в результате исследования представления в цепочку так, как соответствующие моменты следовали друг за другом или обуславливали друг друга в действительности, если ее воспринимать как становление. Такая форма, рассказывая так, показывает, как этот вид и природа процесса постепенно становились и продолжали двигаться. Следовательно, она дает мимесис становления.

Хотя все-таки в эту манеру изложения привнесены кое-какие побочные мысли, тенденции и т. д., она не нуждается в них, а признает, что передает ход вещей таким, каковым он был в действительности, и делает это ради вещи, ради истины.

Но не стоит порицать эти побочные цели сами по себе; они появляются только тогда, когда отрицают себя. Напротив, наивысший интерес представляет то, что дело поняли, истину узнали, и то, что в тщательном исследовании познано, как истина признана таковою, и становится общим убеждением. То, что было, нам интересно не потому, что оно было, а потому, что оно еще в некотором смысле есть, еще действует, поскольку оно взаимосвязано с вещами, которые мы называем исторический, т. е. нравственный мир, нравственный космос. То, что мы знаем этот великий космос и нас в нем, составляет нашу духовную жизнь и наше образование; и мы можем его знать и иметь в нас, только здесь, в на-

стоящем, в эпитоме мыслей, которые являются его содержанием и его истиной.

Таким образом, мы получаем третью форму изложения, которую мы называем назидательной, дидактической.

Так мы видим, здесь мы получаем принципиальную точку зрения, чтобы употребить все имеющееся в прошлом для объяснения нашего настоящего и для его более глубокого понимания. Мы будем излагать это настоящее по его идейному содержанию, его истине, и подходящая для этого форма есть та, что мы указываем становление этого настоящего и его идейного содержания.

Но в массе ставшего и теперь сущего есть непрерывное движение, которое всегда может пойти в ту или иную сторону. История еще позавчера и вчера работала и сегодня работает среди этой неистовой борьбы и столкновения тысяч интересов и страстей. Но история дает нам уверенность, что то, что работает и определяет труд человека и властвует над ним, суть идеи, те же самые великие идеи нравственного мира, — сегодня, как и всегда, — все действуют одновременно, постоянно обуславливая друг друга.

Кто хотел бы судить, исходя из момента «Здесь и Теперь» вещей, и принимать решения, тот очень скоро бы понял, как неглубоко он судит, какие поверхностные решения принимает на основании мгновенных импульсов, не связывая все в один контекст. Глубоко мыслящий человек почувствует потребность понять себя не только в общем контексте, но и во всяком важном моменте и непрерывности событий. Он употребит знание прошлого, чтобы уяснить себе этот момент настоящего и по его обусловленности, каковую он имеет в предшествующем, сделает основательно и уверенно выбор, который требует от него решения.

Так, прилагая результаты исторического исследования к данному случаю, изложение как бы поворачивает назад. Ибо исходя из момента «Здесь и Теперь» и полученных в нем материалов, чтобы уяснить прошлое и заставить его вновь вспыхивать язычками пламени, оно

собирает эти отблески и сияния, чтобы увидеть или показать настоящее при более ярком и пронизывающем освещении, объяснить исследуемое сущее его историей и продемонстрировать его во всем его значении. Эту форму изложения мы можем назвать дискуссионной.

Без труда можно понять, что в этих четырех формах исчерпываются все возможности исторического изложения, но тем самым для различных задач исторического исследования даны необходимые формы. Нельзя сказать, что та или иная форма есть лучшая, а только в зависимости от задачи и цели какая-либо из них оказывается наиболее пригодной, даже незаменимой. Не всегда избранная форма будет достаточной, часто неясность и безвкусица порождают неподходящие и нелепые комбинации, но о них позднее.

#### а) Исследовательское изложение § 90 (45)

Исследовательскую форму не принято причислять к сфере исторических манер описания, поскольку при слове «описание» всплывает в памяти идея искусства и художественных правил.

Я не говорю, что при исследовательском изложении не может быть речи об искусстве и художественных правилах, хотя они и не совсем привычного вида; чтобы оценить их, требуется более тонкое чувство стиля. Чтение исследования Лессинга — большое наслаждение для того, кто умеет оценить логику и стиль.

Подобные исследования стали появляться вначале в эпоху классического образования и высокого развития литературы, собственно говоря, со времени Аристотеля, и они продолжались в форме *ἀλωρήματα*, *quaestiones*, вплоть до периода Императоров, хотя все вырождаясь в философские забавы, например император Тиберий, по Светонию, давал своим ученым задания исследовать, какое имя носил Ахилл среди девушек острова Скирос, какую песнь пели Сирены Одиссею. Затем

способность к написанию исторических исследований уснула, проспав глубоким сном тысячу лет. Лишь в великих церковных дискуссиях XV в. вновь научились проводить изыскания, только благодаря критике вновь появилось историческое исследование, ибо теолого-догматические, а также юридические и публицистические исследования были уже давно. Историческое исследование со времени Реформации, быстро шагая вперед и набирая силы, смело выступило в XVIII в., достаточно напомнить здесь о Бентли, Лессинге, Ф. А. Вольфе.

Исследовательская форма изложения незаменима всегда там, где недостаточность или неясность имеющегося у нас исторического материала не позволяет нам, просто нанизывая одну исследуемую деталь за другой, установить связь и значение того, что подлежит исследованию, подтвердить простой очевидностью представление и идею, которые-то нам и важны.

Ибо чтобы это представление, эта идея были подтверждены простой очевидностью, необходимы непрерывность и прозрачность свидетельствующего о них материала, который позволяет изложить идею в данных формах проявления на основе ряда моментов развития, в которых она нашла свое выражение.

Там же, где материал скуден, ненадежен, запутан, дело заключается прежде всего в том, чтобы восстановить прозрачность материала. И естественно, что как только ясность будет восстановлена, в ней тотчас проявятся значимость и непрерывность заключенной в ней идеи.

Ни одному разумному человеку не придет в голову излагать в виде простого повествования досолонову конституцию Афин, царский период Рима, бенефициальную систему империи франков: в нашем скудном и противоречивом материале касательно этих тем отсутствует очевидность и непрерывность, чтобы их просто рассказывать. Но исследовательское изложение, объясняя дошедшие до нас подробности и, насколько возможно, интерпретируя, доводя до максимальной очевидности отдельные, случайно еще доказуемые момен-

ты, по мере того как оно достигает этого, вызывает к жизни представление и идею, в которых эти подробности как таковые объясняют и подтверждают себя как логически связанные между собой. Казалось бы, обращенное только на проверку верности исследовательское изложение позволит, чтобы в голове у читателя сложилась бы картина истинного развития. Когда Я. Гримм исследовал историю немецкого языка, то он правильно поступил, что не сделал глупой попытки рассказывать ее; но его исследование таково, что разумный читатель ясно и достоверно видит только идейное содержание его результатов, историческую непрерывность языкового развития.

Итак, стиль исследовательского изложения вытекает сам собой из вышесказанного.

Прежде всего не следует думать, что эта манера намного проще, намного легче и удобнее, чем, например, повествовательная. Напротив, она требует большей сосредоточенности и отчетливости мысли. Ибо она не хочет быть наглядной, как повествовательная, а хочет убеждать; она не хочет будоражить фантазию, а хочет удовлетворять рассудок. И весьма заблуждаются те, кто думает, что при исследовательском изложении можно все пустить на самотек, что здесь у них преимущество бесформенности. Наоборот, его преимущество — быть элегантным. Это не значит быть манерным и жеманным, а, как говорят математики, значит точность, краткость и законченность доказательства.

Что в исследовательском изложении важно именно это, вытекает из самой природы данной формы изложения.

Ибо — и это главное — исследовательское изложение есть не само исследование. Напротив, оно делает вид, как будто найденное в действительном исследовании еще предстоит искать и найти. Заставляя читателя как бы вместе искать и находить, оно убеждает его.

Ибо демонстрировать множество ошибок, неудач и иллюзий, которыми обременено любое настоящее исследование, у исследователя нет никакого повода. В из-

ложение включают только то, что во время исследования оказалось ведущим дальше и к цели. Поскольку результат исследования имеют прежде, чем приступят к изложению, то должны упорядочить последовательность комбинаций и выводов так, чтобы читателю они показались достовернее всего и подготовили его к результату. Элегантность исследования состоит в том, чтобы избавить изложение от всего того, что на этом пути не ведет к результату, и проследить тщательно и строго этот путь от начала и до цели.

Следовательно, в этой форме изложения два момента являются нормативными: цель и путь к цели. И отсюда вытекают, думается мне, возможные здесь формы такого изложения.

Вероятно, в редчайших случаях в ходе действительного исследования уже точно предугадали результат, к которому должны были прийти. Хотя приблизительно видели цель, однако исследование показало, что полагали ее слишком близкой, что не распознали ее во всем ее значении. Ее значение росло и развивалось лишь путем критики и интерпретации действительного разыскания. Теперь только, после того как достигли цели и имеют перед собой весь результат, можно приступить к тому, чтобы излагать его в форме исследования.

При этом можно поступать так, что создается впечатление либо поиска, либо нахождения, т. е. либо исходят из вопроса, на который хотят ответить, из дилеммы, которую хотят решить, или исходят из данностей, из критики и интерпретации которых получают результаты как бы сами собой, без поиска.

Именно эти две формы встречаются во всяком криминальном процессе. Следователь, если дело идет об убийстве, имеет такие данные: труп убитого, кровавый след, ведущий к деревне, брошенный на дороге окровавленный топор с такими-то и такими знаками на рукоятке и т. д. Следователь обобщает эти данные, обстоятельства дела, интерпретирует их: убийца напал на убитого с этой стороны, нанеся ему удар, а затем побежал к деревне. Продолжая разыскание в деревне, он на-

ходит в одном доме новые улики: здесь нет топора, хозяина всю ночь не было дома, он вернулся домой возбужденный и т. д. Постепенно у следователя складывается система логических связей, которая дает определенный и полный ответ на вопрос, с которого началось расследование. Из так называемой объективной стороны состава преступления, т. е. из еще имеющихся налицо остатков происшествия, и исходя из первых показаний, т. е. мнений из первых, вторых, третьих рук следствие получило и составило так называемое субъективное представление состава преступления, т. е. что убийца совершил и чего он хотел. Если следователь составляет заключение для суда, то он, исходя из первых показаний и первого осмотра, напишет свой доклад так, что слушатель или читатель воспримет результат как совершенно достоверный. Следовательно, в этом случае исходили из факта, что был обнаружен труп, что позволяет сделать вывод об убийстве; поэтому продолжили поиск, чтобы установить, при каких обстоятельствах было совершено убийство, кто его совершил.

Совсем другого рода будет изложение того же самого убийства со стороны прокурора-обвинителя и адвоката-защитника. В нем речь пойдет не о реконструкции происшествия из всех данных фактов, а о вопросе, является ли обвиняемый в убийстве виновным; т. е. можно ли доказать субъективную сторону состава преступления, представленную обвинением, на основе объективной стороны? Исходя из этого вопроса, сначала разлагают его на элементы, приводят улики, показания свидетелей в соответствующих инстанциях, таким образом шаг за шагом продвигаются вперед, пока, наконец, нельзя будет сделать заключение: обвиняемый совершил убийство. В этом случае не находят, а ищут; идут не от трупа и кровавых следов, т. е. от фактов к их связям и поводам, а пытаются прийти от улик и свидетельств, от фактичности к центру, к виновнику убийства и его обвинению.

Именно в рамках этих двух схем движется наша наука, излагая свои исследования. Я приведу по примеру на каждую схему.

Бёкк, работая над вторым изданием своей книги о государственном бюджете, где он исследовал более подробно проблему аттических денег и пробы аттических монет, пришел в результате своих весьма пространных изысканий к выводу, что не только проба и монеты, но и вообще система мер и весов — и не только афинян, но и всех греков и римлян впридачу, вообще всей античности — происходит из Вавилона. Чтобы описать свои результаты, он выбрал исследовательское изложение, а именно описание первой схемы: он установил такой-то факт, такую-то аналогию и различия между пробами монет аттических, эгинских, эвбейских и т. д.; он искал другие признаки, другие аналогии и различия; все шире становился круг его материалов; и, наконец, они дали результат, что все эти определения меры и веса являются лишь различными вариантами вавилонской шестидесятичной системы. И тем самым были объяснены и стали понятными все отдельные, частично очень заметные явления в метрологических системах Древнего мира.

По противоположному пути пошел Ваттенбах в своем исследовании о так называемых привилегиях, *privilegium minus*<sup>3</sup> и *maius*,<sup>4</sup> по которым эрцгерцогству Австрия были пожалованы императором Фридрихом Барбароссой<sup>5</sup> такие-то и такие привилегии, оно было освобождено от податей в пользу императора и имперской власти. В течение столетий эти привилегии имели практическое значение и обосновали в правовом плане неслыханное положение австрийских земель в империи и по отношению империи. Впервые в 1785 г. в Союзе немецких князей<sup>6</sup> был сделан запрос об исследовании подлинности этих привилегий, но он не прошел. Такое исследование провел Ваттенбах, в результате которого установил несомненную подложность привилегии *maius*. Поскольку он хотел представить ученой публике убедительно этот результат, то он выбрал форму изложения прокурора, государственного обвинителя, доказывая как бы субъективную сторону состава преступления фальсификации: такую привилегию не мог



даровать император Фридрих Барбаросса; тогда эрцгерцогство Австрия было вовсе не в том объеме, имело не такое значение, которое предполагает эта грамота. Но, вероятно, герцог Леопольд<sup>7</sup> во время императора Карла IV имел такие-то и такие поводы выдумать такую грамоту; он фальсифицировал и другие грамоты и т. д. И тем, что были доказаны время, автор, цель, вид фальсификации, эта грамота перестала быть документом, каковым она так долго считалась.

Мы видим, как соотносятся друг с другом эти две формы исследовательского изложения. Каждая имеет свои преимущества и правила, и, смотря по обстоятельствам, оказывается наиболее пригодной та или иная форма. Вторая форма, та, которая доказывает субъективную сторону положения дел, производит впечатление более логичной, точной, убедительной в своих выводах. Но впечатление, будто другая форма, исходящая при реконструкции положения дел из случайных улик, продвигается вперед более непринужденно и свободно, мнимое: и это изложение должно не упускать из виду свою цель и не отклоняться ни влево, ни вправо. Но излагая дело так, как будто любая новая улика случайна и непредвиденна, эта форма создает некое напряжение и возбуждает фантазию. Благодаря тому, что излагают как бы историю разысканий, в представлении читателя вырисовывается занимательная история.

Для той и другой формы главное методическое правило состоит в том, что представляют не реферат или протокол проведенного изыскания, а используют лишь миметическую форму расследования, чтобы обосновать найденный результат. В той и другой форме иногда могут применяться все методические средства нашей науки: интерпретация и критика, гипотеза и аналогия и т. д. Следует изложить, как вопрос, подобно Протею, все снова и снова ускользает из наших рук, в конце концов, будучи пойманным с помощью хитрости и неустанных усилий, он приводится к *προφήτεῖν*. И эта манера изложения обладает такой привлекательностью, что можно хорошо понять: тот, кто ее однажды испробовал, предпочи-

тает ее любой другой. Это всегда признак здоровой и мужественной любви к науке, когда постоянно прибегают к этой форме, и она пользуется постоянным признанием.

Конечно, прелести популярности она не имеет. Все же, чтобы воздать ей должное, нашли форму эссе, в которой, смягчая логическую строгость исследования, вносят прелесть описаний и остроумных замечаний и намеков. Французы и англичане сделали выбор в пользу этой формы, и в Германии она завоевывает все большее пространство. С полным правом, если научный работник больше обращает внимания на образованную публику, чем на дело.

## б) Повествовательное изложение § 91 (46)

И в старое, и в новое время, когда вели речь об историческом стиле, историческом мастерстве, подразумевали только эту форму изложения. Дионисий Галикарнасский<sup>8</sup> и Лукиан<sup>9</sup> в своих сочинениях *πῶς δὲ ἱστορίαν συγγραφεῖν* а также Ваксмут и Гервинус в своей «Историке» собрали массу полезных и тонких замечаний, которые в бесчисленных критических статьях и фельетонах об исторических сочинениях ежедневно пополняются новыми наставлениями и рассуждениями об искусстве.

Я не буду останавливаться на таких мелочах, тем более, что, по моему мнению, эти вопросы, в общем-то, просто решаются, если подойти к ним по существу.

Я должен сделать только еще одно предварительное замечание. К сфере повествовательного изложения, естественно, относятся и такие незатейливые сочинения, как хроники, сказания и прочие вещи самого примитивного характера. Без сомнения, было бы большой несправедливостью, если бы их взяли за образец и по ним определяли характер повествовательной формы изложения. Ту прелесть, которой они обладают для высокообразованных ступеней образования, не следует искать в их

абсолютных преимуществах, она заложена в их относительных преимуществах; например, в умной наивности Геродота, каковая, правда, возникает из-за недостатка четкости и прагматической пронизательности, или в старческом умничании Филиппа де Комина, каковое, правда, является следствием его крайне узкого кругозора. И если, например, Иоганн фон Мюллер<sup>10</sup> в своей истории Швейцарии подражал стилю Чуди<sup>11</sup> или Конрада Юстингера, если Ранке в своей первой книге «История романских и германских народов. 1494–1535» (1824) выдумал себе особую, стилизованную «под старину» манеру изложения, чтобы, как он, вероятно, полагал, передать дух того времени, то это, хотя и было занимательно, но все же сделано.

Будет лучше, если мы попытаемся развить повествовательную форму из ее собственной природы.

Сущностью повествования является изложение становления и хода того, о чем рассказывается. Следовательно, оно ведет рассказ от начала какого-либо государства, с юности какого-либо человека, с начала войны, прослеживая ход их становления и дальнейшего образования. Нанизывая факт за фактом, оно как бы воскрешает перед глазами читателя это становление. И повествователь может это по мере того, как он тщательно исследует дела и желания действующего лица, тормозящие и благоприятные моменты этого становления, их внутреннюю связь с предыдущим и одновременным, их значение для последующего.

Но что же это такое, становление и развитие, которые рассказчик хочет нам продемонстрировать? Вполне возможно, он не желает сообщать нам все и вся, что делал этот человек день за днем, за завтраком, во время прогулки, в обществе жены и детей и т. д., не все, что произошло в этом государстве, во всех министерствах, административных учреждениях, общинах, частной жизни; ведь рассказывая о войне, он не может поведать нам о всяком передовом отряде и провиантском обозе. На самом деле мы знаем, что все до ничтожно малого движется в постоянной взаимосвязи и взаимодействии.

Повествователь может выбрать из бесконечной массы фактов лишь некоторые, лишь кажущиеся ему подходящими, чтобы составить относительно замкнутое целое. Хотя он тщательно исследовал то, что выбирает для своего рассказа, однако это лишь единичное, даже если ему это представляется существенным.

По каким критериям он выбирает? С каких точек зрения представляются ему вещи как относительно целое и замкнутое в себе? Об объективной полноте не может быть и речи, а мерила, важного и характерного, объективного критерия в самих вещах нет.

Второе решается таким образом, что уясняют, что хочет изложить рассказчик. Однако не это государство, эту войну, эту революцию во всей широте их некогда реального бытия и хода. Кто хочет рассказать историю Рима, тот воспринимает идею государства, которое образовалось так-то и так-то, которое приняло в себя так много стран и народов, по-своему преобразовав их. Согласно этой идее рассказчик выбирает по своему усмотрению факты и внутренние связи, которые он, повествуя, упорядочивает. Кто собирается рассказывать о Семилетней войне, тот будет прослеживать в основном военные и политические конфликты в течение семи лет, глубокий кризис системы европейской власти; он рассматривает действующие лица, одновременные события в том направлении, как они вторгались в этот контекст; набор солдат для такой огромной армии, большие военные расходы, склады боеприпасов и т. д. — все, что доставляло воюющим сторонам столько хлопот и неприятностей, он обобщает, упоминая лишь то, что относится к тем идеям; реалии, битвы, осады, переговоры между державами для него значат лишь постольку, поскольку они относятся к этому контексту идей. Все факты, которые он, критически исследуя, проработал, проверив их верность, имеют свою истину только в этой идее, каковую он, повествуя, изложил. И в свою очередь историческая истина есть та идея, в которой обобщились реалии как справедливые, личности проявили себя как определенные и определяющие, как бы стали осмысленными.

Но могут возразить, если повествовательное изложение описывает так ярко идею, то поэтому-то оно и носит художественный характер, и историография есть искусство.

При всем этом, однако, есть очень значительное различие. Художественная идея — нечто совсем иное, чем историческая, которая в ходе исследования оказалась точкой зрения, с которой нужно обобщить и понять ряд событий и фактов. В искусстве средства, будь то краски, формы тела, звуки или люди и их деяния и страдания — не имеют никакого иного значения и ценности, кроме как художественной идеи, выражения художественного.

Ведь сущностью искусства является, что оно в своих произведениях заставляет забыть недостатки, обусловленные его средствами, и оно может это постольку, поскольку идея, каковую оно хочет выразить в этих формах, в этих материалах, при помощи этой техники, оживляет и озаряет их, как бы лишая их недостатков, их материальности, превращает их в эфирное тело этой идеи. Созданное есть некая целостность, нечто завершенное в себе. Художественное обладает силой, чтобы дать зрителям и слушателям почувствовать в этом выражении целиком и полностью то, что хотел выразить художественный гений. Иначе обстоит дело с нашей наукой и ее стилем изложения. Она имеет в наличии данный ей материал, более или менее полный, и полученные из него результаты, в которых она не может ничего ни преувеличивать, ни преуменьшать, ничего не изменять, которые она должна использовать такими, каковы они есть. Ее идея не гениальной природы, не спонтанное выражение движущегося в себе духа, а полученное путем исследования материалов — максимально возможное на основе их — понимание этих фактов, этих процессов, характеров и т. д. И довольно часто изложение вынуждено признать, что кое-где остаются пробелы. Желание скрыть такие проблемы или даже заполнить их фантазиями было бы антинаучно; тем самым наша наука потеряла бы значение и право

быть эмпирической наукой, и наше изложение превратилось бы в роман.

Но повествовательное изложение имеет до некоторой степени характер *μίμησις*, как и исследовательское. Если последнее есть *μίμησις* проведенного исследования, то повествование — это *μίμησις* становления. Только не становления, каковое протекало в прошлом внешне и во всей широте. Конечно, если мы желаем изложить историю Римской республики, то в качестве руководящей идеи мы можем взять идею власти и мирового господства Рима. Но эта идея не заявляла о себе еще во времена Ромула и Рэма или первых консулов. Мы пришли к этой идее, лишь изучив всю римскую историю, мы даже видели, что она выступила в полную силу в лице Суллы и Цезаря. Но даже скудные сведения о начальном периоде города и республики кажутся нам значительными на фоне этого развития, вырастающего из них, получают подлинное историческое освещение только из этой идеи, которую римляне начали предугадывать лишь поздно, лишь со времени войны с Ганнибалом.

Следовательно, повествовательное изложение не дает картины, фотографии того, что некогда было, тем более оно не является иллюстрированным журналом всех дошедших до нас подробностей и заметок, а есть наше мнение о значительных происшествиях, составленное с определенной точки зрения, под определенным углом зрения. Ибо только так, прослеживая *одну* идею, оно может дать мимесис становления. Правда, тем самым повествование вносит в события неустанность и торопливость, которых вовсе не было в мировосприятии тех, кто во время Сервия Туллия, Брута и Коллатина был достопочтимым римским народом.

Из этих соображений, как я полагаю, вытекают основные моменты повествовательного изложения.

Прежде всего такое изложение имеет свою меру и норму в бывшем реальном смысле и ходе изображаемого, в полноте и широте тогдашнего настоящего и его содержания, хотя исследование должно пытаться, на-

сколько возможно, удостовериться в них. А из всего исследованного оно приводит лишь то, что необходимо для его цели, и этой целью является изложение выявленной им идеи как становящейся.

Таким образом, повествовательное изложение имеет критерий для своего выбора и одновременно твердую точку зрения, с которой оно показывает приводимые им вещи и события. Конечно, при этом полностью сознавая, что с этой точки зрения картина будет неизбежно до некоторой степени односторонней, поскольку с нее нельзя увидеть все, многое придется отбросить, оставить вне поля зрения излагающего.

Если повествователь выбирает в качестве своей задачи идею этого государства, этого народа, этого человека, этого художественного исполнения, он будет рассказывать все, что в устройстве этого государства, его становлении, объеме, политической власти и т. д. он выявляет, отбрасывая бесчисленные детали, которые не оказывают влияния на это становление. Если он хочет рассказывать о великой революции, о войне, имевшей большие последствия, — если рассказ вообще возможен, — то в драме борющихся сил и интересов он может и должен увидеть и проследить борющиеся идеи, высшую идею, которая созревает в ней и есть конечный результат борьбы. Тогда интерес читателя полностью прикован к этой высшей идее, становление которой есть ее истина.

Таким образом, повсюду повествовательное изложение и вместе с ним интерес читателя ставит перед собой задачу реконструировать все то, что в свое время, когда те вещи были действительностью и настоящим, волновало и занимало людей той эпохи. Римляне времен Ромула и первых консулов вовсе не задумывались об основании мирового господства, и еще в пору войн с самнитами и Пирром любой римлянин думал только о том, чтобы отстоять и защитить существование города и его округа от воинственных соседей и чужеземных завоевателей. Но со времени Второй Пунической войны они начинают осознавать, что Рим, чтобы сохранить себя,

должен не только господствовать над всей Италией, но и покорить Карфаген и учредить господство над всем эллинистическим миром. Современники Цезаря и Августа стали воспринимать достигнутый тогда результат римской истории как ее задачу, которая существовала с самого начала, и то обстоятельство, что Ливий, Вергилий и другие высказывали это и изображали, давала римскому народу сознание непрерывности, которая по-новому осветила и самые темные времена начальной истории.

Как видим, в этом контексте для исторического исследования, а конкретнее, повествовательного изложения возникает серьезная задача и обязанность. А именно, выразительно изложить своему государству, народу в своем исследовании и интерпретации того, что народ пережил и совершил, его самую подлинную сущность, его идею, как бы дать ему образ самого себя. Эти долг и задача тем выше и плодотворнее, чем бесформеннее и безвольнее еще государственное и национальное сознание.

Но не перестаем ли мы при этом быть объективными и беспристрастными? Ваксмут в своей книге (см. выше, с. 288) на странице 126 высказывает мнение, что историк, «свободный от всяких национальных уз, всяческих соблазнов и пристрастий, сословных интересов, всяких религиозных привязанностей, свободный от предрассудков и аффектов, кроме стремления к истине и добродетели, *sine ira et studio*,<sup>12</sup> творит, создавая произведение для вечности».

Благодарю покорно, это объективность евнуха. Я же хочу не больше, но и не меньше, чем иметь относительную истину моей точки зрения, достичь каковую позволили мне мое отечество, мои политические и религиозные убеждения, мои серьезные занятия. Это не имеет ничего общего с тем творчеством для вечности, а может быть в любом отношении односторонним и ограниченным. Но нужно иметь мужество признаться в этой ограниченности, утешая себя тем, что ограниченное и особое есть богаче и больше, чем общее и всеобщее.



Таким образом, для нас решен вопрос объективности, беспристрастности, пресловутой точки зрения вне вещей и над вещами. Естественно, я буду решать большие задачи исторического изложения, исходя не из моей малой и мелочной личности. Рассматривая прошлое с точки зрения идеи моего народа и государства, моей религии, я возвышаюсь над своим собственным Я. Я как бы думаю из более высокого Я, из которого вышли шлаки моей собственной маленькой персоны.

Другие вопросы, касающиеся наглядности описания, характеристики деятелей, остроумных намеков или афористичной торжественности, решаются сами собой. Конечно, многие историки находят удовольствие в том, чтобы в своем изложении блеснуть умом, стилистическим искусством, мастерством в описании людей, пейзажей, костюмов и т. д. Как будто история существует лишь для того, чтобы предоставлять им возможность для прекрасных описаний, т. е. показывать не вещи, а свою виртуозность. Было бы лучше, если бы господа избавили себя от труда заниматься историей; по крайней мере они сохранили бы свою гордость, а не тщеславное желание блистать своими талантами.

Я обращаюсь к следующему, как мне кажется, важному моменту. Когда слышишь банальные суждения публики и критиков, то можно подумать, что есть только *одна* норма, *одна* наилучшая манера исторического повествования, например манера Тьера, Маколея или Ливия. Фукидид же снискал бы у нынешних критиков искусства мало благоволения: он слишком суров. Намного больше бы понравился Тацит, поскольку он бесчувственный и пессимист. Более утонченные умы во всяком случае признают, что повествование в мемуарной литературе может отличаться от повествования серьезных исторических трудов. Любого историк следует своему собственному чувству такта, а любой критик судит по тому, как он сам бы желал писать.

Попытаемся глубже разобраться в этом вопросе. По-видимому, имеются в природе вещей исключительно разные формы повествовательного изложения. Ибо

повествование рассматривает и показывает события с определенной точки зрения, поэтому важно, какой подход она выберет, точку зрения, с которой оно будет воспринимать и проследживать становление вещей.

Возможные подходы объясняются тем, какой из моментов в становлении вещей ярче всего проявляется или выделяется рассказчиком; цель либо личность, благодаря которым совершается движение, либо вид, прагматизм движения, либо то, из-за чего происходит движение. Таким образом получают четыре категории, любая из которых по-своему оправдана.

1. *Прагматическое повествование*. Мы называем так ту форму, которая обращает внимание прежде всего на ход дела, прагматизм движения. В этой форме излагают, как появляется предварительно правильно рассчитанный, в конечном итоге достигнутый результат. Здесь проводится мнение, что так и должно было быть, и так и произошло, как было задумано и рассчитано. Это есть объяснение ставшего на основе непрерывности и прагматического хода его становления.

Очевидно, что этой формой повествования мы можем воспользоваться там, где великое и хорошо рассчитанное воление, ясно представляемая цель ведут ход событий и доминируют над ними. Успешные войны великих полководцев можно рассказать прагматически, т. е. превосходство руководящей воли и идеи над другими действующими одновременно факторами так значительно, что едва ли стоит упоминать их, а следует все внимание сконцентрировать на ходе событий осуществляемого плана. Естественно, другие моменты действовали, и не менее эффективно, но в данном случае для прагматического повествования они отступают на задний план. Клаузевиц<sup>13</sup> блестяще изложил в этой манере первые войны Бонапарта; каждая из них кажется хорошо рассчитанной, причем первая идея, стратегический план похода, представляется в итоге как осуществленный результат.

Так определенное воление гения, продуманно и удачно проведенный план, можно также прагматически из-

ложить выработанное в долгой систематической непрерывности научное познание или достигнутое культурное развитие. Например, история физики, поскольку она в своем развитии постепенно и благодаря тому, что учитывали всегда лишь ведущее вперед, получила свою славную систему открытий, такой результат, который показывает, обобщая все прежнее, одновременно каждую отдельную ступень, как ведущую к такому итогу.

Так, из экономической жизни можно привести пример развития кредитной системы от простого займа под залог вплоть до форм, которые вошли в жизнь с 1855 г. вместе с *Credit mobilier*. Такое повествовательное изложение истории кредита привлекло бы в качестве вторичных моментов только последовательность ступеней развития материальной жизни, приток массы благородного металла с начала XVI в., быстрый подъем торговли и промышленности в XVIII в., растущие потребности государств и т. д., чтобы показать, как последовательно развивалось достигнутое ныне возвышение кредита, содержащееся уже в зародыше в тех первых формах.

Как видим, в этой форме восприятия кроется соблазн, по крайней мере граница, которую необходимо хотя бы осознать. Конечно, можно воспринимать и прагматически излагать войны Александра, начиная с битвы при Гранике, даже с похода на Дунай, как логическое осуществление идеи, плана, которые возникли у него как задача всего греческого мира сломить власть персов. Без сомнения, это ему удалось полностью. Но и идея, возникшая в его голове, захватила его не в меньшей степени и влекла его, принуждая двигаться все дальше, выходить за пределы его первоначального желания. Но он был вынужден поступать так, в итоге его собственная идея увлекала и гнала его сверх всякой меры. Уже его возвращение из Индии показало, что зенит его славы позади; в Онисе вспыхнул мятеж его македонцев; только ранняя смерть уберегла его от судьбы, каковую испытал Наполеон после достохвального похода на Москву. Простое прагматическое повествова-

ние войн Александра, Наполеона далеко не исчерпывает их историю.

И так повсюду. Пожалуй, можно прагматически рассказать и римскую историю в развитии, в конце которого появится фигура Цезаря, показывающая, что есть подлинное содержание истории этой республики. Но станет ясно и то, что таким образом мы все же будем несправедливы к истории Рима, ибо создается впечатление, будто она без передышки и остановки двигалась, не имея эпох покоя и институциональности, без широты и непрерывности, каковые имели место в ней в любом настоящем.

Как видим, прагматизм уместен только до некоторой степени, только при решении определенных задач. Он становится ложным, если его употребляют за пределами подобающей ему сферы. Он становится невыносимым, если претендует слыть всеобщим законом истории и подмять под себя все. Он тогда превращается в фатализм, т. е. в предопределенность, что по прихоти рока возникает идея исторической жизни, которую, пожалуй, можно вычислить, но нельзя понять, т. е. нельзя постичь ее связь с более высокими и высшими целями наличного бытия человека. В такой фатализм впадает Тацит. Это — отчаяние и разочарование в нравственной природе человека, в праве и энергии свободы. Тогда находят болезненное и пессимистическое удовлетворение в том, чтобы доказать, как слепой прагматизм превращает в ничто всякое человеческое воление и всякие возможности.

2. Второй формой повествовательного изложения мы можем назвать ту, которая определеннее всего выражает себя в *биографии*. В качестве отправного пункта она берет не движение и его стадии, а волящую энергию и страсти, благодаря которым совершается движение. Историческая идея не может когда-либо стать реальностью без движущей силы, объединяющей материю и форму. Излагая историческую идею в ее становлении, мы выбираем эту форму, чтобы проследить ее как бы в ее действующем субъекте.

Биографию Моцарта или Гёте пишут не для того, чтобы доказать, как человек мог создать такие удивительные вещи. Ибо то обстоятельство, что они были созданы, потребовало от прежнего развития еще других предпосылок, подготовленных форм и т. д. Но биография покажет, что Моцарт или Гёте смогли создать такие вещи. Понятно, что причинно-следственная связь приведет к таланту, т. е. непредсказуемости, которую можно принять только как факт, а не констатировать как воздействие доказуемых обстоятельств. Тем увлекательнее излагать, как такая одаренная натура в любом проявлении и деятельности представляет самое себя и, представляя самое себя, тем сильнее сознает свой собственный стиль и одаренность.

Биография вынуждена как бы вживаться в изображаемую личность, чтобы познать ее мироощущение, ее духовный кругозор, изображая ее, говорить в некотором смысле как бы от ее имени. Читатель, знакомясь с процессами внутренней жизни героя, получит удовольствие в понимании его любых деяний и творений, исходя из его личности, поскольку любое его слово и произведение свидетельствуют об этом.

То, что придает величайшую прелесть этой форме изложения, таит в себе и опасность, каковую надо знать, дабы избежать ее. Эта опасность заключается в том, что гению часто приписывают все и вся, прощая ему многое, восхищаясь всем, что он делает и чего не делает, что, создавая культ гения, каковой расцвел пышным цветом в последнее время, забывают о других важных факторах нравственного мира.

Другой ошибкой является мнение, что можно писать биографию любого человека. Разумеется, можно, как было принято в XVII—XVIII вв., в надгробном слове перечислить ряд дат, жизненных обстоятельств умершего, его личных качеств, его должностей и достижений. Но биография есть больше, чем такой ряд тривиальностей. И снова необходимо напомнить, что далеко не всякий исторически значительный деятель может быть выражен в его жизнеописании. Не только потому, что

самые выдающиеся личности не укладываются в рамки биографии,— было бы прямо-таки нелепо писать биографию Фридриха Великого или Цезаря. Ибо то, что Фридрих играл на флейте, или Цезарь написал несколько сочинений по грамматике, хотя и весьма интересно само по себе, но для великих исторических деяний того и другого совершенно безразлично. Точно так же, как если бы захотели написать биографию Шарнгорста; военная реформа Пруссии 1796–1813 гг. — вот его биографический памятник. Но Алкивиад, Цезарь Борджиа,<sup>14</sup> Мирабо<sup>15</sup> — вот исключительно биографические фигуры. Гениальный произвол, каковой характеризует их историческую деятельность и который, подобно комете, нарушает установленные орбиты и сферы, заставляет исследователя учитывать их личностную сущность и делает их биографии единственным ключом к пониманию значения, каковое они приобрели в свое время.

Но эта форма изложения подходит не только для выдающихся деятелей вышеупомянутого типа. Имеются еще и другие исторические феномены, в которых так ярко и четко проявляется своеобразие, импульсивный тип их бытия и деяний, что для их изображения нет более подходящей формы, чем та, которая во всей последовательности их исторических действий, в любом проявлении их существа показывает характер их индивидуальности и их таланта, их гения. Например, только биографически можно рассказать о таком четко определенном феномене, каковым является старинный город Любек благодаря своим политическим и торговым отношениям, или историю ордена Иезуитов, о котором его генерал Лоренцо Риччи в 1764 г., когда надо было спасать орден путем некоторых изменений его правил, сказал: «*Sint ut sunt aut non sint*».<sup>16</sup> Весьма примечательно, что Дикеарх написал βίος Ἑλλῶδος,<sup>17</sup> как видно из ее сохранившихся фрагментов, в ней он изобразил помимо политической истории своеобразную форму жизни греческого народа. Можно было бы написать на основе «Германии» Тацита биографию не-

мецкого народа, на основе данных Цезаря биографию кельтского народа, и таким путем, быть может, продвинувшись дальше вперед, чем при помощи популярной психологии народов.

Как раз при этом перечислении становится понятно, в чем слабость, или, лучше сказать, где пролегает граница биографической формы. Она, как и любая другая, только относительно хороша, только при определенных условиях удовлетворяет лучше всего. Она, как и любая другая, проходит мимо многих реальностей, она обязательно будет односторонней, поскольку она изображает ранее бывшие вещи, исходя из нашего представления о реальностях, из нашей идеи.

3. Третья форма повествования, к которой мы обращаемся, есть как бы обратная сторона биографической, ее прямая противоположность. Она исходит не от гения как данности, который свободно формировался, а учитывает условия и факторы, все новые обстоятельства, чтобы показать, как из них постепенно возникла, выросла, вырабатывалась сущность и своеобразие, идея, как она углублялась и обострялась до тех пор, пока она полностью не созрела, и теперь присутствует в настоящем или в завершающем моменте прошлого, от которого мы можем ее проследить.

Этот вид изложения будет применяться всегда, когда речь идет об описаниях, если можно так выразиться, спонтанных развитий нравственных общностей: развитии государства, церкви, городской общины, экономического роста, права и конституции и т. д. Начальный период римской государственности представляется нашему взору таким маленьким по сравнению с ее будущим величием, что можно было бы сказать, что по желудю не угадать, какое могучее дерево из него вырастет. А какой огромный путь прошло судостроение от выдолбленных из больших дубовых стволов челнов датских завоевателей, которые около 850 г. высадились в Англии, до стальных, бронированных современных паровых колоссов! Начавшееся так техническое развитие приобретает более высокую форму лишь в ходе всесто-

ронного прогресса материальных средств; изобретений, наблюдений и вычисления созвездий и т. д. Начавшаяся так государственность, становясь, приступая к все новым задачам и факторам, развивает только те моменты, в которых нам представляется ее подлинная сущность. Идея римского государства возникает, все снова и снова преобразуясь, и, только достигнув полного роста, обнаруживает все те моменты, которые в действительности нельзя увидеть в начальной структуре.

Итак, изложение в этом случае будет искать свой интерес не в том, чтобы показать в разнообразии фактов, которые у него есть в наличии, ту же одаренность и типическую преформацию, а в том, как развивается и становится все богаче и многостороннее идея, которая обретает свою форму, свое тело в тех фактах, вместе с ними и вопреки им. Это то, что описательные науки не совсем удачно называют историей развития. Повествование прослеживает *монографически* одну становящуюся форму, проходящую через исторические стадии окукливания и метаморфоз.

Как мы видим, между монографическим и биографическим изложением существует значительное различие. В основе биографического изложения лежит одаренность, это главный момент, учитываемый рассказчиком; она действительно присутствует здесь, это нечто, причину появления которого нельзя объяснить, в то время как в монографическом изложении нельзя доказать причины внешних обстоятельств и условий, ибо эти факторы и их перемена фактически были когда-то такими. Мы бы пошли по неверному пути, если бы увидели причину могучего хода римской истории изначально заложенной в местоположении Древнего Рима. Этот естественный момент лишь одно из условий, которое вместе со многими другими участвовало в становлении Рима, и оно, как и все прочие, получает такую форму своей энергии и объяснение лишь в прогрессивном становлении. И наоборот, в биографическом изложении первоначальная одаренность подтверждается все снова и снова и все более полно.



Мы видим, что монографическое изложение, как и все прочие, имеет свою односторонность и свои границы, что оно рассматривает и желает рассматривать разноликость некогда живого и подвижного, исполненного настоящего лишь с одной стороны, под определенным углом зрения. А именно идея, на основании которой оно его воспринимает, такова, что надо отказаться от многого, что, возможно, уместно при других формах повествования; что перед ним стоит особенно трудная задача выбрать такой тон изложения, благодаря которому можно понять как раннее и еще не развитое, так и полностью завершенное. Было бы очень жаль, если бы оно, например, рассказывая историю Англии, начиная от Цезаря, всякий раз описывало костюм того времени, меняющийся тип ландшафта, как ели и одевались люди того времени.

Что касается форм, то, по-моему, Ливий является образцом этого вида изложения, хотя его исследование неглубоко, а его риторика часто уводит его в сторону. Среди более или менее новых историков выше всех Юм<sup>18</sup> в своей английской истории. Во все времена те литературы, в которых сильно выраженное национальное чувство обращается к отечественной истории, дают великие образцы этой формы изложения. И наоборот, если надо будить национальное самосознание, то именно в этой форме, как мы уже говорили, следует показать государству, народу, армии и т. д. образ самих себя. Ибо только так расплывчатое чувство, колеблющееся под безмерным гнетом и треволениями настоящего, обретая идею, может прийти к четкой и необходимой ясности своей сущности и задачи. Сильнее всего и, конечно, наиболее односторонне преимущество этой формы проявляется там, где она выступает впервые в истории — в изложении Ветхого завета.

4. Весьма иного типа четвертая форма повествовательного изложения. И здесь мы затрудняемся подыскать для нее название, в чем проявляется неразвитость нашей дисциплины, ибо она даже еще не распознала и не обозначила глубоко различные жанры изложения, называя все историей.

Для этой четвертой формы является существенным, что она изображает какое-либо *катастрофическое* развитие; вернее, она понимает рассматриваемые ею процессы с точки зрения их катастрофического развития, будь то великая война, революция, парламентская и дипломатическая борьба, или другие, менее броские события; как почти повсюду, где речь идет о столкновении интересов, целей, страстей энергии, оказывается уместен именно этот катастрофический подход. Всякая любовная история имеет катастрофический характер, и в том, что оба ее участника очень скоро понимают, что, объединившись, каждый из них становится немного иным, чем до сих пор: новая идея овладевает ими, и каждый, отказавшись от многого из своего своеобразия и эгоизма, становится богаче и лучше.

Сущность этой формы изложения с самого начала ясна. Это борьба относительно оправданных форм, относительно истинных идей, борьба, над ходом которой витает более высокая идея, еще скрытая и становящаяся лишь в борьбе, ее сторонами и вариантами оказываются борющиеся принципы, в которых они, наконец, растворяются и примиряются.

Как изначально понятно, основа, а также ход повествования здесь должны быть совершенно иные, чем в монографическом и биографическом вариантах, и это изложение, собственно говоря, противоположность прагматического. Ибо в последнем господствует *одна* идея, *одно* воление над логической последовательностью всех других моментов, и результат подтверждает правильность предыдущего расчета, энергии воли. В катастрофическом же описании все моменты, все интересы и тенденции выявляются, чтобы в борьбе друг с другом породить такой результат, который как раз и выскажет более высокую идею. Здесь следует указать моменты, из которых могла и должна была развиваться борьба, сделать наглядным относительно правоту их, а также односторонность и тем самым их неправоту, проследить саму борьбу, пока не наступит преобразенный мир, в котором осуществится такое подготавливаемое более вы-

сокое. Здесь следует показать, как из борьбы титанов рождаются новый мир и новые боги. Точно так, как в трагедии; ибо так Эсхил завершает «Орестею» и «Прометея», Шекспир — «Макбета» и «Гамлета».

Для этой формы изложения всегда как бы само собой существует одна и та же схема.

Институциональность, каковая еще есть, будет восприниматься живо или тягостно в зависимости от ее недостаточных или пагубных моментов. По отношению к ней оживут и возникнут представления, что кое-что должно стать иным, чтобы быть хорошим. Эти отдельные представления объединяются, комбинируются, становятся системой, которая воспринимается по отношению к существующему как лучшее, как идеалы, которые претендуют быть признанными вместо сущего плохого. Этот мир идей растет, постепенно поднимаясь и накаляясь, пока он, наконец, не отольется в характеры, жизненным содержанием которых становится их жизненный пафос. Тем самым разгорается открытая борьба. Но в подвергающихся угрозе порядках и у тех, кто имеет выгоду от них, зреет сопротивление превосходящей силе нового; оказывается, что и здесь есть большой интерес, относительная оправданность, право бытия. Борьба идет с переменным успехом, приобретает все большее протяжение, все более высокий накал энергии. Как старое, так и новое преобразуются в этом ужасном процессе; разлагаются партии, порядки, идеи; наступает своего рода обмен и переворот; возрастающее истощение показывает, что уровень начинает сглаживаться, что вырабатывается новый мир; наконец, он наступает, и теперь борющиеся как-либо заключают мир.

Подлинными образцами этой формы повествования являются два старейших греческих историка, которых мы знаем. Геродот много расспрашивал и исследовал и, как он полагает, нашел одну идею, в которой можно обобщить все эти удивительные и интересные вещи, а именно идею борьбы между греками и персами. Но у него нет четкости суждения и твердости характера, что-

бы осуществить эту идею и постичь ее в ее существенных моментах. Он разбирает ее совершенно поверхностно и внешне. Он даже не понимает, кто суть греки, а кто варвары, и нет ли какой-либо иной формы, в которой этот эллинский мир, раздробленный на тысячу автономных государств, действовал и мог действовать как единство. Он все больше вплетает в свое повествование чужеродные элементы, описания стран, народов, нравов, отступления, которые уводят его на все новые окольные пути, и полное отсутствие критики и его мнение, что он должен рассказывать все, что он узнал, даже если этому сам не верит — все это превращает его девать книг в скучное, бесформенное произведение, в котором связь катастрофических мыслей едва ли чувствуется, и то, собственно говоря, лишь в последних книгах.

По сравнению с Геродотом Фукидид ушел далеко вперед. С величайшей строгостью и четкостью проводя сопоставления и критикуя Геродота, хотя он его и не называет по имени, приступает он к своей задаче и принимается за нее, имея перед собой не расплывчатую идею типа борьбы греков с варварами. Он признает, что и многие греки были и являются подобными варварам. Он видит великую реальность борьбы обеих главных держав Греции. Он раскрывает властные структуры на той и другой стороне. Он показывает, что они, будучи уже давно соперниками, ныне неизбежно придут к большому, решающему столкновению, и поскольку он понял значение борьбы в ее истоках, он с величайшей тщательностью исследовал, собирая все, что случается в ходе этой войны. Хотя его труд остался незаконченным, и те восемь книг, что имеются в наличии, далеки от завершения, однако то, что написано, по уровню и силе формулировок, по продуманности исследования, прежде всего по построению катастрофического развития является образцовым. Римская историография, насколько нам известно, не пришла к изложению такого типа. Даже Полибий, который приблизился к нему, теряет эту идею; даже описывая войну с Ганнибалом, он, можно сказать, не справился с задачей. Для него

история, которую он пишет, как бы монолог Рима. Скорее можно было бы причислить к этому направлению некоторых итальянцев: Виллани, Гвиччардини, Макиавелли, да и то с большими оговорками. Однако Ранке надо назвать; может быть, величайшее из того, что он сделал в историографии, есть то, что он смело и энергично сумел изобразить как катастрофу историю эпохи Реформации.

Но как раз в его достойном восхищения изложении борющихся идей того столетия и исхода борьбы в религиозном мире<sup>19</sup> обнаруживается своего рода граница, или слабость, каковую имеет и это изложение. Драматург может себе позволить такое, что у него за Гамлетом является Фортинбрас, и после дикой борьбы должны наступить лучшие времена. В действительной истории события завершаются не так, и вновь возникшее несет в себе элементы нового мятежа. Чтобы добиться соответствующего его идее завершения, Ранке пришлось придать религиозному миру такое значение, такую благодать, такую исцеляющую силу, каковых у этого мира не было. И можно предположить, что даже если бы Фукидид продолжил свой труд, доведя повествование до плачевной гибели власти Аттики, ему стоило бы больших усилий изобразить действительный конец чудовищной борьбы как ее оправдательный и справедливый результат.

Действительная история протекает не по стадиям и завершениям, которые приносят покой и успокоение, а как неустанная непрерывность все новой борьбы, все новых катастроф.

Только эти четыре формы, как мне кажется, вообще возможны согласно природе повествования; постольку возможны, поскольку речь идет об определенной и обуславливающей форме. Ибо еще имеются различные манеры повествования, только они не отличаются по существу.

Нельзя же считать за таковые хроники или анналы, или мемуары; или даже находить глубокомысленным, если Петрус Мартир<sup>20</sup> употреблял форму писем для на-

писания истории своего времени, или если Ламартин излагает историю жирондистов в форме бульварного романа, и как еще там называются повествовательные формы незрелого или перезрелого образования.

Хотя эти четыре формы являются принципиально возможными материалами повествовательного изложения, однако понятно, что ни одна из них не беспредельна; и вряд ли бы мы получили самую совершенную форму повествования, обобщив и перемешав их все. Главным образом не достигли бы того, что более всего не хватает каждой из них. И это позволяет нам перейти к третьему типу исторического изложения.

Четвертая, катастрофическая форма до некоторой степени указывает за пределы своих возможностей. Ибо здесь над борющимися партиями, интересами, людьми, над борющимися друг с другом идеями стоит более высокая идея, в которой примиряются в конце концов борющиеся стороны. И мы можем сказать, что люди все вместе делают и переживают таким же образом катастрофически почти все, что происходит или что можно увидеть.

Катастрофическая форма повествования, как и все другие, обуславливает то, что всякий раз можно продемонстрировать только такое катастрофическое или прагматическое развитие, такую биографическую или монографическую форму и изложить вплоть до мелочей. Неужели мы должны представлять историю всегда лишь по схемам, смотреть на нее и воспринимать ее в таких образцовых формах? Разве история в такой форме будет отвечать тем требованиям, которые ей можно предъявить? И если, как мы видели, быть образованным, значит пропустить через свой внутренний мир и пережить сумму различных жизней, множество моментов «Здесь и Теперь», то разве достаточно, чтобы использовали только катастрофическую или биографическую и т. д. парадигму? Как мы видели, нам нужна такая форма изложения, которая дает нам больше и иные возможности, чем рассказ. Такую форму мы найдем в дидактическом изложении.

в) Дидактическое изложение  
§ 92 (47)

Мы назвали Фукидида одним из образцов повествовательного изложения. Сам же он ставил перед собой иную цель, чем только рассказывать. В противоположность Геродоту и другим, которые хотят лишь рассказывать ἀγωνισμα ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν,<sup>21</sup> Фукидид говорит: «Мое изложение сочтут достаточно полезным все те, которые пожелают иметь ясное представление о минувшем, могущем по свойству человеческой природы повторяться когда-либо в будущем в том же самом и подобном виде» (I, 22). И в этом смысле он обозначает свой труд как κτῆμα εἰς ἀεί.<sup>22</sup>

Но если извлекать уроки из прошлого важно, то как же ими воспользоваться в подобных ситуациях в будущем? Ибо то, что это так, пожалуй, чувствовали, но высказывали весьма различные мнения, почему и каким образом это так.

Так называемая прагматическая история XVIII в. действительно считала, что на примерах истории нужно учиться, как следует себя вести в подобных случаях. В таком же смысле и Петер Эшенлоер («История города Бреслау. 1437–1471») приводил сведения о том, как этот город принимал чужеземных государей и послов, чтобы в будущем в аналогичных случаях могли руководствоваться этими записями; или герцог де Линь,<sup>23</sup> будучи обергофмейстером при дворе Людовика XIV, точно записывал последовательность этикета и церемоний, чтобы он или его преемник на этой должности мог поступать согласно записям, дабы не нарушать благопристойности. Но как раз великие и важные события, значительные кризисы и катастрофы, каковые историк предпочитает исследовать, не повторяются, повторяются одни банальные и внешние. Даже если кто-либо прочел бесчисленное множество описаний битв — всякая новая битва будет совсем иной, особенно для того, кому ее надо выиграть, — то он поступил бы крайне неразумно, если бы в решающий момент стал припоминать

нать примеры из прошлых времен, пытаюсь применить их к данной ситуации.

Или говорят: история дает образцы великих человеческих типов, характеров, деяний; таким образцам следует подражать. Но Александр, вероятно, предпочел бы подражать Ахиллу Гомера, чем какому-нибудь Мильтиаду или Агесилаю. Ибо поэзия, говорит его учитель Аристотель, философичнее и идеальнее, чем история. И разве всякому школьнику захочется подражать Цезарю или Карлу Великому?

Давать образцы для подражания или правила их нового применения не может быть целью истории. Очень примечательно и характерно, как Фридрих II высказался об этом во введении к «*Histoire de mon temps*»<sup>24</sup> и «*Histoire de la gerre de sept ans*».<sup>25</sup> Сначала он пишет для своего преемника, наследника прусского престола. Он подробно разбирает все превратности и трудности, среди которых он вел войны, все ошибки, которые он совершал. Он говорит: «*Les faits passés sont bons pour nourrir l'imagination et meubler la mémoire; c'est un répertoire d'idées qui fournit de la matière, que jugement doit passer au creuset pour l'épurer*».<sup>26</sup> Следовательно, история дает массу идей, и они для того, кто должен действовать, являются материалом, который ему надо переплавить в тигле своего собственного суждения, чтобы очистить его. Будущий офицер, вероятно, не без пользы для себя прочтет эти записки короля. Проследившая в них возможности момента, когда действовал король, средства боя и победы и т. д., он почувствует себя среди тех великих событий, мысленно проживая их; его выигрышем будет понимание этого пережитого опыта, масса идей и представлений, которые всплывут перед его мысленным взором, когда ему самому надо будет решать подобные задачи; не как наставление, чему он должен подражать, а как запас идей, представлений, как бы форм мышления, из которых для него возникает то, что ему в данный момент нужно.

Такое упражнение ума и сердца есть образование, военное, юридическое, дипломатическое, если оно на-



правлено на такие определенные цели; всеобщее образование, если целью его является упражнение и развитие в нас не того или иного единичного, а всеобщее-человеческого, охватывающего все сферы нравственного наличного бытия, каковые в любом Я обобщаются и объединяются. И даже самый маленький и бедный человек должен быть по возможности вовлечен в эту всеобщую взаимосвязь и тем самым возвышен и облагорожен. И то обстоятельство, что у него есть совесть, он растет уже в естественных общностях, среди своих братьев и сестер при неусыпной заботе своих родителей, в своей религии, своей общине, своем народе, ведет его к этому.

Всеобщее-человеческое — это не значит быть только слепо и пассивно причастным к различным сферам нравственного мира, каковой сложился в данный момент. В полной мере причастен к ним лишь тот, кто осознал, что они стали таковыми, как они есть, и в чьем представлении они являются ставшими и предназначенными дальше развиваться через него. Не только как мертвый итог и результат он должен иметь и использовать исторически прожитые ступени, каковые охватывает в обобщенном виде настоящее и каковые должны в нем обобщиться, но:

«Что дал тебе отец в наследное владенье,  
Приобрети, чтоб им владеть полно».

Он сам должен, принимая эстафету, осуществлять их, продвигать вперед; он должен, пропуская их через свой внутренний мир и работая над ними, очищать свой дух, напрягать, возвышать, окрылять его под мощным натиском поступательного движения, которое наполняет историю, и наполнять самого себя, чтобы возвысить свой дух над убогим, эгоистичным, эфемерным Я и облагородить его.

Нас должны пронизать и наполнить не отдельные образцы, а весь высокий этический ход истории, то существенное, мощное, возвышающее, та сила великих воззрений, великих мотивов и энергии, дух величия.

Именно это дает духу человека история. Он тем самым возвышается над своей малой и потерянной особостью до великой непрерывности, в которой он сам лишь одна точка, но должен быть деятельным, энергичным, продолжая трудиться. Он учится чувствовать крупно, познавать то, что живет в его совести, как свое драгоценнейшее сокровище, как свою долю капитала в нравственных силах, и думать и действовать, сознавая их великую взаимосвязь.

Но мне могли бы возразить, не является ли такой взгляд на историю проблематичным, не есть ли он иллюзия, гипотеза? Не лежат ли в его основании предпосылки, которым хотя и учат религии, но философия так часто отрицала? И что же вынуждает нас принять такую гипотезу? Разве естественные науки не могут доказать, что все также в мире и жизни человека является лишь материальной природы и определено механикой атомов?

Если естественнонаучное мышление дойдет до того, чтобы переносить душевную и умственную жизнь в область механики атомов, то оно тем самым все же только откроет и будет исследовать эту область, покажет, что оно может познать некоторые категории в природе нашего мышления, которые направлены на измеримое, взвешиваемое, вычисляемое, или, скорее, может постичь и понять природу только по этим категориям.

*Cogito ergo sum* есть факт, надежность которого составляет сущность нашего человеческого бытия, и наше духовное и нравственное бытие подтверждает его для нас в любой момент; исходя из него, мы развиваем представление о природе и истории, и та и другая представляемы только в нашем уме.

Та же способность, которая позволяет нашему мыслящему духу понимать природу по таким категориям, дает ему для иных конгениальных форм еще другое внутреннее понимание и с пониманием ту общность мышления и речи, воления и созидания, которая образуется в любой сфере человеческого наличного бытия, и в любом отдельно мыслящем духе, в его совести дает безошибочную меру и доминирующий центр тяжести.

Так, для нас несомненно, что природой управляют законы тяготения, химические, физические, математические законы — ибо так мы выражаем наше понимание вещей природы — точно так же несомненно в человеческой душе и человеческом мире правят нравственные силы, в каком бы высоком или низком варианте они ни были — тем более несомненно, что чем в большей степени они являются выражением свободы, в которой нередко отдельное Я противится и становится на дыбы против них. «Они идут своим путем, невзирая на добрую или злую волю тех, благодаря которым они происходят» (ср. выше, с. 267); они всегда одерживают победу, и если кое-где в опустившихся индивидах, государствах, народах кажется, они отмирают, то они появляются вновь на переднем плане в других местах — в новых, более высоких формах и дают истории новые лица, народы, государства, новых носителей ее труда.

Масса труда и усилий, затраченных на исследование всего этого, необходима точно так же, как исследование природы, звездного мира. И последний представлялся бы нам бездонной пустыней с мириадами беспорядочно разбросанных звезд, если бы мы не обобщили его по законам их движения. И минувшие времена человеческого бытия были бы для нас путанным и мертвым ничто, если бы мы не увидели в них непрерывности и выражения тех сил, которые наполняют нашу собственную жизнь и бытие, нашу совесть и в которых, всякий день снова, наше человеческое бытие предстает обусловленным. Что было бы с новорожденным без ухода за ним матери, а затем ее наставлений, без поучений отца, который является для него образцом, без навыков труда и без общения с братьями и сестрами? И так далее, на каждой ступени — общение с другими детьми, вступление в общность взрослых, их обязанностей, их деятельности, их воспоминаний.

И там, где находили племена и народы, стоящие на низшей ступени культуры, нравственные силы хотя бы в самых простых формах присутствуют в них, и они, как правило, тем энергичнее, чем меньше и сплоченнее

круг общности, которая чувствует себя одинаково связанной и сдерживаемой. Как бы высоко ни поднимались государственные образования античности, они не выходили за пределы эгоизма и исключительности народной общности, они двигались в рамках противопоставления греков и варваров, евреев и язычников, римлян и прочих подданных империи. Они не пришли к представлению общечеловеческого, *humanitas*.

Что же является сущностью этой *humanitas*? Как пришли к этому понятию о бытии рода человеческого и обосновали его? По какому праву мы говорим, что только у народов, которые имеют это представление, есть образование, и что образование — результат исторического труда?

На последний вопрос было отвечено уже ранее. А то, что там говорилось, исключает мнение, что какая-либо эпоха, какой-либо народ может называться образованным уже потому, что у него есть разнообразные способности, высокоразвитые потребности, благополучие и уйма удовольствий.

Что касается этих аспектов, в Древнем мире вавилоняне, финикийцы, египтяне были далеко впереди эллинов, в средние века мир ислама — впереди христианского западноевропейского мира. Они обладали богатой культурой, но в отношении образования они были бедны, т. е. для них мало значил великий этический капитал прожитых минувших времен; стереотипы прошлых нравственных сфер не наполняли их и не господствовали над ними.

Сущность образования не исчерпывается только интеллектуальными результатами, которые делают людей умнее, но не лучше. Вавилоняне были в высшей степени сведущими, что касается звездного неба и звездных процессов, а их мастерство во всем, относящемся к измеримым, взвешиваемым, вычислимым вещам, показывает, какие глубокомыслие и наблюдательность они развили. То же можно сказать и о Египте. Но их религия, их мифы и сказания свидетельствуют о том, как низка и эгоистична была их душевная жизнь. И по

крайней мере до сих пор не нашли еще, что в ней можно было бы распознать развитие, ἐπίδοσις εἰς αὐτό.

Хотя греки с Гомером во главе в своих исторических описаниях создали сокровищницу мусического искусства, а в нем выдвинули ряд больших этических идеалов, но последние были для них результатами их исторической жизни, их преимуществом по сравнению с варварами. И они приходят в ужас от мысли, что, по словам Александра, плохими бывают только варвары, всем хороши — греки. Они не пришли к тому, чтобы рассматривать историю, которая дала или принесла им эти результаты, под углом зрения, что целью и задачей их исторической жизни есть и были разработка этих нравственных идеалов и заложенных в них форм нравственной жизни. Их своеобразная παιδεία для них вытекала из истории, но они не понимали, что определяющий импульс и мощь их истории есть παιδεία, воспитание.

Первый подход к этому предпринял народ Израиля. Он развил великую историографию. Все его мысли и помыслы были наполнены идеей Бога, который карает или награждает, наказует или защищает свой народ для его же пользы, назидания, покаяния и самосовершенствования. Но в неподвижном и абстрактном дуализме Бога и мира, в страхе Божьем, в рабском духе этого страха избранный народ не пришел к тому, чтобы развернуть человеческую жизнь в свободный, этический мир, который движется в себе и оправдывает себя. Все снова и снова они ожесточали свое сердце, и с ожесточенным сердцем они, все снова отпадая от Бога, все же оставались быть избранным народом, как будто воспитание Бога относится только к ним, даже если они не исправляются.

Затем христианство. Оно вызревает в то время, когда греческий мир, одолев Восток, смешивается с культурами Востока, разлагается в себе самом и в таком смешении подчиняется власти Рима. Христианство появляется, как только в этой мировой империи кесарей сосредоточиваются и перемешиваются всевозможные боги, умонастроения, элементы вырождения всех пере-

житых эпох. Разве такой результат не есть деградация, запустение и безнадежность? Неужели нет никакого спасения от этого ужасного душевного умирания?

Вместе с Евангелием к человечеству приходят утешение и надежда, и новая энергия. Именно глубочайшие моменты иудейской и греческой сущности примиряются здесь и, сливаясь, становятся новым началом. Уже не суровый, внеземной Бог иудеев, не бесконечная не связанная между собой многоликость греческого антропоморфизма.

С радостной вестью о Мессии, которая обращается ко всем людям: иудеям и язычникам, бедным и богатым, свободным и рабам, ко всем труждающимся и обремененным, к каждому лично — впервые становится очевидной вся и истинная сущность человека и до его сознания доходит, что он, живя на земле, принадлежит небу и что в Боге он имеет сам в себе свой мир. Это внутреннее спасение и оправдание, бесконечное углубление личности в сыновстве Бога, оправдание и освящение в вере в него.

Теперь воспринимают и познают, что всякие прежние поиски пути и заблуждения, поиски Бога были направлены на это откровение и спасение, что прожитая история народов была воспитанием и ожиданием Христа, что он пришел, когда исполнилось время, что вся дальнейшая история имеет в нем свою исходную точку.

Эта идея воспитания рода человеческого отныне была более или менее понятной и действенной в церкви и христианском мире. Она в труде Августина «*De civitate Dei*»<sup>27</sup> уже получила глубокомысленную трактовку, которая продолжала жить в течение всего Средневековья, особенно в великолепной концепции епископа Оттона Фрейзингенского, ибо его хроника, или, скорее, книга «*De duabus civitatibus*»,<sup>28</sup> как он ее называет сам, полностью примыкает к Августину. И когда христианский мир был на краю гибели вследствие вырождения иерархии и восстановления языческого мировоззрения классической античности, немецкий дух во время Реформации обратился к основным учениям христианства, или, как говорит Лютер: «Что пользы тебе, что тебе пропове-

дуют пророки и апостолы, ты сам должен принимать решение». Тем самым была спасена и восстановлена бесконечная ценность и бесконечная глубина свободы личности. И историк Себастиан Франк<sup>29</sup> в унисон ему сказал глубокомысленное слово, что «и история есть Библия», и он учил рассматривать историю в том же духе.

Собственно говоря, прогрессивное образование, которое уже почти четыре столетия, как ни в какое иное время прежде, движет и несет особенно христианский мир, но которое одновременно уже перешагнуло его границы и дает новые импульсы отсталым и опускающимся народам, основывается на духе Реформации.

Лишь в таком большом, обобщающем контексте, во всемирно-исторической идее воспитания рода человеческого познают, как я полагаю, сущность дидактического значения нашей науки. В нем прожитые человеческие стадии получают свое место и свое значение, в нем исполняется претензия настоящего познавать свою предыдущую историю, чтобы сознательно продолжить то, что стало.

И наоборот, исходя из дидактической потребности, всемирно-исторический взгляд на прошлое получает свой смысл, и историческое рассмотрение в попытке постичь таким образом целое достигает своей настоящей вершины.

Но сам собой напрашивается вопрос: возможно ли такое *дидактическое изложение* истории?

Сущность этого изложения заключалась бы в том, что оно имеет в виду не частности, а целое, что оно постигает это целое в аспекте воспитания рода человеческого.

Смысл такого подхода в том, что дидактическое изложение в отличие от повествовательного, которое, показывая то или иное из прошлого, может забыть настоящее, воспринимает самое главное и сумму настоящего с точки зрения достигнутого в данный момент и углубляет наше знание настоящего, объясняя ныне достигнутое как результат прошлых прожитых этапов, сущее и достигнутое в настоящем — историей его становления.

Не потому, что оно полагает, что теперь достигнута цель развития; не потому, что оно считает возможной такую форму, которая могла бы полностью воспринять полученные результаты, которые оно раз и навсегда выразило и зафиксировало. Там, где появились такие взгляды, где пытались их реализовать, будь то по политическим соображениям или, исходя из церковных притязаний, это был ясный признак отмирания образования. И одновременно нет вернейшего средства способствовать стагнации и духовному умиранию, чем таким образом зафиксировать историческое познание и тем самым образование. Ибо образование, т. е. дидактическая сила истории, бессмысленно без непрерывного дальнейшего труда и продвижения познания.

Но где же форма для такого исторического восприятия? Я оставляю в стороне вопрос, были ли до сих пор и в каком виде взгляды на всемирную историю или нет? Разве они должны быть представлены в виде напечатанных произведений? Можно ли измерить ценность проповеди в наших евангелических церквях, если она прочтена по напечатанным проповедям? Потребуют ли, или хотя бы пожелают, чтобы, наконец, появился канон проповедей, на основании которого можно было бы ликвидировать церковную кафедру? Нет, любая проповедь должна быть новым свидетельством живого евангелического духа нашей церкви, и пока община находит в ней утешение, она пребудет таковой.

Не имеет никакого значения, кто дал образец изложения всемирной истории, Гердер или Иоганнес фон Мюллер, Лео<sup>30</sup> или Ранке. Главное то, что прошлые времена все снова и снова рассматриваются на основе этой идеи всемирно-исторического единства и духа неустанно деятельного нравственного мирового порядка, при таком рассмотрении объясняется настоящее, и подрастающие поколения, вступая в сферу глубоко разработанного образования, поднимаются на его уровень.

Тем самым намечена форма, которую мы ищем. Для Сократа и его школы φιλοσοφείν было больше, чем замкнутый догматизм специального знания; они называли



себя не мудрецами (софистами), а философами, и любая беседа Платона есть свидетельство того, что для него труд овладения мудростью был истинной мудростью.

Настоящая форма дидактического изложения, как мне кажется, есть преподавание истории юношеству, а именно преподавание учителем, который, свободно и мудро ориентируясь в исторических сферах, владея ими, подавая историю во все новых вариантах и по-новому ее излагая, свидетельствует о ее всемирноисторическом значении. Ибо не стоит труда занимать подолгу ум юношества сухой схемой имен и дат, каковую совершенно не оправданно считают на экзаменах суммой исторического знания и образования, и уж тем более случайным набором внешних политических дат, знание которых документирует историческое образование. Напротив, большая и значительная часть преподавания носит исторический характер, и преподавание древней и новой литературы, и религии, даже грамматики и математических дисциплин. Или, точнее, мы говорили о трех больших сферах научного метода: спекулятивной, физико-математической и исторической. Всякое преподавание основывается на том, что, как в хорошо приготовленных яствах перемешаны все или многие питательные компоненты, так и школа одновременно следует этим трем направлениям, по-любому совмещая их; пусть в грамматике и математике преобладает логический элемент, в преподавании естественных наук и физики моменты наблюдения и эксперимента; и в них имеются исторические элементы и, может быть, как раз эти предметы будут сначала понятны юношеству только в их историческом аспекте. Понимание их всех как отдельных и самостоятельных наук относится только к позднему, более зрелому периоду жизни, и ничего нет более неразумного, чем заставлять юные умы перенапрягаться в предвкушении удовольствия, каковое доступно лишь духовной зрелости, каковой у них еще нет.

Я должен еще немного задержаться на этом трудном и важном вопросе дидактического изложения. На-

сколько оно отлично от повествовательной формы, очевидно. И хотя каждая из четырех форм повествовательного изложения описывает становление структур, и, чтобы изложить его, старается, возведя это в правило, сделать выбор исследуемого материала, то все же для нее всегда была важна только одна идея, которая служила ей средством и связью изложения. При дидактическом изложении у нас совсем иная цель: цель образования, духовного переживания ступеней развития, которое проделал род человеческий; в зависимости от меры образования, которое должно быть достигнуто, в большем или меньшем объеме.

Уже народная школа имеет добрую и большую долю в этом, по крайней мере самые важные и большие периоды истории она может и должна дать на уроках. Чтение Библии и тем самым иудейская и раннехристианская история представляют собой один из главных периодов. В самой Библии достаточно много говорится о греках и римлянах, чтобы попутно сообщить о них самое важное. И если деревенским детям, как это, естественно, и бывает, рассказывают кое-что о Гомере и Персидских войнах, некоторые истории сурового раннего римского времени, то тем самым они узнают не только кое-что об этих великих событиях, но и у них складываются своего рода синхронные представления о времени до Христа и взгляды на историческое наполнение пространства и временное деление. То, что им затем расскажут самое главное об отечественной истории: о Карле Великом, крестовых походах, о Реформации, об истории нового германского государства со времени Великого курфюрста — все это вместе даст им определенный душевный опыт и представления, которые соответствуют их простым условиям.

Я не буду излагать, как повышается и расширяется преподавание истории в средних школах, гимназиях, как оно завершается в университете. Ибо большое заблуждение полагать, что с окончанием школы историческое образование завершено и в университете история имеет значение только как специальный предмет. Существует

масса важных вещей, которые обязательны для высшего общего образования, например, познание административного управления, экономики и государственного устройства, борьбы между церковью и государством, научного и художественного развития абсолютно не соответствует духовной зрелости даже старшеклассников, и если эти предметы преподают в школе, то этим наносят лишь вред учащимся, заставляя их думать, что они прошли такие предметы, хотя они их еще не понимают, как любое удовольствие мужского возраста.

Этого довольно для разъяснения моего мнения по этому вопросу.

Здесь мы подошли к тому пункту, где можем перейти к нашей четвертой форме изложения.

Если сущностью образования является сознательное отношение к большим интересам настоящего, то понимание образованного человека будет тем основательнее и достовернее, чем глубже он узнает предысторию настоящего. Он поймет ее тем живее и глубже, если он будет знать и понимать не только ту или иную сферу нравственной жизни, но и все сферы в их взаимосвязи, взаимодействии, в их взаимообусловленном движении вперед.

Впрочем, настоящее движется неустанно вперед. И если теоретическая жизнь может удовлетворяться наблюдением и констатацией этого движения, в практической жизни все настроено на то, чтобы, действуя, вступать в это движение и участвовать в нем, и чтобы познать правильно это движение и предвидеть его последствия, вычислить и использовать его. Познанная природа образования дает нам возможность обдумать, каким образом, в каком направлении нужно идти дальше, как в случае сомнений делать выбор и решать. Таким образом для нас складывается четвертая форма — дискуссионное изложение.

## г) Дискуссионное изложение § 93 (48)

Основой этого вида изложения является исследование исторического материала, относящегося к соответствующей задаче, и его подготовка к этому изложению методически не в чем не отличается от трех других форм: исследования, повествования, преподавания; и эта форма изложения не менее значительная, чем три другие; она имеет практическое применение отнюдь не только в исторических исследованиях, как, например, межевание поля и торговые счета являются практическим применением математики. Математика сохраняет свое достоинство независимо от того, применяют или нет ее методы на практике. Историческое исследование лишилось бы одного из самых эффективных рычагов своей энергии, одного из самых плодородных полей своей деятельности, если бы отказалось от того материала, который оно может излагать только в форме дискуссии.

Давайте, по возможности, разберемся в обсуждаемом вопросе! Разумеется, вся человеческая деятельность движется в настоящем, а прошлое и будущее существуют только в наших мыслях. Но тем, что мысли, оглядываясь назад и смотря вперед, проверяют себя, приводя в действие в исполненном настоящем этот рычаг, расширяется значение настоящего момента и решения, которое нужно принять здесь и теперь, по мере того, как ощущают весомость данного момента, падающего на чашу весов со всем тем, что он с собой приносит или не приносит, что он упускает или постигает. Тогда данный момент может уличить во лжи многие предуготовления, которые содержали прошлые времена и деятельности, плохо поняв и применив их; он может вследствие ошибочного решения парализовать, даже убить в зародыше то будущее, которое уже было в становлении.

Конечно, можно найти утешение и надежду в том, что, несмотря ни на что, история пойдет своим путем, найдет свой путь. Но такое всеобщее утешение не снимает вины с того, кто несет ответственность за правиль-

ное решение, за решающий поступок. И как не вызывает никаких сомнений, что великие нравственные сферы не погибнут от того, что не всякий в любой момент совершает в них то, что должен был бы, так несомненно и другое, что сотни и тысячи живут только одним днем, не подозревая, что и в их волеии присутствуют задачи и ответственность за целое, довольные уж тем, что могут пользоваться промежутком времени, отпущенным им судьбой, — но точно так же несомненно, что нравственные силы могут проявиться и идти дальше и выше только в индивидах и через них, реализовываться через их волевые акты, через них и только через них.

Поэтому можно было бы сказать, что каждый должен делать выбор согласно своей совести, каковая содержит непосредственно в себе нравственный закон. Ни в коем случае речь не идет только о тех вещах, которые находятся внутри сферы совести и о которых уведомляет нравственный закон. Королю, государственному деятелю, полководцу, управляющему большим торговым домом или крупным промышленным предприятием его совесть подсказывает не то, что ему делать при данном стечении обстоятельств, а только то, что его решение будет решающим для многих других, для судьбы войска, государства, народа, что он должен решать и за них, следовательно, принимать решение, учитывая этот момент, он должен уметь думать, действовать, исходя из более высокой или даже всеобщей точки зрения, не учитывая личные настроения, склонности, пристрастия, а руководствуясь только своим высоким призванием, великими интересами, которые ему доверены, теми средствами, которые имеются у него в распоряжении.

Но как ему в таком случае оценить и понять ситуацию, как соответствовать тому более высокому Я, которое он представляет, и принимать решение, учитывая условия, которые в этот момент действуют, предвидя все последствия, каковые могут возникнуть?

Вне всякого сомнения, гениальность государственного деятеля, полководца, правителя и т. д. просто и

точно подскажет ему правильное решение, и он поступит так, как надо. Но в чем заключается эта гениальность? Почему в ней рождается верное решение интуитивно, как бы не аргументировано? Не потому ли, что гениальный человек реалистически, моментально, не долго думая и рассчитывая, окидывает взором как предыдущее, так и последующее, все вытекающие из прошлого условия и последствия решения? Но далеко не всегда в данной ситуации оказывается такая редкая гениальность. И менее одаренные натуры попадают в такое положение. Должны ли они тогда беспомощно разводить руками? Или как-либо искать выход?

Есть два пути, чтобы обдумать ситуацию и найти правильное решение, или по крайней мере искать его: теоретический и исторический.

Теоретическим путем можно решать возникший трудный вопрос, исходя из сути и понимания того, о чем идет речь, из полученного научного познания, из найденных соответственно этому действующих принципов, и поэтому отдать предпочтение принципиальному и идеальному перед реальным и несовершенным. Тогда заявляют, что государство, право, хозяйственная жизнь должны быть так устроены, ибо из их принципов вытекает вот это, а то постоянно и неизменно. Какими бы ни были данные условия, нечто традиционное, сила затронутых интересов, они не являются важными, они не могут решать; лишь оправданное перед судом разума, соответствующее ему, только познанная истина должны служить нам мерилom; реальность должна покориться этому.

Было бы прекрасно, если бы ситуации были такими простыми, и их можно было бы так уверенно обосновать. Но, во-первых, в таких вопросах часто, или всегда, конкурируют сферы очень различного вида, которые, быть может, по своим теориям стоят на пути друг друга, даже исключают друг друга. Предположим, католики в каком-либо государстве требуют свободы и автономии в церковных делах, признанных церковью своей сущностью и возведенных ею в догму, но и сущ-

ность государства состоит в том, что в его сфере и для его подданных нет никакого другого высшего авторитета, кроме государственного; и государство должно тем тверже придерживаться этого принципа, что католическая церковь абсолютно нетерпима к инаковерующим, и, следовательно, если государство уступит ей, то евангелические церкви моментально оказались бы в величайшей опасности. Если в народе, входящем в состав государства, встречаются самые различные экономические интересы — одни требуют для своего производства, по возможности, свободной торговли, другие полагают, что не могут существовать без защиты со стороны государства от более дешевой заграничной продукции, третьи неистовствуют против эксплуатации рабочих капиталистами и фабрикантами и требуют социалистических преобразований, — то совершенно понятно, что любое из этих направлений само по себе можно теоретически хорошо обосновать, но все они говорят и требуют так, как будто государство существует только ради них, должно ориентироваться только на них, в то время как каждое направление все же в сфере права и власти государства имеет свою защиту и ведет свою жизнь, следовательно, надо было бы в первую очередь работать ради его сохранения, поддерживать его. И так повсюду.

Во-вторых, идеальное и принципиальное, каковое мы понимаем по свойству, присущему человеку, есть не истинное в себе, а истина, каковую мы познали, до сих пор познали, и в этом «до сих пор» заключается главное. Сущность теории состоит в том, что она придает форму постулата результату совокупного прежнего опыта, выводам, развитым из этого опыта, постулата, в котором всегда подчеркиваются наиболее ясно, а часто гипертрофированно, альтернативы ощущаемым под конец беспорядкам и ущербу. Чем меньше моментов, в том числе относительно незаметных и скрытых, включает такой постулат в свой итог, тем одностороннее он выделяет единичные моменты, тем более доктринерским он становится и тем опаснее желание решать возникший вопрос, исходя из теории.

Таким образом намечен уже другой, более надежный путь. Это — исторический, который определяет следующий шаг, исходя из ставшего до сих пор и из взаимосвязи становления. Ибо какой бы свободной ни была воля поставленного перед выбором человека, в тот момент, когда надо принимать решение и совершать поступок, — она связана и обусловлена совокупностью того, что предшествовало. И так же, как воля есть нечто новое, только становящееся, так и мысль, которая должна осуществиться, улучшая, исправляя, продолжая то, что до сих пор было, продолжает лишь то, что последует сразу же за данным моментом, постигает и осуществляет то, что созревает в нем и уже созрело. Такой шаг вперед всегда проблематичен, содержит опасность, представляет собой ту операцию, которая может стать роковой без точного диагноза оперируемой точки, без полного знания артерий, нервов, мускулов, связок всего страдающего тела. Тот, кому предстоит принятие правильного решения, может это сделать, только точно зная все обуславливающие и участвующие моменты, только ясно понимая то, что в этом до сих пор ставшем есть здорового, что уже созрело, совершенно представляя это ставшее, которое он должен продвинуть еще на один шаг вперед.

Таким образом, мы нашли опосредованную связь с нашей наукой. Наши исторические исследования, как мы знаем, работают, всегда отталкиваясь от настоящего, с историческими материалами, которые имеются в нем или их можно еще найти. Здесь нам предоставляется возможность приложить добытые в исследовании результаты к настоящему. Как в вогнутом зеркале ловят луч света, чтобы ярче осветить отдельную точку, поставленную в его фокус, и сделать ее тем самым более ясной, так и мы сосредоточиваем найденные в историческом исследовании открытия, концентрируя их свет на эту одну точку, на обсуждаемый вопрос. То есть так мы констатируем наше понимание исторической взаимосвязи этого вопроса, его место в непрерывности становления.



Следовательно, мы получаем сущность данной формы изложения. В ней исторически исследованное будет использовано так, что в вопрос, на который надо ответить, альтернативу, где нужно сделать выбор, вводят как X, как неизвестное и неопределенное, которое нужно найти на основе исторически данного и определенного. Итак, форма, внешне аналогичная исследовательскому изложению, только с одной оговоркой, что в последнем нужно реконструировать, определить прошлое и фактическое из материалов, имеющих в наличии в настоящем, в *дискуссионном* же изложении до сих пор ставшее и происшедшее должно мотивировать наше решение, что дальше должно произойти. Здесь новое, каковое требуется настоящему, является проблематичным, а там прошлое и происшедшее подвергается сомнению.

Используемые в дискуссии моменты заключены частично в субъекте, который должен действовать, частично в объекте действия.

1. *В субъекте.* Итак, эта нация, это государство, эта церковь и т. д. обусловлены и определены таким образом в их предыдущей истории, имеют такие задачи, такие границы, такие средства и т. д. Это субъективное положение дел охватывает одну сторону определяющих моментов. Если в 1866 г. для Пруссии после закончившейся удачно для нее войны с Австрией и ее союзниками речь шла о том, должна ли она вместо старого немецкого союза государств и его федеративного устройства приступить к основанию германского федеративного государства без Австрии, но присоединив к нему самые враждебные и опасные центральногерманские государства, такие как Ганновер, Гессен, Нассау, то один вариант ответа вытекал из констатации субъективного положения дел: соответствует ли это характеру и задаче прусского государства, может ли оно пожертвовать столь многим от своей свободы действий, имеет ли оно и найдет ли материальные и моральные средства, чтобы удовлетворять обязанностям по защите и т. д., которые возникнут для него вместе с основанием

федеративного государства. Прусское государственное руководство должно было особо обдумать, сможет ли увеличение территории и власти компенсировать государству большие вложения, которые ему придется сделать, сможет ли оно по своей природе и своим средствам выдержать значительные изменения своей индивидуальности.

2. Второй момент заключен в *объективных* отношениях, которые необходимо учитывать как одинаково обуславливающие и определяющие, т. е. в объективном положении дел. Итак, в приведенном примере государственное руководство должно было обдумать, что для него вместе с этими аннексиями возникнет то или иное недовольство, то или иное сопротивление, что вследствие устранения гнилого государственного устройства, исключения Австрии, увеличения территории Пруссии равновесие сил в Европе претерпит значительные преобразования, что особенно Франция, которая с 1648 г. основывала свое европейское значение на бессилии центральной Европы, не будет спокойно взирать на возвышение власти Германии под прусской эгидой, и всякие прочие соображения. Нельзя было бы прийти к окончательному решению, опираясь на теорию, например, национального государства, парламентаризма, права легитимности и т. д. Речь шла совершенно реалистично об исторически возникшем состоянии, насколько его нужно сохранять и признавать, в какой мере его можно реформировать.

Если сущность дискуссионного изложения такова, что оно, полностью познав ставшее, судит об его продолжении и прослеживает дальнейшее движение исторического труда, то хорошо понятно, что его компетенция не ограничивается политическими материями. Оно уместно не только тогда, когда нужно решить *de lege ferenda*,<sup>31</sup> об экономических, социальных, церковных вопросах; но и в некотором смысле сюда относится труд по созданию новых научных, художественных достижений, хотя само собой разумеется, в этом случае наряду с историческим рассмотрением имеет свое законное место тео-

ретическое. Новые музыкальные средства выражения, например у Рихарда Вагнера,<sup>32</sup> требуют оценки в зависимости от того, соответствуют ли они сути и задаче музыкального искусства и, следовательно, ведут ли они прежнее развитие музыки дальше и в каком направлении.

Но всегда главной областью применения дискуссионного изложения будут сферы, которые мы обозначили как сферы практических общностей, спорных и конфликтующих интересов: государство, экономическая, социальная, правовая сферы.

[Конспект лекций, записанных Фридрихом Майнике<sup>33</sup> в зимний семестр 1882/83 гг., содержит еще следующие заключительные слова, произнесенные Дройзеном:]

Мы довели изложение до этого пункта, и теперь легче сделать обзор наших лекций по разделам: методика, систематика и топика. Два момента нашего обзора обозначаются особенно ясно. Во-первых, что мы, в отличие от естественных наук не имеем в арсенале наших средств эксперимента, что мы можем только исследовать и ничего иного. Второе, что даже самое основательное исследование может получить только фрагмент, отблеск прошлого, что история и наше знание о ней, как небо и земля, отличны. Обращение к фантазии здесь не поможет. Греки нарисовали себе чудесную, гармоничную картину своего прошлого — с тем, что от нее сохранилось действительно подлинного, она, к великому сожалению, совпадает мало. Это могло бы привести нас в уныние, если бы не было одного момента: развитие *идеи* в истории мы все-таки можем проследить, даже имея фрагментарный материал. Таким образом, мы получаем не образ происшедшего самого по себе, а образ нашего восприятия и мысленной переработки его. Это наш суррогат.

Получить его не так легко, и изучение истории не столь отраднo, как это кажется на первый взгляд.

## Примечания

<sup>1</sup> *Гервинус (Gervinus) Георг Готфрид* (1805–1871), немецкий историк, историк литературы, либеральный политик.

<sup>2</sup> *Птолемей VII* (181 до н. э.–145 до н. э.), египетский царь.

<sup>3</sup> *Privilegium minus*: грамота Фридриха I Барбароссы от 17.09.1156, по которой маркграфство Австрия было объявлено самостоятельным, отделенным от Баварии герцогством.

<sup>4</sup> *Privilegium majus*: фальшивая грамота, составленная по приказу герцога Рудольфа IV в 1358–1359 гг., как продолжение грамоты Фридриха I, по ней провозглашалась неделимость Австрии и т. д.; в 1453 г. была утверждена императором Фридрихом III.

<sup>5</sup> *Фридрих I Барбаросса* (1125/26–1190), немецкий король, с 1155 г. император.

<sup>6</sup> Союз немецких князей — союз немецких мелких княжеств, основанный в 1785 г. прусским королем Фридрихом II, просуществовал до 1790 г., был направлен против австрийского императора Иосифа II из династии Габсбургов.

<sup>7</sup> *Леопольд III*, герцог Австрийский (1351–1386).

<sup>8</sup> *Дионисий Галикарнасский*, греческий ритор и историограф (I в. до н. э.).

<sup>9</sup> *Лукиан* (ок. 120 г. — после 180 г.), римский писатель, писавший на греческом языке.

<sup>10</sup> *Мюллер (Müller) Иоганнес фон* (1752–1809), немецкий историк.

<sup>11</sup> *Чуди (Tschudi) Эгидиус* (1505–1572), историограф и хронист.

<sup>12</sup> *Без гнева и пристрастия (лат.)*.

<sup>13</sup> *Клаузевиц (Clausewitz) Карл фон* (1780–1831), прусский генерал, выдающийся военный деятель и писатель.

<sup>14</sup> *Цезарь Борджиа (Cesare Borgia)*, 1478–1507.

<sup>15</sup> *Мирабо (Mirabeau) Оноре-Габриель Виктор* (1749–1791).

<sup>16</sup> «Они должны быть, каковы они есть, или не быть вообще». Эти слова, которые якобы сказал глава ордена Лоренцо Риччи, когда папа Климент XIV упразднил орден Иезуитов (21.07.1773), не согласившийся вносить изменения в свой устав; на самом деле эти слова принадлежат папе Клементу XIII (1758–1769), который в 1764 г. отклонил предложение об изменении устава ордена.

<sup>17</sup> Биография Эллады (*др.-греч.*)

<sup>18</sup> *Юм (Hume) Давид* (1711–1776), английский историк и философ.

<sup>19</sup> Аугсбургский религиозный мир 1555 г.

<sup>20</sup> *Петрус Мартир (Petrus Martyr Anglerius) из Англии* (1459–1525), историк и теолог; Дройзен имеет в виду его книгу «*Opus epistolarium*», 1530.

<sup>21</sup> Великое деяние, услышанное от первого встречного (*др.-греч.*); все цитаты из Фукидида даны в переводе С. Я. Лурье.

<sup>22</sup> Достояние на века (*др.-греч.*).

<sup>23</sup> *Герцог де Линь (Luynes) Шарль Филипп* (1679–1758), французский придворный.

<sup>24</sup> История моего времени (*франц.*).

<sup>25</sup> История Семилетней войны (*франц.*).

<sup>26</sup> Прошлые деяния хороши, чтобы питать воображение и обогащать память; это набор идей, являющихся рудой, которую суждение должно пропустить через горнило, дабы очистить ее (*франц.*).

<sup>27</sup> О граде Божьем (*лат.*).

<sup>28</sup> О двух градах (*лат.*); *Оттон Фрейзингенский*. Хроника, или история двух градов.

<sup>29</sup> *Франк (Frank) Себастиан* (1499–1542/43), немецкий мыслитель и ученый.

<sup>30</sup> *Лео (Leo) Генрих* (1799–1878), немецкий историк.

<sup>31</sup> О внесении законопроекта; о принятии закона.

<sup>32</sup> *Вагнер (Wagner) Рихард* (1813–1883), немецкий композитор.

<sup>33</sup> *Майнике (Meinicke) Фридрих* (1862–1954), немецкий историк и теоретик истории.

# **ОЧЕРК ИСТОРИКИ**



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Лекции об энциклопедии и методологии истории, которые я читал много раз, начиная с 1857 г., побудили меня записать их тезисно, чтобы дать слушателям подспорье для их усвоения. Так, «Очерк» был напечатан на правах рукописи в 1858 г., а затем снова в 1862 г. Большой спрос, в том числе и из-за границы, натолкнул меня на мысль, что если брошюру будут перепечатывать, опубликовать ее. Задержки и сомнения всякого рода затянули издание до сегодняшнего дня, хотя, как мне казалось, работа была, наконец, доведена до некоторого завершения.

Введение, которое я предпослал первому оттиску, наметив в нем все обсуждаемые вопросы, я и сейчас оставил без изменений. Кроме того, в качестве приложения я добавил несколько статей, которые, как я полагаю, послужат комментарием некоторых положений. Первая, «Возведение истории в ранг науки», написана как рецензия на известную книгу Бокля и напечатана в журнале Зибеля за 1863 г. (с. 1–22). Вторая, «Природа и история», была написана по поводу одной дискуссии, в которой все преимущества метафизической точки зрения были на стороне моего оппонента. В третьей статье «Искусство и метод» я сопоставил ни много, ни мало, как ряд афористических замечаний, чтобы напомнить о несколько подзабытых границах между дилетантизмом и наукой, замечаний, часть которых была использована в академическом докладе («Ежемесячные доклады Королевской Академии наук», 4 июля



1867 [с. 398–403]). Я колебался, нужно ли мне включить четвертую статью, которую я напечатал в 1843 г. всего в нескольких экземплярах в качестве введения ко второй части «Истории эллинизма», чтобы обсудить с друзьями-коллегами именно этот вопрос «Историки», на основании которого, мне казалось, можно подтвердить мою точку зрения, лежащую между теологией и филологией,— дисциплинами, принимавшими непосредственное участие в написании «Истории эллинизма»; я предпочел пока отложить это сочинение, поскольку, как мне казалось, читателя этот вопрос не может заинтересовать так, как меня, а именно какими путями, из какой отправной точки я пришел к тем результатам, которые теперь представлены ему на суд.

Цель этой публикации будет достигнута, если она вызовет интерес и побудит к дальнейшему обсуждению исследуемых ею вопросов: о природе и задаче, методе и компетенции нашей науки.

Берлин, ноябрь 1867

*Иоганн Густав Дройзен*

## ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

При новом издании «Очерка» в некоторые параграфы [69, 71, 75] были внесены изменения, но только ради более точной формулировки.

От мысли продолжить «Очерк» и переработать его в настоящий справочник, каковое пожелание мне было высказано, в данный момент пришлось отказаться, поскольку «Очерк» был написан для другой цели.

Что данный «Очерк» не претендует быть «философией истории» и не ищет сущности нашей науки в том, что естественные науки привело к столь блестящим успехам, т. е. в разгадке исторических процессов при помощи «механики атомов», будет рассказано в самом «Очерке».

Берлин, 19-го марта 1875 г.

*Иоганн Густав Дройзен*

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

В этом новом издании «Очерка» были внесены некоторые изменения в расположение материала, что при неоднократном чтении лекций оказалось более целесообразным. Что касается двойных цифр перед некоторыми параграфами, то вторая, заключенная в скобки, указывает на последовательность пунктов в изданиях 1867 и 1875 гг.

То, что данный «Очерк» не претендует быть «философией истории», и почему он не ищет сущности нашей науки в том, что привело естественные науки к столь блестящим успехам, т. е. в разгадке исторических процессов при помощи «механики атомов», будет рассказано в самом «Очерке».

Берлин, 18-го июля 1881 г.

*Иоганн Густав Дройзен*

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Нельзя не признать, что исторические исследования имеют свое место в живом научном движении нашего века, что они работают, открывая новое, по-новому исследуя старое, излагают подобающим образом найденные результаты.

Но если поставить вопрос об их научном смысле и их отношении к другим формам человеческого познания, обосновании их метода и внутренней связи их задач, то в них не найдешь удовлетворительного ответа.

Не то чтобы они полагали, что им в принципе не нужны подобные вопросы, или они не справляются с ними; время от времени предпринимались попытки решить их, частично внутри самих исторических штудий, частично при помощи других дисциплин.

Всемирной истории было отведено место в энциклопедической философии. Кто-то рекомендовал вопреки логической необходимости развивать ее на основе данных статистики, материальных условий. Другой же, и он высказывает теоретически лишь то, что очень многие полагают или полагали, подвергает сомнению «так называемую историю» вообще: «Народы ведь существуют *in abstracto*, реальны индивиды, а всеобщая история, собственно говоря, есть только случайная конфигурация и не имеет никакого метафизического значения». С другой стороны, наблюдается благочестивое усердие — правда, скорее мнимое, чем благочестивое, — находить для прагматических вещей человеческого мира все новые чудеса Всевышнего и его неиспо-

ведимые определения, учение, которое, по крайней мере, имеет то преимущество, что оно «ничем не обязано рассудку».

В рамках наших исследований уже геттингенгская школа конца XVIII в. занималась всеобщими вопросами; и они с тех пор время от времени обсуждались вновь. Пытались доказать, что история есть «в основном политическая история» и что вокруг этого ядра группируются многие элементарные, вспомогательные и прочие науки, относящиеся к нашему предмету. Затем стали понимать сущность истории в ее методе и обозначать его как «критику источников», как восстановление «чистого факта». Считали главной задачей науки художественное изложение и создание «исторического художественного произведения», и ныне восхваляют как величайшего историка нашего времени того, кто в своем изложении ближе всего подошел к роману Вальтера Скотта.

Чувство истории, заложенное в природе человека, слишком живое, чтобы оно не выразилось в соответствующих формах уже на заре человечества и при удачно сложившихся условиях; и как раз этот естественный такт еще и теперь указывает нашим исследованиям путь и дает им форму. Но претензия науки не может, пожалуй, удовлетвориться этим. Ей надлежит разобраться в своих целях, средствах и основах; только так она может, употребляя выражение Бэкона,<sup>1</sup> устранить антиципации, представления, которые еще господствуют над ее методом, *idola theatri tribus fori specus*,<sup>2</sup> на сохранение которых направлены не менее значительные интересы, чем те, которые некогда выступали за астрологию и процессы над ведьмами, за веру в благочестивые и нечестивые чудеса, — только так она сможет обосновать свое право на несравненно бóльшую область человеческих интересов, чем она до сих имела и может иметь.

Потребность разобраться в нашей науке и нашей задаче всякий, кому положено учить истории и вводить юношество в ее царство, вероятно, воспринял так же,

как и я, другие сумели удовлетворить эту потребность иначе. Меня влекло к исследованиям особенно таких вопросов, мимо которых обычно проходят, поскольку они кажутся в повседневных занятиях уже решенными.

То, что сегодня является политикой, завтра будет принадлежать истории; то, что сегодня есть сделка, если она достаточно важна, будет считаться у следующего поколения куском истории. Как же из юридических и торговых сделок становится история? Где мера того, что они станут историей? Разве какие-то тысяча лет превращают контракт о купле-продаже, заключенный сегодня между частными лицами, в исторический документ?

Любой скажет, что история является важным средством в деле образования; она является важной составной частью сегодняшнего преподавания. Но почему она является таковой? В какой форме? Разве она не была таковой для греков эпохи Перикла? или в иной форме? скажем, в Гомеровских поэмах? И возможно, национальные поэмы для греков, для Германии поры Штауфенов имели значение исторического преподавания?

Наблюдение за настоящим учит нас, как по-разному, в зависимости от точки зрения, воспринимается, рассказывается, сопоставляется любой факт, как любое действие — в частной жизни не реже, чем в общественной — истолковывается всякий раз по-другому. Человек, осторожный в своих суждениях, будет стараться получить из массы таких различных данных картину происшедшего, желаемого, лишь до некоторой степени точную и достоверную. Разве можно найти более достоверное суждение через сто лет из меньшей массы материалов? Ведет ли критика источников к чему-то большему, чем констатации бывших мнений? Приводит ли она к «чистому факту»?

И если дело обстоит так с «объективным» содержанием истории, что же будет тогда с исторической истиной? Есть ли истина без достоверности? Правы ли те, кто вообще обозначает историю как *fable convenue*?

Некое естественное чувство и несомненное единодушные всех времен говорит нам, что это не так, что в ве-

цах человеческого мира есть внутренняя связь, некая истина, некая сила, которая, чем она больше и таинственнее, тем сильнее провоцирует мыслящий дух познаться с ней и обосновать ее.

Здесь сразу же возникает второй ряд вопросов; вопросов об отношении индивида к этой силе истории, об его месте между ней и нравственными силами, которые наполняют его и влекут, об его обязанностях и его высшем долге; соображения, которые выходят далеко за пределы непосредственной сферы наших исследований, и должны породить уверенность, что их задачи следует обсудить не иначе, как на фоне самого широкого контекста. Не стоит ли рискнуть и предпринять такие дискуссии, исходя из совокупности знаний и выводов, каковые для ревнителя истории возникают на основе его занятий? Неужели историки не могут отважиться по примеру исследователей природы, сделавших такие блестящие открытия, встать на собственные ноги? Если историк, приняв к сведению со своей исторической точки зрения то, что разработали философия, теология, природоведение и т. д., взялся за такие трудные проблемы, то он должен ясно отдавать себе отчет, что он не имеет права заниматься спекуляциями, а должен на основе своего исторического метода продвигаться вперед, отталкиваясь от простого и достоверного базиса, ставшего и познанного.

В исследованиях Вильгельма фон Гумбольдта я нашел те мысли, которые, как мне казалось, открывали новый путь; Гумбольдт казался мне Бэконом исторических наук. О его философской системе мы не будем говорить; но теми качествами, которые античность приписывает величайшему историку ἡ σύνεσις πολιτικὴ καὶ ἡ δύναμις ἐρημνευτικὴ,<sup>3</sup> он обладал в высшей степени в удивительном гармоническом сочетании; в его мышлении и исследовании, а также в великолепном знании света и деятельной жизни сложилось у него мировоззрение, в центре которого находится сильное и идеальное чувство этического. Исследуя практические и идеальные образования рода человеческого, главным обра-

зом, языки, он понял «духовно-чувственную природу» человека и силу ее выражения, продолжающую порождать, отдавая и получая, — оба момента, в которых движется нравственный мир, преобразуя, и, двигаясь, преобразует, все снова поляризуя эти моменты, порождает все новые электрические токи.

Отталкиваясь от этой мысли, можно, как мне кажется, глубже проникнуть в суть вопроса нашей науки, обосновать ее метод, ее задачу и в общих чертах развить из познанной ее природы ее форму.

Я попытался сделать это в нижеследующих параграфах. Они родились из лекций, которые я читал об энциклопедии и методологии истории. Для меня было важно дать в этом «Очерке» обзор целого и наметить частное лишь постольку, поскольку это казалось необходимым для понимания и логической связи.

# ВВЕДЕНИЕ

## I. История

### § 1

Природа и история являются самыми общими понятиями, в которых человеческий ум постигает мир явлений. И он постигает его согласно таким понятиям, как пространство и время, которые он получает, по-своему разлагая неустанное движение чередующихся явлений, чтобы понять их.

Явления разделяются на две группы по пространству и времени необъективно, их так различает наше восприятие в зависимости от того, что нам кажется главным в поведении явлений; пространство или время.

Понятия пространство и время получают определенность и содержание в той мере, как воспринимается, познается, исследуется рядоположенность сущего, временная последовательность ставшего.

### § 2

Неустанное движение в мире явлений позволяет нам воспринимать вещи как находящиеся в стадии непрерывного становления, даже если становление одних, по-видимому, периодически повторяется, а становление других, повторяясь, неустанно растет, возвышаясь и увеличиваясь (ἐπίδοσις εἰς αὐτό).

В тех явлениях, в которых мы видим такое движение вперед, мы считаем главным следование друг за другом, т. е. момент времени.

Мы воспринимаем и обобщаем эти явления как *историю*.



### § 3

Человеческому глазу кажется только человеческое в непрерывном движении вперед и выше, и такое непрерывное восхождение он воспринимает как его сущность и задачу. Общий итог этого неустанного восхождения есть нравственный мир. Только к нему полностью приложимо понятие истории.

### § 4

Наука истории есть результат эмпирического восприятия, опыта и исследования (*ιστορία*).

Всякий эмпиризм основывается на «специфической энергии» органов чувств, через возбуждение которых мыслящий дух получает не «отображения», а знаки внешних вещей, которые породили это возбуждение. Он развивает для себя такие системы знаков, в которых внешние вещи представляются ему соответствующим образом — мир представлений, в котором он, непрерывно корригируя его в новых ощущениях, расширяя, увеличивая, имеет внешний мир, насколько он может, должен иметь его, чтобы постичь его и властвовать над ним, зная, желая, моделируя.

### § 5

Всякое эмпирическое исследование регулируется по данностям, на которые оно направлено. И оно может быть направлено только на то, что непосредственно присутствует в настоящем для чувственного восприятия.

Данное исторического исследования есть не прошлые времена, ибо они прошли, а еще непреходящее, оставшееся от них в нашем Теперь и Здесь, пусть это будут воспоминания о том, что было и прошло, или остатки бывшего и происшедшего.

### § 6

Любая точка в нашем настоящем есть результат становления. То, чем она была и как она становилась, прошло; но ее прошлое идеально заключено в ней.

Но только идеально, потухшие черты, скрытые отблески, если их не знают, их как бы и не было.

Проницательный взгляд, взгляд исследователя может пробудить их, воскресить, заставить отбрасывать свет в пустую темноту прошлого.

Не былые времена проясняются — их уже нет, а то, что непреходящего от них осталось в нашем Здесь и Теперь. Эти вновь вспыхнувшие отблески предстают перед нашим мысленным взором как их настоящее.

Наш конечный мыслящий дух имеет только момент Здесь и Теперь. Но он развигает тесные рамки своего убогого бытия, дополняя его своим волением и своими упованиями, и движется вперед, а благодаря массе воспоминаний возвращается назад, в прошлое. Так, идеально объединяя в себе будущее и прошлое, он получает аналог вечности.

Он освещает свое настоящее путем созерцания и знания былых времен, у которых нет иного бытия и вечности, кроме как в нем и через него. Воспоминание создает для него формы и материалы его внутреннего мира.

## § 7

Только то, что сформировали дух и рука человека, что они вылепили, чего коснулись, только след человека вспыхивает и виден нам.

Моделируя, формируя, упорядочивая, человек в любом проявлении выражает свою индивидуальную сущность, свое Я. Нам понятно лишь то, что из таких выражений и отображений еще как-либо, где-либо имеется у нас в наличии.

В рукописи этот раздел гласит:

## § 1

История — не сумма происшествий, не общий ход всех событий, а некоторое знание о происшедшем, т. е. происшедшее, которое знают.

Без этого знания происшедшее было бы, как если бы его и не было. Ибо поскольку оно внешней природы, то оно минуло;

только в воспоминаниях, насколько его знает мыслящий дух, оно есть непреходящее.

## § 2

История — результат эмпирического опыта и исследования (ἱστορεῖν).

Вид всякого эмпирического опыта и исследования определяется по данностям, на которые он направлен, и он может быть направлен только на таковые, которые для него имеются Здесь и Теперь для непосредственного восприятия.

## § 3

Данным для исторического опыта и исследования являются не прошлые времена — они минули, — а непреходящее, то, что от них осталось в данный момент, т. е. Здесь и Теперь.

## § 4

Любая точка в настоящем есть точка ставшая, результат становления. То, чем она была и как она становилась, прошло; но ее прошлое идеально есть в ней.

Но только идеально, угасшие черты, латентные отблески. Непознанные, они суть здесь, но как бы их не было. Проницательный взгляд, взгляд исследователя может их пробудить, воскресить, заставить светить, освещая мрак прошлого.

Не былые времена проясняются, а то, что от них осталось в настоящем. Эти пробужденные ото сна отблески суть идеально прошлое, мыслимая картина былых времен.

Конечный ум имеет только данный момент Здесь и Теперь, но его настоящее он освещает своим миром воспоминаний.

## § 5

У природы нет в себе воспоминаний. Только то, что сформировали, преобразовали, чего коснулись дух и рука человека, только след, оставленный человеком, вспыхивает вновь; «повсюду, куда приходит человек со своими муками», есть материал для исследования, есть история.

Моделируя, формируя, преобразовывая, человек в любом своем проявлении оставляет выражение своей самой подлинной сути, а не только οἶον αὐτό (Аристотель. De anima. II, 4.2), и исследователь в таких конгениальных проявлениях находит возможность понимания, исторического исследования (§ 8).

## II. Исторический метод

### § 8

Метод исторического исследования определен морфологическим характером своего материала.

Сущность исторического метода — понимание путем исследования.

### § 9

Возможность понимания состоит в конгениальном для нас виде проявлений, которые имеются у нас в наличии в качестве исторического материала.

Она обусловлена тем, что чувственно-духовная природа человека выражает любой внутренний процесс в чувственной восприимчивости, отражает внутренние процессы в любом проявлении. Воспринятое проявление, проецируя внутрь ощущающего субъекта, возбуждает одинаковый внутренний процесс. Слыша крик ужаса, мы ощущаем страх кричащего и т. д.

Животное, растение, вещи неорганического мира мы понимаем только частично, только некоторым образом, по некоторым связям, в которых они, по-видимому, соответствуют категориям нашего мышления. Они не имеют для нас никакого индивидуального, по крайней мере личного, бытия. Понимая и постигая их только по этим связям, мы, не задумываясь, отрицаем их в их индивидуальном бытии, разлагая их, разрушая, употребляя и используя их.

Только по отношению к людям, человеческим проявлениям и формам каждый из нас есть и чувствует себя равным и взаимозависимым; любое Я, замкнутое в себе, открывается в своих проявлениях любому другому.

## § 10

Частное проявление понимается как выражение внутреннего мира, спроецированного на него самого; этот внутренний мир понимается на примере его проявления как центральная энергия, которая, будучи одна и та же в себе, отображается как в любом из ее периферийных действий и проявлений, так и в этом.

Частное понимается в целом, а целое из частного.

Как понимающий субъект, поскольку он есть Я, целостность в себе, так и тот, кого он должен понять, выполняет для себя другого из частного проявления, а частное проявление из его целостности.

Понимание является синтетическим и одновременно аналитическим, индукцией и дедукцией.

## § 11

От логического механизма процесса понимания отличается акт понимания. Последний происходит в описанных условиях как непосредственная интуиция, как будто одна душа погрузилась в другую душу, созидательно, как зачатие при совокуплении.

## § 12

Человек, каков он есть по своим задаткам, становится целостностью в себе только в понимании других, когда его понимают другие, в нравственных общностях (семье, народе, государстве, религии и т. д.).

Индивидуум становится только относительной целостностью; понимая и будучи понятым, он есть лишь один пример и выражение общностей, членом которых он является, сущности и становлению которых он причастен, он сам лишь одно из выражений этой сущности и становления. Совокупность времени, народов, государств, религий и т. д. есть лишь одно выражение абсолютной целостности, которую мы предчувствуем и которой верим, которая для нас вытекает из предложения «*cogito ergo sum*», из уверенности в нашем Я-бытии, для нас наидостовернейшем факте.

## § 13

Ошибочная альтернатива материалистического и идеалистического мировоззрения разрешается в историческом воззрении, к которому нас ведет нравственный мир; ибо сущность нравственного мира есть то, что в нем в любой момент затихает тот антагонизм, чтобы обновиться, и обновляется, чтобы затихнуть.

## § 14

Исходя из объектов и природы человеческого мышления, можно установить три научных метода: спекулятивный (философский и теологический), физический и исторический.

Их сущность: познать, объяснить, понять.

Отсюда старый канон наук: логика, физика, этика; не три пути к одной цели, а три грани одной призмы, когда человеческий глаз в отражении цветов предугадывает вечный Свет, сияние которого он не мог бы вынести.

## § 15

Нравственный мир, безостановочно движимый многими целями, и, в конце концов, как мы предчувствуем и верим, целью целей, есть неустанно становящийся, восходящий в себе все выше (*ad ora ad ora come l'uomo s'eterna*. Данте. Ад. XV, 84).

Рассматриваемый во временной последовательности его движений, он для нас история. С каждым шагом вперед в этом становлении и росте понимание истории расширяется и углубляется, т. е. путь ее постижения и ее понимания; знание о ней есть она сама; неустанно продолжая работать, она должна углублять свои исследования, расширять свой горизонт.

Исторические вещи имеют свою истину в нравственных силах (как естественные — в механических, физических, химических и т. д. «законах»); они являются ее соответствующим претворением в жизнь.

Мыслить исторически — значит видеть в этих реальностях их истину.

### III. Задача историки

#### § 16

«Историка» не является ни энциклопедией исторических наук, ни философией (или теологией) истории, ни физикой исторического мира и уж тем более не поэтикой историографии.

Она должна поставить перед собой задачу быть органом исторического мышления и исследования.

#### § 17

История этой задачи от Фукидида и Полибия до Жана Бодена<sup>4</sup> и Лессинга.

Суть вопроса во введении к «Языку Кави» Вильгельма фон Гумбольдта.

«Историка» Гервинуса, «Philosophie positive»<sup>5</sup> Конта, «Структура и жизнь социального тела» Шефле<sup>6</sup> и т. д.

#### § 18

«Историка» охватывает *методику* исторического исследования, *систематику* всего, что можно исследовать при помощи исторического метода, *топику*, изложение исторически исследованного.

## МЕТОДИКА

### § 19

Историческое исследование предполагает размышление о том, что и содержание нашего Я есть многократно передаваемый, ставший исторический результат (§ 12). Познанный факт такой передачи есть воспоминание (*ανάμνησις*).

Наше знание есть прежде всего воспринятое, полученное по наследству, наше и как будто не наше. Оно есть следующий шаг на пути к свободному самоощущению и свободному распоряжению этим знанием.

Из целостности того, что у нас имеется, из нашего содержания и нашего самоощущения рождается для нас в нем (§ 10) новое представление целого, части, отдельного момента.

Оно возникает у нас произвольно, оно как бы фактически непосредственно здесь. Но так ли это, как нам кажется? Чтобы быть уверенным в нем, мы должны задуматься о том, как оно возникло; мы должны исследовать, как оно передавалось из поколения в поколение; мы должны его проверить, прояснить, доказать.

## I. Эвристика

### § 20

Исходным пунктом исследования является исторический вопрос (§ 19).



Эвристика поставляет нам материалы для исторической работы; она есть мастерство рудокопа: найти руду и подать ее на гору, «труд под землей» (Нибур).

## § 21

Исторический материал есть отчасти то, что имеется еще непосредственно в наличии из того настоящего, понимание которого мы ищем (*остатки*), отчасти то, что от них перешло в представления людей и дошло до нас как воспоминание (*источники*), отчасти вещи, в которых объединены обе формы (*памятники*).

## § 22

В массе *остатков* можно различать:

а) произведения, которым дал форму человек (художественные, технические и т. д., дороги, общинный луг и т. д.);

б) правовые институты нравственных общностей (нравы и обычаи, законы, государственные, церковные распоряжения и т. д.);

в) изложение мыслей, выводов, духовных процессов всякого рода (философемы, литературы, мифологемы и т. д., а также исторические труды как продукт своего времени);

г) деловые документы (корреспонденция, счета, всевозможные архивные документы и т. д.).

## § 23

Остатки, при создании которых для различных целей (украшения, практического пользования и т. д.) имело место также намерение оставить воспоминания для будущего, являются *памятниками*.

Так, например, грамоты, которые должны свидетельствовать в будущем о заключении какой-либо юридической или торговой сделки.

Произведение искусства всякого рода, надписи, медали, в некотором смысле монеты и т. д.

Наконец, любые монументальные отметки для памяти вплоть до пограничного камня, титула, герба, имени.

## § 24

Прошлые времена, воспринятые или понятые человеком, а также сформированные им, дошедшие до нас в *источниках* как воспоминания.

Любое воспоминание, пока оно внешне не зафиксировано (в поэтической речи, в сакральных формулах, в письменной редакции и т. д.), живет и преобразуется вместе с комплексом представлений тех, кто их соблюдает (например, «традиция» в римской церкви).

Лишь количественно отличается достоверность устного и письменного предания.

Восприятие источников может быть либо преимущественно субъективным, либо по возможности деловым (прагматическим). К объективному разряду относятся частично такие источники, в которых восприятие несколько замутнено преобладающей фантазией или чувством (сказание, исторические песни и т. д.), частично такие, в которых деловой элемент служит лишь материалом для всевозможных размышлений и аргументаций (речи в суде, парламенте и т. д., публицистические сочинения и т. д.; проповедник, Данте, Аристофан и т. д.).

В *прагматическом разряде* можно различить отчасти преимущественно реферирующие или комбинирующие, отчасти цель восприятия определяет и вид источников, в зависимости от того, предназначены ли они для всех, для современников или потомков, для обучения, для развлечения или деловых целей.

Так называемые *производные источники* являются мнениями мнений.

## § 25

Различие по значению трех видов материалов вытекает из цели, для которой они будут служить исследователю.

Источники, даже самые великолепные, проливают на наше исследование только, так сказать, поляризованный свет.

Исследователь изучает остатки очень добросовестно, вникая в мельчайшие подробности; чем четче и основательнее он их исследует, тем щедрее, сторицей окупаются его усилия; но остатки являются как бы случайными и разрозненными фрагментами.

Согласно природе материалов у исторического эмпиризма нет того подспорья, каковое имеет физический эмпиризм в наблюдении и эксперименте. То обстоятельство, что настоящее организует всяческие эксперименты и допускает самые подробные наблюдения, дает историческому исследованию компенсацию в виде аналогий, благодаря которым можно прояснить темное неизвестное X.

## § 26

Из исторического вопроса можно понять, какие остатки, памятники, источники следует привлекать для ответа на него.

Искусство эвристики заключается в расширении и дополнении исторического материала, а именно:

- а) путем интуитивных поисков и открытий;
- б) путем комбинирования, которое благодаря правильному упорядочению того, что как бы не является историческим материалом, делает его таковым (например: А. Кирхгоф. История греческого алфавита);
- в) путем аналогии, которая для разъяснения использует похожий ход событий в похожих условиях;
- г) путем гипотезы, доказательством которой является очевидность результата (например, луг в немецких деревнях как выражение древнего общинного порядка).

## § 27

Эвристика, как любая другая методическая деятельность, предполагает постоянное участие других.

Всякое историческое и прочее относящееся сюда знание — как языковое, так и предметное — является для любой из этих деятельностей *вспомогательной дисциплиной*.

## II. Критика

### § 28

Критика ищет не «подлинный исторический факт»; ибо любой так называемый исторический факт, помимо средств, связей, условий, целей, которые действовали все одновременно, является комплексом волевых актов, зачастую многих благоприятных и тормозящих развитие волевых актов, которые как таковые минули вместе с настоящим, которому они принадлежат, имеются лишь еще в остатках того, что тогда было сформировано или сделано, или проявляют себя во взглядах и воспоминаниях.

### § 29

Задача критики — определить, в каком отношении находится еще имеющийся материал к волевым актам, из которых он получает свою форму.

### § 30

а) Спрашивается, является ли материал действительно тем, чем его считают, или он лишь стремится считаться таковым. На этот вопрос отвечает *критический метод определения подлинности*.

Доказательство подлинности является полным, если доказаны время, происхождение, цель фальсификации; и подложное, верифицированное таким образом, может стать в ином смысле важным историческим материалом.

Применение критического метода, установления подлинности в определенной сфере материала есть *дипломатика*, проверка подлинности грамот (и других письменных документов) по внешним признакам, в противоположность так называемой *более высокой критике*.

## § 31

б) Спрашивается, является ли еще материал неизменно тем, чем он был первоначально и претендовал быть таковым, или какие изменения в нем можно распознать и не учитывать их. На этот вопрос отвечает *критический метод определения более раннего или более позднего* (диакритический метод).

Результат этого метода, как правило, есть доказательство так называемого «развития» от первых форм к данному образованию, в котором взаимно объясняются и верифицируются анализируемые элементы (Ф. К. Баур).

## § 32

в) Спрашивается, был ли и мог ли быть данный материал тем, доказательством чего он считается и хочет считаться, или уже в момент своего возникновения он мог и хотел быть верным только частично, только неким образом, только относительно. На этот вопрос отвечает *критический метод определения верности*.

Эта форма критики должна поставить данному материалу следующие вопросы:

1. Возможно ли сообщаемое как таковое на основе человеческого опыта?

2. Возможно ли оно в данных условиях и обстоятельствах?

В обоих случаях критический метод проверяет восприятие и его верность по воспринятым объектам.

3. Можно ли распознать в мотивах, целях, личных отношениях некую неверность зрения и мнения?

4. Была ли неизбежна неверность из-за недостаточности средств для наблюдения и восприятия?

В этих двух случаях критика проверяет взгляд и его верность на основе метода, как бы инструмента восприятия.

## § 33

Применение критического метода определения верности к источникам есть *критика источников*.

Если критику источников понимать, как будто она помогает доказать, как один автор использовал другого, тогда это всего лишь случайное средство — одно из многих — решить и подготовить задачу, т. е. доказательство верности.

Критика источников определяет:

1. Что́ этот источник воспринял и воспроизвел в своем изложении (события, сделки, грамоты, более старые источники и т. д.).

2. Какую общую тональность он получил вследствие господствующего тогда и там круга представлений (например, демонологические поверия в XV в., эпигонская бесчувственность в эпоху Александра).

3. Что привнесено в изложение индивидуальностью самого рассказчика (его тенденция, уровень его образования, характер и т. д.).

### § 34

Первоисточник есть не спутанный клубок мнений современников, известий, слухов; все это представляет собой лишь повторяющийся изо дня в день процесс поднимающихся и оседающих испарений, из которых затем возникают источники.

*Первое историческое обобщение*, как правило, господствует над дальнейшим преданием.

В самом удачном случае оно складывается в *историческом настоящем* событий, которые оно трактует, т. е. прежде чем последствия этих событий изменяют восприятие имевших место фактов и действовавших деятелей, или благодаря новому эпохальному событию родится новое мировоззрение.

### § 35

г) Спрашивается, содержит ли имеющийся в наличии материал еще все моменты, свидетельство которых ищет изыскание, или в какой мере он не полон. На этот вопрос отвечает *критическое упорядочение* верифицированного материала.

Всегда или почти всегда имеется в наличии еще только фрагменты бывших реальностей, только отдельные

мнения о том, что было и произошло. Любой исторический материал имеет лакуны, и даже самое тщательное исследование небезупречно; четкость в обозначении пробелов и возможных ошибок является мерой достоверности исследования.

Критическое упорядочение материала должно иметь в виду не только временную последовательность (*регесты*). Если оно сумеет сгруппировать эти материалы по самым разным аспектам, то пересекающиеся линии дадут нам много твердых точек (например, указатели в Corp. Inscript. Lat.).

### § 36

Результатом критики является не «подлинный исторический факт», а то, что материал подготовлен для получения относительно точного и конкретного мнения.

Добросовестность, не идущая дальше результатов критики, заблуждается, предоставляя дальше работать с ними фантазии, а надобно было бы поискать для дальнейшего исследования правила, которые гарантируют его корректность.

## III. Интерпретация

### § 37

Критика не ищет первоисточков, интерпретация не требует их. В нравственном мире ничего нет, что бы не передавалось из поколения в поколение.

Историческое исследование не стремится объяснять, т. е. выводить как нечто необходимое, только как последствие и результат более позднее из более раннего, явления из законов.

Если бы логическая необходимость более позднего была заложена в более раннем, то вместо нравственного мира мы бы имели аналог вечной материи и обмена веществ.

Если бы историческая жизнь представляла бы только новое рождение всегда одного и того же, то она была бы без свободы и ответственности, без нравственного содержания, только органической природы.

Сущность интерпретации — увидеть в былых происшествиях реальности во всей полноте их условий, которые требовали своей реализации и действительности.

### § 38

Точно так же, как при ходьбе объединяются: а) механизм шагающих членов, б) напряжение мускулов, обусловленное ровностью или неровностью, гладкостью, твердостью и т. д. почвы, в) воля, движущая тело, г) цель идущего, ради которой он идет, — так и интерпретация осуществляется на основе этих четырех аспектов.

То, что односторонне выделяют тот или другой аспект, признают его существенным, исключительно определяющим, являются источником многих теоретических и практических ошибок, является доктринерством (§ 92).

### § 39

а) *Прагматическая интерпретация* воспринимает установленное критикой положение дела, т. е. верифицированные критикой и упорядоченные остатки и мнения некогда действительного хода вещей согласно причинно-следственной связи, заложенной в его природе, чтобы реконструировать картину действительных событий.

При обилии материала достаточно простого *демонстративного* метода.

При недостатке материала известная нам по аналогичным случаям природа вещей ведет к аналогии, т. е. к уравнению с известным и этим **X**.

Аналогия между двумя **X**, поскольку они взаимно дополняют друг друга, становится *компаративным* методом.

Условием внутренней связи, в которой фрагментарно наличествующее проявляет себя как подходящее в логику этой связи и подтверждается очевидностью, является *гипотеза*.



## § 40

б) *Интерпретация условий* основывается на том, что условия содержались идеально в некогда действительном положении дел, которое было возможным благодаря им и стало таковым, и хотя бы фрагментарно еще присутствует в мнениях и остатках (например, некрасивая сама по себе поза Боргезийского борца показывает линию поля фронтона, для которого статуя была предназначена).

*Условия пространства* — помимо бесчисленных мелочей — объясняются из географии (театр военных действий, поле битвы, естественные границы и т. д., образование долины Нила в Египте, болотистых маршей у Северного моря и т. д.).

*Условия времени* можно разложить на ставшее состояние, в которое вступил факт, и на одновременные события, которые более или менее оказывают основное воздействие на факт.

Третий разряд условий образуют *средства*, как материальные, так и моральные, при помощи которых стал возможным и реализовался данный ход вещей.

В сфере материальных средств находится многообразие материалов и инструментов, тем самым огромное, почти еще не тронутое поле *технологической интерпретации*; в сфере моральных средств — страсти человеческие, настроения масс, господствующие над ними предрассудки и мнения и т. д.; полководец, государственный деятель, художник, который хочет воздействовать на них и через них, в равной степени определяется ими.

## § 41

в) *Психологическая интерпретация* ищет в положении дел волевые акты, которые его породили.

Она может познать волящего и энергию его *воли*, поскольку он вмещивается в контекст этого положения дел, его интеллектуальную энергию, поскольку она определила его. Но ни волящий не растворился полностью в этом одном положении дел, ни то, что стало, не

возникло только благодаря его силе воли, его интеллекту; это не есть ни чистое, ни целое выражение его личности.

Личность как таковая имеет свое мерило не в истории, не в том, что она там совершает, делает или терпит. За ней сохранена ее собственная, самая сокровенная сфера, в которой она — бездарная или богато одаренная, значительная и влиятельная или бесталанная — общается сама с собой и со своим богом, в которой есть подлинный источник ее воления и бытия, в которой совершается то, что оправдывает ее перед собой или Богом, или обрекает на проклятие. Для индивида самое надежное из того, что он имеет, есть истина его бытия, его *совесть*. В это «святая святых» не проникает взор исследователя.

Хотя человек и понимает человека, но лишь периферийно; он воспринимает поступок, речь, мимику другого, но не может доказать, что он правильно понял его, совершенно понял. Совсем иное дело, когда друг *верит* в друга, когда в любви один человек определяет истинное Я другого как его образ: «Таким ты должен быть, ибо так я тебя понимаю». Это — таинство любого воспитания.

Поэты — например, Шекспир — развивают из характеров действующих лиц ход изображаемых ими событий; они сочиняют психологическую интерпретацию событий. Но в реальности действуют еще иные моменты, а не только личности.

Вещи идут своим ходом вопреки злой или доброй воле тех, благодаря которым они совершаются.

В нравственных силах есть непрерывность истории, ее труд и поступательное движение (§ 15); к ним причастны все, каждый на своем месте, имеет свою долю; благодаря им в истории живет и самый незначительный и бедный вместе со всеми.

Но и самый гениальный, обладающий сильной волей, самый могущественный есть только момент в этом движении нравственных сил, все же на своем месте, особенно характерный и действенный. Как таково-

го, и только как такового, воспринимает его историческое исследование, не ради его персоны, а ради его места и труда в той или иной из нравственных сил, ради идеи, носителем которой он был.

## § 42

г) *Интерпретация идей* заполняет пробел, который оставляет психологическая интерпретация.

Ибо индивидуум строит себе свой мир постольку, поскольку он причастен к нравственным силам. И чем он прилежнее и плодотворнее строит, будучи на своем месте и в отпущенный ему промежуток жизни, тем больше вперед движет он общности, в которых он жил и которые жили в нем, тем больше служил своей долей нравственным силам, которые его переживают.

Без них человек не был бы человеком; но и они становятся, растут и поднимаются лишь в общем труде людей, народов, времен, в шествующей неустанно вперед истории, становление и рост которой есть ее развертывание.

Этическая *система* какого-либо времени есть лишь спекулятивный вариант и обобщение до сих пор развернутого, лишь попытка сложить его по его теоретическому содержанию и высказать его.

Любое время есть комплекс реализаций всех нравственных сил, как бы высоко или низко ни было их развертывание, как бы ни было еще скрыто более высокое в более низком (государство в форме семьи и т. д.).

## § 43

В разнообразии нравственных сфер, в которых коренится и движется жизнь человека, исследование находит ряд вопросов, с которыми оно приступает к имеющемуся в наличии материалу, чтобы его интерпретировать по его этическому содержанию.

Мы можем это проделать в двух вариантах:

а) либо мы наблюдаем в тех материалах *состояние* нравственных образований, каковые сложились в том настоящем и еще до него, и получаем таким образом

*этический горизонт*, внутри которого находилось все, что было и произошло в это время у этого народа и т. д.; и тем самым меру любого отдельного процесса в то время, у того народа и т. д.;

б) либо мы ищем и устанавливаем *моменты, шествующие в этом состоянии вперед*, и, сопоставляя их с тем состоянием, куда они привели, как они исполнились, мы получаем то, что нам объясняет *движение* в том времени, у того народа, стремления и поиски людей того времени, их победы и поражения.

#### § 44 (43)

В этом движении вырывается вперед то та, то иная нравственная сила, — часто далеко вперед, как будто речь идет лишь о ней, как будто все зависит от нее — как *идея* этого времени, этого народа, этого человека, направляя воспламененные умы, властвуя над ними, побуждает их сделать следующий, по существу иной шаг.

Идея (комплекс идей), которую показывает интерпретация в ходе событий, есть для нас истина этого хода событий. Этот ход событий есть для нас действительность, форма проявления этой идеи. В этой идее мы понимаем происшествие; мы понимаем из него эту идею.

В верности методически полученных фактов идея хода событий должна пройти испытание, а ход событий — оправдать эту идею.

Ибо для нас является истинной та идея, которой соответствует какое-либо бытие, истинным — то бытие, которое соответствует какой-либо идее.

## СИСТЕМАТИКА

### § 45 (49)

Область исторического метода есть *космос нравственного мира*.

Нравственный мир в любом своем неустанно движущемся настоящем есть бесконечный клубок сделок, социальных порядков, интересов, конфликтов, страстей и т. д. Его можно рассматривать с множества точек зрения: технической, религиозной, политической и т. д. — и научно трактовать.

То, что в нем происходит повседневно, ни один разумный человек не делает, полагая, что он вершит историю. Лишь определенный образ созерцания последующих поколений «делает из юридических и торговых сделок историю».

Воспринимать нравственный мир по мере его становления и роста, по временной последовательности его движения — значит воспринимать его исторически (§ 15).

### § 46 (50)

Тайна всякого движения есть его цель ( $\tau\acute{o} \theta\theta\epsilon\nu \eta \kappa\acute{\iota}\nu\epsilon\sigma\iota\varsigma$ ).<sup>7</sup> Наблюдая шествие вперед нравственного мира в его движении, познавая его направление, замечая, как исполняется и раскрывается одна цель за другой, историческое восприятие делает вывод (§ 12) о цели целей, в которой завершается движение и в которой то, что движет мир людей, заставляя его неустанно спешить, есть покой, завершение, вечное настоящее.

## § 47 (52)

Человек по своему «богоподобию» на отпущенный ему отрезок земной, конечной жизни должен быть бесконечным субъектом, целостностью в себе, мерой и целью самому себе; но в отличие от божества, которое есть и начало самого себя, человеку надо сначала стать тем, чем он должен быть.

Лишь в нравственных общностях человек становится человеком; нравственные силы формируют его (§ 12). Они живут в нем, и он живет в них.

Появившись на свет в уже готовый нравственный мир — уже первый ребенок имел отца и мать, — чтобы быть сознательным, свободным, ответственным, человек создает для себя — каждый в своей доле (§ 42), — в нравственных общностях и из них свой малый мир, ячейку своего Я.

Каждая ячейка, обусловленная и поддерживаемая соседними с ней, обуславливает и поддерживает их; все вместе они представляют собой неустанно растущее строение, поддерживаемое и обусловленное бытием малых и самых малых частиц.

## § 48 (53)

Строя и формируя в своих индивидах, становясь в процессе труда, человечество создает космос нравственного мира.

Его дело без неустанного роста и становления его нравственных общностей, без истории было бы как гора скорлупок инфузорий.

Его труд был бы, как песок дюн, бесплоден и носился бы по ветру без цели, не сознавая непрерывности, без истории.

Его непрерывностью был бы лишь повторяющийся круговорот без знания целей и наивысшей цели, без теодицеи истории.

## § 49 (54)

Нравственный мир следует рассматривать исторически:

I. сообразно тем *материалам*, из которых он что-либо формирует;

II. сообразно тем *формам*, которые он принимает;

III. сообразно тем *труженикам*, благодаря которым он возводится;

IV. сообразно тем *целям*, которых последние достигают в своем движении.

## I. Историческая работа сообразно ее материалам

### § 50 (55)

Материал исторического труда есть *данное* природой и исторически ставшее; и то и другое вместе — его условие и средство, его задача и граница.

Неустанное расширение набора его материалов есть мера его восхождения.

### § 51 (56)

а) Исследуя и познавая природу, господствуя над ней и преобразуя ее для целей человека, труд возводит в нравственную сферу и окутывает земной шар *aerigo nobilis*<sup>8</sup> человеческого воления и умения.

(Открытия, изобретения и т. д.; возделывание земли, полеводство, горное дело и т. д.; приручение, разведение животных и т. д.; изменение земель и ландшафта путем переселения растений, животных и т. д.; цикл естественных наук и т. д.)

### § 52 (57)

б) *Тварного человека* труд заставляет «в поте лица своего» в процессе познания становиться тем, что он

есть по своим задаткам, и в процессе становления познавать это; он делает из *genus homo* исторического, т. е. нравственного человека.

(Антропология, этнография; вопрос о расах, смешение рас, распространение рода человеческого по земле и т. д.)

### § 53 (58)

в) Возникшие *человеческие образования*, результаты исторического труда (порядки) все снова и снова становятся для него нормой, стимулом и средством для нового труда.

(Статистика. Потребности и общение и т. д. Так называемая история культуры.)

### § 54 (59)

г) Из целей людей, их задушевности и страсти, которые определяют их жизнь, он формирует свои движущие силы, свои соблазны, свое воздействие на массы.

(Дух нации, партикуляризм, фанатизм, соперничество и т. д.)

## II. Историческая работа сообразно ее формам

### § 55 (60)

Формами, в которых движется исторический труд, являются нравственные общности, первообразы которых в качестве *нравственных сил* хранятся в сердце и совести человека.

В нравственных силах заложена воспитательная сила истории. И всякий причастен к жизни истории в той мере, в какой он причастен к ним (§ 41). Человеческие отношения являются нравственными в той мере, в какой они воспитывают; и они воспитывают настолько, насколько силен в них нравственный элемент.



Любая из этих нравственных сил создает свою сферу, свой мир для себя, замкнутый в себе, требуя от каждого выступать вместе за нее и работать на нее, а также формировать и утверждать в ней свое нравственное значение.

Индивидуум есть не атом человечества, одна из молекул, бесконечное число которых составляет человечество. Он принадлежит этой семье, этому народу, этому государству, этой вере и т. д., существует только как их живой член, «как рука, отделенная от тела, уже не рука».

Учение о естественных правах человека выходит за пределы собственных предпосылок, оно забывает, что без долга нет права, что в каждом индивиде были исполнены тысячи обязательств, прежде чем он смог завоевать право.

### § 56 (61)

Общности, если учитывать сущность человека, возникли либо из естественной потребности, либо из идеальной, или из той и другой одновременно.

Будучи нравственными силами, они имеют как по отношению к себе, так и к другим и всем свое становление, свою историю.

### §57 (62)

*А. В естественных общностях* естественное должно быть облагорожено первым волеием, любовью, верностью, долгом и т. д.

То, что из естественной потребности становится душевное содружество; из естественного побуждения — волеие и долженствование, и постоянные узы, отличает человека от животного.

### § 58 (63)

а) *Семья*. В теснейшем пространстве, в самых тварных формах — самые сильные нравственные связи, самые глубокие предопределения. — Ступени развития

брака до моногамии. Отцовская власть. Очаг. Так называемый патриархат. Кровная месть.

### § 59 (64)

б) *Соседство*. Первые трения в пространственном существовании. Основание общин как большой семьи. Старейшины; община — марка, общинный луг и т. д.

### § 60 (65)

в) *Племя*. Родство не φύσει, а θέσει. Герой племени, gentilia sacra и т. д. Рода и кланы (cognationes et propinquitates, рода и ветви).

### § 61 (66)

г) *Народ*. Естественное государство, естественная религия и т. д. Языческая этническая эпоха. Консервативность и подвижность народных типов. Так называемая психология народов. «Демология». Принцип национальности.

### § 62 (67)

Б. В *идеальных общностях* духовное, проявляясь, должно вступать в реальности, чтобы таким образом стать другим, доступным и понятным, связью между умами, общим достоянием.

### § 63 (68)

а) *Речь и языки*. Всякое мышление есть говорение, движение в готовых формах, даже если оно их развивает дальше. Звуковой мимесис есть не только звукоподражание, но и перевод ощущений в звуковое выражение. — Последовательность языкового развития в богатстве форм, усложнении синтаксиса, специализации лексики. Следовательно, «жизнь языка» никак не «прекращается, когда начинается жизнь истории» (Шлейхер). Звук и письмо. Различие в образе мышления языков с фонетическим письмом и иероглифическим (офтальмические языки).

### § 64 (68)

б) *Прекрасное и искусства*. Художественный мимисис есть не только слепок, отражение, отзвук, но и воспроизведение душевного впечатления вплоть до иллюзии того или иного чувства (танцовщица, танцующая весну). Идеал и утешительность иллюзии (Румор).<sup>9</sup> Техническое и художественное.

### § 65 (70)

в) *Истинное и науки*. Научная истина. Важность методов. Сущность скепсиса, доктрины, гипотезы и т. д. Номинализм и реализм и т. д.

### § 66 (71)

г) *Святое и религии*. Любая религия — выражение скудости и беспомощности конечного бытия и потребность чувствовать себя заключенным вместе со всеми в бесконечное бытие; — одно из выражений предчувствия божества, надежды на исцеление и благо, даруемые им, истины вечного, совершенного, абсолютного. Вера и культ. Религия и теология. Священная история в любви религии.

### § 67 (72)

В. В *практических общностях* движутся борющиеся и спорные интересы, всегда одновременно и связанные, и движимые естественными потребностями, всегда безудержно стремясь вперед и ссылаясь на идеальные цели или результаты, хотя только под натиском готового по-земному состояния, насыщенного по-земному покоя.

### § 68 (73)

а) *Сфера общества*. Общество претендует на то, чтобы предоставить каждому место, где для него исполняются нравственные общности, и он исполняет их.

Различия по классам, крови, образованию, имуществу. Происхождение и нравы; инертные элементы; партии; общественное мнение и т. д. Социальная республика.

## § 69 (74)

б) *Сфера благосостояния.* Материальная жизнь претендует на то, чтобы охватить и определить все условия и средства, в которых нуждаются нравственные общности.

Заработок и конкуренция, капитал и труд, богатство и бедность. Натуральное хозяйство и денежное хозяйство. Движение стоимостей, развитие кредита. Плутократия и трудящиеся классы и т. д. Государство как коммунизм.

## § 70 (75)

в) *Сфера права.* Право претендует на то, чтобы регулировать и обосновывать все формы, в которых движутся нравственные общности.

Область применения права. «Право должно все же оставаться правом»; но и оставаться только правом. Разные виды его обоснования, его применения, его дальнейшего развития и т. д. Правовое государство.

## § 71 (76)

г) *Сфера власти.* Государство претендует на то, чтобы быть совокупностью, общим организмом всех нравственных общностей, их общим пристанищем и прибежищем и тем самым их целью.

Государство является публичной властью для защиты и обороны внутри страны и вовне.

В жизни государства и государств власть есть таким образом главное, как любовь в сфере семьи, вера в сфере церкви, прекрасное в сфере искусства и т. д. В мире политики действует закон власти, как в физическом мире — закон тяготения. «Повозка длиною в пядень — вовсе не повозка» (Аристотель).

Только государство имеет полномочия и обязанности быть властью. Там, где место власти занимает право, благосостояние, общество, даже церковь, народ, община, сущность государства либо еще не найдена, либо потеряна в процессе деградации.

Власть превыше всего тогда, когда ее в полную силу питает труд, здоровье и свобода всех нравственных сил. Государство, как любая другая нравственная сила, не только относится ко всем другим, но и в своей сфере охватывает их всех, под его защитой и правом, под его покровительством и ответственностью все движутся к его благу либо погибели.

Государство не является ни суммой индивидов, которых оно охватывает, ни возникает из их воли, ни существует ради них.

Чем суровее форма государства, тем у него больше насилия, а не власти, тем беднее оно свободой.

Из этнографического хаоса кристаллизуется одно государство за другим. Их взаимоотношения движутся от *adversus hostem aeterna auctoritas esto*<sup>10</sup> к договору и мирному общению, к международному праву. Федеративное государство, союз государств, система государств, всемирная система государств являются все шире расходящимися кругами волн, исходящих из этого движения.

### III. Исторический труд сообразно его исполнителям

#### § 72 (77)

Все образования и перемены в нравственном мире совершаются благодаря волевым актам, как в органическом мире все образуется из клетки.

Когда мы говорим: «Государство, народ, церковь, искусство и т. д. делают то-то и то-то», то мы имеем в виду «благодаря волевым актам».

#### § 73 (78)

Каждый человек есть нравственный субъект; только благодаря этому он человек. Он должен строить для себя свой нравственный мир (§ 47).

Каждый индивидуум представляет для нас бесконечный интерес как ставшая и становящаяся личность, ведь и поэзия (роман) неустанно следит и использует этот интерес.

И самые близкие отношения между людьми, их устремления и повседневные занятия и т. д. имеют свое развитие, историю для тех, кого это касается (история семьи, определенного места, специальности).

### § 74 (79)

Как это супружество, это произведение искусства, это государство относится к идее семьи, прекрасного, власти, так и эмпирическое Я (§ 55) относится к тому Я, в котором мыслит философ, творит художник, судит судья, исследует историк.

Это всеобщее Я человечества есть субъект истории. История есть *ἡ νοητή σαυτοῦ* человечества, его совесть.

### § 75 (80)

Пuls жизни исторического движения есть *свобода*.

Слово «свобода» в разные времена понимали по-разному; сначала оно имеет лишь отрицательное значение.

Свобода значит, что тебе не препятствуют в участии и общезитии в любой из нравственных сфер, что тебе одна не мешает быть в другой, не наносит вреда, что ты не исключен ни из одной из них.

Любая из этих сфер претендует на каждого целиком, нередко исключительно. В коллизии обязанностей, в ее всегда болезненном протекании и часто потрясающем исходе конечная природа человека покоряется постулату свободы.

### § 76 (81)

Проблема исторической жизни движется не в пределах ложной альтернативы свободы и необходимости.

Необходимое есть противоположность произволу, случайности, бесцельности, есть неодолимое *долженствование* добра, есть нравственное.

Быть свободным — значит не терпеть произвола, не быть безвольным, безъяким, значит непреодолимое *воление* добра, т. е. нравственное.

Высшая свобода — значит жить ради наивысшего добра, ради цели целей (§ 46), к которой направлено движение всех движений — и ее наука есть история. Отсюда «царская полная свобода нравственного человека» (Фихте); отсюда слова посвящения: «Perch'io te sopra te corono e mitrio» (Данте. Чистилище. XXVII, 142).<sup>11</sup>

### § 77 (82)

Всякое движение в историческом мире происходит благодаря тому, что из институциональностей развивается идеальный аналог, *идея*, каковыми они должны быть, *характеры*, исполненные этой идеей, осуществляют его.

Эта наполненность идеей есть страсть (*πάθος*), которая, действуя, становится ответственной и виновной, как гласит древнее изречение *δράσαντι παθεῖν*.

### § 78 (83)

Идеи суть критика того, что есть и чего нет, каковое должно бы быть. Тем, что они, осуществившись, превращаются в новые порядки и становятся привычкой, инертностью и неподвижностью, снова необходима критика и так далее и так далее.

Непрерывность этих идей — *λαμπάδα εχοντες διαδώσουσιν ἀλλήλοις*<sup>12</sup> — есть диалектика истории («Философия истории» Гегеля).

### § 79 (84)

То, что из социальных порядков возникают новые идеи, из идей — новые порядки, есть результат труда людей.

Многие, живя лишь ради своих интересов и будничных дел, ради настоящего, ориентируясь на будничные мелочные цели, следуя привычке, вовлеченные в общий поток, руководствуясь ближайшими поводами, работают, не имея выбора и воли, несвободно, как мас-

са. Они являются шумящими тирсофорами в праздничной процессии Бога.

Предчувствовать в движении нравственного мира новые идеи, осуществлять их есть *историческое величие*, «давать имя катящемуся времени» (Шиллер).

## IV. Труд истории по его целям

### § 80 (85)

Всякое становление и рост есть движение к цели, которая, исполняясь в движении, хочет прийти к самой себе (§ 46).

В нравственном мире цель за целью нанизываются в бесконечную цепь из звеньев.

Любая из этих целей сначала имеет свой путь и свое становление для себя; но каждая есть обуславливающая другие и одновременно обусловленная ими.

Довольно часто они препятствуют, мешают, противостоят друг другу; часто появляются то здесь, то там, иногда отступая, но всегда только для того, чтобы затем продолжить работу с еще большим напором, возрастающей силой напряжения, на новом месте, в новой форме, каждая, подгоняя других, есть одновременно гонимая ими.

### § 81 (86)

Высшая цель, безусловно обуславливающая, движущая всех, включающая всех, объясняющая всех целей (§ 15) есть та, которую нельзя эмпирически исследовать.

Из самоуверенности нашего Я-бытия (§ 12), из стремления нашего нравственного долженствования и воления (§ 76), из жажды совершенства, единого, вечного, в котором наше убогое, эфемерное, фрагментарное бытие чувствует себя восполненным тем, чего ему не хватает, для нас возникает, помимо иных «доказательств существования Бога», самое что ни на есть для нас доказательное.



Зло тяготеет над бранным мыслящим духом, есть тень его обращенной к свету бранныости. Оно относится к деятельности исторического движения, но «как исчезающе малое в процессе хода вещей и обреченное на гибель».

### § 82 (87)

То, что для животных и растений есть их родовое понятие, — ибо род есть *ίνα του αει και του θείου μετεχων*,<sup>13</sup> — вот что есть для людей история.

*Этика* есть учение о нравственных силах, не только о личном отношении к ним и поведении в них.

Этика и историка являются как бы координатами. Ибо история дает генезис «постулата практического разума», какового не может отыскать «чистый разум».

### § 83 (88)

История есть путь к сознанию и сознанию человечества самого себя.

Эпохи истории являются не возрастом этого Я человечества, — эмпирически мы не знаем, стареет ли оно или молодеет, знаем только одно: что оно не остается таким, каким оно было или есть — а стадиями его становления, миропознания, познание Бога.

### § 84 (89)

По мере прохождения этих стадий растет человеческое понимание цели целей, тоски по ней, пути к ней.

То, что с каждой стадией расширяется, восходит, углубляется это понимание, которое — и только оно — может считаться поступательным движением человечества.

### § 85 (90)

От земного взора скрыты начало и конец. Но он может путем исследования познать направление текущего движения. Ограниченный тесными рамками настоящего, Здесь и Теперь, он видит, Откуда и Куда мы идем.

Он видит то, что он видит, исполненный светом, в котором и из которого есть всё; и его видение есть ответ того Света.

Сияние этого Света он не вынес бы; но в пронизанных Светом сферах, которые открываются ему, заостря взгляд и воспаляя его, он предчувствует все более далекие дали, все более обширные эмпирии.

Одна из этих сфер есть человеческий мир и его история, и исторически великое есть солнечная пылинка в Богоявлении.

### § 86 (91)

История есть знание человечества о себе, его уверенность в себе.

Она — не «свет и истина», но поиски их, проповедь о них, посвящение им, подобно Иоанну-Крестителю: «οὐκ ἦν το φῶς ἀλλ ὅτι μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός». <sup>14</sup>

## ТОПИКА

### § 87 (44)

Как все, что движет наш мыслящий дух, требует ответственного выражения, в котором он оформляется, так и исторически исследованное нуждается в формах изложения (ιστορίης ἀλοόδειξις, Геродот), чтобы в них исследование как бы давало отчет о том, что оно хотело и чего достигло.

### § 88

Формы изложения определяются не по аналогии эпоса, лирики, драмы (Гервинус), не по отличию «определенных во времени и пространстве действий свободного человека в государстве» (Ваксмут), не по случайным всевозможным хроникам, достопримечательностям, картинкам из старины, историям (quibus rebus agendis inter fuerit is qui narret, А. Геллий), а из двойственной природы исследованного.

Ибо исследование, которое умеет получить представление о происшествиях и порядках былых времен, исходя из настоящего и из некоторых имеющихся в нем налицо элементов, которые оно использует как исторический материал, есть одновременно и то и другое: обогащение и углубление настоящего путем прояснения былых времен, и прояснение прошлых времен путем открытия и развертывания того, что из них имеется в настоящем, зачастую еще в довольно скрытом виде.

Но всегда, каким бы плодотворным ни было исследование, полученные им представления далеко не совпа-

дают с многообразием содержания, движения, реальной энергии, которыми обладали вещи, когда они были настоящим.

И всегда, какую бы форму ни выбирали для изложения полученных результатов исследования, это изложение лишь частично, лишь неким образом, с некоторых точек зрения сможет и будет соответствовать бытию вещей, каковое проявилось в их настоящем и в тогда живущих и действующих людях, здесь уместно сравнение с картографическим изображением.

## § 89

Историческое изложение долго довольствовалось тем, чтобы пересказывать содержащиеся в устных и письменных источниках мнения в более или менее новом восприятии; и такую полученную иллюзию дошедших до нас фактов затем считали, что это и есть история (например, как будто период диадочов был сплошной непрерывностью войн, поскольку наши источники говорят почти исключительно о войнах этого времени).

Лишь с тех пор, как стали изучать памятники и остатки в качестве исторического материала и методически их использовать, исследование былых времен начало проникать глубже и достоверно обосновывалось. Ис пониманием больших белых пятен нашего исторического знания, которые исследование еще не может или уже не может заполнить, ему открываются все новые дали неоглядные изучаемых им сфер и их некогда живого наполнения.

Изложение исследованного будет более достоверным, если оно будет уделять больше внимания тому, что ему неизвестно, чем уже известному.

## § 90 (45)

а) *Исследовательское изложение* использует форму исследования, чтобы изложить исследованный результат.

Оно есть не реферат или протокол хода действительного исследования со всеми его ошибками, заблужде-

ниями и провалами; оно создает впечатление, будто еще только предстоит найти или нужно искать то, что уже найдено в исследовании. Оно есть мимесис поисков или нахождения; есть два пути: либо оно, исходя из неизвестного: вопроса, дилеммы, — *ищет* достоверный результат подобно тому, как поступает прокурор, произнося речь в суде, пытаясь доказать так называемое субъективное положение дела из объективного; либо оно, исходя из достоверных улик и следов, находит все новые моменты, пока, наконец, перед ним не возникает связная и полная картина, например, так поступает следователь, который должен из так называемого объективного положения дела составить субъективное.

Первый вариант есть более убедительный, настоящий, последний — более наглядный и увлекательный, для того и другого важно, чтобы случайно привлеченная уйма не относящихся к делу подробностей не стала доказательством скорее ученой спеси автора, чем дела.

## § 91 (46)

б) *Повествовательное изложение* подает исследованное как ход событий, как мимесис его становления; оно формирует из исследованного материала картину генезиса того, на что направлено исследование.

Мнение, будто здесь говорят только исключительно «объективно» сами «факты», иллюзорно. Факты были бы немы без рассказчика, который заставляет их говорить.

Не в «объективности» заключена репутация историка.

Похвалой ему является то, что он пытается понять.

Повествовательное изложение возможно в четырех формах:

1. *Прагматическая* форма показывает, как предполагаемый или predetermined судьбой результат стал благодаря движению вещей, сходящемуся в этой точке, мог и должен был возникнуть.

2. *Монографическая форма* показывает, как историческое образование в своем становлении и росте обосновало, углубило, досконально изучило само себя, как бы породило гения.

3. *Биографическая форма* показывает, как гений исторического деятеля с самого начала определил его поступки и страсти, проявил и засвидетельствовал в нем себя.

4. *Катастрофическая форма* показывает силы, направления, интересы, партии и т. д., имеющие свою относительную правду, в борьбе, в которой более высокая идея, моментами и сторонами которой оказываются враждующие противоположности, одерживая победу над ними и примеряя их, подтверждается и исполняется. Она показывает, как из борьбы титанов возник новый мир, родились новые боги.

## § 92 (47)

в) Дидактическое изложение облакает исследованное в идею великой исторической непрерывности, исходя из его значения, поучительного для настоящего.

История является поучительной не потому, что она дает образцы для подражания или правила для повторного применения, а потому что ее мысленно пережили и прочувствовали; «*c'est un répertoire d'idees qui fournit de la matière que le jugement doit passer au creuset pour l'éripurer*» (Фридрих Великий. Oeuv. IV, p. XVII).

Такое упражнение ума и сердца есть образование, военное, юридическое, техническое, если оно направлено на такие профессии; всеобщее образование, если целью его является упражнение и развитие в нас не того или иного единичного и технического, а всеобщее человеческого (*humanitas*); ибо «*путь, по которому род людской идет к своему совершенству, должен пройти каждый отдельный человек*» (Лессинг).

В идее *воспитания рода человеческого* образование получает свои формы — помимо специальной и технической — и свои сюжеты из истории (§ 6). И то, что великие движения истории происходят в малой сфере ти-

пических формаций, самые великие еще в меньшей сфере, делает возможным дидактическое использование как для более высоких и высочайших потребностей, так и для элементарных.

Есть ли формы исторического изложения для этой цели? Являются ли образцом этого вида исторического восприятия исследования всемирной истории Гердера или Шлёцера, Иоганнеса фон Мюллера или Лео, или Ранке?

Ценность проповеди в евангелической церкви будут измерять не по напечатанным проповедям, уж тем более не пожелают, чтобы наконец был установлен канон проповедей, который обеспечит на каждой неделе образцовую воскресную речь с церковной кафедры. Напротив, любая проповедь должна быть новым свидетельством живого евангелического духа нашей церкви; и пока община находит в ней утешение, она пребудет таковой.

Настоящая форма дидактического изложения есть *преподавание истории* юношеству, а именно уроки учителя, который, свободно ориентируясь в исторических сферах, проводя исторические исследования, подает историю во все новых вариантах, по-новому ее излагая, и свидетельствует о духе, который движет и наполняет историческую жизнь.

### § 93 (48)

*Дискуссионное изложение* имеет дело с массой исследованного материала, оно, как бы собирая эти огоньки в вогнутом зеркале, направляет их на определенную точку настоящего, освещая ее так, чтобы ее прояснить, на вопрос, который надо решить, на альтернативу, где надо сделать выбор, на новое явление, которое надо понять.

Всякое новое — не только политические факты, но и новые открытия, новые достижения искусства и науки и т. д. — исторический комментарий и сравнение должны включить в ход поступательного движения и труда (научная, эстетическая, публицистическая и т. д. критика).

Моменты, подлежащие доказательству, в дискуссии заключаются частично в субъекте, о котором идет речь — следовательно, эта нация, эта власть, эта церковь и т. д. в своих предшествующих исторических обстоятельствах определены так или иначе (например, знаменитое изречение: «sint ut sunt aut non sint») — частично, в вещах, которые оказывают обуславливающее и определяющее воздействие, как и вообще в любом мгновенном положении дел нужно найти, растолковать и использовать другие определяющие его моменты по его историческому контексту.

Сущностью истории является то, что она результату всех сложенных условий и разработок придает форму и право нормативного завершения, принципа. Чем меньше моментов она обобщила, чем одностороннее выделено то или иное, тем более доктринерской она становится, тем более, если соответствующий движущий момент, сделавший следующий шаг, был гениальной природы (§ 43), только для этого случая, при этих обстоятельствах, для этой цели, здесь и теперь.

Каждое государство имеет свою политику, внутреннюю и внешнюю. Дискуссия — также в прессе, в государственном совете, в парламенте — является тем надежнее, чем она историчнее, тем пагубнее, чем больше она основывается на доктринах, на *idola theatri, fori, specus, tribus*.

Практическое значение исторических исследований заключается в том, что они — и только они — дают государству, народу, армии и т. д. *образ самого себя*.

Изучение истории есть основа политического воспитания и образования. Государственный деятель есть историк-практик.

Государство есть лишь самый сложный из организмов нравственных сил; любое большое предприятие, любой институт требуют подобного дискуссионного самоконтроля; например, церковное правление, руководство промышленными предприятиями, организация научной экспедиции и т. д.



## § 94

Имея такую форму изложения, наша наука вступает в обширные сферы, где она не должна забывать обосновывать свою компетенцию, — так же, как естественные науки подтверждают, не сомневаясь, свое значение, насколько позволяют им их методы.

И исследования, и результаты естественных наук являются не произведением абстрактного наблюдения и экспериментирования, как будто говорят только наблюдаемые и рассмотренные реальности; а лишь вся полнота переживаемых этапов и восхождений, сложившаяся в непрерывности истории, дает естествоиспытателям высокий уровень и широту их созерцания и мышления, чтобы так проводить наблюдения и подвергать сомнению, так комбинировать и делать выводы.

Это же относится к спекулятивным наукам.

Ибо все помысли и желания, всякое творчество, всякое воление и умение людей возникают (§ 6) — по форме всегда, по материалу большей частью — из тех прожитых этапов и разработок; исследовать их непрерывность есть задача истории.

## § 95

Наша наука не претендует на то, чтобы метод ее исследования был единственным научным методом. Она довольствуется тем, что в своем изложении результатов исследования дает не более того, что относится к ее сфере исследования и что позволяют ей ее методы.

И если она осознает, что она уже не может — или еще не может — удовлетворительно ответить на многие вопросы в ее сферах, то она тем более поостережется выдавать то, что она дает, за большее, чем оно есть и может быть: насколько возможно достоверно разработанное и прагматически развитое представление о вещах, которые были настоящим и действительностью в недалеких ли, давних или незапамятных временах и которые еще живы и продолжают жить только в представлении людей.

## Примечания

- <sup>1</sup> Бэкон (*Vascon*) Фрэнсис (1561–1626).
- <sup>2</sup> Идолы театра, рода, площади, пещеры (*лат.*).
- <sup>3</sup> Политическое благоразумие и способность к истолкованию (*др.-греч.*).
- <sup>4</sup> Боден (*Vodin*) Жан (1530–1596), французский правовед и публицист.
- <sup>5</sup> Положительная философия (*франц.*).
- <sup>6</sup> Шефле (*Schäffle*) Альберт (1831–1903), немецкий экономист.
- <sup>7</sup> То, ради чего осуществляется движение (*др.-греч.*).
- <sup>8</sup> благородной патиной (*лат.*).
- <sup>9</sup> Румор (*Rumohr*) Карл Дитрих (1785–1843), немецкий историк искусства.
- <sup>10</sup> Против чужеземца (врага) должна быть полнота власти (*лат.*).
- <sup>11</sup> Тебя венчаю митрой и венцом (*итал.*, пер. М.Лозинского).
- <sup>12</sup> Держа факел, они будут передавать его друг другу (*др.-греч.*).
- <sup>13</sup> То, что причастно к вечному и божественному (*др.-греч.*).
- <sup>14</sup> «Он не был свет, но *был послан*, чтобы свидетельствовать о Свете» (Иоанн I, 8).



# **ПРИЛОЖЕНИЯ**



# ТЕОЛОГИЯ ИСТОРИИ

## Предисловие к «Истории эллинизма» II

(Гамбург, 1843, с. III–XXII, за исключением первого абзаца напечатано всего в нескольких экземплярах.)

Киль, 9 мая 1843 г.

Дружеским посланием к Вам, дорогой Ольсгаузен, я завершаю свой труд. В нем речь идет об исключительно значительном, но почти изгладившемся из памяти развитии политических и национальных отношений, которое нужно было исследовать и описать. Значительность этой задачи и затраченные мною на ее решение усилия делают для меня эту книгу столь дорогой, что я решаюсь поднести ее Вам в дар. И однако, что же в ней такого, чтобы сей дар заслуживал благодарности, а ответная благодарность доставила радость? Пусть будет он и Вам приятен как свидетельство самого искреннего почтения, высказать которое для меня радость.

В защиту этой книги мне хотелось бы сказать заранее несколько слов; но мне все же кажется более важным остановиться на некоторых общих вещах, обсуждения которых, как бы они непосредственно ни касались последних оснований нашей науки, можно сказать, умышленно избегают. Тем более у меня есть повод говорить об этом, так как для решения поставленной задачи мне пришлось занять определенную позицию между двумя равно застарелыми предрассудками, и по-

скольку я ожидаю возражений и с той и другой стороны, считаю своим долгом разъяснить точку зрения, каковую, как мне казалось, я должен был занять.

Ученый интерес легко может удовлетвориться тем, что наличествует в данный момент. Сколь мало из заданных историей вопросов получают от учености желанный ответ. Но исключительно важно, чтобы она не забывала о тех белых пятнах, на которые ей указывают эти вопросы. Ибо она легко привыкает к гипотезе, что дошедшие до нас, зачастую весьма разрозненные и случайные фрагменты богатого прошлого хотя и не есть полная и всеохватная картина жизни тех реальностей, но их существенная и характерная часть, тот образец, по которому нужно восполнить целое, набросать общую картину. Причина предрассудков и предвзятости нашего ученого мира относительно первых двух веков эллинизма — в более поздних веках уже не хотят видеть за претенциозной пустотой риторической словесности этнической литературы, за римским государством, которое державно господствует над миром, подчиняя его себе, значения социальных отношений — кроется прежде всего в остатках александрийских ученых занятий. И моей первой заботой неизбежно стало исследовать, так ли было на самом деле, что «сильное стремление к массовой грамотности, полиматия и полиграфия являются рычагами основанного Александром мира», а не наоборот ли, те занятия представляют только часть, возможно, малую часть, хитросплетений самых различных интересов, которые вобрала в себя та эпоха.

Как же история приходит к своим вопросам? Как она дерзает указывать бытующим преданиям их лакуны, ошибки, странность общей концепции, которая сложилась на основе их? Она может себе позволить такое, если она, выйдя за рамки монографического подхода, сумеет распознать внутреннюю связь исторического развития. Эллинизм не есть одряхлевший, неорганический монстр в развитии человечества; он принял наследство греческого и восточного древнего мира со всеми его долгами и долговыми обязательствами. И, вла-

дея всем этим наследством и продолжая работать, он развил нечто иное, новое, которое так опосредствованно все снова и снова ссылается на предшествующую ему ступень. Едва ли отважились бы на попытку понять период эллинизма, особенно данный его отрезок, на основании скудных источников, если бы не было ясно, откуда он идет и куда, и если бы как то, так и другое не было обозначено, узнаваемо в сравнительно большом разнообразии моментов. Здесь получают те гипотетические линии, та сетка опосредствований от одного к другому, те вопросы, которые, независимо от того, дадут ли на них ответ или нет, являются совершенно оправданными, чтобы свести случайно полученное к сфере его компетенции.

Каким бы недостаточным ни было дошедшее до нас, каким бы искаженным, выветренным, незначительным ни было большинство из того немногого, как только осознают, что и в каком направлении нужно искать, будут повсеместно находить малые кусочки, которые, включенные в те гипотетически начертанные линии, подтверждают, что те были проведены, хотя и дерзко, но правильно.

Я должен признаться, что пришел к пониманию эллинистической эпохи, совершенно отличному от традиционного. В то время, как этим периодом обычно пренебрегали, считая его большим провалом, мертвым пятном в истории человечества, отвратительным скоплением всяческой деградации, гниения, умирания, мне он представляется звеном в цепи развития человечества, энергичным распределителем великого завещанного наследия, носителем более великих предназначений, вызреваемых в его лоне. Если бы мне удалось убедительно доказать это его значение. Ведь высшей задачей нашей науки является теодицея.

По крайней мере ей следовало бы быть таковой. Что касается истории античности, наша наука никак не может похвалиться, что она добилась в этом направлении каких-либо значительных результатов. С одной стороны, по-видимому, даже не признают, что есть такая



цель; с другой — ей подбрасывают формулировки, делают любую историю основанной на вероятности.

Было время, когда могли называть языческие народы античности созданными *in vitae contumeliam et mortis exitium*,<sup>1</sup> покинутыми и отвергнутыми Богом как *vasa irae*,<sup>2</sup> осужденными на вечное проклятие. Именно там, где имели место такие взгляды, возникло противоречие самого холодного рационализма; последний, быстро объединившись с бесстыдными результатами иезуитской педагогики, в течение столетия определял образование Европы. Образование, казалось, еще раз целиком и полностью обратилось к посюстороннему миру, оно поставило на службу эвдемонизму все нравственные силы; исполнение долга, добродетельная жизнь были для него лишь своего рода наслаждением; то, что оно переняло от религии, было субъективной потребностью в умилении и душевном наслаждении, без всякого положительного содержания, без всякой исторической обусловленности, которую оценивали и отвергали согласно нормам религии разума, как будто хотели обмануть себя относительно эмпирических начал как индивида, так и всего рода человеческого. Тогда из поля зрения исторического исследования почти совсем пропал интерес к учреждению христианства; то событие, которое даже самому близорукому взору представляется великой вехой в жизни всего человечества, исходным пунктом его истории, было отодвинуто в сторону как не относящееся к истории, например, при помощи двусмысленной увертки, что-де история должна рассматривать не чудеса, а факты; пусть теология продолжает ориентироваться на этот сомнительный исходный пункт своего учения и развлекать толпу своими иллюзиями. Мне не надо объяснять, какие положительные моменты заключались в этих заблуждениях.

Какая огромная перемена в религиозной жизни нынешнего протестантизма; как важно, — и этого нельзя отрицать — что она исходила не от Мельхиора Гёце или Пфеннигера, а от Лессинга и Канта, от изучения Платона; не охранительная церковь принесла ее, а

ищущая наука, которая, наконец, возвратилась к ней под отчий кров, как блудный сын из притчи, и была принята с радостью и в праздничных одеждах. Исходя из науки, если можно так назвать совокупность идеальных достижений исторического труда, церковь вызвала новую жизнь, пробуждая в священнослужителях прежде всего вместо просвещенной поверхности полезных моралей и самодовольного покоя традиционной ортодоксии потребность в более глубоком исследовании, проводя их через более мучительные сомнения, между сдвигающимися Симплегадами противоречий к более глубокой нравственной и интеллектуальной энергии, — раздувая в общинах тлеющие искры веры, подбрасывая в них новый горючий материал, делая возможным начало активного, живого отношения к духовным интересам, которые уже не заслоняла непроницаемая изгородь схоластических формул и ученой бессмыслицы, чтобы, наконец, слово о всеобщем священнослужении всех христиан могло стать истиной — повышая потребность в субъективности и доводя до более глубокого осмысления те события, те догмы, в которых навсегда отложились наиглубочайшие, существенные связи человеческого наличного бытия. Ибо в этом заключается удивительная глубина христианского учения, неисчерпаемая энергия его исторической жизни, что оно впервые и навсегда сформулировало и высказало сущность человеческой личности во всей ее полноте «вины и бессилия, и избранничества», следовательно, отныне любое истинное развитие в жизни человечества передает только более глубокое понимание этого учения, представляет только его, объясняя его более подробно и свободно.

Разумеется, хранители Сиона наших дней предадут анафеме то одно, то другое; они презрительно отвергают достижения более глубокого исторического труда, заблуждений и открытий; им надобно не того Христа, λόγος ἐν ἀρχῇ,<sup>3</sup> который пребудет с нами до конца света, а «исторического» Христа; они говорят: «Вот, я столько лет служу тебе» (Лк., 15, 29), и гnevаются на блудно-

го сына, расточившего имение свое, а затем вернувшегося в дом отца, и что «о том надобно радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк., 15, 32). Это те, которые заигрывают с тиарой и грешат против памяти Лютера, вздыхают по магии традиционного рукоположения в священники и предполагают устную традицию с Сионской горы наряду с Законом, только чтобы ничем не быть обязанными истории; они отвергают Святой Дух, который подготовил и вел церковь Христа, отрицают вечный Промысел и Любовь Бога, которые во все времена были засвидетельствованы и стали очевидны даже язычникам, жизнь которых была поисками Его; они снова поднимают крик о *vasa irae*, о сладострастии идолопоклонников и о черной магии классического искусства; они пишут доносы на образование юношества, заявляя, что оно запятнало себя языческой злобой.

Позже мы ответим на этот последний упрек. История крепко держится веры в мудрый и благой миропорядок Бога, который включает в себя не только верующих, или избранный народ, а весь род человеческий, все сотворенное на земле; и в том, что она живет согласно этой вере, «есть надежда не сомневаться в том, чего ты не видишь», и борется, познавая, все снова пытаюсь высказать бесконечное содержание этой веры, как свойственно бренному человеческому существу, в категориях мышления и понимания, во все более подробном уточнении, в этом — и только в этом — сознает себя как наука. Она ссылается на великое слово языческого апостола: «Когда время исполнилось» (Гал., 4, 4), для свидетельства, что основание христианства было не произвольным и бессвязным актом милости божественного благоволения, а вечный Промысел Божий вел, воспитывал и освящал народы: как иудеев, так и язычников, с самого начала и до наших дней.

Теперь перехожу к другой стороне дела. Я опасаясь, что получу нагоняй от филологов за мой подход к истории античности, я имею в виду тех восторженных энтузиастов, которые без усталости изображают классическую

античность как потерянный рай, в котором безраздельно царили красота и благородство, расцвечивают ее чарующими образами своей фантазии и несбыточных идеалов своего восхищения. Да и вообще, некоторые из них сердиты на меня за то, что я не впадаю вместе с Демосфеном в слепой патриотизм и ненависть и вижу в Аристофане скорее плута, чем проповедника добродетели. Я далек от того, чтобы не понимать великолепия классической античности, но здесь мы имели дело с тем случаем, о котором говорит Лихтенберг<sup>4</sup> относительно сороконожки, у которой вообще-то лишь четырнадцать ножек. — Я желал бы найти понимание у тех разумных филологов, владения которых я, хотя и имея иные, чем у них цели, не раз проходил с посохом паломника.

История филологии уж найдет этому оправдание как своему предназначению в настоящем, поскольку она сложилась преимущественно в интересах педагогики. Она ищет не античность в ее исторической действительности и связях, а идеалы античности, комментируя и представляя их. Прекрасно предназначение филологии, которая исследует и поспешествует живейшему пониманию того, что высокоодаренные народы предчувствовали как свою наибогороднейшую самость, выражая в своих мифах и образах богов, высказывая в своих законах, в этике то, что они в пестрой, быстро меняющейся жизни познали как истинное, оправданное, непреходящее. До таких наибогороднейших и совершеннейших образов чисто человеческих помыслов и желаний, наивысших созданий смог подняться естественный человек, счастливо одаренный многими дарами; весьма чутко было выбрано слово «humanitas», «гуманитарные науки», для обозначения этих занятий и их цели. Ни за что история не отречется от идеалов, которые появились в определенное время, у определенного народа, будучи и цветами их развития, и нормами, по которым они оценивали свою действительность; если где-либо это имеет место, то в этих идеалах высказывается непрерывный прогресс общего развития человечества; до таких все более глубоких и совершенных

идеалов индивидуум, вся совокупность индивидов пытается подняться и осознать в них свои задачи.

Но несомненно и вечно иррациональное отношение эмпирических реальностей к тем идеалам: беспокойству, живости, постоянному стремлению вперед всего человеческого бытия, — проследить которое во всей полноте его движения надлежит истории. Как бы ни было поучительно видеть в Рафаэлевых мадоннах, в «Ифигении» Глюка идеалы, свойственные мировосприятию того времени, однако не следует по ним судить, скажем, об удивительном благочестии при дворе Александра VI, Льва X, рисовать картину нравственной красоты времени Дидро и *parc aux cerfs*.<sup>5</sup> Но филология, по-видимому, часто дает себя ввести в заблуждение; она легко представляет себе всю действительность в самом ярком, солнечном свете, во всем многоцветии роскоши жизни по идеалам, которые ей демонстрируют пластическое искусство и поэзия или которые идеализирующая память поздней римской эпохи видит в лице Фабриция и Регула; но чем скуднее заметки, дающие один-единственный мотив, случайно выхваченный из общего образа человека, события, тем пластичнее отдельные характеры, тем типичнее отдельные великие деяния. История с улыбкой взирает на эти приятные обманы, которыми обольщается ее верная спутница; она, более мрачная и безыскусная, охотно предоставляет той право первого хода там, где следует заложить в сердцах подрастающего поколения великие, нас возвышающие картины развития человечества. То, что юношество в своем образовании доверчиво тянется к идеалам классической античности, а не к безусловно более святым идеалам Ветхого завета, или к бесконечно более глубоким образам христианского мировоззрения, имеет глубокий смысл.

Так же объясняется и то обстоятельство, что увлечение классической античностью встало на сторону движения Реформации XV в.; лишь объединившись с античностью, Реформация поняла основные слабости времени, которые нужно было преодолеть. В другом месте

я уже попытался показать, что языческой античности, которая, пустив корни на почве естественного бытия, полностью принадлежала посюстороннему миру, противостояло в такой же односторонности средневековье, обращенное лишь к потустороннему миру и презиращее земной свет, что в конце языческого периода пришли с неизбежностью к десакрализации мира, к акосмизму, а на закате средневековья и к десекуляризации Бога и к безудержному одичанию тварного бытия, что вместе с Реформацией и одновременным возвращением к античности началось примирение посюстороннего и потустороннего мира, живое и положительное разрешение великого антагонизма, который пронизывает мир и жизнь индивида, наступило одухотворение немого конечного бытия, что земной мир воистину становится Божиим миром, началась более смелая борьба мыслящего духа с природой и ее силами, «что он становится священнослужителем творения, через которого оно возносится как чистая жертва к престолу Бога».

Пусть эти примеры одновременно послужат укреплению внутренней связи заключительных слов этой книги с ее содержанием. Это будет более благочестиво, чем вздыхать о бессилии и неприкаянности человеческого существа. Если любая тварь есть бытие своего рода, носительница родового понятия, то история есть родовое понятие человека. Как одинок, неприкаян индивидум в чувстве своей эмпирической брэнности, слабости и робости, как нуждается в утешении; вот почему он обращается к божеству, неустанно ищет уверенности в нем. Но одновременно он чувствует, что он есть не только это отдельное существо, но и член в общности своего народа, своего времени, звено в великой цепи непрерывности истории, что он исполнен и несом этой всеобщностью, источником нравственности, призван вместе со всеми к великому труду человечества. Итак, он слышит зов, который доходит и до его немощи; он выпрямляется, чтобы исполнить свое воление, испробовать свои возможности, участвовать, насколько в его силах, в великом труде рода, «в возвращении творения к Богу»,

как гласит одно древнее мистическое изречение; он существует лишь тогда, когда, неустанно продолжая трудиться над своей долей в общем труде, выражает понятие своего рода. — Или мне возражают: это же пелагианство, упоение своей непогрешимостью? Слова Христа, *θεοὶ ἐστέ*, не могут быть напрасными; твари, созданные по образу и подобию Бога, не являются лишенными Я фантомами, призраками, чтобы расплыться и раствориться в надземном свете. Но между Богом и нами есть этот мир. Следует преодолеть его. Следует, — бесконечный труд — изучая и преобразуя, используя и постигая, охватить все широты и глубины, пронизывать все массы и дали, максимально развивать это Я, зародыш божественности в нас, его бесконечную энергию, задействовать его по его немеренному оправданию силы; все снова непосредственно возбуждаемая эвдемонистической потребностью, несомая могучими нормами, которые предоставляет государство, преображенная связью с вечным Светом, в лучах которого эти солнечные пылинки движутся, освещая брэнность. Какой восторг видеть, как работает эта чудесная энергия человеческого духа; он подслушивает у природы ее самые таинственные силы, овладевает ими при помощи ее законов, ставит ее стихийные силы на службу своим целям, чтобы они стали для него продолжением, преумножением, возведением в степень его органов; он строит для себя гигантов, работающих на него; он вооружает свой глаз так, что тот различает тысячную частичку песчинки и узнает в мертвой материи умершую жизнь; со скоростью секунд он преодолевает пространства; по железным проводам он передает знаки своего слова на любое расстояние, что оно доходит туда начертанным в тот момент, когда он его произносит; что здесь есть и было, он постигает чудесной энергией мысли; исследуя и постигая по своей сущности и закону, т. е. по его более истинному содержанию, он вызывает его в живой реальности сознания; высказывает в науке, которая является его творением, как мир есть творение Бога. Разумеется, его творением; но субботы покоя оно ему не

приносит; оно не может отказать нам ни в той тихой уверенности веры, ни в том более глубоком никогда не иссякающем источнике жизни, ни заменить его. Однако в индивиде заключено еще и иное содержание, чем только принадлежность непрерывности рода; напротив, он сам есть только тогда, когда обновляется в любом индивиде мистерия его начала, исходя из которой он мысленно проживает ее, спеша за ней. «Но где человеческий дух спешит, обгоняя себя или действительность, там пробуждается в нем идея Бога».

Я полагал, что это надо хотя бы бегло сказать, так как природа моей задачи провела меня с необходимостью через область внешне исторического, запутала меня в вопросы, ответ на которые, кажется, значительно видоизменился из-за точки зрения, с которой они рассматриваются. Я намеренно употребил пресловутое слово «эвдемонизм», чтобы обозначить, почему я не могу согласиться с причитаниями по поводу так называемых материальных интересов, каковые иным возвышенным душам представляют настоящее совершенно погубленным и отверженным; их значительность для понимания эллинистического периода требовала доказательства их оправданности. Отныне и никогда не сложится нравственная этика, или христианская этика не подыметя выше Закона, если эвдемонизму не будет отдана справедливость и указано его место; ведь слова апостола увещевают воздать плоти должное. Преодолеть мир значит не проклинать его или презирать; если бы следовало не облагораживать и преображать тело, а истязать и умервлять его, тогда недоброй памяти ханжество было бы право.

Чтобы закончить предисловие к данному исследованию эллинизма, я счел необходимым еще выделить тот пункт, для которого в вышесказанном можно обозначить контекст, на фоне которого, как я полагаю, следует его рассматривать. Я пребываю в затруднительном положении, пускаясь в рассуждения, которые могли бы привести к удовлетворительному результату, получить полную силу доказательства только, если можно



было бы им отвести место внутри истории, т. е. наукоучения истории. Пожалуй, нет такой научной области, которая так далека от того, чтобы быть теоретически обоснованной, знающей свои пределы, структурированной, как история; за виртуозностью своей техники и огромным накопленным материалом, за умышленной дерзостью публицистики и легковесным дилетантизмом философии наука, кажется, забывает, чего она лишена. Как в те счастливые в своем неведении времена вольфианства и энциклопедистов философия с массой своих беспорядочных идей и результатов обжила области тех или иных наук, полагая, что может дать свое имя столетию, пока не прозвучало могучее слово Канта, предложившего точку кристаллизации, вокруг которой все беспокойное брожение отложилось в ясных, хорошо подогнанных формациях, так и наша наука, именем которой иногда называет себя наше время, все еще блуждает и запутывается, не находя своей жизненной точки как наука и тем самым своего закона, своей сферы, своей систематизации; она все еще полагает, что ей надо заимствовать эту точку; она по-прежнему ходит на помочах сегодня патриотизма или обывательской морали, завтра тянется к технике дипломатики, то чрезмерно увлекается пластической и романтической мономанией, то снова благочестиво постится во вретнице и пепле фанатизма или уходит путем критики в мистицизм, то впадает в банальности. Нам требуется такой, как Кант, который бы пересмотрел не исторические материалы, а теоретическое и практическое отношение к истории и в самой истории, например, по аналогии с нравственным законом, категорическим императивом истории, указал бы живой источник, из которого берет начало историческая жизнь человечества. И разве «философия истории» дала нам это? Я полагаю, нет, как бы она иначе считала то, чем она была и есть, экземплификацией логики, а историю самодвижателем, хотя и великолепной системы диалектического развития; я полагаю, нет, хотя получив в принципе личности новый исходный пункт, она все же показыва-

ет постулированным необъяснимое в миллионнократном повторении. Желательной могла бы быть «теология истории», если бы не было опасности, что это название откроет двери и ворота еще более злостному дилетантизму, еще более дерзкой нарочитости. И все же, по-видимому, многое указывает на то, что более глубоко обоснованное понятие истории будет центром тяжести, в котором ныне бесконечное колебание гуманитарных наук может получить непрерывность и возможность дальнейшего прогресса.

Я отвечаю сначала на один тривиальный вопрос. Разве не по праву называют период эллинизма периодом общего упадка? Такие слова, как «расцвет», «упадок» употребляют походя, не задумываясь, чем одностороннее мнение, тем решительнее и безоговорочнее приговор. Не всегда упадок религиозной жизни, социального развития совпадает с упадком государственных формаций; тем более расцвет ремесел, торговли, искусств necessarily вызывает расцвет нравственности, национальной энергии. Бесконечно разнообразие связей, которые, тысячекратно переплетаясь между собой, представляют жизнь истории, как редко их можно объяснить такими абстрактными общими выражениями. Впрочем, исторический упадок отдельного народа бывает тогда, когда из его жизни исчезает живительное, духовное содержание, когда он теряет жизненную силу для новых метаморфоз, для новых прививок и присоединений, когда он погружается в свое первобытное состояние, тот естественный, вегетативный образ эмпирического наличного бытия. Как это совершенно не соответствует периоду эллинизма, я полагаю, доказал. Вероятно, его можно обозначить как упадок, если брать только некоторые явления, в которых действительно наблюдается загнивание и упадок, и если делать их единственным мерилom оценки, — например великолепие художественных достижений классических времен, причем, разумеется, нужно отвleчься от более богатой научной жизни эллинистического периода, — или благочестивое мужество и верность бойцов Мара-

фонской битвы, но при этом, конечно, не учитывать, каково было их содержание. Эллинизм есть новейшее время язычества.

И таким образом я перехожу ко второму вопросу. Пытались измерять то неопределенное и абстрактное известной и существенной мерой; имеется мнение, что в прирожденном, *обусловленном природой* таланте народа заключается определенный ряд сил, способностей, направлений, которые должны выявиться и оформиться; если этот ряд реализаций, т. е. историческая задача народа, совершен, то начинается упадок этого народа.

В заключительных словах этой книги я смог высказать свое мнение об этом органичном, или, вернее, вегетативном взгляде. Духовная жизнь складывается отнюдь не по такой простой схеме, может быть, и достаточной для чисто естественных существ. Этот схематизм, во многих случаях полученный путем одностороннего созерцания из общепринятой оценки греческой античности, никак не совпадает с большинством исторических явлений, всеобщим законом которых он хочет быть. Пожалуй, его можно применять только к так называемому естественному государству, только так, что после окончания первой ступени национального существования тот же народ благодаря внешним и внутренним импульсам может подняться к новой, более высокой деятельности, как это и показывает эллинистический период на некоторых характерных примерах. Кроме того, как распознать границы признаков тех обусловленных природой даров? Достаточно ли понимания местной почвы как предопределения, света и воздуха как определяющего фактора, почему же они тогда не оказывают подобного действия на все поколения или на пришельцев другого племени? И если задатки племени являются главным, то как же иначе измерить участие этих факторов, как не в историческом проявлении деятельности этого племени? Но язык и миф, несомненно, самые первоначальные и характерные формы национальной физиономии, преобразуются вместе с историей; когда же она перестает быть органи-

ческой? Или разве не было истории у всего романского мира, языки которого не сохранили органической первоосновы, у германского мира, который, вступив в историю, поменял свои мифы на Евангелия и легенды о святых? Как видим, теория, видящая в «метаморфозах» народов определяющий закон, несостоятельна. То, что эта теория первоизданной естественности не объединилась с христианским принципом, есть удивительное знамение времени; характерно, что знаменитый представитель этой теории обозначает ее как благословение истинной необходимости для народов и индивида, что их самая подлинная природа, прирожденное, данное Богом, снова проявляется в них «в гневе или других бессознательных движениях» и что, где вообще имеется истинный характер (т. е. такое прирожденное, первоначальное), он есть нечто несокрушимое, пока греховность не овладеет полностью человеком.

Сомневаюсь, что христианство может поставить такие бессознательные движения, такого естественного человека превыше греховности; сомневаюсь, что истинное учение о наследном грехе сохранит свое место, если тварности льстят таким образом. Не что иное, как само язычество выступает в защиту учения о первоизданной естественности; однако одними и теми же устами требуют и анафемы, и покаяния. Если я не ошибаюсь, то здесь сильнее всего дает о себе знать стремление подлинно протестантского развития отвоевать у естественного, языческого позитивное отношение к христианству и преобразить его при помощи последнего; лишь то, что в этой форме оба момента стоят еще незыблемо и непосредственно плечом к плечу, каждый захватывая пространство другого, еще не понимая этого. Тот взгляд о первоизданной естественности не видит, что она сама имеет значение только в том, что она становится открытой историческому движению и на себе самой показывает непрерывность превращений, сущностью которых является реализация результатов исторического движения, теории, принципов, идеалов, приближением к данному. Первоизданная естественность, вступая в исто-

рию, все более обогащается растущим достоянием исторических разработок.

На этих предпосылках покоится тот образ видения, который, будучи продолжением вышеизложенного под именем «исторического», претендует представлять значительность исторического развития. Он видит в спокойно текущем ходе исторического становления, которое «как бы само собой» далеко выходит за рамки хитрости и произвола индивида, оправдание, авторитет, признание которого для него вне всякого сомнения. Пока позднее не наступает время, когда своевольный рассудок восстает против этого авторитета, претендуя на право самому задавать вопросы, решать, поступать по собственному усмотрению, «обнажая и бездумно губя корни старого, как мир, дерева». Он видит вместо развития одичание, вместо движения вперед всеобщий распад, все возрастающий, все продолжающийся упадок. Он видит, что Просвещение прошлого столетия и его ужасные последствия, проявившиеся во Французской революции, насильственно разрушили естественную связь исторического развития, отношения настоящего к прежним векам; он познает здесь тенденцию, равно пагубную для нравов, права, государства, религии, поставившую на место спокойного развития революционные идеи, нетерпение рациональных требований и абстрактных теорий, злобу разрушительного рассудка, бесстыдство всеобщих прав человека, презирающих и дерзко разрушающих все достойное и традиционное, все благоприобретенные права, все благие и освященные верностью древних обычаев различия. Этому образу видения современный мир кажется «сорвавшимся с петель», он видит единственное спасение в том, чтобы низвергнуть такое высокомерие человеческого духа, перекрыть дикий поток, забить его истоки, по возможности вытравить эпоху Просвещения, революции из памяти людей или представить ее хотя бы в отпугивающем, карикатурном виде, возвратиться к достопочтенным и традиционным ценностям, связать дальнейшее целительное развитие современности с ис-

торической непрерывностью прошлого, бережно сохраняя оставшиеся руины, восстанавливая разрушенное, складывая, как мозаику, взорванное.

Если это противопоставление исторического и рационального вообще верно и если оно может претендовать служить нормой для исторического рассмотрения, то период эллинизма, — по крайней мере согласно изложенному в данной книге — заслуживает того, чтобы его оценили в основном по аналогии с нашим столетием. Именно это дает мне повод обсуждения этого подхода, хотя скудные, дошедшие до нас источники эллинистического периода не позволяют проводить сравнения его с формациями аналогичного развития внутри христианского мира.

По отношению к так называемому историческому взгляду прежде всего надо сказать, что именно тот рациональный, неисторический подход является, собственно говоря, результатом глубоких исторических связей и тем самым, как и любое иное звено в непрерывности истории, имеет полное право быть признанным историческим и существовать в своем относительном значении. Если так называемый исторический метод не имеет более высокого критерия, чем *fait accompli*, чем критерий реализованного фактического значения, то, следовательно, он не может воспользоваться никакой инстанцией относительно фаз развития, которые он осуждает. Это же бессмысленно ссылаться на авторитет исторического права, не желая признавать право истории.

Не может быть речи о том, чтобы снова поднимать на щит сухое и поблекшее Просвещение и признавать за ним не более чем относительное право. И, по крайней мере, у обычного либерализма нашего времени есть с ним общее (впрочем, и с вновь популярным пиетизмом, старым товарищем Просвещения) в том, что он, стремясь к личному участию, сбрасывает с себя мнимую ношу самых различных условий и отношений, воображая, что можно в любой момент начинать все с чистого листа и ловким прыжком достичь конечной цели, абсо-

лютно лучшего; следовательно, что вся полнота и многоцветие действительности ничего не значат и ими можно пренебречь, ибо они, как не имеющие быть, не стоят внимания и труда. Поистине, в исторической тенденции были полностью оправданы Просвещение и либерализм; ее быстрая победа была доказательством того, какие значительные моменты те не учли. Но если историческая тенденция не хочет надолго остановиться у карикатурной реставрации, если она хочет стать для настоящего тем, чем она должна стать для него, то она должна быть честной и истинной, осознать полностью свою задачу и долг, без страха овладеть всеми последствиями своего деяния; прежде всего ей надо постараться разобраться в истинном содержании своих требований. Пока она в истории видит только право *vis inertiae*,<sup>6</sup> она может оправдать себя только восклицаниями, рассчитывать только на симпатию участвующих интересов, и ее приговор будет лишь произволом и предрассудком, которые запутывает вместо того, чтобы просвещать, озлобляет вместо того, чтобы привести к примирению, надолго гарантировать которое все же может только она. Ибо только истинно исторический взгляд на настоящее, его задачу, средства и границу будет в состоянии исцелить прискорбное расстройство наших государственных и социальных отношений и проложить верный путь к более радостному будущему.

Можно утверждать, что господствующее ныне представление об истории классической античности в основном является так называемым историческим, что своего рода пристрастность — так сказать, патриотизм образования по отношению к почве, на которой оно возросло, — безусловно, еще более затемняет и без того одностороннее восприятие. Как раз греческая и римская история постоянно напоминают нам о том, как мало значат исторические права по сравнению с правом истории; как греческая, так и римская история необъяснимы, пока не смогут понять содержание этого права. Я не буду говорить о Риме; для меня естественнее обратить взор на Грецию; общим для Греции и Рима является то,

что они чем дальше, тем больше, теряют государственность и, наконец можно сказать, полностью разлагаются на универсальности, принципы, потенции. Именно поэтому-то так называемый исторический взгляд отворачивается от них, громко выражая свое недовольство, подобно тому как он не признает хаотическое новейшее время; если ему представляется, что греческая история до Александра, римская — приблизительно до Гракхов выросла сама по себе в прекрасной «органичной» гармонии, то затем он видит, как начинаются эпохи, говорить о которых все самое плохое слывет мудростью, убежденностью, даже добродетелью. До отвращения повторяют, как коварный Филипп Македонский разрушил греческую свободу, как вместе с Демосфеном и Аристотелем, собственно говоря, закончилось все, вся историческая жизнь остановилась и умерла, все поглотил сумрак ночи. Каким бы аттическим или греческим ни мнил себя этот взгляд, историческим он не является. Пожалуй, Филипп разрушил то, что в Греции называли свободой; но каково содержание этой свободы? Посмотрим непредвзятым взором и поймем, что Македония добилась гегемонии по тому же праву, к которому прибегали по очереди Спарта, Афины, Фивы. Кто же не восхищается Афинами Фемистокла и Перикла? Но почему забывают, что первый основал не что иное, как деспотизм, а последний распространил его на весь греческий мир, властвуя достаточно сурово, при этом сознавая, что власть Афин есть тирания. Все же не следует забывать негативные моменты в аттической, греческой системе власти и надо видеть, как дальнейшая история старалась их сгладить и преодолеть. Свобода, пожалуй, прекрасная вещь; но так же, как в наше время никто не будет серьезно оплакивать гибель тех старых феодальных сословий или не понимать, что в победе верховной власти над ними принцип государства и тем самым свободы сделал решительный шаг вперед, точно так же не стоит повторять замшелые фразы, направленные против тех монархических тенденций, в которых все же со времени Сократа и Дионисия выражалось прогрессив-



ное развитие греческого мира. Если бы хоть немного осознали, в чем заключается дело в истории Греции, перестали бы трактовать ее только в пользу Афин или считать оправданными восторги по поводу Спарты.

Я назвал эллинизм *новым временем античности*. Я думаю, это наименование можно будет перенести в полном объеме, в некотором отношении, и на историю Рима. Разумеется, тогда предшествующий ей период предстанет совсем в ином свете. Развитие высокоодаренного греческого народа, как будет видно, шаг за шагом, усилиями благороднейших умов непрерывно стремилось к той цели, которой невозможно достичь, не нарушая тысячи правовых норм, губя прекрасные цветы, обессиливая и разрушая полные жизни формации. Но разве не так же проходит для юноши пора прекрасных, невинных детских игр? И как в свою очередь совершенно чужд мужчине заносчивый энтузиазм юношеских лет? Старея, он может утешиться, когда снова увидит в своих детях тот жизненный путь, который для него идет к концу, и он надеется, что их путь будет интереснее, увереннее и они исполнят то, чего он тщетно пытался достичь. Разве у истории не менее даров, чтобы щедрой рукой возместить утраты, которые она приносит? Ведь наслаждаясь Гомером, мы не сетуем на то, что в его более жизнерадостных фигурах богов исчезла древняя глубокомысленная мистика, в которой некогда возникла вера в них.

Итак, всегда ли более позднее намного лучше, чем прежнее? Я могу не опасаться быть умышленно превращено истолкованным; истинное содержание того видения достаточно мотивировано в прежнем и проявляется непосредственно само собой. Только в общем воззрении истории как развития человечества можно получить для отдельных формаций, народов, культур, государств, индивидов их подлинное значение; даже то, что прекрасно, истинно, справедливо, благородно, не есть над временем и пространством, а имеет свою меру и энергию в том, что оно является как бы спроецированным на настоящее, «здесь и теперь». И эта общая жизнь

человечества есть непрерывный поток — в тысячекратном кружении волн и водовороте есть *некое* направление, по которому текут все воды, быстрее или замедленно, — есть безостановочное стремление вперед, цель которого мы можем угадать из этого направления. Не такой поток, который не оставлял бы после себя по берегам стоячие лужи и болотца, но первое же наводнение увлечет и их вниз по течению; не такое движение вперед, при котором любой образ духовного бытия, любая форма человеческой деятельности *одновременно*, одинаково пульсируя, подымается в развитии выше. И именно там так легко ошибается взгляд наблюдателя; по-прежнему наслаждаясь классическим совершенством греческого искусства, он чувствует себя оскорбленным некрасивыми формами той эллинистической народной литературы, которая пытается лишь как-либо понять и высказать содержание глубоко взбудораженной жизни, или после гордого совершенного великолепия древнего римского образа жизни ему претит то императорское время, когда старой добродетели не остается ничего иного, кроме самоубийства, а праву — только «мое» и «твое»; или брожение и смятение настоящего времени, которое разрушает все, что было и имело значение; оно пугает, потрясает его, с чувством страха он отводит взор от уже вторгающегося одичания мира, цепко держится за память блаженного прошлого и предостерегает и гневается, и только настоящее кажется ему вне истории, вне вседержавной заботы Веще-го Днями.

Вот и все. Счастливчикам, для которых история является книгой с картинками или ларем для грамот и ученых заметок, я, возможно, уже наговорил слишком много бесполезного вздору. Но мне неудержимо хотелось поговорить о том, что мне дорого и важно.

*Иоганн Густав Дройзен*

## ВОЗВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ В РАНГ НАУКИ

History of civilisation in England by H. T. Buckle. Vol. I, ed. 2. London 1859. Vol. II. 1861.

*Г. Т. Бокль*. История цивилизации в Англии, перевод А. Руге, т. I, часть 1, 2, т. II, Лейпциг, 1861.

Наша эпоха любит похвалиться, что в науке она работает свободнее, смелее, добиваясь бóльших и практических успехов, чем любая прежняя. И пальму первенства бесспорно отдают естественным наукам за их успехи и метод достижения их.

Сила этих наук заключается в том, что они полностью осознали свои задачи, средства, свой метод, и, привлекаемые в сферу исследований вещи, они рассматривают с тех точек зрения, — и только с них — на которых основан их метод.

Один французский исследователь метко характеризует эту сферу научных изысканий словами, которые часто цитируются: «Когда удавалось перенести одно из явлений живой природы в класс физических, всякий раз добивались нового открытия в науках, область которых тем самым расширялась; тогда слова заменяются фактами, гипотезы — анализами, законы органических тел совпадают с законами неорганических и подаются, как и последние, объяснению и упрощению».

Но это высказывание сделано в таком универсальном виде, что кажется более чем сомнительным. И неужели, на самом деле, новые открытия в науке делались

только тогда, когда явления живой природы переводили в класс физических явлений? Разве сущность и сфера науки на самом деле определяется этим? Неужели другие области человеческого познания должны признать, что они научны лишь постольку, поскольку умеют переводить живые явления в класс физических?

Но не только изумительные достижения и успехи естественнонаучных исследований способствуют распространению убеждения, что только их метод по преимуществу научный, единственно научный. Более глубокая причина популярности такого образа мыслей, который для мира количественных явлений представляется адекватным, кроется в системе образования нашего века, в той стадии развития, в которую вступили наши социальные и нравственные отношения.

Бокль не первый, кто пытался подойти к ненаучному характеру истории, ἀμέθοδος ὄλη,<sup>7</sup> как ее называет уже древний автор, таким образом, чтобы рассматривать живые явления под углом зрения, аналогичным методам точных наук. Но то, что иногда было привнесено другими — например, в формуле первоизданной естественности, — или проведено в очень недостаточном, лишь метафорическом представлении органического, что спекулятивно развито другими — например, в привлекательной «Philosophie positive» Конта — Бокль стремится обосновать в обширном историческом изложении.

Он говорит, употребляя резкие выражения, о «цехе историков» и их прежних достижениях, о бездумности, с которой они работали, беспринципности, с которой они исследовали; он полагает, что по их методу работы «любой писатель способен стать историком», даже если тот по лености мысли или природной ограниченности неспособен трактовать высшие отрасли знания, ему стоит потратить лишь несколько лет на чтение определенного числа книг, и он может писать историю великого народа и добиться признания в своем предмете.

Бокль считает, что «по сравнению со всеми вышесказанными направлениями человеческого мышления исто-

рия по-прежнему пребывает в достойном сожаления несовершенстве и представляет собой такое путаное и бестолковое явление, каковое только и можно ожидать от предмета, законы которого неизвестны, даже основания которого не установлены».

Он намерен возвести историю в ранг науки благодаря тому, что он научит ее доказывать факты на основании всеобщих законов. Он прокладывает себе путь к этой цели, излагая, что самые первые и грубые представления о ходе человеческих судеб обобщились в понятиях «случайность» и «необходимость», что «в высшей степени вероятно», они позднее стали «догмами» о свободной воле и предопределении, что то и другое понятия являются в немалой степени «заблуждениями» или, как он добавляет, «что у нас, по крайней мере, нет достаточного доказательства их истинности». Он находит, что «все перемены, которыми полна история, все превратности жизни, через которые прошел род людской, его прогресс, его упадок, его благополучие и нищета, являются результатом двойного действия, влияния внешних явлений на наш внутренний мир и влияния нашего внутреннего мира на внешние события». Он уверен, что открыл «законы» этого двойного действия и тем самым возвел историю человечества в ранг науки.

Бокль видит подлинное историческое содержание жизни человечества в том, что он называет цивилизацией. Он изложил историю цивилизации английского, французского, испанского, шотландского народов, чтобы на этих примерах показать применение его метода, верность найденных им законов. Он находит эти законы, как он утверждает, двумя единственно возможными путями: путем дедукции и путем индукции; на первом пути, доказывая, как этими законами объясняется историческое развитие цивилизации у названных народов; на втором — выделяя из массы фактов, которые он собрал в процессе своих исследований, показательные и главные, и находя более высокое понятие, обобщающее их.

Я не буду подробно разбирать его индукцию и дедукцию по историческому материалу, использованному

им для их подтверждения. В том, как Бокль использует источники, отбирая свои данные, в корректности его сопоставлений, вероятно, есть много ошибочного, произвольного, недостаточного — как это действительно имеет место — хотя из-за всего этого задача, которую он ставит перед нашей наукой, метод, который он рекомендует для ее решения, не потеряли бы научной ценности; если бы только историк Бокль отошел в тень мыслителя, философа Бокля, а профессиональным историкам досталась бы задача объяснять на примерах и оценивать то великое изобретение, которое он им представил, что они сделали бы лучше, чем это было возможно остроумному дилетанту в нашей области исследования.

Уже ранее этот журнал (Зибеля) публиковал несколько поучительных сочинений, в которых речь шла о методике нашей науки, о характере и сфере исторического познания. Неужели наша наука боится вопросов, которые ведь не только исторической природы, но обсуждать и решать которые должна она сама и по-своему, иначе она подвергает себя опасности, что ей будут навязывать задачи как бы со стороны, указывать пути, подтасовывать дефиниции понятия «наука», которые ей не подходят, при этом она предаст самое себя, откажется от призвания, которое она должна — и только она может — исполнить в сфере человеческого познания.

Историческим занятиям нельзя отказать в признании, что и они принимают участие в духовном движении нашего века, что и они работали для того, чтобы открывать новое, по-новому пересматривать традиционное, излагать найденное соответствующим образом. Но если поставить вопрос об их научном смысле и их отношении к другим сферам человеческого познания, если спросить их об обосновании их метода, о внутренней связи их средств и задач, то они до сих пор не в состоянии удовлетворительно ответить на эти вопросы. Как бы серьезно и глубоко ни обдумывали отдельные представители нашего «цеха» эти вопросы, наша наука еще не определила свою теорию и свою систему и пока успо-

коилась на том, что она-де не только наука, но и искусство и, может быть, как считает по крайней мере читающая публика, скорее последнее, чем первая.

У нас в Германии менее всего причин для превратно-го понимания высокого значения возросшей техники в наших занятиях, большей сноровке и надежности в овладении критическим историческим методом, достигнутых результатов. Вопрос, о котором идет здесь речь, иной. Такое сочинение, как книга Бокля, весьма уместна для того, чтобы напомнить о том, какими неясными, противоречивыми, подверженными всяческому влияниям являются основы нашей науки. И то впечатление, которое произвела книга Бокля не только в широких кругах любителей разных новейших парадоксов, будь то стучение по столу, или фаланстеры, или оливковый листок друзей мира и т. д., но и на некоторых более молодых сотоварищях по нашему «цеху», может послужить для нас предостережением и напоминанием, что надо, наконец, поискать и для нашей науки обоснование, относительно которого естественные науки опережают нас со времени Бэкона, если он вообще заслуживает эту славу.

Или эта заслуга принадлежит Боклю? Неужели он распознал истинный смысл и понятие наших дисциплин, определил сферу их компетенции? Неужели он Бэкон исторических наук, и его книга это «*Organon*», который нас научит думать исторически? Есть ли в методе, которому он нас учит, та энергия, чтобы изгнать из сфер исторического познания *idola specus, fori, theatri* и т. д., которые еще и сегодня затуманивают нам взгляд в виде «заблуждений», как он их называет, свободной воли и божественного Предопределения, слишком высокой оценки морального принципа по сравнению с интеллектуальным и т. д.? И неужели он действительно прав, когда ссылается на нашего Канта для подтверждения самой интересной части своих фундаментальных предложений, предложения о свободной воле, на Канта, который, как и он — это его мнение — признал «действительность свободной воли в явлении несостоя-

тельным фактом»? И не принадлежит ли ему тем самым приоритет открытия недавно провозглашенного во всеуслышание в Германии, что учение Канта содержит ровно противоположное тому, что до сих пор полагали находить в нем, что результатом критики чистого разума и практического разума является то, что ни того, ни другого в действительности нет?

Уже переводчик произведения Бокля обратил внимание на то, что до сих пор философия Канта является крайней границей, до которой отваживались доходить английские мыслители; он называет философию Бокля «несовершенным мышлением, которое считает философией даже crude<sup>8</sup> эмпиризм»; он упрекает своего автора в «поистине допотопном сознании» относительно всей истории мысли, несмотря на философию Веды, Кузена и Канта, «единственных неангличан, цитируемых им». Хотя он приветствует законы, найденные Боклем «как блестящую, полностью истинную программу прогресса человеческого духа», и говорит о «реформаторском призвании», которое имеет это произведение и для Германии, то подобные выражения приводят нас в немалое смущение. Неужели и нам надо заявить, как бы антистрофой к вышесказанному, что хотя в философском обосновании теории Бокля может быть много ошибочного и недостаточного, «допотопного», но реформаторское значение его произведения от этого не становится меньше? Что философский дилетантизм автора не наносит его теории вреда, как и исторический дилетантизм?

Может быть, Бокль, свободный от школярских «антиципаций» того и другого предмета, смог тем более непредвзято обсудить вопрос о сущности истории и ее законов, указать ясный для здравого смысла любого человека путь, по которому «история» должна подняться «до ранга науки». Он неоднократно признается, что ведет наблюдения и приводит аргументы целиком и полностью как эмпирик; и по крайней мере великие и простые признаки эмпирического метода ясно представляются только взору, не затуманенному антиципаниями,



т. е. так называемому здравому смыслу человека; и только таковой подразумевает английское словоупотребление, когда оно называет философскими те науки, лавры которых не оставляют в покое нашего исследователя. Бокль говорит, что он надеется сделать «для истории человека то, что удалось другим исследователям в естественных науках или нечто подобное; в природе были объяснены якобы самые нерегулярные и нелепые, противоречащие здравому смыслу процессы и доказаны как находящиеся в согласии с некоторыми неизменными и общими законами; если мы подвергнем процессы, происходящие в человеческом мире, подобному исследованию, наверняка мы сможем надеяться на подобный же успех».

Представляет интерес это *quid pro quo*,<sup>9</sup> из которого исходит Бокль. «Кто верит в возможность науки истории», как он сам, и уверен, что он ее обосновал, применив естественнонаучный метод, разве не мог тот увидеть, что он тем самым не возвел ни историю в ранг науки, ни не поставил ее в сферу естественных наук? И другие науки: теология, философия — во времена, когда их методы считались единственно научными, полагали, что историю, природу нужно перевести в сферу их компетенции; но ни познание природы, ни познание истории ничего не выиграли от того, искали ли его более ортодоксально или спекулятивно. Разве есть только один путь, один метод познания? Разве не являются методы в зависимости от их предмета иными, как и органы чувств для различных форм чувственного восприятия, как и органы для их по-разному работающих функций?

«Кто верит в возможность науки истории», тот должен был бы по-нашему, по-немецки, мыслить логически и прагматически, а не доказывать правильность этой своей веры, убеждая нас, что можно и обонять руками и переваривать пищу ступнями ног, что можно видеть звуки и слышать цвета. Конечно, колебания струны, которые ухо слышит как низкий звук, и глаз может увидеть; но он видит колебания, услышать которые как звук, однако, доступно уху и его методу воспри-

ятия. Конечно, в сферах, с которыми имеет дело «наука история», много такого, что доступно и естественному методу, другим формам научного познания; но если есть явления, сколько бы их ни было, которые недоступны ни одному из видов познания, то понятно, что для них должен иметься еще другой, собственный и особый метод. Если должна существовать «наука история», в которую и мы верим, то этим сказано, что есть сфера явлений, для которой не подходит ни теологический, ни физический образ рассмотрения, что есть вопросы, на которые ответа не дает ни спекуляция — имеет ли она своим исходным пунктом теологически абсолютное или своей целью философски абсолютное — ни тот эмпиризм, который постигает мир явлений по их количественному отношению, никакая иная дисциплина из практических сфер нравственного мира.

Наш обоснователь науки истории с завидной непосредственностью подходит к своей задаче. Он считает необязательным обсуждать понятия, которыми он хочет оперировать, ограничивать сферу применения его законов. Что такое наука, полагает он, знает всякий, как и то, что такое история. Все же нет, иногда он говорит, чем она является; он цитирует, полностью соглашаясь, Конта (*Phil. pos. V, p. 18*), который с неудовольствием замечает: «Историей называют совершенно неоправданно несвязное скопление фактов». Это высказывание французского мыслителя столь достопримечательно, столь поучительно, что английский мыслитель присваивает его себе.

Несомненно, необозримую череду фактов, в которой, как мы видим, движется жизнь людей, народов, человечества, называют историей, точно так же, как совокупность явлений другого рода обобщают под названием «природа». Но неужели кто-либо думает, что можно коллекционировать факты, обобщая их или нет, накапливать их? Такие факты, как битвы, революции, торговые кризисы, основание городов и т. д.? Неужели, на самом деле, «цех историков» до сих пор не заметил, что факты отличаются от наших представлений о них?

Если бы Бокль действительно хотел зажечь свечу нам, бредущим в потемках истории, то он прежде всего должен был бы разъяснить себе и нам, как и по какому праву можно было бы зафиксировать то название «история» для определенного рода явлений, как и название «природа» для другого ряда; он должен был бы показать, что это значит, что странный эпитоматор, человеческий мыслящий дух, обобщает явления по пространству как природу, явления по времени как историю, не потому, что они сами по себе и объективно таковы и так различаются, а потому, чтобы их постичь и понять; он тогда бы узнал, каков материал, с которым может иметь дело и работать «наука история». Если бы он понимал, что значит быть эмпириком, он не мог бы оставить без обсуждения вопрос, каким образом эти материалы исторического исследования имеются у нас в наличии сейчас и готовы для чувственного восприятия, как того требует сущность всякого эмпиризма. Конечно, он тогда должен был бы познать, что не былые времена, не необозримая путаница «фактов», которая их наполняла, является для нас материалом исследования, что, напротив, эти факты навсегда минули вместе с тем моментом, которому они принадлежали, что мы по образу, свойственному человеку, имеем только настоящее, «здесь и теперь», разумеется, стремясь и будучи способными безмерно развивать эту эфемерную точку, изучая, познавая ее, желая, чтобы среди своеобразных процессов в сфере духа одним из самых удивительных был тот, который позволяет нам воскресить навсегда минувшие настоящие времена, которые позади нас, мысленно их представить, т. е. по свойству, присущему человеку, увековечить их.

Бокль должен был бы подвести нас еще ко второму ряду соображений, если бы он хотел поднять нас и себя над бездумным употреблением слова «история», над антиципациями, которые, происходя из него, замутняют взор. Бокль показывает нам, походя намекая, что история имеет дело с «действиями людей», что она связана с «неутолимой жаждой знаний, охватившей на-

ших современников»; но он забывает сказать, каким образом эти действия людей являются исторической природы; он оставляет нас в недоумении, на какие вопросы ищет ответ «неутолимая жажда знаний, охватившая наших современников».

Не обязательно быть в высшей степени проникательным, чтобы понять, что человеческие действия в тот момент, когда они происходили, и во мнении тех, благодаря которым и для которых они происходили, менее всего хотели стать историческими фактами. Полководец, дающий сражение, государственный деятель, ведущий переговоры, должны были всю потрудиться, чтобы достичь практической цели, которая важна в данный момент; и так вплоть до малых и мельчайших «действий людей». Все эти действия совершаются в исключительно разнообразных переплетениях интересов, конфликтов, дел, мотивов, страстей, сил и препятствий, совокупность которых, вероятно, можно назвать нравственным миром. Его можно будет рассматривать с очень различных точек зрения: практической, технической, правовой, социальной и т. д.; наконец, и способ рассмотрения нравственного мира есть исторический.

Я отказываюсь излагать выводы этих разысканий, выводы, которые привели бы нас, как скажет внимательный читатель, к той точке, с которой видно, как из этих обыденных дел, если можно так сказать, становится история, каков способ познания, основанный на этих материалах и применяемый в этой сфере, что он может сделать, а чего не может, какова уверенность, которую он в состоянии дать, какова истина, которую он может найти.

Бокль милостиво признает, что вера в значение истории широко распространена, что собран материал, который в общем имеет солидный и вызывающий уважение вид; он описывает в общих чертах, как много исследований и открытий уже сделаны в области истории; но добавляет: «если сказать, как этот материал использовался, то нам придется нарисовать совсем иную картину». Как же он использовался? Разве все должно быть

использовано? Разве изумительная глубина математического познания только потому научна, что землемер, механик может использовать тот или иной ее закон? Если пророки, предостерегая народ Израиля, и, грозя ему карами, указывали ему образ самого себя, как бы иначе они нашли это, как не в доказательстве того, что Бог их отцов, «начиная с Египта», дал им свидетельство о себе; если Фукидид написал свое κτῶμα εἰς ἀεί, разве он имел в виду под этим гордым словом художественную форму, в которой он писал, а не историческую драму, о которой он писал? Вопрос Бокля, исполненный упрека, забывает, что труд столетий есть передаваемое по завещанию наследство нового поколения; в чем иначе состоит так высокочтимая им самим цивилизация, как не в сумме труда тех, которые были до нас? Все бывшие времена, вся «история» содержится идеально в настоящем и в том, что оно имеет; и если мы осознаем это ее идеальное содержание, если мы представим себе, например, в повествовательной форме как то, что есть, как стало таковым, что же мы делаем, как не используем историю для понимания того, что есть, того, где мы движемся, живем, думая, желая, действуя? Это путь бесконечного расширения, один из путей обогащать, увеличивать скудное и одинокое «здесь и теперь» нашего эфемерного наличного бытия. В той мере, как мы сами — я разумею работников рода человеческого — поднимаемся выше, горизонт нашего видения расширяется, и индивидуум внутри него представляется нам в зависимости от точки зрения в новых ракурсах, в новых и более широких контекстах; широта нашего горизонта есть довольно точная мера достигнутой нами высоты; и в той же мере круг средств, условий, задач нашего наличного бытия расширяется. История дает нам сознание того, чем мы являемся и что мы имеем.

Стоит труда уяснить себе, что в этой связи мы получаем то, что есть образование и что оно для нас значит. Если Гёте говорит: «Что дал тебе отец в наследное владенье, приобрети, чтоб им владеть полно», то мы находим здесь подтверждение этого выражения. Как бы вы-

соко ни поднимались эпоха, народ, в которых мы, индивиды, оказываемся от рождения, какой бы большой ни была масса унаследованного, которое нам досталось без труда, мы ее имеем и как бы не имеем, пока мы ее не заработали своим трудом, не осознали ее как то, что она есть, как результат неустанного труда тех, которые были до нас. Прожить мысленно и разработать далее приобретенное в истории времен, народов, человечества как непрерывность значит образование. Цивилизация довольствуется результатами образования; она бедна среди изобилия и богатства, равнодушна среди обилия наслаждений.

После того как Бокль посетовал, как мало до сих пор использовалась все растущая «масса фактов», он указывает причину этого «удивительного, злосчастного обстоятельства», которое объясняет это явление. «Во всех прочих больших областях исследования,— говорит он,— всякий признает необходимость обобщения, и мы, опираясь на особые факты, идем навстречу благородным усилиям открыть законы, во власти которых находятся эти факты. Историки же так далеки от усвоения этого метода, что среди них господствует странная идея, что их делом является только рассказывать события и оживлять их всякий раз подходящими нравственными и политическими соображениями».

Требуется некоторое терпение, чтобы заниматься этими сложными банальностями, этой путаницей и неразберихой в понятиях, всегда вращающихся вокруг себя самих. Итак, обобщения являются законами, которые ищет Бокль; путем обобщения он полагает найти те законы, которые объясняют явления нравственного мира, т. е. определяют их с необходимостью. Разве правила какого-либо языка являются законами этого языка? Конечно, индукция суммирует из частного факта общего, но не потому, что она его обобщает, а рассматривает частности в их совокупности. Но чтобы идти от правила к закону, чтобы найти причину общих явлений, нужен аналитический метод. Бокль не считает необходимым давать себе и нам отчет о логике своего ис-

следования; он удовлетворяется устранением «предварительного препятствия», которое якобы преграждало ему путь. «Говорят, — рассуждает он, — в человеческих делах есть что-то провиденциальное и таинственное, что делает их непроницаемыми для исследования и навсегда скрывает их будущий ход»; он преодолевает это препятствие при помощи «простой альтернативы»: «Действия людей и, следовательно, общества либо подчиняются определенным законам, либо они являются результатом случайности или сверхъестественного воздействия»? Так точно: действительно похоже на верблюда, или на ласочку, или на кита.

Мы уже ранее замечали, что если наука история есть, она должна иметь собственный способ познания, свою собственную сферу познания; если где-либо индукция и дедукция достигли великолепных результатов, то это не значит, что наука истории должна пользоваться тем или иным методом; и, к счастью, между небом и землей есть вещи, которые относятся иррационально как к дедукции, так и к индукции, которые одновременно требуют наряду с индукцией и аналитическим методом дедукции и синтеза, чтобы их постичь не полностью, а постигать все более, не целиком, а приблизительно, до некоторой степени, нужно альтернативно применять и те и другие методы; эти вещи желают быть не изложенными, не объясненными, а быть понятыми.

«Жажда знаний, охватившая наших современников», является потому «неутолимой», что она нам дает понимание, что вместе с нашим возрастающим познанием людей, сущего и становящегося, присущего людям, шире, свободнее, глубже становится наше самое сокровенное, да и вообще только лишь возникает. Как несомненно то, что и мы, люди, живем и трудимся во всеобщем обмене веществ, так верно и то, что каждый индивидуум время от времени слагает такие-то и такие атомы из «вечной материи» и превращает их в форму своего наличного бытия, так и несомненно, а скорее, бесконечно более верно то, что посредством этих «текучих формирований» и своих, несмотря ни на что, ви-

тальных сил стало и становится что-то совершенно особое и несравненное, второе творение, но не из новых материалов, а из форм, идей, общностей и их добродетелей и обязанностей, т. е. нравственный мир.

В этой сфере нравственного мира нашему пониманию доступно все: от самой незначительной любовной истории до великих государственных деяний, от одиночного духовного труда поэта или мыслителя до грандиозных комбинаций мировой торговли или прошедшей через много испытаний борьбы с пауперизмом; и то, что здесь есть, мы понимаем, постигая его как ставшее.

Уже было упомянуто, что Бокль не только игнорирует свободу воли вместе с божественным провидением, но и объявляет их иллюзией, выбрасывая их за борт. И в сферах философии в новейшее время проповедовали подобное; один мыслитель, которого я вспоминаю с чувством благоговения, говорил: «Если все, что представляет собой отдельный человек, что он имеет и делает, обозначить как  $A$ , то это  $A$  состоит из  $a + x$ , при этом  $a$  охватывает все, что он имеет благодаря внешним обстоятельствам от своей страны, народа, эпохи и т. д., а исчезающе малый  $x$  есть его собственная доля труда, произведение его свободной воли. Каким бы исчезающе малым ни был этот  $x$ , он имеет бесконечную ценность, с нравственной и человеческой точки зрения только он и имеет ценность. Краски, кисти, полотно, в которых нуждался Рафаэль, были из материалов, которые не он создал; употребляя эти материалы для своих картин и рисунков, он учился у тех-то и тех-то мастеров; представление о Мадонне, святых и ангелах он нашел в церковном предании; такой-то монастырь заказал ему картину за соответствующее вознаграждение: но то, что по этому поводу, из этих материальных и технических условий, на основе такого предания и мировоззрения возникла Сикстинская Мадонна, это в формуле  $A = a + x$  заслуга исчезающе малого  $x$ . И так повсюду. Пусть статистика показывает, что в определенной стране рождается столько-то внебрачных детей, пусть в той формуле  $A = a + x$  это  $a$  содержит все моменты, которые „объяс-



няют“, что среди тысячи матерей 20, 30 (сколько бы их ни было) рожают вне брака: каждый отдельный случай такого рода имеет свою историю, и часто трогательную и потрясающую, и из этих 20, 30 падших вряд ли хотя одна успокоится тем, что статистический закон „объяснил“ ее падение; в муках совести, слезах всю ночь напролет иная из них весьма основательно убедится, что в формуле  $A = a + x$  исчезающе малый  $x$  имеет неизмеримую весомость, что он заключает в себе всю нравственную ценность человека, т. е. всю и единственную ценность».

Ни одному разумному человеку не придет в голову оспаривать, что и статистический подход к человеческим вещам имеет свое значение; но не надо забывать, что он может сделать и для чего он предназначен. Конечно, многие, может быть, все человеческие отношения имеют правовой аспект; но нельзя же поэтому сказать, что понимание Героической симфонии или «Фауста» нужно искать среди юридических постановлений, касающихся духовной собственности.

Я не буду подробно разбирать дальнейшие рассуждения Бокля о «естественных законах», «духовных законах», о преимуществе интеллектуальных сил по сравнению с моральными и т. д. Результаты своих рассуждений в первой части он резюмирует в начале второй, выдвигая четыре «основные идеи», которые, по его мнению, должны считаться основами истории цивилизации. «1. Прогресс рода человеческого основывается на успехе, с каким используются законы явлений, и на объеме достигнутых знаний. 2. Прежде чем такие исследования могут быть, должен родиться дух скептицизма, который сначала требует исследования, а затем требуется им. 3. Открытия, которые делаются таким образом, усиливают влияние интеллектуальных истин и соответственно уменьшают, хотя и не обязательно, влияние нравственных истин, последние менее развиваются и совершенствуются, чем интеллектуальные истины. 4. Главный враг этого движения и, следовательно, главный враг цивилизации есть дух опекунства; под

этим я понимаю мнение, что человеческое общество не может процветать, ежели государство и церковь не наблюдают за каждым шагом его и не охраняют его; государство поучает людей, что им делать, а церковь — во что им верить».

Если это те законы, с помощью которых «изучение истории человечества должно достичь своей научной высоты», то удачливый изобретатель пребывает в наивном неведении, благодаря которому он смог хотя бы на одно мгновение поддаться соблазну исключительной поверхностности этих законов, и ему можно позавидовать. Законы такого сорта можно было бы всяк день находить десятками, а именно тем же путем обобщения, законы, ни один из которых по глубине мысли и плодотворности не уступает известному закону, — что мерило цивилизации народа есть количество употребленного им мыла.

Бэкон сказал однажды: «*Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione*». <sup>10</sup> Но путаница, в которой Бокль оказался по своей вине, ясна, как на ладони. Поскольку он перестал исследовать и испытывать природу вещей, которыми он решил заниматься, он поступает с ними, как если бы у них вообще не было собственной природы и вида и они не нуждались в собственном методе; и последний мстит тому, кто применяет его к чуждой ему сфере, мстит тем, что вместо точных формул, в которых он выражает свои законы, подбрасывает ему одни общие места, которые сегодня, даже еще вчера, могли быть до некоторой степени верными, но перед лицом тысячелетий истории, перед лицом великих формаций средних веков, зарождающегося христианства, греко-римского мира кажутся совершенно ничего не значащими.

Если Бокль в истории признает великий труд рода человеческого, как же он мог не задать себе вопросов: какого рода, из какого материала складывается этот труд, как относятся работники к нему, ради каких целей они трудятся? Он задержался бы хоть на минутку, задумавшись над этими вопросами, ибо они стоят того,

чтобы над ними задуматься; он бы понял, что исторический труд по своему материалу охватывает как данное природой, так и исторически ставшее, что и то, и другое является его средством и границей, условием и стимулом. Он бы заметил, что в этой сфере метод количественных явлений, разумеется, до некоторой степени применим, что когда речь идет о великих факторах физического существования, естественных условий, статистических данных, наша наука с величайшим интересом будет следить за трудами точных наук и с горячей благодарностью принимать их блестящие результаты. Но памятуя о других намеченных вопросах, Бокль поостерегся бы полагать, что найденные в той сфере результаты — по его мнению, найденные путем обобщения законы — являются суммой истории, что они «возводят историю в ранг науки», «объясняя» ее явления. Но они так же не могут быть объяснены ими, как и прекрасная статуя Оранта не может быть объяснена бронзой, из которой она отлита, глиной, из которой была изготовлена форма, огнем, который расплавил металл. Но как уже учил «Учитель тех, которые знают», нужно было иметь представление об образе, который нужно было создать; и это представление жило в душе художника, прежде чем появилось произведение, в котором оно должно было воплотиться (τὸ τί ἦν εἶναι); необходима была цель, ради которой создавали скульптуру, например, обет богу-избавителю, храм которого она должна была украсить; нужна была искусная рука, чтобы слить воедино в совершенном произведении цель и мыслимый образ, и материал. Разумеется, нужна была и руда, чтобы отлить Оранта; но если бы захотели оценить этот удивительный шедевр только по стоимости металла, как это делает Бокль в отношении истории, это бы был плохой пример цивилизации.

Бокль поступает не менее односторонне, чем те — и как же строго он их порицает, — которые объясняют историю, только исходя из цели, например, каковую проповедует теология или предугадывает верующая душа; или те, которые также односторонне видят и наблюда-

ют только искусные руки, делающие работу, как будто работа художника шла своим порядком без вмешательства доброй или злой воли тех, которым она обязана своим возникновением; или те, которые раз и навсегда определили свои доктрины, свои представления о вещах, которые находятся в постоянном становлении и постоянной самокритике, поэтому они всегда знают, лучше всех знают, какими должны стать и быть государство, церковь, социальный порядок и т. д. Любой из этих способов созерцания сам по себе односторонний, неистинный, пагубный, хотя любой по-своему оправдан и способствует продвижению вперед. «Все,— учит тот древний философ,— что есть через причину, а не через себя, как божество», содержит те четыре момента, ни один из которых сам по себе не может и не должен объяснить целое. А точнее, по тем четырем моментам мы мысленно разлагаем его, чтобы рассмотреть, сознавая, что они в исследуемой нами действительности суть совершенно одно и взаимопроницают друг друга; мы, таким образом разделяя и различая, сознаем, что, поступая так, мы получаем только подспорье для нашего реконструирующего рассудка, в то время как другие функции нашей души сразу же и непосредственно дают и воспринимают целостность.

Да простят мне такие объяснения элементарных вещей; но в отношении путаного метода Бокля без них нельзя было обойтись, если мы хотим обсуждаемые вопросы направить в нужное русло.

Итак, в истории важен не только материал, над которым она работает. Наряду с материалом есть форма; и в этих формах история имеет непрерывно продолжающуюся жизнь. Ибо эти формы являются нравственными общностями, в которых мы физически и духовно становимся тем, чем мы являемся, в силу которых мы поднимаемся над жалкой пустотой и скудостью нашего атомарного Я-бытия, давая и получая, становимся тем богаче, чем сильнее мы связываем себя и обязываем. Это сферы, внутри которых имеют место и действуют законы совсем иного рода и энергии, чем те, которые

ищет новая наука. Эти нравственные силы, как их так хорошо назвали, являются прежде всего и одновременно факторами и результатами исторической жизни; и, неустанно становясь, они определяют своей историей становления тех, которые являются носителями их осуществления, возвышают их над ними самими. В обществе семьи, государства, народа и т. д. индивидуум поднимается выше тесных границ своего эфемерного Я, чтобы думать и действовать, если я могу так сказать, исходя из Я семьи, народа, государства. Истинная сущность свободы заключается не в безграничной и ничем не связанной независимости индивида, а в возвышении и беспрепятственном участии его в деятельности нравственных сил, в их характере и в том долге, который каждая из них возлагает на него. Свобода есть ничто без нравственных сил; она без них безнравственна; всего лишь локомотив.

Разумеется, об этих нравственных силах Бокль менее всего думает; он не видит в церкви, государстве ничего, кроме опекунов и вмешательства; для него право и закон суть лишь границы и оковы; конечным выводом из его образа мышления должно было бы быть, что и дитя не нуждается в заботе и любви родителей, в воспитании и руководстве наставников, а, напротив, ему нужна суверенная свобода.

К такому исключительно грубому понятию свободы Бокль приходит потому, что он забывает уделить надлежащее внимание работникам исторического труда, что он думает только об огромном капитале цивилизации, а не о все новом приобретении, которое составляет сущность образования, потому что не видит или не хочет видеть, что в исчезающе малом х заключается вся и единственная ценность личности, ценность, которая измеряется не по объему сферы действия или блеску успехов, а по верности, с которой каждый распоряжается доверенным ему талантом.

В этих сферах в свою очередь имеются законы совсем иной силы и неумолимости, чем законы, найденные путем обобщения; здесь действуют долг, добродетель, вы-

бор в трагических конфликтах нравственных сил, в тех коллизиях обязанностей, которые могут быть разрешены только энергией свободной воли, когда свобода может быть спасена только через смерть. Или и эти силы устранены тем, что «догма свободной воли» объявляется иллюзией?

Разумеется, Бокль не заходит так далеко, чтобы ту догму свободной воли на том лишь основании, что она покоится на *petito principii*, что вообще дух и душа существуют; каковой бы вывод сделали те, которые объявляют все такие невесомые вещи, как рассудок, совесть, воля и т. д. произвольными функциями головного мозга, потением, не знаю, серого или белого вещества. И действительно, великим умам, которые проповедуют такое, вероятно, не мешало бы сначала привести доказательства, что подобные их теории не являются лишь результатом потения их головного мозга, притом болезненного. Но Бокль, приводя аргументы против наличия свободной воли, исходя из «сомнений в существовании самосознания», должен позволить нам либо считать и его аргументы, основанные на таких сомнениях сомнительными; либо ему следовало бы нам доказать, что он может приводить доводы и без наличия самосознания, т. е. думающего Я, и что он, хотя и без самосознания, скажем, как думающий автомат, смог завершить труд, при помощи которого он хотел возвести историю в ранг науки — нет, не хотел, ибо воление он отрицает вместе со свободой воли; а просто кто-то, очевидно, бросил накопленный материал фактов в эту думающую мельницу, и она обработала его, и так обработанное, *σόφισμα, κύρμα, τρίμμα, πατάλημ' ὄλον*,<sup>11</sup> было бы новой наукой истории.

Если, несмотря ни на что, Бокль видит в истории «прогресс» и непрестанно называет его подлинной сущностью жизни человечества, хотя это и достойно благодарности, но не обосновано ни в последовательности его рассуждений, ни не проведено последовательно. Если мы имеем дело с прогрессом, то в наблюдаемом движении должно обнаружиться направление к той цели,

ради которой оно совершается. Что касается точки зрения, с которой естествоиспытатель постигает явления, то здесь иная ситуация: он видит в наблюдаемых изменениях, вплоть до эквивалентов сил, только равное в перемене и остающееся таковым, а витальные явления интересуют его лишь постольку, поскольку они повторяются либо периодически, либо морфологически; в индивидуальном бытии он видит и ищет либо родовое понятие, либо посредника обмена веществ. То, что в его мирозерцании не входит согласно естественнонаучному методу понятие прогресса, прогресса не в процессе познания, а как момента того, что он хочет познать — теория эволюции Дарвина является самым ярким примером этого — то у него отсутствует даже слово для понятия цели, он не учитывает его, сводя его частично к полезности и оставляя открытым старый вопрос Лессинга, что же такое есть польза пользы, частично отдает его как проблему другим методам в числе таких форм, как вечность, материя, развитие и т. д. Что касается исторического мира, Бокль понятие прогресса ставит на первое место, но тем самым он приходит к паралогизму весьма характерного вида. Хотя он открыто признается, что он путем исторического исследования не нашел *primum mobile*,<sup>12</sup> признает, что по природе эмпирических методов его и нельзя достичь таким путем и нельзя адекватно выразить на языке науки, ее понятий, ее образа мышления; но оправдано ли тем самым заключение, что его вообще нет, что это плод наших неверных представлений, «заблуждений»? Разве нет еще многих и многих других форм познания, других методов, которые по своей природе могут сделать как раз то, чего не может естественнонаучный, а исторический метод не может или может только до некоторой степени? Разве не может быть эстетического суждения, поскольку его нельзя найти юридическим путем? Кто допускает, что у исторического мира есть прогресс, может сожалеть о том, что только часть этого своеобразного исторического движения рода человеческого доступна нашему взору, что можно распознать только направление

этого движения, а не то, что движется; но на основании глубочайшей потребности мыслящего духа чувствовать и знать себя как целостность, вряд ли ему принесет удовлетворение, сможет принести то обстоятельство, что одна форма эмпиризма предлагает ему загадку, которую не может отгадать другая форма? Неужели, познав, что здесь кроется проблема, загадка, он объявит ее несуществующей, поскольку не может ее решить? Не может ее решить, поскольку он хочет видеть ее решенной либо как шараду, либо как логогриф, либо как кроссворд, либо ребус, в то время как она загадка-аллегория? Поскольку с точки зрения научного познания одна сторона всебытия и всеобщей жизни не видна — именно метафизическая сторона, которая согласно старой игре слов стоит по ту сторону физической — и поскольку с точки зрения других форм познания ее задевают лишь краешком глаза, как бы в перспективе, — разве из-за этого мы должны сделать вывод, что ее, этой третьей стороны и вообще нет, а она только плод наших заблуждений? Разве если нам рукой не поймать солнечный луч, а ушами не услышать его, то его и нет? Не является ли, напротив, наш «глаз солнцеподобным», что, ловя солнечный луч, чтобы сделать для нас воспринимаемым то, что мы не можем схватить рукой и услышать ушами?

Но я не буду дольше задерживаться на этих вопросах, так как они лежат за пределами того круга идей, из которого исходит попытка Бокля обосновать наукоучение истории. Данных заметок достаточно для доказательства того, что он понял поставленную себе задачу не так, как надо было для того, чтобы развить ее, что он не оценил ни ее объема, ни значения, ни самой задачи, которая, как мне кажется, кроме особого значения для наших исследований, имеет еще более общую значимость, и именно поэтому она начинает привлекать к себе внимание научного мира. Она, кажется, может стать в центре большой дискуссии, которая в общей жизни науки будет знаменовать ближайший значительный поворот. Ибо никто не станет считать нормальным и истинным



возрастающее отчуждение между точными и спекулятивными дисциплинами, с каждым днем все увеличивающийся разлад между материалистическим и супранатуралистическим мировоззрениями.

Эти противоречия требуют сглаживания, и такая задача, по-видимому, есть та инстанция, в которой его нужно разрабатывать. Ибо этический мир, мир истории, которая является его проблемой, принимает участие в обеих сферах; он показывает в любом акте человеческой жизни и деятельности, что то противоречие не является абсолютным. В этом заключается та своеобразная харизма такой счастливо несовершенной природы человека, что она, одновременно и духовная, и физическая, вынуждена вести себя этически; нет ничего человеческого, что бы не находилось в этом разладе, не жило этой двойной жизнью; в любой момент это противоречие примиряется, чтобы обновиться, обновляется, чтобы снова примириться. Понять этический, исторический мир — значит прежде всего познать, что он не является ни только докетическим, основанном на видимости, ни только обменом веществ. И преодолеть в научном отношении ту ложную альтернативу, примирить дуализм тех методов, тех мировоззрений, каждое из которых хочет безраздельно властвовать над другим и отрицать его, примирить их тем методом, который соответствует этическому, историческому миру, развить их в мировоззрение, которое имеет своей основой истину человеческого бытия, есть суть задачи, о решении которой идет речь.

## ПРИРОДА И ИСТОРИЯ

Так повелось, что выражение «история» применяют и к природе. Говорят об истории природы, истории эволюции органических веществ, об истории земли и т. д. А что такое была теория Окена,<sup>13</sup> что такое теория Дарвина, как не выражение того, если хотите, исторического момента в сфере органической природы.

Точно так же не было недостатка в попытках трактовать историю согласно найденным для природы законам хотя бы по методу, разработанному для естественных наук, и доказывать и историческому миру, что объяснять явления живой природы физическими законами — это все равно, что для науки делать новые открытия. Стали обозначать формации и движения в области исторической жизни как «органические развития»; обосновывать их законы статистическими расчетами; даже вошло в обычай называть «первозданную естественность» как особо значительное достоинство в этих областях.

Долгом и правом нашей науки, как и любой другой, должно быть исследование и определение понятий, с которыми она имеет дело. Если бы она позаимствовала их из результатов других наук, то ей бы пришлось покориться и подчиниться тем научным подходам, над которыми у нее нет контроля, возможно даже таким, которые, как ей очевидно, ставят под сомнение ее собственную самостоятельность и право; она, возможно, получила бы от них дефиницию понятия «наука», которая бы ей была не по нутру. Нашей науке придется подыс-

кать для себя соответствующий ей ряд понятий по-своему, т. е. эмпирическим путем. Она имеет право на это, поскольку ее метод есть прежде всего метод понимания, понимания и того, что есть у языка и словоупотребления в повседневном обиходе и что он предлагает ее эмпиризму.

Мы находим в нашем языке слова «природа» и «история». И всякий согласится, что при слове «история» сразу же возникает представление о процессе, о времени. У вечных, т. е. безвременных вещей, насколько мы можем себе таковые представить, нет истории; историческими они становятся лишь тогда, когда они вступают в сферу времени, будь то через откровение, или обнаруживают себя в действиях, в обращенной к ним вере бранных душ, т. е. находящихся в условиях временности.

Они являются «по подобию Бога» мыслящим духом; но духом, поставленным в условия брности, т. е. по пространству бесчисленным, по времени безустанно становящимся. Настоящее, которое принадлежит им и которому они принадлежат, есть аналог вечности; ибо вечность, которую мы эмпирически не знаем, которую мы открываем через уверенность в себе нашего духовного бытия, есть настоящее, каковое мы имеем, но мыслимое без границ, в которых мы его имеем, без чередования прихода и ухода, без мрака впереди нас и позади нас.

Дух, обреченный на конечное, брнное, есть человеческое бытие, нераздельно и одновременно духовное и чувственное; противоречие, которое примиряется в любой момент, чтобы обновиться, и обновляется, чтобы снова примириться. Наше бытие, пока оно здорово и бодрствует, существует, не может быть ни в какой момент ни только чувственным, ни только духовным.

Иначе обстоит дело, когда духовная сторона нашего бытия обретает способность быть направленной до определенной степени на самое себя, углубиться в самое себя, двигаться дальше в самой себе и из самой себя, как если бы его другой стороны и не было. Мысля, веря, со-

зерцая, дух получает такое содержание, которое в некоем смысле лежит за границами бренности. Он и тогда еще пребывает сосланным в эту бренность, в формы представления, которые он получил из нее и развил их; но земли он касается только кончиками пальцев ног.

А что же будет, если равная концентрация и энергия духа обратится к другой стороне своего двойного бытия? Я не имею в виду практические волеие и дела человека. Его теоретическое поведение, исследование и познание по тем направлениям будут обусловлены благодаря тому, что чувственная сторона его наличного бытия дает ему не только пеструю сумятицу чувственного воспринимаемых частных, подобно неподвижному и незатуманенному зеркалу, но и он при помощи ее и благодаря ей находится посреди этих окружающих его и обтекающих суетностей, обуславливается, движется им, влеком ими, что он сам в этом безостановочном вихре пылинок, этой неустанно меняющейся суетности уподобился бы атому, несущемуся вместе с этими пылинками и несомому ими, если бы он в силу духовной сущности не имел бы способности быть в них твердой точкой, по крайней мере, понимать, знать себя в себе как таковую, мысля и желая, двигаться с чувством самосознания и самоопределения, какой бы ограниченной ни была орбита, наблюдая, вычисляя, понимая, становиться господином над внешними вещами.

То, что малое и слабое человеческое существо имеет силу стать господином и властвовать, было загадкой, над которой во все времена ломали голову. Книга Бытия с наивным глубокомыслием говорит: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». (Быт. 2, 19). Наречение было началом его становления господином над вещами. Вместе с именем для всякой твари, для всякого сущего был создан знак, духовный аналог, они уже не были только в мире внешнего существования, они были перемещены в представления, в духовность челове-

ского существа, живущего посреди них. Каждое из них сохранило данное ему имя, хотя форма проявления данного некогда имени путем питания и истощения, повторением в процессе размножения, изображаясь в каждой иной деятельности по-иному, многократно изменялась. Имя было как бы постоянная и различающая существенность безостановочно меняющихся явлений, имя воспринимало *равное в изменении* и сохраняло его как существенное.

Объективно или, вернее, фактически и внешне обобщенные под одним и тем же именем явления имеются налицо в тысячекратной изменчивости, многообразии, различности; но этим беспорядочным разнообразием владеет дух, как-либо обобщая это для представления, в сущности равное по его сходству. Объективно или, скорее, внешне, безостановочно меняются только бесчисленные частности, многократно и точно соприкасаясь и разделяясь; но в представлении человеческого духа они зафиксированы и классифицированы по их сходству, отношениям, связям, они теперь упорядоченные знаки и аналоги хаотически обтекающих нас бренок, многоцветного переплетения меняющихся и колеблющихся явлений. И этот мир имен и понятий есть для мыслящего духа аналог внешнего мира, есть для нас его истина.

Человеческий дух, упрощая, различая и комбинируя, упорядочивая и подчиняя, создавая в себе по отношению к запутанному миру бренок космос представлений и понятий, говоря и мысля, теоретически становится хозяином всего бренок, в котором и в чередовании которого находится его бренок жизнь; а именно каждый человек снова проходит свой земной путь, каждый есть начало, новое Я-становление.

Он становится благодаря тому, что учится чувствовать и понимать себя как целостность в себе, что, находясь в центре, все, что относится к нему, и все, к чему он относится, какой бы узкой или широкой ни была его сфера, он видит и мыслит как замкнутый круг вокруг себя и, насколько в его силах, преобразует. Он может

это, обладая тем даром обобщения единичного по его сущности, тем неустанно работающим даром упрощения и обобщения, различения и комбинирования, в силу которого он охватывает, вбирает в представление все бóльшие пространства, как бы мысленно воображая их себе. Розу — одно слово для бесчисленных отдельных роз — он отличает от гвоздики; но воспринимая одинаковое в них, он называет их цветами; они для него, как и кусты, травы, суть растения; растения он видит очень отличными от животных; и те, и другие живут, растут, умирают похожим образом; по этой их жизни он отличает органический мир от камня, моря и пламени и т. д. Таким образом он развивает и употребляет все более широкие формы, все более общие понятия.

Последними и самыми общими понятиями в отношении чувственной восприимчивости являются природа и история. Они обобщают мир явлений в двух самых общих представлениях, которым, возможно, и не по праву было отдано предпочтение называться а priori воззрениями.

Целостность явлений мы можем четко охватить, если мы их мысленно представим себе упорядоченными *в пространстве и времени*, и будем говорить о *природе и истории*.

Разумеется, мы знаем, что все, что есть в пространстве, есть и во времени, и наоборот. Вещи эмпирического мира не суть либо только по пространству, либо только по времени; но мы воспринимаем их так в зависимости от того, как нам кажется, какой из двух моментов превалирует, т. е. мы считаем тот или иной момент более важным, характерным, существенным.

Разумеется, этим определением понятия «история» не много сказано, если мы не сможем его углубить.

Пространство и время — самые широкие, т. е. самые пустые представления нашего ума. Они получают содержание лишь по мере того, как мы определяем их временную последовательность и рядоположение, т. е. различаем частности, — говорим не только, что они суть, но и что́ они суть.

То, что явления, которые мы суммарно обобщаем как историю и природу, имеют еще сами по себе другие определения, другие предикаты, чем только быть в пространстве и времени, мы знаем благодаря тому, что мы сами согласно нашему чувственному существованию находимся посреди них, определяемся ими, относимся к ним всякий раз все по-новому, т. е. знаем их *эмпирически*. Без этого эмпиризма для нас пространство и время остались бы пустым *X*, мир явлений оставался бы для нас хаосом. Лишь находясь посреди них, мы относимся к ним, рассматривая их с разных сторон и при помощи возбудимости нашего чувственного существования, истолковывая их по разным признакам, различаем и сравниваем их между собой по этим признакам; лишь в нашем *Я*, через наше познание, в нашем знании сущее в пространстве и времени получает другие названия, другие характеристики; лишь так постепенно получают для нас дискретное содержание пустые понятия пространство и время, пустые обобщения природа и история, преобразуясь в определенные ряды представлений, в рядоположенность и последовательность частных.

Пространство и время отличаются как покой и безостановочность, как вялость и торопливость, как связанность и свобода. Это антитезы, но всегда связанные друг с другом; они неразлучны, но всегда борются друг с другом. Ибо все находится *в движении*. Наше жизнеощущение, самочувствие нашего духовного и жизненного бытия, которое, поляризованное само в себе, не есть ни только чувственное, ни только духовное, ни попеременно одно или другое, а живое единое бытие разлада, дает нам понятие движения и его моментов: пространства и времени. Неподвижный мир явлений был бы для нас непостижимым; без движения в нас самих мы бы не могли его понять. То, что внешний мир движется, как и мы в нас, позволяет нам понять его по аналогии с тем, что происходит в нас самих.

Мы, конечно, знаем, что в движении пространство и время объединены, что время стремится как бы преодолеть инертное пространство во все новом движении,

движение же все снова и снова стремится выйти из нетерпения времени в покой бытия и расширяться. Как же приходит человеческое видение к тому, чтобы рассматривать некоторые ряды явлений в беспокойно движущемся бытии вещей, скорее, во временном аспекте, другие же в пространственном, одни обобщать как приходу, другие как историю.

Впрочем, мы видим вокруг нас непрерывное движение, непрерывную перемену. Но мы различаем одни явления, в которых временной момент отстывает, появляясь как бы только преходяще, чтобы снова погрузиться в самого себя; явления, которые в основном повторяются, в которых, следовательно, бесконечный ряд времени разлагается на равные, повторяющиеся циклы (периоды), так что такая формация кажется «единой не по числу, а по виду». В таких явлениях мыслящий дух постигает непрерывное, то, где совершается движение, «равное в перемене»: правило, закон, материю, пространственное наполнение и т. д. Ибо здесь повторяются *формы*, и единообразие их периодического возвращения низводит временной момент их движения до второстепенного момента, не для их бытия, а для нашего восприятия и понимания. Мы получаем таким образом дискретное содержание общего представления пространства и обобщаем его под названием «*природа*».

В других явлениях наш мыслящий дух выделяет *меняющееся в равном*. Ибо он замечает, что здесь в движении образуются все новые формы, такие новые и обуславливающие формации, что материальное, в котором они проявляются, кажется второстепенным моментом, в то время как всякая новая форма сама по себе есть иная; а именно до такой степени иная, что каждая, присоединяясь к прежней, обусловлена ею, становясь из нее, принимает ее идеально в себя, возникнув из нее, идеально содержит ее в себе и сохраняет. В этой непрерывности всякое более раннее продолжается, дополняется, расширяется (*ἐπίδοσις εἰς αὐτό*) в более поздней; всякое более позднее представляется как результат,



как исполнение, возвышение более раннего. Это не непрерывность возвращающегося в себя цикла, повторяющегося периода, а непрерывность бесконечного ряда, а именно так, что в любом новом уже зарождается и разрабатывается иное новое. Ибо во всяком новом идеально приплюсован весь ряд прожитых форм, и всякая из прожитых форм кажется моментом, соответствующим выражением в становящейся сумме. В этой безустанной последовательности, этой возвышающейся в себе непрерывности общее представление о времени получает свое дискретное содержание, которое мы обобщаем под именем *«история»*.

И те явления, которые мы обобщаем под названием *«природа»*, наличествуют в индивидуальных формах и отличаются друг от друга, хотя мы их воспринимаем как похожие и одного вида. Из этого пшеничного зерна, если оно в результате иного употребления не лишится своей периодической жизни (завязь, прорастание, цветение, созревание зерна), вырастет индивидуально другой колос, новое поколение зерен. Дубы в одной и той же роще, все выросшие из желудей, возможно, от одного материнского дерева, являются индивидуально разными не только по пространству, но и по возрасту, величине, раскидистости ветвей, кроны, листвы и т. д. Мы хорошо воспринимаем различия, но они не кажутся нам существенными: как с научной точки зрения, так и практической их индивидуальность для нас безразлична; для такого рода существ у нашего мыслящего духа нет понимания индивидуального бытия, у нас нет для таких индивидов никакого иного имени, кроме имени их семейства. Мы хотя и видим, что они изменяются, но только периодически возвращаясь, повторяя свои изменения, они для нас не имеют истории. Мы хотя и отличаем отдельные экземпляры, но их различия не имеют для нас ряда усложняющихся в себе формаций. Мы воспринимаем их по пространству, материи, равному в перемене, однообразию, многократно повторяющемуся; ибо только в этих отношениях у нашего мыслящего духа имеются для них категории; только по

этим категориям мы постигаем и понимаем их, можем практически и теоретически относиться к ним. И согласно нашим взглядам они нам нужны, и мы их используем; мы принимаем их за то, что они *для нас* есть. Мы высеваем эти пшеничные зерна, ухаживаем за этими дубами, чтобы в свое время убить их и использовать на то, чем они для нас являются, т. е. как горючий материал, как мучнистый плод; мы разводим животных, чтобы каждодневно отнимать у них молоко, предназначенное природой для их детенышей, и под конец их забить и т. д. Неустанно мы наблюдаем и исследуем, чтобы познать сущее по его материалам, силам, законам, чтобы употребить для своих целей по категориям, под которыми *мы* их можем постичь и понять; они для нас лишь материал; в своих индивидуальных явлениях они для нас закрыты, непонятны, безразличны.

И если мы, делая прививку фруктовому дереву, разводя животных, скрещивая породы, играем как бы в Провидение, чтобы получить более благородные сорта и породы, то это наша хитрость и расчет, а не индивидуальное понимание приносит нам иной результат. Если мы химически разлагаем тела или синтезируем, если мы их исследуем физически, изолируя определенные имеющиеся у них функции, наблюдая или заставляя их действовать, то мы ищем и находим не то, что свойственно индивидуально этому камню, этому пламени, этой колеблющейся струне, а присущее всем вещам подобного рода. И если мы, например, эстетически усваиваем и используем соответствующие формы, которые предоставляют нам животный и растительный мир, ландшафт, то мы же знаем, что мы поняли и изобразили не индивидуальность этого фрагмента земной поверхности, этого дерева или животного, а вложили в них нечто, какового в них самих нет; они служат нам только как выражение *нашего* чувства или мышления, что мы, так сказать, очеловечиваем их; как в Дантовом «Чистилище» отвратительный образ страсти представляется воспламененному взору смотрящего на него с возделением женщиной в цвете молодости и красоты.

И в сфере тех явлений, которые мы обобщаем как историю, в сфере нравственного мира имеются элементы, которые можно измерить, взвесить, рассчитать. Но эти материальные условия менее всего исчерпывают жизнь нравственного мира, менее всего достаточны, чтобы его объяснить; и кто полагает, что он может его объяснить ими, тот теряет или отрицает здесь самое главное. Не порыв к совокуплению исчерпывает и объясняет нравственную силу супружества; общие воспоминания о совместно прожитом, общие надежды и заботы, потери и сбывшиеся мечты обновляют у стареющих супругов интимность их первого счастья; для них их брак есть история, в этой истории для них заключены обоснование, смысл и исполнение нравственной силы их супружества.

В сфере нравственного мира, впрочем, нет ничего, что бы не было непосредственно или косвенно материально обусловлено. Но эти материальные условия не являются ни единственными, ни единственно важными; и благородство нравственного бытия состоит не в том, чтобы ими пренебрегать и отрицать их, а в том, чтобы просветлять и одухотворять их. Ибо в соприкосновении душ, в труде друг для друга и рука об руку, в неустанном порыве понимать и быть понятым возникает этот удивительный слой духовного бытия, составными частями которого являются представления, мысли, страсти, ошибки, чувство вины и т. д., который все снова и снова, касаясь естественного мира, и все же в отрыве от него, озаряет весь земной шар.

Об этом нравственном мире не думают слишком пренебрежительно, когда его образованиям приписывают тот безостановочно возрастающий слой духовного как место пребывания, как почву, как, так сказать, творческую массу их формирования. И они поистине обладают не меньшей реальностью, не меньшей объективной силой от того, что они, по сути, живут только в уме и сердце людей, в их знании и совести, используют тело и телесное лишь для своего выражения и отображения.

Разумеется, только в этих выражениях и отображениях они становятся осязаемыми, постижимыми, поддающимися исследованию. Они здесь не только для того, чтобы применять к ним исторический метод; они могут быть рассмотрены в научном плане и с других точек зрения, а не только с исторической. Но каковы они суть, таковыми они стали; и сущностью исторического метода является открытие из их бытия их становления, а из их становления их бытия.

Под конец еще одно замечание в защиту. Никому не придет в голову оспаривать у физики имя науки или сомневаться в ее научных результатах, хотя она есть не природа, а *способ созерцания природы*, или делать упрек математике, что все ее гордое строение заключено только в знающем уме. Наш умный язык из причастия глагола «wissen» (знать) образует название того, что достоверно (gewiß); он называет достоверным не внешнее, так называемое объективное бытие вещей, а известное (gewußte) сущее, известное происшедшее. Не то, что в чувственном восприятии доходит до нас, является согласно нашему языку истинным (wahr); оно не выдает себя за истинное, а мы принимаем его как истинное (wahrnehmen) и делаем его достоверным через наше знание (Wissen).<sup>14</sup>

*Наше* восприятие, *наше* знание; в нем заключался бы самый сомнительный субъективизм, если бы человеческий мир состоял из атомов, каждый из которых наполнял свой отрезок пространства и времени, — без всякой связи, вроде: было, да прошло — из разобщенных людей, каковыми показывает их ошипанный петух древнего философа и каковыми видит их современный радикализм и берет за основу своих прав человека, а современный материализм и нигилизм — за основу своей социологии. Индивидуум как таковой мог бы и не родиться, не говоря уж воспитываться, становиться человеком. С момента своего рождения, даже зачатия, он находится в нравственных общностях: в этой семье, в этом народе, государстве, этой вере или неверии и т. д., и что он физически и духовно

есть и что имеет, он получает сначала из них и через них.

Как видим, скепсис этих рассуждений обращен не против реальности естественного мира, тем более не против фактичности исторических, нравственных формаций. Для нас природа не «порождение головного мозга», тем более нравственный мир не нелепое «утверждение воли к жизни».

Мы живем и действуем в практически надежном *самоощущении* нашего Я-бытия, в *непосредственном ощущении* целостности, внутри которой мы находимся. Эти оба момента вытекают из вида нашего бытия, одновременно и духовного и чувственного.

Наше человеческое бытие основывается на этой непосредственной уверенности нашего самоощущения, нашего мировосприятия, на этой вере, каким бы высоким или низким ни было найденное выражение для его последнего основания, для его высшей цели. Вот что непосредственно мы имеем; мы ищем «истину», разрабатываем ее; и нашими поисками и трудом она растет, углубляется. В потребности нашего Я-бытия или Я-становления — и она появляется с первым произнесенным словом и ее нельзя сдержать — заключается стремление довести до нашего сознания то, что прочувствованно и чему верят, понять его, как бы отрезать от пуповины, при помощи которой оно держится за непосредственности, включить его в категории нашего мышления; категории, которые относятся к непосредственно прочувствованной целостности реальностей и нашего Я-бытия в них, как многоугольник к кругу: каким бы многосторонним и подобным кругу ни был многоугольник, он остается все же угловатым и прямолинейным, круг и многоугольник не перестают быть по отношению друг друга несоизмеримыми.

Это вводящая в заблуждение гордыня человеческого ума подставлять кругам непосредственно воспринятого свои многоугольные конструкции как их нормы или как подтверждение, в то время как они являются

лишь одной из многих попыток приблизительно описать первые — отрицать сферические линии веры, так как наше мышление с его прямолинейными конструкциями не может их исчерпать — так же не может исчерпать, как и тот Августинов мальчик на берегу моря не в состоянии перелить всю воду моря в ямку, которую он выкопал в песке, как бы усердно он ни черпал своей чашей.

## ИСКУССТВО И МЕТОД

Стихи сочиняли прежде, чем появилась поэтика, речи вели прежде, чем появились грамматика и риторика. И практическая потребность научила человека смешивать и разлагать вещества, использовать для его целей силы природы прежде, чем физика и химия стали методически исследовать природу и облекли ее законы в научные формулировки.

И воспоминания относятся к самой подлинной сущности и наипервейшей потребности человечества. Касаются ли они личного или широкого круга вещей, воспоминания всегда и повсюду сопровождают жизнь человека; возникая вначале как сугубо личные, они становятся узами, связующими души, стремящиеся навстречу друг другу. Без них нет человеческого сообщества; любое сообщество в своем становлении, в своей истории имеет образ своего бытия, — общее достояние всех участников, которое теснее сближает их сообщество, делая его задушевнее.

Понятно, что у высокоодаренных народов воспоминания приукрашиваются в их сказаниях, становятся образцами, выражением тех идеалов, к которым устремлен дух народа. Понятно и то, что у них вера находит свой смысл в форме священных историй, которые наглядно поясняют ее содержание как событие, и что такие мифы срастаются со сказанием. Однако если это неустанно живое слияние, наконец, насытившись, завершается большими эпическими поэмами,

эти мифы уже не хотят принадлежать только наивной вере.

С собирания и просмотра таких мифов и сказаний началась древнейшая история, история греков, — первые попытки навести порядок в этом девственном лесу преданий, установить внутреннюю связь, согласие, хронологическую систему, первые попытки подлинного исследования.

От греков датируется непрерывность наук; почти все науки, и сегодня занимающие умы, берут там начало; особенно та область, которую принято называть областью нравственных наук, обрабатывалась ими. Но наряду с этикой, политикой, экономикой и т. д. у них не было историки.

То обстоятельство, что после гениальной историографии времени Марафонской битвы, эпохи Перикла, последним представителем которой был Фукидид, историческую школу основал не Аристотель, а Исократ, вывело историю на тот путь, свернуть с которого ее тщетно пытался Полибий. История стала, а у римлян продолжала быть частью риторики, «художественной литературы», если только филология полностью не овладевала ею. А между филологией и риторикой были различные записки для практических целей, включая энциклопедические книги и учебники, которые постепенно нисходили до самого убогого уровня.

И если в историографии периода упадка античности трудно найти ростки нового научного духа, то тем более их не обнаружишь в историографии средневековья, если не считать таковым изредка прорывающийся наружу теологический конструктивный дух. Пожалуй, тот или иной историк времени каролингской или оттонской династий выискивал у древних стилистические образцы и украшал их риторическими красотами своих героев.

Когда в конце средневековья возобновилась борьба против папства и иерархии и в качестве оружия в этой борьбе выбрали историческое исследование, и за трактатом о мнимом Даре Константина последовали одна за



другой историко-критические атаки на ложные традиции, на противоречащие духу Священного писания институты, канонические претензии церкви; но даже тогда, прежде всего в Италии, риторика снова вышла на передний план, потеснив эти замечательные научные начинания; последнюю великолепную попытку научного обобщения добытых знаний и навыков, сделанную на немецкой почве Себастианом Франком, заглушил шум распри вероисповеданий, вылившейся уже к тому времени в догматический спор.

Только когда естественные науки уверенно, и сознавая свой собственный путь, обосновали свой метод и тем самым получили новую отправную точку, появилась идея добыть методический аспект и для ἀμέθοδος ὄλη истории. К эпохе Галилея и Бэкона принадлежит Жан Боден, ко времени Гюйгенса и Ньютона — Пуфендорф и Лейбниц, проложивший новые пути во всех направлениях. Затем и английское Просвещение — если можно так обозначить время так называемых деистов — приступило к решению этого вопроса; там сначала попытались расчленивать нашу науку по ее задачам и областям исследования, говорили о всемирной, всеобщей истории, истории человечества, государств и народов и т. д. Вольтер, ученик и продолжатель этого английского направления вбросил в научный обиход блестящее словосочетание «philosophie de l'histoire»<sup>15</sup>. Геттингенская историческая школа разработала своего рода систематику вновь созданных наук и вспомогательных дисциплин и начала наполнять и более отдаленные науки духом этой системы. И в то время как многие великие поэты и мыслители нашего народа углубились в теоретический вопрос исторического познания, в самих исторических работах и исследованиях набирала силу критика и оттачивала свои методы; и к какой бы области истории критика ни обращалась, повсюду она приносила совершенно новые и поразительные результаты. И наша нация в этой исторической критике со времени Нибура опередила все другие; и, казалось, стоит только высказать в общих и теоретических положениях мане-

ру и технику исследования, проверенную на практике в таких блестящих работах, чтобы их признали в качестве исторического метода.

Разумеется, широкой публике это направление нашей истории было не по нраву; она хотела читать, а не изучать; она жаловалась, что ей подают не яства, а рецепт их приготовления; она называла немецкий исторический стиль педантичным, слишком ученым, неудобоваримым; насколько приятнее было читать вместо ученых, кропотливых исследований эссе Маколея, какие захватывающие были рассказы о французской революции в блестящих описаниях Тьера. Таким образом, случилось, что не только исторический вкус, но и историческое суждение и тем самым не в малой степени и политическое суждение в Германии в течение трех-четырёх десятилетий формировались и направлялись иностранной историографией, ее риторическое превосходство царило над ними.

И еще следует добавить, в то время как такое риторическое искусство превращает в художественный, хорошо отретушированный образ, в увлекательное чтение, производящее сильное впечатление, тяжесть чудовищных событий, трудные конфликты, в которых обычно разворачиваются или подготавливаются великие события, ужасы разгоревшихся страстей или фанатических притеснений, оно уверено, что становится тем понятнее и убедительнее. Оно нашло средство познакомить и малосведущего читателя с событиями, действительный ход которых потребовал от современника, желающего их понять, хотя бы до некоторой степени, множество предварительных знаний, много опыта, спокойного и продуманного суждения; историческое же искусство умеет компенсировать все это самым приятным образом, так что внимательный читатель, дочитав до конца своего Тьера или Маколея, может считать, что он обогатился великим опытом этих революций, знанием борьбы партий, развития государственного строя,— разумеется, опытом, в котором отсутствует лучшее из того, что делает его плодотвор-

ным, а именно серьезность всего происходящего в действительности, ответственность за принятие неизбежного решения, жертвы, которых требует и победа, неудачи, которые растаптывают и справедливое дело. Искусство историка избавляет читателя от того, чтобы думать о таких побочных вещах, сопутствующих явлениях, наполняя его фантазию представлениями и взглядами, которые обобщают только самые блестящие моменты из широкой, суровой, медлительной реальности; оно убеждает его, что только они и являются суммой частных и истинных реалий. Со своей стороны, оно помогает формировать то неизмеримое влияние, которое оказывает мнение людей, тем что они начинают мерить действительность по своим идеям и требуют от нее, чтобы она складывалась или преобразовывалась согласно им, — тем нетерпеливее требуют, чем легче они привыкли думать об обратной стороне событий.

И мы в Германии уже похвалиемся исторической литературой, соответствующей популярной потребности; и у нас достигнуто понимание или снисходительно принято мнение, что «история есть одновременно и искусство, и наука». Только тем самым методический вопрос — а он-то и важен нам — снова повисает в воздухе.

Как в наших работах соотносится друг с другом искусство и наука? Разве уже достаточно сделано для прояснения научной стороны истории с помощью «критики и учености»? Входит ли в компетенцию истории то, что еще остается историку сделать? Неужели действительно то, чем должен заниматься историк, не имеет никакой иной цели, кроме как написания той или иной книги? Не имеет никакого иного применения, кроме как развлекать, поучая, и поучать, развлекая?

Было бы небезынтересно исследовать, в чем заключается скрытая причина, что из всех наук одной истории выпало такое сомнительное счастье, которое с ней не разделяет даже философия, несмотря на диалоги Платона.

Рассмотрим другую сторону вопроса. В художественных работах — согласно старому выражению — техническое и мусическое идут рука об руку. К сущности искусства относится, что оно в своих произведениях заставляет забывать недостатки, обусловленные ее средствами; и оно может это постольку, поскольку идея, которую оно выражает в таких формах, таких материалах, такой техникой, оживляет их и просветляет. Такое произведение есть целостность, мир в себе; мусическое есть сила, заставляющая зрителя или слушателя целиком и полностью воспринимать и чувствовать в этом выражении то, что оно хотело выразить.

Иначе обстоит дело с наукой. Прежде всего нет более строгого долга, чем установить пробелы, которые наличествуют в объектах их эмпиризма, проконтролировать ошибки, которые могут появиться вследствие их техники, исследовать значимость методов, которые могут дать правильные результаты только внутри присутствующих этим наукам границ.

Может быть, величайшая заслуга критической школы в нашей науке, по крайней мере самая значительная в методическом отношении, есть понимание того, что основой наших исследований является проверка «источников», из которых мы черпаем наши сведения. Тем самым был выработан важный научный подход в отношении истории к прошлым временам. Это критическое воззрение заключается в том, что мы имеем прошлые времена уже не непосредственно, а лишь опосредованным образом, что минувшие времена мы можем реконструировать не «объективно», а лишь получить из «источников» некое представление, мнение о них, их аналог, что так получаемые и полученные представления и мнения суть все, что нам возможно знать о прошлом, следовательно, что «история» является не внешней и реальной, а может быть только опосредованно исследована и знаема, это положение, должно быть, как нам кажется, исходной точкой, если не будут и далее навязывать истории естественнонаучный метод.

То, что имеется налицо для исследователя, есть не прошлые времена, а отчасти их *остатки*, отчасти *мнения* о них; остатки, которые являются таковыми только для исторического подхода, но в действительности они находятся в настоящем; одни в виде руин и в выветренном состоянии, напоминающие о том, что они некогда были другими, более живыми, значительными, чем сейчас; другие — преобразованные и в живом еще употреблении; третьи — измененные до неузнаваемости и влившиеся в бытие и жизнь настоящего; даже они суть не что иное, как сумма всех остатков и результатов прошлого. Следовательно, воспоминания того, что было и прошло, мнения тех, не всегда ближе всего стоящих к ним, сведущих или безучастных, часто мнения мнений из третьих, четвертых рук; и даже если сообщают современники или участники, что происходило в их время, что они сами видели своими глазами, слышали своими ушами? И собственное зрение и слух воспринимают ведь только часть, одну сторону, одно направление происшедшего и т. д.

Методический характер этих двух видов материала так сильно различается, что хорошо поступают те исследователи, кто различает их и по техническому наименованию; поэтому рекомендуется называть источниками те документы, которые *хотят* быть источниками, хотя они в другом отношении, подобно многим другим, являются остатками, литературными остатками времени, в котором они возникли.

Принятый ныне метод, или техника исторического исследования, развился из изучения таких эпох, из которых, по крайней мере для политической истории, нет ничего в наличии, или имеются только некоторые мнения авторов, которые относительно недалеко отстоят от рассказываемых ими событий. Многое, что мы хотели бы спросить или исследовать, там не было учтено; на такой вопрос, как наши императоры во время своих наездов в Рим, когда они переходили Альпы, обеспечивали там довольствием тысячи людей, фуражом тысячи лошадей; на вопрос, как складывалась торговля Среди-

земноморья после революции, которую совершил Александр своими походами в Азию, источники не дают нам никаких сведений.

Как поверхностны, ненадежны наши сведения о ранних эпохах истории, как неизбежно фрагментарны и ограничены отдельными моментами наши представления о них, полученные из имеющихся еще источников, мы понимаем, когда в ходе наших занятий обращаемся к тем периодам, архивы которых предлагают нам не только «граммоты» о заключенных юридических сделках, но и донесения послов, отчеты административных властей, всевозможные деловые акты. И далее, как ярко проявляется здесь различие между «мнениями» чужеземных послов и местных властей и «остатками» делопроизводства, разных соображений, протоколов переговоров и т. д. Разумеется, в отличие от тех реляций, эти деловые акты, как правило, не дают уже сложившееся мнение, первую историческую картину того, что недавно произошло; но и они являются остатками того, что здесь происходило, они то, что еще непосредственно имеется в наличии от этой сделки и процесса ее заключения. В широком спектре существующих одновременно и рядом друг с другом, тысячекратно обусловленных и обуславливающих вещей настоящего совершаются как сделки — если позволено употребить это слово в таком широком смысле — события, которые мы позднее воспринимаем по их временной последовательности как историю, — следовательно, воспринимаем их совсем в ином направлении, чем в том, в котором они совершались и которые они имели в волеии и делах тех, благодаря которым они происходили. Так что не будет неуместен вопрос, как из сделок становится история, и что благодаря этому переводу как бы в иную среду приобретается, а что теряется.

В заключение позволю себе затронуть еще один момент. В другом месте я попытался отклонить претензии, которые предъявляют нашей науке те, для которых естественнонаучный метод есть единственно науч-

ный и которые полагают, что благодаря его применению к истории она будет возведена в ранг науки.

Как будто в сфере исторической, т. е. нравственной, жизни достойна внимания только аналогия, а аномалия, индивидуальное, свободная воля, ответственность, гений — все сущий вздор; как будто это не научная задача искать пути исследования, верификации, понимания движения и последствий человеческой свободы, личной самобытности, все равно, считают ли ее большой или малой.

Ибо, впрочем, у нас есть и непосредственное и субъективное понимание человеческих вещей, любого выражения и отображения человеческих мыслей и чувств, выражения, которое воспринимается нами, насколько его еще можно воспринять. Но следует найти методы, чтобы получить *объективный* критерий и контроль этого непосредственного и субъективного восприятия и тем самым обосновать, исправить и углубить наше восприятие, тем более здесь у нас о прошлом имеются только мнения других или фрагменты того, что некогда было. Ибо только это, по-видимому, может быть смыслом исторической объективности, о которой так много говорят.

Необходимо найти методы. Для каждой задачи — свой метод, а часто для решения *одной* задачи необходима комбинация из нескольких методов. Пока считали, что «история» есть в основном политическая история и что задачей историка является пересказывать в новом варианте, сопоставляя все, что дошло до нас о революциях, войнах, государственных делах и т. д., было достаточным отобрать из лучших, возможно, критически подтвержденных как лучшие, источников материал, который следовало переработать в книгу, доклад или нечто подобное. С тех пор, как пробудилось понимание, что исторически можно, нужно исследовать также искусство, правовые учреждения, любое творчество человека, все сферы нравственного мира, чтобы понять то, что есть, из того, каким оно стало, — с тех пор нашей науке предъявляют требование совсем

иного рода. Она должна исследовать формации на основе их исторического контекста, от которого, возможно, имеются в наличии только единичные остатки, осваивать те области, которые до сих пор не были в поле зрения историков и не воспринимались как исторические, по крайней мере, теми, кто жил в них. Со всех сторон истории задают вопросы, вопросы о вещах, отчасти несравненно более важные, чем зачастую весьма внешние и случайные сведения, считавшиеся ранее историей. Неужели исследование в таком случае должно сложить оружие?

Когда мы вступаем в зал, где выставлены египетские древности, нас охватывает особое чувство, мы по-особому видим эту удивительную старину; но, по крайней мере, в некотором направлении мы можем путем исследования прийти к более позитивным результатам. Вот — сиениты, обтесанные, полированные; вот — краски, ткани; какие инструменты, какие металлы были нужны, чтобы обработать такой твердый камень, какие механизмы были необходимы, чтобы извлечь из скалы такие огромные глыбы, погрузить их на баржи? Каков химический состав этих красок? Из какого волокна изготовлены эти ткани и откуда они? Путем такой технологической интерпретации остатков мы получаем факты, которые восполняют скудные предания о Древнем Египте во многих и важных отношениях, и мы имеем эти факты с достоверностью, которая тем больше, чем меньше их было непосредственно получено.

Когда речь идет о государственном устройстве древнего Рима, Афин до Персидских войн, многим кажется научным признавать лишь то, что дошло до нас и документально засвидетельствовано. Но фантазия читателя обязательно свяжет эти скудные сведения между собой и таким образом восполнит их, создав некий образ; только такое восполнение есть игра фантазии, и этот образ будет произвольный, желают того или нет. Разве невозможно найти методы, которые дадут правила и обоснуют способ такой реконструкции? В *праг-*



*матической* природе подобных вещей — ибо выражение Полибия «прагматический» стоило бы перестать игнорировать — заключены моменты необходимости, условия, следы которых, если приглядеться попристальнее, можно будет узнать в том, что еще у нас есть в наличии, и гипотетическая линия, которую нам начертила та прагматическая природа, подтверждается тогда тем, что тот или иной фрагмент точно включается в эту линию.

Когда разрабатывали историю искусства эпохи Рафаэля и Дюрера, то недалеко бы продвинулись вперед в этом деле, используя только «источники» и критику источников, хотя, между прочим, для итальянских художников у Вазари нашлись желанные известия об их жизни; но совсем иной, подлинный материал исследования заключался в произведениях и творениях их немецких современников; разумеется, чтобы справиться с таким материалом, исследователь нуждался в арсенале особых средств; ему нужно было знать технику живописи, различать манеру письма отдельных художников, колорит их картин, светотень, мазок их кисти; исследователь должен был определить, как глаз Альбрехта Дюрера воспринимал человеческую фигуру, чтобы доказать, принадлежит ли это «Распятие» его кисти; он должен был привлечь свой научный аппарат, состоящий из гравюр, рисунков и т. д., чтобы, наконец, решить, принадлежит ли тот замечательный портрет Леонардо да Винчи или Гансу Гольбейну; он должен был иметь представление о мировосприятии той эпохи, о сфере общих знаний, о совокупности церковных и мирских убеждений, ее локальную историю и события тех дней, чтобы правильно истолковать то, что изображено на картинах и рисунках, какие, например, намеки, аллюзии содержатся в аксессуарах на картинах, ощутить глубину или поверхностность восприятия художником пространства или доказать его интенцию не только в эстетическом плане, но и убедительно, и т. д.

Как здесь, так и повсюду. Только глубокое, всестороннее техническое знание дела — в зависимости от

того, исследует ли он искусство, право, торговлю, земледелие, или государство и политику, — позволит историку найти требуемые для данного случая методы и работать с их помощью, точно так же, как в естественных науках находят все новые методы, чтобы выманить у немой природы ее тайны.

Все методы, применяемые в сфере исторических исследований, движутся в пределах этой периферии, имеют тот же определяющий центр. Обобщить их одной идеей, развить их теорию и таким образом определить не законы истории, а законы исторического исследования и знания, — вот задача истории.

## РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В БЕРЛИНСКУЮ АКАДЕМИЮ НАУК

Ежемесячные доклады Берлинской Королевской прусской Академии наук за 1867 год. Берлин, 1868. С. 398–403.

Королевской Академии наук, своим выбором удостоившей меня высокой чести, я приношу самую искреннюю благодарность, высказать которую я тем более считаю своим долгом, что в этом призвании вижу благосклонную снисходительность, каковую проявили в этом Ученом собрании при оценке моей деятельности.

Не без робости я вступаю в него.

Мне не было суждено посвятить свои ученые штудии одной великой задаче, чтобы, занимаясь ею и продвигаясь далее в соседние сферы, разработать свое собственное поле исследования. И если все же, в конце концов, из различных начинаний и незавершенных проектов, на которые я могу оглянуться, складывается некая мозаика, в которой они обобщаются, то это, скорее, не результат, который я мог бы представить Ученому собранию, а проблема, которую я желал бы решить.

В юности я принял решение заняться исследованием того периода древней истории, который лежит между временем Александра и Цезаря и ведет от греческой эпохи к христианству. В истории этих веков, которая, как неводеланная пашня, лежала между штудиями классической филологии и теологии и которую они предпочитали обходить стороной, мне казалось воз-

можным доказать эллинизм как подлинно значительную и плодотворную систему и изложить его участие в формировании новой мировой эпохи. Чтобы справиться с этой задачей, я не мог не познакомиться с классическим периодом греческой истории и ее великими представителями вплоть до Демосфена. За исследованием преобразования Греции и Востока, начавшегося с триумфальных походов Александра, формирования системы эллинистических государств должно было бы последовать изучение ее упадка на Востоке и на Западе и сопровождающего его разложения древних народов и их культур, которое нашло свое характерное выражение в теокрасии, в просвещении и суевериях — а не в религии — в серапизме и халдействе.

Перемена моих жизненных обстоятельств<sup>16</sup> поставила передо мной совершенно новые задачи и заставила меня слишком близко соприкоснуться с политическими событиями того времени. Там, в пограничных немецких областях, наиболее подверженных всевозможным угрозам, особенно живо и непосредственно ощущались недостатки нашего политического устройства, предначертанного нашей нации при преобразовании Европы.<sup>17</sup> Там ранее и более определенно, чем где-либо в другом месте, стали понимать, что среди многих и многообразных государств, на которые была раздроблена наша нация — казалась раздробленной, чтобы тем быстрее разойтись в разные стороны — имеется только одно,<sup>18</sup> которое по своей истории, своим материальным и моральным средствам и благодаря данной ему в высшей степени иррациональной территориальной формы, по своей насущной потребности предназначено найти в этом *conjunge et imperabis*<sup>19</sup> норму своей политики, должно быть призвано к тому, чтобы, опекая, управлять судьбами Германии, и, управляя, опекать ее.

К истории этого государства я и обратился.

Я начал с изучения последней значительной эпохи, которую пережили Пруссия и Германия. Историческое восприятие этой великой эпохи, доминирующее и в на-

шей литературе и в широких кругах нашего народа, находилось как бы под игом того иноземного господства, которое было сломлено в мощном подъеме гордого немецкого духа и славных сражениях;<sup>20</sup> о нашей истории того времени только изредка и кое-где появлялся отдельный листок; в наших официальных кругах вплоть до сороковых годов не было по-настоящему оценено, какое значение, в том числе и политическое, имеет задача дать народу образ самого себя в его истории.

То обстоятельство, что это, наконец, произошло, что в жизнеописании Штейна<sup>21</sup> и на основе архивных документов впервые был показан весь внутренний костяк прусской и немецкой истории, подействовало на энтузиастов воодушевляюще и явилось для них неоценимой поддержкой. Почти одновременно вышли в свет «Девять книг прусской истории»,<sup>22</sup> в которых на основе актов была изложена ранняя эпоха, когда создавалась прочная административная и финансовая структура государства. И мне тогда было милостивейше позволено пользоваться государственными архивами для написания «Истории прусской политики».<sup>23</sup> И чем дальше продвигаются исследования, прослеживающие возрастающее значение власти и политики этого государства, тем яснее они показывают, как важно, когда историю государства, становление его внутренних институтов и его положение в мире воспринимают прежде всего из его собственных архивных актов, с его собственной точки зрения.

Тем самым я касаюсь давней полемики, которая в разных формах все снова разгорается в нашей науке. Не только эта полемика, но прежде всего она, заставила меня заняться теоретическим вопросом о природе нашей науки. С древних времен над ней тяготеет предвзятое мнение, что она ἀμέθοδος ὕλη; и господствующее в классической античности представление, что она относится к области риторики, воскресло в наше время — помимо требования и благосклонности взыскательных читателей — в признании, утверждающем, что история является одновременно и наукой, и

искусством. Если достославная геттингенская историческая школа прошлого столетия, хотя и не первая, попыталась сделать систематический обзор области истории и развить ее научный метод, то с ее стороны не было недостатка в наименованиях и остроумных различениях. Например, в наш обиход вошли от нее такие названия и подразделения, как всемирная история, всеобщая история, история человечества, исторические элементарные и вспомогательные науки; но метод, которому она учила, был лишь техникой исторической работы; и принятое ею выражение Вольтера «философия истории» было как бы приглашением, адресованным философии, взять на себя обоснование не только исторического процесса познания, которое в высшей степени заслуживало бы благодарности, но и обоснование связей исторически полученных результатов, пока затем в одной системе не был сконструирован общий исторический труд всего рода человеческого как самодвижущаяся идея. В другой же системе учили об этом самом общем труде человечества, что «всемирная история, собственно говоря, есть только случайная конфигурация и не имеет метафизического значения». С другой стороны, требовали в качестве научной легитимизации нашей науки, обозначая как ее задачу, нахождение законов, по которым движется историческая жизнь и изменяется. Ей рекомендовали заимствовать норму из географических факторов и «первозданной естественности»; в связи с так называемой «позитивной философией» была сделана весьма привлекательная попытка «возвести» историю, как заявляли, «в ранг науки».

Как будто в сфере исторической, т. е. нравственной, жизни достойна внимания только аналогия, а аномалия, индивидуальное, свободная воля, ответственность, гений — все вздор; как будто это не научная задача искать пути исследования, верификации, понимания движений и последствий человеческой свободы и самобытности, — все равно, считают ее малой или большой — ее исторической временной последовательно-

сти — ибо для одновременной рядоположенности существуют другие дисциплины. Ибо, впрочем, у нас есть и непосредственное, субъективное понимание человеческих вещей, любого выражения и отображения человеческих мыслей и чувств, выражения, которое воспринимается нами, насколько его еще можно воспринять; но следует найти методы, чтобы получить объективный критерий и контроль этого непосредственного и субъективного восприятия и тем самым обосновать, исправить и углубить наше восприятие — тем более здесь у нас о прошлом имеются только мнения других или фрагменты того, что некогда было. И только это, кажется, может быть смыслом исторической объективности. Следует обобщить эти методы, развить их систему, их теорию и таким образом установить не законы истории, а только законы исторического процесса познания и знания.

Перед лицом больших и блестящих достижений также в области исторического исследования, в которых соревнуются на протяжении трех поколений образованные нации, вопросы, которые возникают перед нами, никак нельзя переоценить не только потому, что гениальность не нуждается в правилах αὐτοῖ γάρ εἰσι νόμοι; нужно признать, что значимость тех вопросов прежде всего лежит в иной области, а не в сфере работающего историка.

Но сущность нашей дисциплины неясна, небесспорна, не уверена в себе; на уровне современной общей научной жизни нет недостатка в направлениях, не говоря уж о результатах, которые могут предостеречь и напомнить всем нравственным наукам, особенно истории, о том, что необходимо исследовать прочность их фундамента и надежность надстройки.

И если мы находим смысл научного характера нашего эмпиризма, если мы определяем средства, надежность, границы исторического знания, если мы в живом соперничестве наук утвердим место нашей науки, обоснуем ее компетенцию в спорных областях и, уверенные в таком признании, будем продолжать работу

на общее благо и на пользу друг другу, оказывая помощь и принимая ее, то будет чрезвычайно важно, занимаясь такими теоретическими вопросами, раскрыть, исходя из сущности исторического эмпиризма, метод нашей науки и на основе применимости этого метода определить ту область, которая нам подходит.

### Примечания

- 1 На поругание и погибель жизни (*лат.*).
- 2 Сосуд гнева (*лат.*).
- 3 Слово, которое было в начале (*др.-греч.*).
- 4 *Лихтенберг (Lichtenberg) Георг Кристоф* (1742–1799), немецкий писатель-сатирик, просветитель, историк искусства.
- 5 Олений парк (*франц.*).
- 6 Сила инерции (*лат.*).
- 7 Занятие, лишённое метода (*др.-греч.*).
- 8 Незрелый (*англ.*).
- 9 Недоразумение, путаница (*лат.*).
- 10 Истина скорее становится очевидной из заблуждения, чем из путаницы (*лат.*).
- 11 Софизмы, уловки, трюки и т. п. (*др.-греч.*).
- 12 Перводвигатель (*лат.*).
- 13 *Окен (Oken, настоящее имя Okenfus) Лоренцо* (1779–1851), немецкий естествоиспытатель.
- 14 Здесь у Дройзена игра слов: глагол «wissen» (знать), его причастие «gewusst» (знаемый), существительное «Wissen» (знание) и прилагательное «gewiss» (верный, несомненный); а также глагола «wahrnehmen» (ощутить, воспринимать) и прилагательное «wahr» (истинный).
- 15 Философия истории (*франц.*).
- 16 В 1840 г. Дройзен был приглашен на кафедру истории университета в Киле.
- 17 Дройзен имеет в виду решения Венского конгресса 1814–1815 гг.
- 18 То есть Пруссия.
- 19 Объединяй, и ты станешь властвовать (*лат.*).
- 20 Освободительная война 1813/14 гг. против французского иноземного господства.



<sup>21</sup> *Штейн (von u. zum Stein) Генрих Фридрих Карл (1757–1831)*, крупный государственный деятель и реформатор Пруссии; имеется в виду книга о нем: *Pertz G. H. Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein*. Berlin, 1849–1855. 6 Bde.

<sup>22</sup> *Ranke F. L. Neun Bücher preussischer Geschichte*. Berlin, 1847–1848.

<sup>23</sup> Книга, над которой Дройзен работал с 1850-х годов и до конца жизни: *Geschichte der preussischen Politik*. Berlin u. Leipzig, 1855–1885.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. М. Савельева</i> . Обретение метода.....	5
Предисловие издателя .....	24

### ЭНЦИКЛОПЕДИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ

Введение.....	41
Предварительное замечание .....	41
I. История. § 1–7.....	43
Исходный пункт .....	43
История и природа.....	50
II. Исторический метод § 8–15 .....	59
<i>Примечания</i> .....	75
Методика .....	76
Исторический вопрос. § 19 .....	76
I. Эвристика.....	84
Исторический материал. § 20, 21.....	84
Остатки прошлого. § 22 .....	85
Памятники. § 23 .....	101
Источники. § 24.....	115
Поиск материала. § 26 .....	145
II. Критика. § 28, 29.....	156
а) Критический метод определения подлинности. § 30 .....	166
б) Критический метод определения более раннего и более позднего. § 31 .....	185
в) Критический метод определения верности материала. § 32 .....	195
Критика источников. § 33, 34 .....	207
г) Критическое упорядочение материала. § 35, 36.....	223
III. Интерпретация .....	230
Исследование истоков. § 37 .....	230
Формы интерпретации. § 38.....	234
а) Прагматическая интерпретация. § 39 .....	238
б) Интерпретация условий. § 40 .....	247

в) Психологическая интерпретация. § 41. . . . .	261
г) Интерпретация по нравственным началам, или идеям. § 42, 43, 44 . . . . .	269
<i>Примечания</i> . . . . .	278
Систематика. . . . .	288
Область применения исторического метода. § 45 (49) . . . . .	288
Что может исследовать история? § 47 (52), 48 (53), 49 (54) . . . . .	292
I. Историческая работа сообразно ее материалам.	
§ 50 (55) . . . . .	295
а) Природа. § 51 (56). . . . .	296
б) Тварный человек. § 52 (57) . . . . .	298
в) Формы благоустройства человеческой жизни. § 53 (58) . . . . .	301
г) Человеческие цели. § 54 (59) . . . . .	302
II. Историческая работа сообразно ее формам . . . . .	304
Нравственные начала. § 55 (60), 56 (61) . . . . .	304
А. Первый разряд: природные общности. § 57 (62). . . . .	307
а) Семья. § 58 (63) . . . . .	310
б), в) Род и племя. § 59 (64), 60 (65) . . . . .	312
г) Народ. § 61 (66) . . . . .	319
Б. Второй разряд: идеальные общности. § 62 (67). . . . .	325
а) Язык и языки. § 63 (68). . . . .	327
б) Прекрасное и искусства. § 64 (69) . . . . .	334
в) Истинное и науки. § 65 (70) . . . . .	338
г) Святое и религии. § 66 (71) . . . . .	342
В. Третий разряд: Практические общности § 67 (72), 75 (80), 76 (81), 77 (82) . . . . .	352
а) [Сфера общества], б) Сфера общественной пользы . . . . .	357
в) Сфера права. § 70 (75) . . . . .	368
г) Сфера власти. § 71 (76) . . . . .	373
III. Историческая работа сообразно ее исполнителям.	
§ 72 (77), 72 (78), 74 (79), 79 (84) . . . . .	382
IV. Историческая работа сообразно ее целям. § 80 (83), 81 (86), 82 (87), 83 (88), 84 (89), 85 (90), 86 (91). . . . .	387
<i>Примечания</i> . . . . .	391
Топика. § 87 (44), 88, 89 . . . . .	394
а) Исследовательское изложение. § 90 (45) . . . . .	398
б) Повествовательное изложение. § 91 (46) . . . . .	405
в) Дидактическое изложение. § 92 (47) . . . . .	426
г) Дискуссионное изложение. § 93 (48). . . . .	439
<i>Примечания</i> . . . . .	447

## ОЧЕРК ИСТОРИКИ

Предисловие .....	451
Предисловие ко второму изданию .....	453
Предисловие к третьему изданию .....	453
Предварительное замечание .....	454
Введение .....	459
I. История .....	459
II. Исторический метод .....	463
III. Задача истории .....	466
Методика .....	467
I. Эвристика .....	467
II. Критика .....	471
III. Интерпретация .....	474
Систематика .....	480
I. Историческая работа сообразно ее материалам . . . .	482
II. Историческая работа сообразно ее формам . . . . .	483
III. Исторический труд сообразно его исполнителям . .	488
IV. Труд истории по его целям .....	491
Топика .....	494
<i>Примечания</i> .....	501

## ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕОЛОГИЯ ИСТОРИИ .....	505
Предисловие к «Истории эллинизма» II .....	505
ВОЗВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ В РАНГ НАУКИ .....	526
ПРИРОДА И ИСТОРИЯ .....	549
ИСКУССТВО И МЕТОД .....	562
РЕЧЬ, ПРОИЗНЕСЕННАЯ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В БЕРЛИНСКУЮ АКАДЕМИЮ НАУК .....	573
<i>Примечания</i> .....	579

**Иоганн Густав Дройзен**  
**ИСТОРИКА**  
**Лекции об энциклопедии**  
**и методологии истории**

*Утверждено к печати*  
*Редколлегией серии «HISTORICA»*

Редактор издательства *О. В. Иванова*  
Верстка *Е. Малышкин*

Подписано к печати 30.12.03. Формат 60×88<sup>1/16</sup>.  
Бумага офсетная. Гарнитура «Школьная».  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 35.7. Уч.-изд. л. 28.2.  
Тираж 2 000 экз.  
Тип. зак. №

Издательство «Владимир Даль»  
193036, Санкт-Петербург, ул. 7-я Советская, д. 19.

Санкт-Петербургская типография «Наука» РАН  
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., 12.